МОСТЫ

15

1970

МОСТЫ

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
АЛЬМАНАХ

15

1970

ТОВАРИЩЕСТВО ЗАРУБЕЖНЫХ ПИСАТЕЛЕЙ

BRÜCKEN
Hefte für Literatur, Kunst und Politik

BRIDGES
Literary-artistik and social-political almanach

I. Baschkirzew Buchdruckerei, 8 München 50, Peter-Müller-Str. 43.

ИГОРЬ ЧИННОВ

1

Там поют гиены и павлины,
Ходят по долинам золотым,
И слетает к лилиям долины
Бывший демон — серафим.

Нежатся с акулами святые,
Грешники играют с Богом в мяч.
Примеряет нимбы золотые
В ризе розовой палач.

Ангел ведьме наливает: пейте!
Светится добром бокал вина.
И осанну засвистел на флейте
Белоснежный Сатана.

Радуются ангельские рати:
Тишь да гладь, да Божья благодать.
Мы туда, любезнейший читатель,
Киселя пойдем хлебать.

ИГОРЬ ЧИННОВ

2

Далекий лед, далекий дымный день.
Над миром облако висело.
И фосфор жег сердца людей.

Бежали тени, в небе гналась тень.
На дереве висело тело.
И мать вела чужих детей.

Ложился желтый свет на жесткий снег.
Был красный след на белом свете.
Был черный след еще ясней.

Был черный лед, я видел снег во сне.
Был темный дым над миром этим.
Был дом, горевший в тишине.

ИГОРЬ ЧИННОВ

3

И мириады звезд, и мириады лет,
И тишина с небес, и серебрится свет.

И только этот мир, и только эта ночь,
Когда ручей, с горы — как замерцавший луч.

И полусвет лежит, как синеватый снег,
На темноте полей, у серебристых рек.

И озаренный мост, и почернелый холм,
И за холмом, в луче, автомобильный хлам —

Я не забуду, нет, я не хочу забыть.
Я не позволю, нет, меня навек зарыть,

Пока мерцает ночь, пока светает здесь,
Пока и тень и свет на белом свете есть.

ИГОРЬ ЧИННОВ

4

Случайно случившийся случай. В тиски
Тебя схватили за жабры.
Всё мелочи, глупости, всё пустяки:
Детали абракадабры.

Да, в Тарара-Бумбии нашей — ребят
Жуют без соли убийцы.
Затарара-бумбили, милый, тебя
Та-ра, тарара-бумбийцы.

О, всё перемелется! Видишь — опять
Зима, а за ней что? Осень?
Давайте считать, что дважды два пять,
Точнее, семь или восемь.

Л. РЖЕВСКИЙ

СПУТНИЦА

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

1

Небо опрокинулось нам под ноги.

Там, внизу — неисчислимая звездность: млечные пути, созвездия и планеты разной величины на черном плывучем фоне. Почти мистическом — потому что начинаешь сомневаться, земля ли под тобой, и если земля, то не дракон ли, как стоит в Апокалипсисе, смахнул на нее хвостом третью часть небесных светил.

Мы летим над огромным ночным городом.

Последним городом Европы: дальше совсем немного еще суши — и океан!

На бескровных щеках Моб рядом со мною — страдание: ее мутит, это ее первый полет; но порою ловлю я на них удовлетворенность поставившего на своем — и тогда у меня возникает неприязнь к этим самодовольным щекам, почти вражда.

Меня мутит тоже, но это муть свалившейся на голову катастрофы, ощущение выбитой не из-под одних только ног опоры, согбенности, из которой, кажется, никогда уже не выпрямиться. В голове — карусель последних встреч, разговоров, прощаний, всё — опрометью, не остановишь, чтобы как следует разглядеть.

Что нас ждет? . .

Незадолго перед отъездом Моб зазвала к себе свою ясновидящую подругу, экзистенциалистку «по Ясперсу», как она говорит. Конечно же, по поводу моего будущего — собственный гороскоп Моб определен, вероятно, до последнего метеорита.

— У меня, пожалуй, и нет уже будущего, одно прошлое! — сказал я, но ясновидящая не удостоила расслышать. Потребовала мою фотографию и, сведя козырьком на надбровьях желтые кисти, уставилась на нее не дыша.

Окончание. Начало см. «Мосты» № 13/14.

Она сверлит глазами эту сделанную для паспорта фотографию и почему-то мрачнеет — мне до сих пор стыдно вспомнить собственное тревожное выжидание в эту паузу.

Потом она оборачивается к Моб, мимо меня, как будто меня рядом и не было, и говорит, глядя в никуда, с полуприспущенными веками:

— Эта страна ... — она называет ту, куда мы сейчас летим, — не по нем. Очень нехороша для него.

— О! — мрачнеет Моб в свою очередь. — Мобыть, попробуете прочесть что-нибудь по его руке?

Подкинув к глазу маленькую в золотой оправе лупу, ясновидящая принимается рассматривать и мять какую-то линию на моей ладони; мне кажется, что она снова начинает бледнеть.

И я вытягиваю свою руку из ее долгих пальцев.

— Не стоит больше! — говорю я. — Признаться честно, в предсказания я не верю.

**
*

Я попрощался с северным серым морем, которое всегда было мне желаннее блестящего южного, как иной раз простой неузорчатый ситчик на милых плечах кажется желаннее любой трескучей тафты; побродил по переулкам старого города, слушая, как отбрасывает гулкий камень средневековья эхо моих шагов. Нет, не копил при этом никаких сантиментов, ни лирических слов, — напротив: старался уверить себя, что оставляю здесь разные ненужные впечатления и тревоги, без которых легче будет дожить жизнь до конца.

Увы! очень уж вскоре выяснилось, что эти впечатления и тревоги я захватил с собой!

Вообще же прощанья мои были скомканы: Моб настояла на том, чтобы до времени никому не говорить об отъезде. Она по-прежнему была одержима подозрительностью и страхами, чем дальше — тем пуще, и мне пришлось уступить. Мы готовили свое переселение, как готовят бегство. Только в конце июля, когда были уже и билеты на самолет, я сообщил своей фирме, что уезжаю.

Дине я позвонил несколько дней спустя. Она тяжело переносила беременность и к этому времени бросила уже ходить на работу.

— Должен оглушить вас новостью, — сказал я после обычного «Как вы?» и выслушав жалобы на мучившие ее мигрени, — мы с Моб собираемся за океан!

Сказал — и в трубке у моего уха вдруг зашелестело дыхание, и забил пульс (вероятно, мой собственный).

— Не оглушили! — сказала трубка. — Слышала об этом, но думала, что трепня. Неужто всерьез?

— Уж и билеты на самолет в кармане.

И тут наступает молчание.

Такое бесконечное, что я даже думаю, не отошла ли она от телефона. Но — нет, я слышал бы шорох, она там, на другом конце провода, но она молчит, и никогда еще не казалась мне трубка в моих руках таким молчаще живым существом. Где-то я читал о новом изобретении: вы нажимаете, разговаривая по телефону, кнопку — и у вас перед глазами на специальном экране появляется ваш собеседник. Если бы это изобретение вошло уже в быт!..

— Вы слушаете? — не выдерживаю я наконец.

— Я собиралась с мыслями... Заходите проститься, хотя до чего ж неохота мне показываться в теперешнем моем виде.

— Мы можем разговаривать через занавеску, как на католической исповеди.

— Я позвоню вам... — говорит она, и в трубке щелкает надавленный рычажок.

Она не позвонила.

А на мой звонок, уже в самый канун отъезда, чей-то невнятный голос ответил, что они с Мартой уехали к родителям Вилли, за город.

Еще прощанье: священник, с которым толковала Моб Апокалипсис. Он появился у нас, натянуто чинный и неловкий, — кажется, он стеснялся меня. Благословляя Моб в дальнюю дорогу, начал было витиеватое напутствие, но вдруг заплакал и тогда сразу же стал похож на «пастыря мудрого», на которого видимо и хотел походить. «Счастливо лететь!» — сказал он, позабыв приготовленные слова и всхлипывая.

**
*

И вот мы летим.

Летим и никак не можем перелететь ночь, потому что за нами летит и тоже не может перелететь нас рассвет.

Мы пересыпаем ее, эту бесконечную ночь, — проснувшись, я вижу в окне под нами вафельный полог облаков; репродуктор объявляет какую-то промежуточную посадку...

Я пропускаю тут несколько страниц своих заметок. Если вы не Гончаров и не Стейнбек, которого «Путешествие с Чарли» я недавно прочел, — что́ может быть банальнее ваших путевых впечатлений! Все любительские описания путешествий по земле, думаю я, уже написаны. И все похожи одно на другое, как, скажем, толпа туристов у Колизея похожа на любую другую толпу, глазеющую на строящийся небоскреб, обезьян в клетке или просто на автомобильную катастрофу.

Впечатления от новой пристани — дело другое!

2

Впечатления от новой пристани — трудноопределимый, но беспокойный гул.

Я ощутил его сразу, выйдя из полусвета и полупрохлады кабины в раскаленность и блеск аэропорта.

Мир звучал здесь иначе.

Может быть, это гудело солнце?

Так мне сперва показалось, когда спускался по трапу в зной, как в бассейн, и оно тяжко рушилось на меня сверху и жгло, плавясь потом впереди в белом камне ангаров.

На мгновенье мне сделалось почти страшно, захотелось нырнуть вниз, как с вышки, укрыться где-то на вообразимом прохладном дне...

Гул рассыпался вскоре на части — вой сирен, удары какого-то молота, звон цикад, автомобильные гудки и выхлопы, убегающие в сторону городских солнцескребов. Осталась вибрация, тревожная и глухая; осталось чувство, что тишина, которую ты вез с собой до самого таможенного дебаркадера, исчезла теперь навсегда.

Пульс этого края, в который слетели, составляют, как известно, моторы — электрические и внутреннего сгорания, газотурбинные и реактивные — мощностью от десятка до тысячи, десятков тысяч лошадиных сил, рвущие на клочки само небо, не только воздух своим первозданным, сокрушительным рёвом.

Это я знал.

Я не представлял себе только, как страшно звучит он, этот рёв.

Меня всегда угнетала принудительность шумов.

Например, еще в детстве — заводские, неподалеку от нашего дома, гудки — те самые, которые чуть позже воспевались стихотворцами «Кузницы». Отчего, — спрашивал я себя, — миллионный город должен терпеть по утрам пронзительные эти гудки, хотя назначены они будить только небольшую сравнительно часть горожан? И разве не было уже в ту пору достаточного количества дешевых будильников?

. . . . . .

— Почему ты называешь наш переезд сюда катастрофой? — спрашивает Моб.

Я не мог бы ответить на этот вопрос: катастрофой я называю собственно не наш переезд сюда, но то, что я после этого переезда в себе ощущаю. Не ясно, что именно...

**
*

По пятницам — день, который я выговорил себе для работы дома, — как раз в тот самый момент, когда я подступаю к мольберту, взрывается над головой у меня и рычит пылесос, — рычит, загла-

тывая всю окружающую тишину и шорохи, то захлебываясь и примолкая, то стервенея вновь. Рычит ровно столько времени, сколько нужно, чтобы подавить в зародыше мой рабочий порыв, заставить махнуть рукой на свои этюды и потянуться за книжкой.

Я сажусь в кресло с этой — непременно не новой, диккенсовского облика, — книжкой и ловлю себя на том, что ищу в ней какого-нибудь пропитанного тишиной пассажа: юной женщины, например, с повязанными домашней косыночкой волосами и метелкой в руке; у нее милое сосредоточенное лицо; может быть, даже прикушена слегка нижняя губа — от осторожности и желания быть неслышной. Спорыми, бесшумными движениями смахивает она пыль с полок и подоконников, резьбы и фарфора, а рядом, в соседней комнате, за письменным столом — муж ее либо отец не столько слышит, сколько угадывает, как угадывают уют, беззвучные ее шаги и близость...

**
*

Наглотавшись шумов, я плохо сплю по ночам.

Вместо сонных таблеток, пробую кустарные способы — считалки, стихотворные строчки из хрестоматий, повторяемые множество раз, но Боже мой, как досаждают мне в этих бессонных терзаниях голоса разных новоизобретений и удобств!

Электрические часы, например.

Они висели как раз над диваном, на котором я сплю, невыразительные, как водопроводный счетчик, щелкая каждые не то три, не то десять минут — никогда не удавалось определить, — вполне произвольно.

Одни щелчки походили на чью-то ночную попытку засунуть отмычку в личину вашего дверного замка, другие напоминали треск раскалываемого ореха.

Мысленно я прицеплял им, этим модным часам, сонный такт маятника, — медлительного, в торжественном, красного дерева футляре, важно раскачивающего колыбель нашего ночного бездумного покоя, или — напротив: легкомысленного маятника-торопыги под пестрой оборкой ходиков.

Я примысливал этим часам бой, тоже замкнутый в гулкое дерево, густой и волнистый, или одетый в позеленевшую бронзу под стеклянным треснувшим колпаком, похожий на капель по весенним лужицам.

Я снабжал их «кукушкой», такой мистически уютной в полуночи, припоминал для них музыкальные мелодические побудки от иноземного «мальбрука» до отечественной «Вдоль по Питерской»... — увы! в ответ на всю эту, в попытках уснуть, игру воображения сыпался со стены неунимаемо и вразброд металлический щелк.

Я снимал эти нелепые часы на ночь и прислонял в угол, но должно быть от эха щелканье приобретало некую особую стереоскопическую полноту; пробовал притыкать их диванной подушкой, но, приглушенные, звуки начинали казаться загробными.

Я вытащил, наконец, из часов батарейку, и они остались висеть на стене, как того и заслуживали по скудости изобретательской фантазии, пустым декоративным фасадом.

Моб я сказал, что они испортились — странным образом, она вообще не любила часов . . .

**
*

Кухня в нашей квартире без окон и запирающихся дверей и приходится у меня за стеной.

В том тотальном, я бы сказал, наступлении на человека машин, которое мы переживаем сейчас, холодильник — это, пожалуй, уже эмбрион мыслящего робота будущего, который перерастет и, может быть, устранит своих изобретателей: холодильник способен уже решать *сам,* сколько и когда надобно ему добрать силы, чтобы наделать нужное количество ледяных кубиков и выморозить из рисовой каши лишнюю влагу.

В мою бессонницу входит этот мыслящий холодильник властно и темпераментно, — Моб уверяет, что темпераментность эта от порчи, но со дня на день откладывает позвать монтера.

Он вдруг икает, гулко и неожиданно, так что я вздрагиваю, и, икнув, заводит какое-то чмокающее ча-ча-ча, очень по-человечьи, как, скажем, отчмокивают приставшую к деснам жевательную резинку.

Меня бесит, что в этом его ча-ча-ча безвкусно мешаются ритмы, что икает он по собственному неисповедимому графику и как раз, когда, одурманенный сотой считалкой, я как будто уже начинаю дремать. Я вздрагиваю от его иканья и сквозь дремоту, и перед моими глазами оживает вдруг дебелое его тулово.

Оживает и поднимается на черепашьих, в вислых морщинах, лапах; под выбухшими на месте металлических ручек надбровьями — набрякшие, страшные, как у гоголевского Вия, веки, и, кажется, вот-вот просверлят меня оттуда колючие, злые зрачки . . . Он начинает потом выворачиваться на меня из-за косяка, мерзко стуча по паркету когтями, и я делаю усилие, чтобы открыть глаза и убедиться, что все это мне только мерещится . . .

Я пробовал было поступить с ним, как с часами: выключить его механику на ночь, но он залил на утро талой водой всю кухню и Моб заявила протест.

И вот каждую ночь, с залепленными противошумной мастикой ушами, я стараюсь уверить себя, что больше не слышу его иканья

и чавканья. Словно в отместку он начинает вычмокивать свое ча-ча-ча на необычайно знакомый метрический лад, звучащий в его устах чистой издевкой: ча-ча-чá ча-чá-ча-ча ча-ча-чá ча-чá-ча:

Ти-ши-на — ты луч-ше-е, из то-го, что слы-шал . . .

3

— Почему ты называешь наш переезд сюда катастрофой? — спрашивает Моб.

Я не знаю. Но, может быть, катастрофа и есть мучительство шумом?

Радио первое время досаждало и Моб.

По привычке, после раннего кофе, она, как и прежде, забиралась в постель — на груди транзистор, ловящий теперь только местные волны.

Она слушает этот дикий коктейль из рекламных выкликов и музыкальных осколков, зазубренных бесконечными повторениями, и кусает губы; пунцовые пятна вспыхивают на ее холодных, немного надменных скулах. И когда я мелькаю в полуоткрытой двери, она прорывается:

— Господи, какой сумасшедший дом! И что за неслыханное отсутствие вкуса!

Постепенно, однако, Моб осваивается. Она любознательнее и общительнее меня; ей как воздух нужны новые знакомства и встречи, возможность поделиться суждением о «бестселлерах», которые она перелистывает, происшествиях здесь и событиях «там», за которыми она следит. Сверх всего, она, кажется, собирается устроить тут выставку моих картин — она уже приводила одного лохматого критика и записалась в какой-то клуб.

— Какой народ! — восклицает она. — Ни комплексов, ни национального чванства, как это было в Европе. Не правда ли?

— Правда, — соглашаюсь я.

— Доброжелательный!

— Очень.

— Гуманный!

— Да . . .

— Ты что, повторяешь за мной механически или не согласен? — спохватывается она вдруг. — Чудесный народ! Убеждена, что именно ему принадлежит будущее!

Нет, я согласен . . . Но то, что угнетает меня сейчас, — это отсутствие во мне почвы для каких бы то ни было восторгов, и просто интересов к чему-либо, совершенная ноющая внутри меня пустота.

Я с отвращением смотрю на свои кисти.

Эти записки больше притягивают меня, хотя мне трудно справляться с чуждым для меня языком *слов*. Тоже и форма «повести» мне решительно не удается: сюжет утекает, как вода из пригоршни, остаются лишь разрозненные эпизоды.

Вот один из них, который, вероятно, способствовал внутренней умиротворенности Моб после нашего сюда переезда.

Ее звезда тоже перекочевала вместе с нами за океан.

Открытие это произошло месяца полтора назад, когда мы только перебрались из гостиницы в теперешнюю нашу квартиру. Произошло оно так:

Я сидел сумерками у себя с книгой, страдая все от того же отсутствия тишины. На этот раз виновником был некто, прогуливавший под нашими окнами огромного немецкого волка. Оба — и некто, и волк — одинаково были спортивны и любили игру: отнимали один у другого кость, сделанную из пластмассы. Когда кость переходила к хозяину, пес взвывал, скалясь и гадко заваливая на бок пасть. Взвывал требовательно и свирепо, как, вероятно, выли в подвалах Колизея его дикие предки, ожидая человеческих жертв. Игра была без конца...

А когда пришла наконец тишина, я слышу за стеной голос Моб. Она зовет меня взволнованно и нетерпеливо; тревожный металл в ее голосе звучит как «караул!» — и я чуть не бегом спешу в гостиную.

Моб поворачивается лицом ко мне от окна, у которого стоит, и, несмотря на потемки, я вижу румянец на ее скулах, сплетенные у подбородка кисти рук и восторженный раствор глаз — все признаки душевного шторма, на этот раз, как я догадываюсь, счастливого.

— Посмотри! — говорит она, задыхаясь, и тянет меня к окну. — Посмотри!

Я смотрю.

За окном, на другой стороне улицы — кипарисы, окаймляющие большой школьный двор. Я отметил про себя эти кипарисы, когда мы еще только сюда въезжали, и после уже не разглядывал — было ненастье, тучи ползли по самым крышам и заслоняли всё. А сейчас небо было чисто, пирамидальные контуры чернели на нем, как шитые гладью, заплывая в окно по краям и оставляя посередке небольшую воронку неба.

— Смотри, смотри! — твердит Моб.

Я смотрю и в этой серой с прозеленью воронке вижу розоватую небольшую звезду.

— Она опять с нами. Какое счастье! — почти молитвенно сводя перед собою ладони, говорит Моб. — Наша спутница!..

«Спутница», «спутница»... Спутница Дины, по уверению Моб, — ненависть, вывезенная с родных берегов. Спутница самой Моб, напротив, — звезда — провозвестница милосердия и любви. Во всем

этом я не уверен: легче легкого запутаться в словах, толкуемых как символы.

Но мне почему-то неохота начисто отгораживаться от звездной мистики Моб. В конце концов символ звезды всегда был прежде всего символом личной судьбы и счастья. Из всего решительно Маяковского звучит для меня одно единственное стихотворение, единственное и для него самого, посвященное звездности, от которой он потом так отвернулся:

Послушайте!
Ведь если звезды зажигают,
значит — это кому-нибудь нужно?..

И дальше — о ком-то, кто —

...в метелях полуденной пыли,
врывается к Богу,
боится, что опоздал,
плачет,
целует ему жилистую руку,
просит —
чтоб обязательно была звезда!

Звезда-спутница!

Моя спутница — «Победительница»...

— Что она такое, эта твоя «Победительница»? — спрашивает Моб с плохо скрываемым раздражением. — Что за внутренняя тема? направление?..

Я отвечаю, что «Победительница» — это возвращение романтизма, который и победит в искусстве в конце концов. Отвечаю, чтобы отвязаться, потому что, право, не чувствую здесь какого-нибудь тотема, а скорее влечение сердца, как сказали бы лет полтораста назад.

Я хотел бы начать эту картину наново — я вижу ее во сне и, зажмурясь, в бессонницы. Мне кажется, что я мог бы найти теперь новый синтез стремительного движения и чудесно воплотившегося покоя, контраст световой какофонии — и гармонической недвижности маленького тела. Но — нет! Отсутствует самое главное, зримое, вдыхаемое как воздух, и это немыслимо создать искусственно, как немыслимо устроить искусственно волнение на море или бурю.

И все-таки — если бы я мог попробовать!

Со звездой возрождаются у Моб ее прежние вечера — в полупотемках, в молчании, с клочком словно бы северного неба в окне: заходя к ней я иногда долго сижу, закрывши глаза, и мне кажется, будто я слышу за наружной стеной шорохи недалекого прибоя и к стеклу прижимается теплый вечерний бриз, пахнущий солью и водорослями.

Но захожу я к ней редко — мне досаждает, как никогда прежде, ее исподтишка беспокойный и заботливый взгляд, который я то и

дело перехватываю. «Когда ты начнешь что-нибудь свое?» — спрашивает она будто невзначай, и это раздражает меня еще пуще: я переживаю и без того свое бессилие взяться за кисти.

4

Шумы продолжают терзать меня.

В воскресенье — только берусь за эти записки — вклинивается с улицы совершенно потрясающий рев.

Выхожу на балкон и заглядываю вниз (этаж третий): сосед напротив занялся очередной стрижкой газона.

Газону кот начихал — ничтожный пятачок вокруг сигарообразной клумбы, но какой вой! и какая дьявольская вибрация в воздухе! Захлопываю балконную дверь, засовываю в уши кляпы из пластелина. Во мне паника. Паника охватывает и вещи: что-то на моем столе начинает мелко и часто дрожать — как зубами со страху. Что именно — устанавливаю не сразу, трогая и перемещая поочередно...

Потом хожу из угла в угол, чувствуя, как исчезают одна за другой все пробившиеся было для записи мысли и как кожа моя и каждая под ней жилка впитывают на манер промокашки этот проклятый рев. Какой истукан может вынести его из близости?

Снова иду на балкон. Вот он, истукан! Низкорослый, в трусах, сползающих с выпершего живота, он с трудом удерживает за оглобельки ревущее у его ног чудовище. Оно выплясывает, пытаясь вырваться, ядовитый дымок и серые гейзерчики пыли бьют из-под его лап кверху, в рыхлое лицо с налипшими на лоб волосами и страдальческой ижицей рта, в углу которого торчит сигарета.

— Покос атомного века! — говорит чей-то голос рядом, неожиданно, как гром с голубого неба, и я вздрагиваю.

Длинное туловище свешивается над перилами в полуметре от моего плеча, за щитом, отделяющим наш балкон от соседнего. Поднимаю глаза повыше и вижу голову в седом бобрике и две глубокие складки вдоль довольно долгого носа, в которых течет ирония.

— Виноват, думал, вы меня заметили... — говорит бобрик. — Живу рядом. Но позвольте представиться после, а сейчас, благо этот троглодит сделал паузу, напомнить вам о том, что было ведь время более лирических отношений человека с природой. Такие, например, были переживания...

«Чем больше Левин косил», — начал он вдруг по откуда ни возьмись взявшейся в его руке книжке. — «Чем больше Левин косил, тем чаще и чаще чувствовал он минуты забытья, при котором уже не руки махали косой, а сама коса двигала за собой все сознающее себя полное жизни тело, и, как бы по волшебству, без мысли о

ней, работа правильная и отчетливая делалась сама собой. Это были блаженные минуты. ... Подрезываемая с сочным звуком и пряно пахнущая трава ложилась высокими рядами» ...

— И так далее! Вот ведь какая натуральная была связь живого с живым, какие чувства, какие звуки и запахи!.. Итак: ваш сосед и земляк. Фамилия — Антипуров. Характер пакостнейший. Год прибытия в эту неблагословенную страну — сорок восьмой. Занятие — редактор одного вряд ли кому нужного библиографического журнала.

— Русского?

— Господь с вами! Конечно, туземного. Какой это русский эмигрант заинтересовался бы библиографией?

— Почему бы нет? Тут даже неожиданно много русских изданий. Пишут, печатают, читают ...

— Читают, главным образом, только самих себя. А пишут, действительно, без удержу. Эмиграция всегда содействовала графомании. Попади сюда фонвизинский Митрофанушка — писал бы тоже и, конечно, назывался бы Митрофан де Простаков. Сочинял бы, верно, стихи «кулижской ноты» — по заштатному городку Кулижу, где родился. Может быть, занялся бы и литературной критикой и писал бы, примерно, так: «Природа, как сказал Толстой, но не сказал Достоевский, не часто встречается у Гоголя, как сказал Достоевский, но не сказал Толстой» ...

. . . . . .

Со стороны литературной рассказанного, вероятно, достаточно, чтобы ввести в мои записки это новое лицо с фамилией, содержащей неожиданный и знаменательный каламбур:

Антипуров — анти-Буров.

Знаменательный — потому, что в этом скептике и парадоксалисте было нечто ощутимо антибуровское. Совершенное, например, отрицание разработанной Буровым освободительной программы: «К чему освобождать и кого? Не верю в порядок, который не был бы для данного народа закономерным и заслуженным! Во всяком случае — на определенный период. Перемены придут в свое время. Зачем торопить историю?» и т. д. Вообще же «анти» у Антипурова принадлежало не к одной какой-нибудь сфере, но вездеходной, я бы сказал, философии отрицания. Даже и самоотрицания — потому что, наряду с осуждением всего русского (к великому негодованию Моб), отрицалось и историческое явление русской интеллигенции, без чего, казалось бы, явление самого Антипурова трудно было бы объяснить.

А для зримости облика упомяну об одном чудачестве (вроде паспортной рубрики «особых примет»): обдумывая реплику либо наклевывающийся монолог, Антипуров пружил кольчиком губы, натягивая барабаном одну из щек, и потом принимался выстукивать на

ней щелчками какую-нибудь нехитрую мелодию. Чаще всего, насколько мог я расслышать, был это «чижик»:

Ми-до ми-до фа-ми-ре . . .

5

Моб досаждает мне с прогулками. Если бы тротуары на нашей улице не были бы так узки — не шире человеческих плеч, — она бы, вероятно, прогуливала меня под руку. Теперь же она норовит отправить меня на Главную улицу за какими-нибудь пустяками или просто выкурить из дому под предлогом хотя бы пылесоса, ревущего на этот раз уже в собственной нашей квартире. Все это — в те дни, когда я сижу у себя, хожу по комнате и читаю.

Я много хожу по комнате и много читаю. В некоторых книгах на новом для меня языке я, кажется мне, открываю иногда совсем особый способ мышления, очень логический, очищенный от эмоциональности и экстремизма, свойственных нам, русским. Странным образом эта рационалистическая мысль ведет, однако, в те же дебри иррационального, что и наша, замешенная на душе и вере. Но об этом — после . . .

— Врачи утверждают, что людям твоего возраста необходимо двигаться на воздухе хотя бы час в день! — говорит Моб, появляясь в дверях, и я ухожу, сдерживаясь, чтобы не сказать резкость. Раздражительность, которой я подвержен теперь, удручает меня.

**
*

По нашей и смежной улицам, до Главной, я иду, глядя только под ноги: до чего же унылы эти дома по бокам! Различаются они разве что номерами. Клумба—парадное—три окна; три окна—парадное—клумба. Эта симметрия, подновляемая по дорожкам щебенка и выбритые газоны напоминают европейские кладбища, и я вдруг начинаю казаться сам себе мертвецом, заблудившимся в поисках собственной могильной щели . . .

Только перебравшись сюда, в этот край новоселов, я понял, что всегда любил старину. Раньше мне надоедали древние, в трещинах камни и «ахи» по поводу архитектурных седин — бесконечные туристские «ахи» при взгляде на рассыпающиеся замки, виадуки либо мосты. Но в замшелых тех камнях жила творческая мысль строителей, дремал тайный уют разделенной со многими поколениями жизни. На выщербленные ненадежные теперь балюстрады опирался не один мечтательный либо восторженный локоть (перечитайте сентименталистов или неоромантиков); в трещины, вместе с плесенью и жучками, заползал не один шепот и вздох. И — черт возьми! кто знает, не доберутся ли до того, чтобы расшифровывать эти вздохи и шепоты, как расшифровывают стершуюся на пленке запись, и

сколько воскреснет тогда взволнованных слов, заклинаний, проклятий, прощаний и встреч! Сам не зная того, я, вероятно, угадывал их, эти слова и вздохи, стоя на каком-нибудь ветхом мосту с надписью: «Вход — на риск самих посетителей» и слыша, как журчит под ним столетье уже тому назад высохшая река . . .

А что угадаешь на здешней Главной улице в наспех выведенных закромах и конторах, от которых еще несет непросохшей известкой?

«Почему ты называешь наш переезд сюда катастрофой?» — удивляется Моб.

Может быть, катастрофа и есть эти сооружения с чугунными ребрами, кое-как заляпанными в бетон?

Я поделился как-то этими размышлениями с М., моим шефом по службе. Милый человек! Вместо того чтобы, быть может, обидеться, он почти с виноватым видом («Я должен бы показать вам это раньше») посадил меня в свою многосестную машину и повез в ту часть города, где, по его словам, дома имели каждый свое лицо.

М., кажется, баптист и, говорили мне, из самых состоятельных здешних кругов. Как очень тут принято, он старается опекать нас с Моб, переселенцев. У него сложение боксера, такт придворного и в разговоре симпатичная вдумчивая медлительность. Почему-то он выбрал себе неожиданное хобби — психиатрию; стол и полки в его кабинете завалены книгами по этой специальности.

Но вернемся к нашей поездке.

Особняки в кварталах, куда мы отправились, делались, действительно, зодчими, не поставщиками цемента.

Очень живописно в общем архитектурном ансамбле сказалось различие вкусов и впечатлений, вынесенных из заокеанских путешествий. Викторианский коттэдж с пиквикской улыбкой на розовом фасаде заслонялся флорентийской решеткой раннего Возрождения. Хозяин соседнего запечатлел в кровельных черепичных вымахах ребра и пики вдохновивших его Альп — под крышами расписные фронтоны и над дверями оленьи рога. Другой прилежный путешественник вывез с Востока вздернутые по краям плечи пагоды. Третьего прельстил скандинавский терракотовый тон с белыми оконными наличниками и повителью. Распластавшиеся по бритым газонам безэтажные домики с коротышками-портиками на греческий лад М. назвал местной архитектурой: приплюснуты они здесь в защиту от ураганов.

Не было только русского стиля, потому, вероятно, что его и не существовало в архитектуре жилья, а для изб не возить же с севера бревна!

— Конечно, — сказал М., — вы понимаете: эти дома принадлежат богачам . . .

Я вспомнил одного ленинградского архитектора, который любил говорить: «Что, если бы социалистическая революция случилась у

нас еще лет двести назад и отмена собственности коснулась бы и архитектуры? Какие конюшни стояли бы теперь в устье Невы вместо нашего чудесного Питера!..»

6

Моб кладет мне на стол письма Бурова.

—Мобыть, пригодится тебе для повести... — говорит она.

В них целые страницы рассуждений и афоризмов, записанных впрок. Он, я слышал, мечтает издать их отдельной книжкой и придумал уже и заголовок: «Мысли под Большой Медведицей». Моб рассердилась, когда я сказал, что «под Малой» было бы, пожалуй, скромнее. Впрочем, многое вовсе не глупо, разве что слишком категорично, как все у Бурова.

Я выписываю себе кое-что.

«Незадолго до войны я встретился в Подмосковье с колхозником, у которого сын за разговоры с одним иностранным туристом сгинул в лагере. «Оно ведь всегда так, — сказал старик: — краденая власть людей боится». — Как это точно! И если перевести это на язык политики: в Кремле хорошо понимают, что на Нюрнбергском процессе осуждены были не все главные преступники. И дрожат. И целую нацию обливают позором своей трусости»...

*

«Большевизм есть прежде всего апелляция к подлости. Ставка на гнуснейшее в человеческой душе: зависть, ненависть, жажду угнетать, в соединении с таким заманчивым для подонков «все позволено» (если выгодно партии). Отсюда — коалиция с уголовниками разных мастей и дьявольская способность к растлению душ. Вспомните институт сексотов и стукачей, литературные прославления Павликов Морозовых и чекистов... Что для развращения тысяч нужно только два-три руководящих прохвоста — одно из главных открытий партийных Верховенских, основанное на совершенном презрении к массам».

*

«Нельзя» — основное существо социалистического реализма, которое рубит творческое вдохновение под самый корень. «Тушение гениев» нигде, кажется, не осуществлялось так полно, как в русской послеоктябрьской литературе. В романах, например. Герой, если он не чабан, но интеллигент, права «мыслить и страдать» лишен начисто (страдания по поводу уменьшения удоя молока или добычи нефти — не в счет). Ему запрещено исповедовать нематериалистические идеи, рассуждать — Боже сохрани! — о Боге, о том, что колеса истории вовсе, может быть, и не катятся в коммунизм. Бедный автор скрипит зубами, но сам, добровольно, как огородный вредитель, истребляет все запретные дорогие побеги, ос-

тавляя одни правоверные сорняки. И герой, чем дальше развертывается роман, тем явственнее оказывается интеллектуальным ублюдком.

Возрождение критического реализма, исконной традиции русской литературы — вот лозунг!»

*

«Полвека разрекламированного на все лады порядка, который предположительно должен противостоять капиталистическому, как пустыне — обетованная земля. И вместо манны небесной — подлейший конфуз во всем, касающемся нужд живого человека! А у капиталистов — безработный на собственной машине! Да их прямо корчит от бешенства, наследников Сталина. И они всаживают миллионы на разжигание ненависти, взрывы, беспорядки, убийства — под самыми разнообразными прикрытиями и лозунгами. Я, Буров, свидетельствую: идет новая волна холодного бандитизма и — горе беспечным!»

7

Я показал эти размышления Антипурову на одной из посиделок Моб.

— Эмигрантам, — сказал он, отбарабанив на щеке своего «чижика», — эмигрантам все еще мерещится назревающий в стране бунт. Они забывают, что люди там хотели бы жить «в ногу» с установившимся порядком, разве что сделав его чуть поудобней.

— В ногу со своими угнетателями? — спрашивает Моб на самом звонком из ее голосовых регистров.

— В угнетателях теперь ходят их собственные кумовья, которых окрик, самый площадной, для них не так оскорбителен, как надменное «вы» барыни или кивок какого-нибудь денежного мешка. Да и сами угнетаемые переродились. Что полстолетия диктатуры русского человека не изменило — это, увы, миф! От протеста и отвлеченного мышления отучен он начисто и искренне верит, что, например, напечатать статейку за границей без полицейского благословения — преступление, а пожелать покинуть родину — измена . . .

— Интеллигенция там не покорена, я уверена!

— Не знаю . . . — мотнул головой Антипуров и заходил по комнате. Он всегда ходил из угла в угол, когда рождался у него длинный монолог. Я и припоминаю сейчас этот спор, главным образом, графически: полупотемки и рассекающий их Антипуров, напряженный и узкий, как восклицательный знак. — Не знаю. Преемственность между старой интеллигенцией и новой утрачена, а с ней, пожалуй что, и сама культура. В нашем с вами понимании. Язык, например . . . посмотрите, как там теперь пишут — что за пренебрежение к творческому слову, к его самобытности и богатству.

Мысль — самородок,
язык — ювелир:
нашел,
обточил,
оправил —
и засверкали,
как микромиры,
волшебного слова
грани...

Не помню, откуда взял, но выражает, что хочу сказать. А там слово — не волшебство, но разгул пошлости. Творчество как-то самооткатывается назад, на десятки лет. Сонное царство без какой-либо спящей царевны, то есть надежды на пробуждение... Вот и насчет реализма у господина Бурова чепуха — к чему жевать уже пережеванное! Из «отображения жизни» никогда не выходило ничего подлинного. Выходило — из гиперболы, впечатлений иной раз почти болезненных, порывов самых безудержных в смысле творческого воображения. Возродиться должен не реализм, но романтизм и мистерия — в новых и бесконечно свободных конфигурациях...

Эту последнюю фразу произносит он у порога моего кабинета. Дверь туда открыта, и виден набросок «Победительницы» на мольберте, сделанный углем.

— Это «Победительница», Прекрасная дама моего брата! — говорит Моб и тут же принимается объяснять замысел и «творческую манеру» картины — достаточно умно, чтобы запугать насмерть любого претендента на ее руку и сердце, и достаточно неловко, как только и может близкая вам женщина, — для меня. Я пробую перекинуть разговор на кого-нибудь из эмигрантских художников в надежде, что тему подхватит Антипуров, воинствующий отрицатель эмигрантских заслуг.

Он клюет на эту приманку и, сыграв «чижика», кончает монолог, как и начал, наскоками на эмиграцию, вполне, по моему суждению, несправедливыми.

— Какая неспособность понять новое! Нетерпимость ко всему, что не совпадает с привычными их суждениями: словам, которых не было в лексиконе их бабушек, романам, написанным не в стиле «Княжны Джавахи»... А хлестаковщина! Я накропал было большую статью «Против Ивана Александровича» — что вы думаете: ни один журнал не решился тиснуть!.. И стадность! Держась стаями, они за четверть века выучивают не больше дюжины местных слов, которые и рассовывают вперемежку с отечественными — чудовищное, скажу вам, получается наречие. Попадаются, конечно, и полиглоты, но право не знаю, что лучше. Дурень, говорящий на трех языках, дурень трижды, потому что на каждом из них утвер-

ждает себя дураком... Местная элита?.. Вот я познакомлю вас с одним здешним философом. То есть он, разумеется, никакой не философ, но алкоголик и прикрывает горсточкой рот, даже когда разговаривает по телефону, чтобы не донесло перегаром, но — проповедует! «Ищите прекрасного!» — и такая, знаете, мокрая улыбка до ушей. «Мир спасет красота»... А у самого над письменным столом гипсовая какая-то баба, выигранная, верно, в лотерею, и собрание сочинений Лажечникова из приложений к «Ниве». — Милый мой, говорю ему, нам теперь надо самое ее спасать, красоту, чтобы она могла спасти нас впоследствии. Выкинуть, например, эту вашу полувенеру и гиль с книжных полок... Но глухие не внемлют!..

8

Я болен.

Почти каждый вечер, если Моб не удается под каким-нибудь предлогом лишить меня коньяку (пью я на сон грядущий, чтобы одолеть бессонницу), нападает на меня отчаяние.

Непонятное — потому что не могу объяснить, откуда и почему. Опустошающее — потому что отнимает всякую волю делать или просто додумывать что-нибудь до конца.

Это страшно, и однажды за полдником я рассказываю об этом М.

Он искусно прячет вдруг возгоревшийся ко мне интерес, задает — с извинениями — дюжину пестрых вопросов и потом медлительно раскуривает сигару.

— Это депрессия... — говорит он наконец, — результат переезда через океан. Случай довольно частый. Организм перебаливает, чтобы прижиться ко всему здешнему... Лечение — «хобби» какое-нибудь, которым увлечься до самозабвения. Вам, художнику, и выдумывать нечего — этюдник и краски! Средство второе — встряхнуться и попутешествовать.

Вот уж подлинно «чужую беду руками разведу». Кто вернет мне охоту взяться за кисти? Два месяца назад, вскоре после приезда, я набросал сепией аэровокзал, где приземлились, и Главную улицу и с тех пор не сделал ни единого мазка. Кстати: листки сепией я послал Дине с мужем. Ответа до сих пор нет... Путешествовать! На что и как? У нас с Моб сбережений не водится, об отпуске думать рано. Совет пустой и по самому больному месту: мысленно я и без того за тридевять земель отсюда, и без того совершенно измучил себя мечтой о полете — на север, к своему морю! Еще раз взглянуть и как следует со всем распроститься...

Зажмуриваюсь и вижу вздернутый к небу алюминиевый трап, по которому поднимаюсь в кабину. Рывок, перехватывающий дыха-

ние, вафельные простыни облаков под ногами, высотные шорохи и щелчки в ушах.

И наконец — вставший поперек в посадочном узком вираже голубино-серый полог пролива . . .

Трамплины к этому полету вполне фантастические, вплоть до выигрыша в тотализатор, мечты всех неудачников.

Я богат . . .

В служебном моем кабинете на полках — выставка нашей продукции: пепельницы и вазы, сервизы и бюстики великих людей, копилки и полоскательницы.

Я беру в руки пожарный брандспойт.

Струя в полторы лошадиных силы рушится на всю эту массу раскрашенной пошлости — шипенье, звон, грохот! . .

Я смываю последние черепки и торжествую.

Потом пишу по начальству рапорт об уходе с просьбой прислать за все перебитое счет.

Потом ошеломляю телефонным звонком Моб и сажусь в такси.

— Аэропорт! — говорю я шоферу.

. . . . . .

Но, повторяю, это трамплин фантастический.

Где-то в глубине души я жду настоящего — я почти уверен, что случай слетать к моему морю непременно придет.

9

Приходит он так.

Как-то утром, на службе, я только что начинаю разбирать пачку внутренней почты (здесь любят переписываться из одного этажа в другой), как появляется у моего стола секретарша нашего коммерческого директора и просит меня к нему.

Секретарша вместо телефонного звонка — лестный жест.

Я иду по бесконечной ковровой дорожке вслед ее энергичным икрам — шагает она впереди меня с таким видом, будто ведет за собою к начальству иностранную делегацию. Войдя в кабинет, она бросается к телефонам, мигающим по обе стороны директорских локтей.

Директор же говорит следующее:

— Мы хотим передать один заказ фирме, в которой вы прежде работали, — говорит он. — Надо съездить туда и лично обсудить с ними модели. Просим вас это сделать. Что скажете? . .

Что я скажу? Я ошеломлен. Я говорю «да» и едва нахожу спуск на лестницу из коридора. Радость поет у меня в груди петухом.

Она не исчезает даже и после легкой баталии с Моб, которая хочет лететь вместе со мной, чтобы охранить от каких-то непонятных опасностей.

Но вот уже передо мной прошвы взлетных дорожек. Все повторяется, как прежде, в воображении.

Круто вздыбленный алюминиевый трап, по которому поднимаюсь в кабину.

Рывок, вафельные простыни облаков под ногами, высотные в ушах щелчки и шорохи.

И, наконец, поднимающийся в посадочном узком вираже голубино-серый полог моего моря.

Чтобы быть вполне точным: темносерый, с белесыми прядками тумана и ожерельем фонарей у пристани. Солнце уже село . . .

**
*

От аэропорта — около часу поездом вдоль побережья.

В гостиницу приезжаю я слишком поздно, чтобы идти куданибудь либо звонить. Зато какой впускаю в окошко воздух и как засыпаю! Месяцы, вероятно, так вдохновенно (если идет сюда это слово) не спал!

А утром, едва рассвет, иду побродить по городу. Покуда все еще спит, покуда безлюдье — иллюзия, что тишина вокруг тебе одному принадлежит, вдохновительна и обостряет творческое, как теперь любят говорить, ви́дение.

В городе — как у нас в Питере: каналы. Близкие теплые течения не дают им замерзнуть совсем, но местами вода покрыта уже пузырчатым серым ледком. В полынье, рядом с фиолетовым нефтяным пятном, дремлет чайка; другая, взмахивая неожиданно огромными крыльями, неуклюже балансирует вдоль ледяной кромки.

На площади, куда ведет мост, под зеленую статую, заляпанную птичьим пометом, сонно слетаются голуби.

Я вхожу в узкое устье улицы, слушаю, как гулкий, времен Густава Вазы, камень далеко отбрасывает эхо моих шагов. На другом конце улицы — знаменитый собор поздней готики, к которому и прислонился собственно старый город. Он заперт еще, собор, но сквозь овальную створку подвальной дверцы сочится свет, и я спускаюсь вниз по каменной, винтом, лестнице.

Внизу — гранитные выщербленные временем гробницы, плиты с истертыми надписями; полукруглый, едва освещенный придел с чугунным распятием и брошенными у подножья сухими цветами. Тут же небольшой орган в тусклых металлических дудках, похожий на буфет красного дерева, и, как в музее, по полкам, церковные семисвечники и братины.

Сторож у двери, я вижу, следит за мной краешком глаза: пытается, верно, решить про себя, просто ли я турист или молящийся. Молящихся, кстати сказать, в этой стране по статистике всего три процента — предмет былых сокрушений Моб. Она любит повторять,

что люди, сделавшие из религии музей, сдали в камеру хранения также и души. "Les extrêmes se touchent" — в вопросе о «бездушии саламандр» Дина и Моб странным образом сходятся, хотя и судят с различных совсем берегов.

**
*

К полудню я кончаю уже свои занятия, контракт в кармане. Завтрак с местным начальством отнимает еще час, и теперь в моем распоряжении полтора дня до обратного самолета.

Возвратившись в номер, я долго сижу в нерешительности: позвонить Дине?

Мне немного боязно ей звонить: я помню молчание по ту сторону провода во время последнего нашего разговора-прощанья. Я не хочу, чтобы это повторилось сейчас. Я должен видеть ее своими глазами.

Решение, которое я сейчас принимаю, нелепо на первый взгляд: я увижу ее издали, так, чтобы она сама не замечала меня. Она поздно встает по утрам, я знаю. Но во вторую половину дня наверное выйдет из дому. Одна или, может быть, с ребенком — детская площадка наискосок от их дома. На этой площадке я могу ее ждать.

Ветренно и слегка морозит. Недостаточно, как я уже говорил, чтобы заледенить каналы, но с лихвой — чтобы высушить мостовые и палый лист, который носится вдоль тротуаров с бронзовым звоном.

Площадка почти пуста. Двое близнецов-карапузов в одинаковых комбинезонах ползают по дырам и скатам детского каменного тренажника, напоминающего беспредметническую скульптуру. Высокий тощий старик, похожий на Рудольфа Гесса, катает низкую колясочку с торчащим из-под укрутка красным помпоном.

Я сажусь подле забитого уже на зиму киоска с игрушками — так, чтобы видна была через улицу дверь над мраморной невысокой приступкой и две кнопки звонка на мраморном же косяке (верхняя — к Дине), и слежу за тем, как старик возит свою колясочку вокруг песочного городка. Возит как-то опрометью и безучастно, тупо уставясь перед собой. Мне приходит вдруг в голову, что, может, под красным помпоном в коляске ничего нет, что врачи предписали старику порцию движений на чистом воздухе, и он выдумал маскировку, чтобы придать этим движениям смысл. Есть что-то сомнамбулическое в выражении его глаз. В первый раз за последние месяцы рука моя тянется к карандашу — если бы не дверь, от которой нельзя оторваться, я непременно набросал бы себе этого странного старика...

Скоро я начинаю зябнуть.

Вместе с ощущением холода приходит сомнение: Дина, быть может, появится не раньше, чем я схвачу воспаление легких. Что ме-

шает мне сейчас перейти улицу и нажать верхнюю кнопку звонка?..

И вдруг — на тебе!

Дверные створки, с которых я не спускаю глаз, расщеливаются. Дина осторожно перешагивает через порог. На руках у нее конверт с ребенком. Кто-то, отсюда не видный (должно быть, Марта) снова затворяет за нею дверь.

Прижимая конверт к подбородку, Дина пересекает улицу. Вот она разминулась с сумасшедшим стариком. Вот идет в сторону, к дальней скамейке, на которую наплывает сейчас косячок солнца.

Она садится лицом к лучу, распахивая пальто, и я хорошо вижу ее чуть покруглевшие щеки и налившуюся под тонким свитером грудь. Она то поднимает, то отстраняет от себя сверток, теребит кружевца под маленьким капором и улыбается — у нее блестяще-зубая радостная улыбка.

Ее скамья не дальше десяти шагов от моей. Чувствует она, что я на нее смотрю? Если почувствует и чуть повернет вправо лицо, конечно, меня заметит.

Но она — как под солнечным колпаком в этом косяке света, сама светящаяся своим молодым материнским счастьем. Она кажется такой же совсем непричастной ко мне, как этот ноябрьский день, ветер, солнце и бронзовые сухие листья, кружащиеся около ее маленьких туфель.

Сам я не подойду к ней. Поднимусь и незаметно исчезну — с тем, чтобы тотчас же и уехать из этого города.

А собственно — почему?..

Или все-таки окликнуть?..

Я не могу усидеть на месте. Встаю, делаю несколько шагов вдоль заколоченного досками киоска. Вперед... назад... Сию минуту она поглядит в мою сторону...

И вдруг — стук в дверь!

Моб.

Мне письмо...

Как, казалось бы, отрывать человека от стола в такую минуту.

Моб отрывает.

И сбрасывает меня на землю с высоты моего фантастического полета.

То, что я ощущаю, — где-то на грани истерики, и мы оба вдруг понимаем, как я нездоров.

. . . . . .

Ночью я вспоминаю про письмо.

Оно от Вилли. Он только что из ленинградской командировки и рассказывает о впечатлениях. Благодарит за полученные рисунки. На второй странице (о чудовищное пустодушие этого народа!) пишет, что неделю тому назад Дина родила мертвого ребенка и сей-

час у нее «тяжелое настроение и прочие порывы». Каким надо быть ослом, чтобы не уметь объясниться вразумительнее! Что это значит: «прочие порывы»? Внизу, в уголке письма ее рукой: «Привет!» Семь печатных знаков, включая восклицательный, — все, что до сих пор от нее имел.

10

— Человечеству, чтобы победить большевизм, не хватает любви! — говорит Моб.

Она говорит это, стоя по своему обыкновению у окошка, в потемках, которые устраивает в эти часы. Для таинственности, должно быть, и чтобы казаться себе самой чем-то вроде связного между звездой, висящей за стеклом, и мной-маловером, представляющим грешный мир.

Она говорит это под впечатлением только что слышанного доклада в ее женском клубе: какая-то местная дама, побывавшая в Москве, рассказывала о том, что видела. Очень пренебрежительно, по мнению Моб.

— О неказистой одежде, о том, что без удержу пьют. И все, понимаешь, со скверной такой улыбочкой. Меня взорвало. Я попросила слова. «Стыдно, сказала я, ездить к обездоленным в качестве равнодушных зевак! «Моя хата с краю» — как это цинично и какое отсутствие христианской любви! Мы не можем помочь, но — понять!.. Тем более — не смотреть сверху вниз. Несчастные люди! Полвека живут за рогатками и о том, что делается в мире, слушают злую ложь. «Ложь — религия рабов и хозяев» — писал Горький, и нигде это так жутко не представлено, как в современной России... А насчет того, что пьют, — это, я думаю, все от невозможности распорядиться той созидательной силой, которой так одарен наш народ. Эта сила требует своеволия, как ребенок требует, чтобы ему не мешали делать его десять тысяч движений в день. Один видит призвание в том, чтобы вывести на своей земле новый какой-нибудь сорт капусты; другой хотел бы открыть ателье мод; третий — написать картину не по партийному вдохновению. Но людям разрешено пользоваться прометеевским огнем только для освещения «здания строящегося коммунизма», которое, конечно, никогда не будет достроено до конца. Понимаешь: лишение человека права свободно себя выразить — это ведь духовное оскопление нации, я уверена! И люди сознают, как бессовестно их ограбили, и заливают горечь обиды водкой...

Моб кончает и ждет моей реплики.

Я молчу. Мне неловко, что я — как раз, может быть, из тех равнодушных, которых она клянет. Как, интересно, она перевела своим слушательницам «Моя хата с краю»? «Спасение утопающих

есть дело самих утопающих»?.. Влияние Бурова на Моб очень велико, но я не чувствую в себе никакого желания «побуреть». Не представляю себе, как можно постоянно дышать одной политикой и не задохнуться. Ось человеческого духа, по-моему, проходит мимо политики, и только на этой оси лежат подлинно гармонические свершения, в том числе и творческие, языком слов или красок — не знаю, как лучше выразить... Коммунизм — только политика, а не категория духа, и борьба, которая сейчас происходит, не есть борьба за победу коммунизма или демократии, но за то грядущее «третье», которого ищет мир. Моб уверена, что в становлении этого третьего главную роль будет играть любовь...

Она ждет моей реплики.

Я молчу. Я не думаю, между прочим, чтобы пьянство стимулировалось несвободой: во многих вполне демократических странах потребляют алкоголя не меньше, чем в СССР.

Но — не возражать, чтобы не вышло спора!..

11

— Опять бессонница? — спрашивает Антипуров, перегибаясь через перила, чтобы разглядеть мои отнюдь не утренней свежести щеки. Мы теперь часто встречаемся этак по утрам на балконе. Диалоги над перилами — на отвлеченные темы.

— Душно, хоть и осень в календаре! — жалуюсь я. — И проклятые шумы! Сегодня мне приснилось, что холодильник дважды нападал на меня и что у него выросла китайского типа бородка.

— Дело не в шумах! Слишком враждебен этот город людям иоаннического склада. Вспоминаю наши русские субтропики: дворик с фонтаном, в бассейне — бутылки с красным вином и нарзаном, коврик с подушками и четырехчасовой обеденный перерыв в учреждениях. А тут — не до созерцаний, тут прометеевцы, тут миллионы органических радиопередатчиков, с которых срывается суета, вожделение, ненависть. И все это — волнами в воздухе, и всем этим дышим, и все откликается в нас тревогой и безнадежностью. Блажен, у кого душевные приемники заглушены на прием, кто этих внутренних передач не замечает. Горе чутким!..

И, выжав на перилах три локтевых подъема (зарядка!):

— Приезжать сюда надо безусым юнцом. Еще лучше — дошкольником. Тогда есть у вас шанс усвоить эту безвкусицу во всем: пошлое пенье, мерзкое подобие музыки, все эти фейерверки и выверты, рассчитанные на эффект... Вот, например, это, — продолжает он, размахивая над перилами электробритвой с дополнительным проводом (я забыл сказать, что он и брился на балконе же, после зарядки). — Посмотрите, как завлекательно выглядит: фут-

ляр под сафьян, бархат внутри и блеск! А вместе с тем — какой вывих изобретательской мысли! Контактовый шнур почему-то отъемный и выскакивает во время бритья по нескольку раз. А для него сотворен специальный заманчивый ящичек — ящик в ящике! который мученье закрывать, а не закроешь — не закрывается и сам футляр. Далее: выключатель так нелепо пристроен, над самым обхватом кисти, что непременно, покуда бреешься, раза три заденешь его и выключишь ток. Дьявольски неудобная штука, и дерет так, что того гляди схлопочешь рожистое воспаление, но — треск на весь квартал, но блестит, но приделан регулятор скорости, как на автомобиле — все в расчете на вкус покупателя-пошляка.

Тема пошлости у Антипурова — одна из излюбленных. Он считает, что конец пошлости наступит, когда начнет создаваться новая аристократия — аристократия духа, как он говорит. Покуда же «модное» в творчестве и быту — заказ человека массы, бездарного и тупого, дирижируемого в своих вкусах телевидением и кино, которые, в свою очередь ... — и так далее.

— Относительно музыки, — замечаю я, — только вчера вы рассказывали, что ходите постоянно на здешние симфонические концерты и что таких блестящих оркестров в Европе не сыщешь.

— Гм ... — говорит он, и добавляет, не совсем уж впопад: — А кто их слушает? ..

**
*

Оазисы вздорных снов среди бессонницы:

Длинная шеренга друзей и близких, которых уже нет — погибших в войну или замученных.

Шеренга — по росту, и мысленно примериваюсь, куда самому?

Парад усопших!

И будто мне велено его принимать.

Потом приезжает гигантский экскаватор с красными звездами на боках и начинает рыть.

— Что это будет? — спрашиваю у негра, который им управляет.

— Братская могила, — отвечает он, жуя резинку.

— Разойдись! — командую я — и усопшие исчезают.

Экскаватор взбрасывает вверх стальную лапу и ползет на меня. Я кричу ...

После я занят памятником на братскую могилу.

Памятник изображает «Победительницу». Я леплю модель из какой-то удивительно податливой серой глины, и испытываю необъяснимое наслаждение, когда она послушно укладывается под пальцами в почти музыкальные выпуклости и складки. Модель все увеличивается по мере работы — и вот я делаю статую уже в натуральный рост, сидящую на скалистом цоколе, как Лорелея. Потом

долго и мучительно бьюсь над одним непередаваемым поворотом шеи и плеч, отраженным во всей композиции. Потом вдруг чего-то неожиданно и потрясенно пугаюсь и просыпаюсь в испарине...

А после завтрака (это уже наяву) иду в мастерскую и набираю себе верхом корзину массы, из которой у нас проектируются новые модели-слепыши. Не отвечаю на вопрос лаборантки, зачем мне это понадобилось: становится не по себе от мысли, что кто-то будет теперь ждать от меня шедевров. Вдруг ничего не получится?

Проклятая масса сопротивляется моим обжатиям, как булыжник. Я пытаюсь сделать ее эластичнее с помощью специального патентованного растворителя — перемазываюсь сам и забрызгиваю весь пол мерзкими, быстро засыхающими клецками.

Не получается!

Моему импрессионизму (Боже сохрани определить так мое эпигонство при Моб!) недостает красок и выразительности в пластических формах.

А может быть — просто таланта? У кого-то из наших поэтов:

Я чувствую, мой дар в поэзии погас
И муза пламенник небесный потушила...

**
*

Неожиданная аэрограмма от Дины (вторая кряду — первая была очень личная и я ее не хочу приводить). Текст: «Интересуюсь сейчас книгами о жизни. Один здешний служитель культа сказал мне, что русская философия — вся в эмиграции. Правда? Пришлите, пожалуйста, списочек — что всего важнее прочесть»...

12

Кажется, ради меня («отвлечь») Моб затеяла салонные среды, к которым готовятся пирожки и северные мелкие, на одну ротушку, декоративные бутерброды.

Приходят покуда трое: М., Антипуров и одна девица, тоже весьма декоративная, с эмалевой улыбкой и в лунного цвета парике. Девица поет под банджо металлическим голосом местные песни. Она — из новых знакомых Моб.

Назначение ее несколько загадочно, если учитывать слабость Моб к устройству браков: для кого она здесь? Не может быть, чтобы для меня. Вряд ли и для М. — он в эти посиделки откровенно не сводит глаз с Моб. Антипуров же вообще женофоб, и когда однажды я замечаю ему, что девица с банджо, слушая собеседника, весьма женственно опускает глаза, он взрывается:

— Женственно?.. Это понятие тут давно уже архаизм. «Нет женщин — есть антимужчины» — это как раз относится к здешнему краю. Местные представительницы прекрасного, с позволения сказать, пола этой самой пресловутой женственности лишены начисто. Поэзия отлетела от них, не оставя ни самомалейшего следа. Цинизм этих бывших Дульциней стал угрожающим не только для романтических дон-Кихотов, но и для прозаических Санчо Панс, для здешней семьи, для нации в целом — да! да!.. Хорошо еще, что они не очень рвутся к науке, иначе, вероятно, изобрели бы себе роботов для продолжения рода и прочего обслуживания, а нас, другую биологическую подробность двуногих, отменили бы за ненадобностью. Что? Вы не согласны? Посмотрите, как они одеваются, как жестикулируют, какие у них плотоядные линии рта...

Мы оба — Моб и я — протестуем, называем с полдюжины прославленных местных красавиц, но переговорить Антипурова невозможно, да и невыгодно: гораздо интереснее его слушать.

О девице с банджо я, кажется, больше ничего не скажу, а антипуровские монологи и реплики, какие запомнил, записать стоит. Даже и на политические темы — в спорах, например, с М. о судьбах здешней страны.

— Теперешние ваши рыцари демократии, — рубит он, — стоят на голове, как клоуны в цирке. Рыцарство заставляло когда-то белых гибнуть в крестовых походах, и, хотя марксисты и подводят под эту затею интересы наживы, кровь лилась человечья и резались головы, а не купоны. А под схоластику демократии не подведешь и интересов наживы — это просто инерция выветрившихся лозунгов, которые подкидывает вражья сила, чтобы еще больше оглупить растерявшееся человечество.

— А что растерявшемуся человечеству предлагаете вы? — спрашивает М. невозмутимо.

— А мне предлагать нечего, потому что и без моих предложений все рано или поздно придет к намеченному концу. Но для любителей политической суеты рекомендовал бы поправки к демократии. На очереди — лозунги, которые укрощают. Что-нибудь вроде отказа от решения вопросов «большинством дураков».

— Вы фашист?

— Господь с вами! Я никто с точки зрения политической платформы. Но неужели не ясно, что здешнюю демократию нужно лечить от нее же самой, иначе в один прекрасный день она рискует проснуться за колючей проволокой?..

**
*

Верный своему хобби, М. часто приглядывается ко мне — ему кажется, что это выходит у него незаметно.

— Сколько вам лет? — спрашивает он как-то.

Я отвечаю.

— Видите ли, — говорит он помолчав, — иной раз в таком возрасте наступает «философическая депрессия», как можно было бы это назвать. Человек начинает ощущать конец жизни и, так сказать, тщету позднего существования, когда ни сделать чего-нибудь нового, ни как-нибудь воротить утраченное уже нельзя.

Он кое-что угадал: я действительно, особенно в бессонницы, остро ощущаю пустоту, которую оставляет, уходя от тебя, жизнь. И изъясняясь фигурально, сам себе напоминаешь календарь, в котором все уже листки перевернуты, и обшарпаны кромки, и где-то мерещится обведенная черной рамкой заметка: «Такого-то числа тихо скончался» . . . Хорошо, если скончался, а не выбыл из строя мыслящих и говорящих еще до отбытия в мертвые. И лежишь полутрупом, и всем тяжко на тебя смотреть, и отводишь глаза от заботливых рук, подкладывающих под тебя судно . . .

А забывая про черную рамку, начинаешь думать отвлеченнее, но не светлее — о том, что ничего особенного за свой век не свершил, никакой не достиг исключительности и, как все, стоишь в общем хвосте за газетой с незначущими для тебя ни черта новостями . . .

— Может быть, вы и правы, — отвечаю я.

— Вам бы передвигаться в большем радиусе, — говорит он через паузу, продолжая мысль о полезности для меня путешествий. — Вы бы купили машину. Была она у вас в Европе?

— Была, разумеется, — говорю я. — Шофер я неважный, но это — идея!

Боже, какую баталию пришлось мне выдержать с этой идеей у Моб! Она уверена, что кнопки и рычаги враждебны моей рассеянности и что рано или поздно я что-нибудь роковое в них перепутаю и сверну себе шею.

— Движение тут сумасшедшее, гибель для нервов! — восклицает она.

— М. думает, что, напротив, для моих нервов это как раз хорошо.

— Он так думает? — спрашивает она, покраснев.

Очень непривычно видеть смущение Моб! . .

. . . . . .

И вот я вожу ее за продуктами в какой-то полюбившийся ей железобетонный закром, выстуженный внутри и раскаленный снаружи. Она, видимо, довольна и только, когда я еду один, умоляет «ради Бога не мчать сломя голову».

Сломя голову я тем не менее мчу не раз, с увлечением. Охлаждает лишь то, что не удается домчать ни до чего примечательного — удивительное вокруг однообразие: гладь и пусть с переливами из желтка в терракоту, с подпалинами разных лошадиных мастей — гнедыми, соловыми и караковыми. По сторонам — заправочные

сине-белые ящики и автокладбища, — всё в красноватой пыли, похрустывающей на зубах.

— Я слышал: в вашем краю есть места живописнейшие, — говорю я М. — Но кругом нас уныло.

— Мы строим неподалеку озеро. Хотите взглянуть? — оживляется он, и в глазах у него вдохновение прометеевского человека, устраивающего свой быт, которое очень нравится мне в здешних людях.

Мы едем взглянуть.

Совсем, видимо, близко от цели нас останавливает красный флаг. Вздрагивает воздух — и впереди взлетает подорванная каменистая целина. Когда начинает садиться на нас рыжая пыль, мы трогаемся.

Котлован, спору нет, внушителен; кое-где, на опытных, верно, участках, уже поблескивает вода. По краям — обшлага вывернутой породы.

Я вынимаю блокнот — набросать это для Моб.

— Здесь насадим деревьев, уже больших, футов по пятнадцати, — говорит М., поглаживая рукой в воздухе воображаемые берега. — Здесь будет гостиница и ресторан. Дальше — раздевальные кабинки и лодочная станция. Везде цветники и газоны. Да, да! Мы строим не только озеро, мы строим пейзаж! На будущий год приедете сюда с этюдником и купаться . . .

— Если будем живы . . . — как любил оговариваться Лев Толстой.

13

Моб едва терпит Антипурова — за «брюзжание на всех», как она говорит, и эгоцентризм. Напрасно! У него очень интересный склад мыслей. «Надо бы жить побездумнее! — сказал он на балконе вчера. — Человек должен быть по природе своей наивен. Во-первых — потому, что не знает и никогда не узнает всей тайны возникновения вселенной и собственного своего естества; во-вторых — потому, что, зная бессмыслицу смерти, притворяется, что недопонимает ее и поэтому не пускает себе пулю в лоб заранее».

Я не возражал ему: жить побездумнее представляется и мне иногда идеалом. Я только добавил, что страдающих бытийными проблемами становится все меньше и меньше, поскольку размышления вытесняются машинами так же стремительно, как и мускульный труд. Поэтому, думаю я, все, вероятно, кончится всеобщим животнейшим благополучием, что само по себе будет разрешением вековых задач и загадок.

— Может быть, вы и правы . . . — ответил он и сыграл «чижика».

**
*

Грустно, что я окончательно перешел к записям изо дня в день. Может быть — потому, что все меньше способен сосредоточиться на чем-нибудь сложном и живу последнее время с почти постоянным ощущением какого-то приближающегося несчастья. «Она нехороша для него, эта страна» — пустейшие слова ясновидящей все чаще приходят мне на ум.

Но — дневник так дневник!

**
*

Письмо от Дины.

Среди скупых, почти никаких сведений о себе — мысли, которые отчасти продолжают одну из тем наших разговоров, но все-таки неожиданны и знаменуют некий решительный в ней поворот.

> «Прощай, ненависть! — пишет она. — О, как я теперь ощущаю сладость этих слов, когда произношу их! — Прощай, ненависть! Прощай навсегда! Люди немилы или хороши — в зависимости от впечатления, которое подсказывает нам сердце, — не от послужных или налоговых списков, в которых обозначены их сословие, богатство или принадлежность к какой-либо партии. Их основная принадлежность — принадлежность добру. Их основная эволюция — эволюция к добру. Их отрешенность от добра печальна и временна. В принадлежности к добру — красота их души, излучающаяся и внешне. Подлинная красота в человеке — всегда от добра, как и в природе победительно и прекрасно не тление, не самумы, засыпающие все живое, но первая зеленая почка, но пчела на цветке... Ребенок с вымазанными медом щеками и тоже липкими лапками, которыми он пытается их вытереть... Боже, если Ты есть, благодарю Тебя за то новое, что открывается мне теперь! Прощай, ненависть!»...

Было что-то не совсем в стиле, но я читал и перечитывал эти слова, и мне казалось, что они звенят, как металлические шарики либо кольца по поверхности камня, а за звоном — что-то еще значительнее и важнее того, о чем они говорят. И уж во всяком случае значительнее того, что мог бы попытаться добавить я в качестве комментария.

Я и не пытаюсь...

14

Со мной все хуже. Что это за недуг-невидимка, который так подчиняет себе человека, гвоздит неотвязным впечатлением либо мыслью, крадет сон или, страшней того, мешает его с явью, так что иногда и не различить, спишь ты или нет.

Да, вчера под утро я видел, как Моб в серой спальной пижаме вошла в мою комнату и закрыла окно. Отброшенная светом уличного фонаря, на стене заворошилась ее тень. Я слышу щелчок шпингалета и ломкий шорох туфель из гонконгской соломки, которые она себе недавно купила. Она останавливается на секунду у моего письменного стола, и мне приходит в голову, что ни на одном из ящиков нет запора и что в мое отсутствие она, наверно, в них заглядывает.

Потом она спрашивает:

— Какая тема этих твоих записок?

— Болезнь одной души, — говорю я.

— Какая болезнь?

— Не знаю. Вероятно, она так и называется: «не знаю, какая болезнь».

— Может быть, это смятение возраста? Но разве старость — 56 лет?

— Может быть...

— Поздняя любовь?

— Это звучит как пошлый романс.

— Она на тридцать лет моложе тебя.

— «Ее» вообще нет.

— Правда, что ты пишешь себе сам от нее письма?

— Пишу я?..

Трагедия — в том, что я не уверен, был ли на самом деле такой разговор или только мне померещился. Но Моб я видел, живую, не призрак! И я, кажется, побледнел, когда утром, за завтраком, она сказала:

— Ветер захлопнул ночью твое окно, я слышала, как оно стукнуло.

— Это не ты закрыла его?

— Как, интересно, я могла войти к тебе, если ты запираешься? — возразила она.

В самом деле: последнее время я запираю дверь, чтобы не воображать, что вот-вот увижу, как кто-то потихоньку открывает ее снаружи.

15

Письмо от Вилли.

За разными «как поживаете» и пустяками — довольно тревожно о Дине, которая после неудачных родов, как он пишет, «очень тоскует». И дальше: «Просится путешествовать. Вспомнила вас и сказала: «Возьму и поеду к ним в гости за океан. Как снег на голову». Пожалуйста, намекайте ей, что это немысленно».

Почему «немысленно»?..

— Что ж, милости просим! — пожимает плечами Моб. — Только, разумеется, это болтовня.

«Как снег на голову» . . .

На самом деле, вернее всего, болтовня. Но что поделаешь, если мысль об этом кружит мое бедное воображение. И выкруживает, как в калейдоскопе, самые невероятные комбинации и эпизоды: телеграмма с самолета («Лечу к вам!»); звонок с аэродрома («Жду у главного входа. Потеряла адрес»); совершенно неожиданная встреча на улице . . . Или: Дина у нас, в комнате для гостей, одевается к ужину. У нас «среда»: Моб хлопочет на кухне; мы — Антипуров, М., я и девица с банджо — ждем, и я соображаю, в каких выражениях ее им представить. Экстренно заказано и только что принесли пианино. Дина долго играет, и щеки у нее пунцовы до самых висков. За ужином я произношу тост . . .

И так далее.

Везя Моб в ее магазин, я ловлю себя на том, что рассматриваю кучки зевак у витрин, пассажиров, высыпающих из автобуса, профили в такси, среди которых мерещится мне профиль Дины. Бог знает что такое! . .

С лихорадкой воображения связан один, тоже почти невероятный, эпизод, о котором сейчас расскажу.

Это — в конце прошлой недели.

Еще за утренним чаем я говорю Моб, что после завтрака поеду куда-нибудь за город.

Я говорю «поеду», не «поедем» — и вижу на лице ее плохо спрятанную тревогу: может быть, у меня после бессонной ночи действительно не столь уж здоровый вид.

Садясь за руль, я испытываю ощущение наркомана: невыразимая тяжесть скатывается с плеч, мое приземленное «я» становится легким, как облачко. Оно, это «я» или облачко, неотделимо теперь от полукрылатой крутой металлической груди мустанга, обжимаемой встречным ветром. Авто-мустанга! — что значило бы творчество конструктора, если бы оно не было обогащением природы! Я безошибочно угадываю в этой своей машине смелые и благородные черты скакуна. Я почти вижу, как под красным, цвета сгустившейся крови лаком бьются пухлые жилки, нетерпеливо перекатываются мускулы. Вот я включаю скорость — они вздрагивают и набухают, посылая вперед светом и тенью перемежающееся тело. Оно тотчас же становится теплым и дышит. Я увеличиваю скорость еще и еще — мускулы напруживаются до предела, вишнево-красные покровы и линии наливаются огнем и вибрируют, вздрагивает ветровое стекло, как в скачке лошадиные ноздри, — все начинает дрожать восторженной дрожью скорости . . .

На секунду я закрываю глаза и представляю рядом с собой на сиденье Дину. Она бледна и задерживает в груди дыхание, она го-

ворила мне когда-то, что боготворит быструю езду. Ноздри у нее побелели и тоже вздрагивают.

Как изобразить движение?

И как изобразить неподвижность в движении — предметы, лица, и пятна, и линии, мимо которых ты пролетаешь?

Одни из них растекаются, как бы расплющенные этим сумасшедшим пролетом мимо; другие сжимаются и изворачиваются, как выкручиваемое руками белье; одни, взмелькнув по краям, тут же исчезают; другие — напротив, бегут рядом, как облаивающий вас пес. Ближние лениво загребают навстречу саженками, медлительно, но готовно оставаясь позади; дальние плывут по параболе, как бы дразня вас невозможностью освободиться от них. «Разве ж это движение? — иронически спрашивают они вас. — Движение, которому могли бы мы покориться, — это выстрел!»

Хип!

Хип!

Хип!

Обожаю этот мгновенный и узкий, как лезвие, звук воздушной струи, расплющенной между двумя машинами — встречной и вашей; серые блесткие прошвы дорог, обсыпанные по краям столбиками, мерцающими, как ресницы, за которыми — влекущее вас пустоглазое «никуда».

Хип!

Хип!

Хип!

Поразительно, как я избегал до сих пор штрафов! В этот раз, о котором рассказываю, особенно долго шел слева, оставляя всех позади. Никто и не пытался меня обогнать, только однажды стала наседать сзади голубая спортивная машина. Женщина за рулем была хороша собой и, насколько я мог разглядеть в свое зеркальце, готова была испепелить меня за помеху. Я не уступал — и она обогнала меня справа, что, кстати, тоже запрещено. Какую-то долю секунды шли мы рядом, и она, взглянув на меня вполоборота, сделала пренебрежительную гримасу, какую только и можно ждать от такого бесконечно жестокого существа, как женщина, когда она не мать, не жена, не любовница, а просто ничья красавица, в ничейном своем ожидании презирающая не значимых для нее мужчин. Она сделала гримасу и поехала вперед с совершенно уже непозволительной скоростью.

А я снял ногу с газа.

То, о чем я хочу рассказать, произошло минут пять спустя.

Открытый цвета сливочного мороженого кабриолет вывернулся вдруг с обочины в полутораста всего метрах от меня, вырулил круто на левый обгонный путь и понесся, плавя в лаковых боковушках солнце и уменьшаясь на глазах.

За рулем — узкие в зеленом свитере плечи и гордо посаженная голова с русым крупным узлом на затылке.

Дина!

Мы узнали ее мгновенно — мое и 120 сердец моего мустанга, и для нас разом перестало существовать все на свете, кроме этого русого узла и уносящегося прочь сливочного пятна, взблескивающего на рессорных подскоках...

Дина!

Теперь, когда все это записываю, бегут на язык десятки трезвых вопросов. Почему она, перенесшись через океан, миновала нас с Моб как пристанище? Почему стала бы носиться по здешним бесконечным дорогам? Почему в таком вызывающе дорогом авто, которым и управлять-то, вероятно, трудно без особой привычки? Почему?..

Ни одного из этих «почему» у меня тогда не возникло.

Я без труда обошел три шедшие между нами машины: скорость, которую я выжимал, была выше воображения их водителей. Сливочное пятно стало мишенью, коробка скоростей — прицельным приспособлением.

Хип!

Хип!

Хип!

До сих пор вижу перед глазами беззубо-паническое лицо старика верхом на автокосилке, напоминающей саламандру, — я не зацепил этого старика, разумеется, но красный воткнутый у него за сиденьем флажок сорвало напрочь воздушным ударом.

Сливочный кабриолет, заметив погоню, прибавил, кажется, ходу. Но — все равно! лаковые блики становились все ближе — мы заглатывали расстояние, как акула наживку. Мне показалось, я видел, как Дина чуть вскинула вверх подбородок.

Дина!

Я видел знакомый едва заметный поворот шеи и плеч «Победительницы», переживал его и задыхался... Мы шли теперь метрах в двадцати друг от друга. Еще минута — исчезли бы и эти двадцать, или наше с мустангом 121 сердце брызнуло бы на воздух...

И вдруг — желтая диагональ предупредительных тумб и мигалок: одна колея!

Огромный строительный грузовик вываливается откуда-то слева и крадет видимость.

Ползу за ним в сизой поземке выхлопов и неожиданно окунаюсь в черноту.

Туннель!

Два красных зрачка с широкой переносицей подрагивают впереди на ухабах: здесь что-то чинят. Проклятый грузовик сворачивает

наконец на смежную колею не то в нишу, и вдали открывается голубое устье, похожее на бутылочное горлышко.

А когда мы с мустангом из него вытекаем — горячая с белыми поперечинами плавленного солнца дорога *пуста*.

Пустота эта так неожиданна, что я отпускаю педаль и зажмуриваюсь. Под прикрытыми веками сверху вниз проплывает голова с узлом на затылке, а от груди к горлу — отчаяние.

А когда открываю глаза — наваливается вдруг слабость. Надо бы стать на обочине, где разрешается останавливаться в случае происшествия. Если человек едва удерживает в руках руль — это ведь происшествие . . .

Но пересиливаю себя и еду, на спидометре километров 30, не больше. Тоже запрещено здесь, но никого нет, я один.

В этом темпе все вокруг обретает особенно отчетливые очертания. Почти выкрикивает справа указка:

«Аэропорт».

Съезжаю механически и через несколько минут шарю глазами по узорно, как вышивка «козликом», запаркованным машинам. — Нет, сливочный кабриолет канул как в воду.

Больше всего на свете хочется сейчас выпить чего-нибудь, от чего отпустило бы это почти сомнабулическое бессилие и тоска.

В зале с баром я вижу М.

Он стоит почти у самых дверей, и мне почему-то представляется, как это ни невероятно, будто *ждет* меня здесь.

— Летите куда-нибудь? — спрашиваю я.

— Да, в ***, — он называет город в одной из северных провинций, откуда родом. Потом закладывает руки за спину, чуть прикусив губу, — это означает у него обдумывание и выходит так сосредоточенно, что мне кажется я слышу, как шуршат его мозговые извилины, перемалывая мысль.

— Мне пришло в голову, — говорит он, выпрастывая руки из-за спины, — хотели бы вы полететь вместе со мной? У меня там свои владения. Переночуем и уже завтра к вечеру вернемся назад. Есть еще полчаса до отлета. Позвоните Моб — и она привезет вам пижаму и бритву.

— И ящик с красками! — кричит он мне уже вдогонку, когда иду к телефонной будке. — Там необыкновенно хороша осень . . .

16

Бурундучок в полосатом, как на картинах Манэ Каца, халатике, присел на задние лапки шагах в трех от меня и зачесал за ухом, как гоголевский подьячий, ожидающий взятку.

Я бросил ему орех — и он ловко спрятал его за щеку, став похожим на дьячка с флюсом из чеховской «Хирургии». Я бросил еще один, и еще — он насовал их за обе щеки равномерно и теперь, неожиданно скуластый и с усиками, походил на поэта Брюсова.

Огромный, первобытной шершавости камень, сползающий в озеро. Посередине — рыжие пятна хвои, по краям — плюшевая плесень. В нем — что-то сказочное, напоминающее о граде Китеже. На нем — мой мольберт.

Вода подле каменной кромки зеленовата. Потом голубеет и на другой стороне упирается в настоящее буйство красок.

Все это — в северной, совершенно ошеломительной провинции, куда завез меня М.

До того летели четыре часа на самолете, принадлежавшем, оказывается, нашей компании.

Летели невысоко, видимость была превосходная, я не отрываясь смотрел вниз. М., широкоплече устроившись в кресле, шуршал газетой. Раза два-три я чувствовал на себе его выжидающий взгляд.

Что ж, простор и богатство этого края великолепны в самом деле!

Мне вспомнилась Моб, которая на одном из своих вечеров обсуждала с М. разные общественные тревоги, связаные с инфильтрацией ненависти также и в здешний быт, — неужели даже такую мощь удастся ей подточить?

— Подточить нашу мощь? — переспросил М., кладя в подлокотную пепельницу свою сигару. — Я не думаю . . . Кажется, что у Моб, как и у многих русских, несмотря на их знаменитое «нитшево», слишком много неверия в будущее. Мы оптимистичнее . . .

— Отсюда в получасе у меня бунгало, — сказал он на аэродроме. — Хотите, переночуем там вместо гостиницы. Вечером услышите певчих гусей, а утром я — по делам, и вы сможете сделать кое-какие наброски — местность славится живописностью как раз в листопад.

И вот я кормлю бурундучка орехами, согреваясь на все еще теплом солнце: ночью было зябко, несмотря на щедро разведенный камин. Певчие гуси — достопримечательность в самом деле. Собственно, это не пенье, но перекличка: кто-то из пары начинает в два тона — нижний, короткий, и верхний долгий, призывно-томительный, среди тишины и треска камина — очень лирический и музыкальный. Спустя несколько секунд прилетает ответ, похожий на тирольское «йодельн» — этакое капризное, почти истерическое звукоклокотанье. Мысленно я приписал было лирический призыв самке, но, вспомнив антипуровские суждения об этой стране, стал колебаться. В общем, это пустяки . . .

Итак я кормлю бурундучка орехами и пытаюсь перенести на холст осеннее половодье листа — кисть набирает «багрец и золото»,

синьку — для почти италийского колера неба; на синьке — горы, к неожиданности которых глаз вообще отказывается привыкнуть . . .

Это пиршество цвета немыслимо передать. Передать можно лишь впечатление — и вот откуда рождается импрессионизм!

Оно, это впечатление, снова ввергает меня во власть «Победительницы». То есть — в неудержимую охоту повторить в новой композиции тот синтез почти мистического движения и покоя, который, кажется, я когда-то нашел и который теперь нужно было мне найти по-другому — в этой вот взлетающей к небу россыпи красок и сказочной недвижности камня, на котором легкая глыбка человеческого тела сквозила бы, как коралл . . .

Сзади меня — старенькое бунгало, пахнущее внутри жухлым тесом, с паутинами по углам. Из расщербившейся слегка трубы — дымок: я подкинул в камин сосновых поленьев.

И после возвращения М., когда мы садимся в машину, чтобы ехать на аэродром:

— Хотите купить у меня этот клочок берега? — спрашивает он. — Летний отдых для вас и Моб.

— Чтобы «купить», я еще недостаточно здешний, — говорю я. — По крайней мере, судя по банковскому моему счету.

— Вы ошибаетесь. Это будет вам стоить . . . — позевывая, он называет ничтожную сумму. — Плюс, конечно, кое-что за переделку жилья, — добавляет он.

— Но это подарок?

— Ничуть. Это то, что я заплатил сам лет десять назад . . . вы найдете справку в бумагах. Теперь у меня тут другое, и это мне ни к чему, а наживаться на вас я не собираюсь.

— Гм . . . — говорю я.

— Заметано! — говорит он, то есть я так перевожу на русский то, что он говорит.

А когда, идя к машине, я оборачиваюсь, и глаз выхватывает кусок крыши с дымком и в потухающем солнце бухточку с камнем — я вдруг ощущаю себя собственником, то есть представляю себе, что на этот могучий камень, сплывающий под воду, как стена града Китежа, уже не смеет без моего разрешения ступить блудливая чужая нога, — и меня словно подкидывает на шагу, и я оборачиваюсь еще и еще раз, покуда не становится мне совестно перед М.

Но он, разумеется, делает вид, что ничего не заметил . . .

17

«Искусство — источник правды, без которой невозможна жизнь человеческого духа», — откуда-то цитирует Моб, и я не могу припомнить, откуда именно. — «Художник, всегда верный своему соб-

ственному видению мира, охраняет свободу человеческого духа от того ложного, что навязывается ему властью или толпой».

Я не могу припомнить происхождения цитаты, но догадываюсь, что Моб как бы репетирует со мной предстоящее интервью. Она добилась-таки своего: через месяц ее клуб устраивает мою выставку. По ее настоянию я вот уж с неделю вожусь с разбором всяких своих вещей — распаковываю, чихаю от пыли, сортирую. Все это отвлекает, но не приносит ни малейшего удовлетворения. Напротив: то, что я сделал в последние десять-пятнадцать лет, кажется не стоящим никакого внимания.

И тем не менее, двое лохматых, с которыми она недавно меня познакомила, придут на днях получать от меня материал для статьи.

— Я надеюсь, ты будешь тактичен в отношении здешних новаторов! — говорит Моб.

Я буду тактичен с новаторами, но воздержусь от всяких им дифирамбов. Современный модернизм в живописи безжизнен. Язык любой творческой формы мертв, если он не оказывается одновременно и языком человеческого духа, как только что вычитывала откуда-то Моб. Модернисты этот язык, как мне кажется, умерщвляют. Толпа охотно сбегается на трупы — ей безразлично, на что ни глазеть, но творческой мысли в анатомическом театре делать нечего.

— Модернизм в своей бездуховности такое же антиискусство, как и социалистический реализм с его запретительной тенденцией, — говорю я к ужасу Моб...

. . . . . .

**
*

Только что вечером, несколько минут назад:

Взрыв либо орудийный выстрел.

Уже поздно, и я думаю о том, что бы это могло быть: вряд ли на стройке озерного пейзажа рвут породу даже по ночам...

И вдруг негромкое и вместе испуганное «О-о!» Моб.

Я подхожу к окну и смотрю вместе с ней на зеленоватую воронку неба.

Все как обычно...

Еще выстрел, и Моб судорожно сжимает мою руку: багровый огонек, почти искра, вспыхивает и гаснет совсем рядом с маленькой нашей звездой.

Снова выстрел — и тот же огонек, похожий на разрыв зенитного снаряда.

Два прожектора, молочного серебра, скрещиваются и шарят по небу. Один тут же гаснет, а другой сверху вниз, как зеркальную

витрину, протирает прозрачную прозелень между кипарисами и исчезает за горизонтом.

И тогда мы с Моб дружно вздрагиваем:

Звезды нет!

— О-о! — произносит Моб грудным выдохом, почти беззвучно. — Они потушили нашу звезду . . .

Некоторое время мы стоим молча.

Потом я сажаю Моб в кресло и ухожу к себе.

Я записываю происшествие.

Действительно это — происшествие? Или — мираж, больное воображение, бред? Могла заполнить меня эта звездная полумистика Моб так, что я уже теряю чувство реального?

Вот я сижу и щиплю пальцами правой руки запястье левой. Мне больно . . . Значит, это не воображение. Но что это? «Они потушили нашу звезду». Кто — «они»? Почему — звезду, или, во всяком случае, почему «нашу»?

Странная тревога является и растет во мне.

Кажется, меня зовет Моб . . .

ПРИМЕЧАНИЕ:

На этом обрывается рукопись, присланная мне сестрой автора.

На зеленоватой обложке выведено крупными буквами: «ДИНА». Потом зачеркнуто и такими же крупными буквами сверху поставлено: «СПУТНИЦА». Потом и то и другое заштриховано мелкой сеточкой и почерком круглым и твердым выписан новый заголовок: «КОГДА ТУШАТ ЗВЕЗДЫ». Тем же почерком снизу и справа приведены пастернаковские строки:

«Она пламенела, как стог в стороне
От неба и Бога,
Как отблеск поджога,
Как хутор в огне и пожар на гумне . . .»

В сопроводительной записке после скупого описания несчастья — просьба обработать манускрипт и, если хочу, печатать непременно под другой фамилией. Под моей собственной, если найду нужным.

Что я и делаю.

ДМ. КЛЕНОВСКИЙ

О том, как плотью мы легки,
Как наши годы облетают —
Отцветших яблонь лепестки
Весною нам напоминают.

О том, что данью наших дней
Мы так обманчиво богаты —
Недолгой пышностью своей
Предупреждают нас закаты.

Но нам невнятен их совет
И мы живем, как будто в мае
Ни яблонь, ни закатов нет
И вещих знаков не читаем.

Но высшая забота где?
О нет, совсем не в знаках этих,
А в том, что на пути к беде,
Мы недогадливы как дети!

1969

ДМ. КЛЕНОВСКИЙ

Сколько пело, плакало, любило,
Радовалось, обжигалось, жгло —
Только где ты, вечность, схоронила
Все, что прозвенело и ушло?

Неужели просто все пропало?
Или где-то, в непонятном «где»,
Все оно большим богатством стало,
Новой жизнью на иной звезде?

В сонме звезд она для нас не диво —
Ведь еще не знаем мы пока,
Что бессмертье каждого порыва
Нам она сулит издалека!

1969

ДМ. КЛЕНОВСКИЙ

Есть всегда такие вещи дома,
Что с тобой почти всю жизнь прошли:
Ложки, бритвы, ножницы, альбомы —
Мелочи заботливой земли.

Ты сроднился с ними и конечно
Иногда досадою томим,
Что когда умрешь — они беспечно
Подружатся с кем-нибудь другим.

Я решил: со мной, в моей могиле
Я велю их всех похоронить,
Чтобы так, как мне они служили,
Не могли они другим служить.

Поступлю как предок мой когда-то,
Что, заветы древние храня,
В смертный путь свой, избежав утраты,
Брал жену с собою и коня!

1969

Ю. КРОТКОВ

КРАСНЫЙ МОНАРХ

САТИРИЧЕСКАЯ СЦЕНА

От автора: Народный артист СССР, ныне покойный Михаил Геловани, с которым я был в близких отношениях, рассказывал мне о своей «исторической» встрече со Сталиным. Приглашенный Сталиным, он вместе с ним, а также с Лаврентием Берия и Михаилом Чиаурели, ужинал на загородной даче «вождя».

Разумеется мною использован лишь этот факт, все остальное плод художественного вымысла.

Что же касается версии о том, что Сталин был незаконнорожденным сыном князя Игнаташвилли, то об этом я слышал много раз, находясь еще в Грузии.

Дача Сталина под Москвой. Гостиная, она же столовая. У стен книжные полки, на них книги в красных переплетах. Круглый стол накрыт на троих. Грузинская закуска, много зелени, хлеб «торнис-пури», фрукты, несколько бутылок с боржомом и с лимонадом, три бутылки вина, стаканы, бокалы и рога.

Конец зимы. Вечер.

Сталин за последнее время сгорбился, ходит уже по-стариковски, но в данный момент оживлен, весел, аккуратно причесан. Он в форме генералиссимуса СССР. Через руку перекинута белая салфетка. Он осматривает сервировку стола, что-то поправляет, напевая вполголоса грузинскую песню «Токавда-токавда патара наргези». Потом он приподнимает скатерть, заглядывает под стол и считает сколько там бутылок с вином.

Входит Родионовна, худенькая, изможденная старушка, каких изображал Касаткин. Она в длинной старомодной юбке, в валенках, на голове платок в горошину; несет блюдо с кушаньем.

Родионовна. Вот и она... «Сацива».

Сталин. Не «Сацива», а «Сациви», Родионовна. Ставьте сюда.

Родионовна (*ставит, тянет носом*). У-х и пахнить-то. Покойник и тот глаза протрет. Ей-бо.

Сталин (*тоже тянет носом*). Протрет. Ей-бо.

Родионовна. И все-то вы сами. Вот ведь и энту «Сациву» сами приготовили. И энто «Лобио́». Кулинар вы, Сосив Виссарионович, и только.

Сталин. Так ведь каждый грузин, почтенная Родионовна, рождается кулинаром. Знаете кто в грузинской семье ходит на базар? Муж. А кто обед готовит? Тоже муж.

Родионовна. Чего же она делаеть?

Сталин. Сплетничает (*имитирует, как «она» сплетничает, говорит по-грузински: «Чемо дзвирпасо, гушин исети амбави ико, исети амбави...»*).

Родионовна (*вздохнула*). Наша, русопятая, рада бы покудахтать, да некогда.

Сталин. Вот в Москве, Родионовна, кур теперь продают уже разделанными. А в Грузии прежде покупали только живых. Резали их дома и в тот же день готовили.

Родионовна (*почти с восторгом*). Ох и убеждаюче вы их режите, Сосив Виссарионович.

Сталин. Кого, почтенная?

Родионовна. Кур, кур... (*Как бы обращаясь к третьему лицу и показывает жестами*). Возьмет, значить, ее, родимую, куру то есть, распластаить на земле, ногами станет на крылья, одной рукой голову-то оттянет и обныкновенным столовым ножем — тяп... готова, сердечная...

Сталин. А вот и нет, Родионовна. Она ведь, сердечная, без головы еще на земле трепыхается. Да, да, именно трепыхается. Не так ли?

Родионовна (*виновато*). Трепыхается. Кровью исходит.

Сталин. Вот это справедливо. Кровью исходит. Знаете ли, Родионовна, я в детстве подсчитал, сколько курица без головы живет? От двух до пяти минут. Представляете себе, от двух до пяти...

Родионовна. Вы что же, любите их резать или по необходимости занимаетесь?

Сталин. То есть как это по необходимости?

Родионовна. Ну, не доверяете другим. Мне и то не доверяете. А я видела через окно, однажды, как Берия попросил вас, мол дай я зарежу. Так вы на него даже цыкнули. Мол: ишь чего захотел!

Сталин. Как вам сказать, Родионовна... я вам, конечно, доверяю, вам одной, но тем не менее в вопросе кур... Я бы заметил, что занимаюсь я этим и по любви, то есть, по склонности, и по необходимости. А вот в Гори, помню, на той улице, где я жил, был Серапион. Работал он телеграфистом на станции. Так вот этот Се-

рапион всю свою жизнь резал кур для всех на нашей улице. Безвозмездно. Вот он, вероятно, делал это только по любви. Необходимости у него не было *(вытирает салфеткой бокалы)*.

Родионовна *(неожиданно)*. Стало быть из сапожников вы, Сосив Виссарионович?

Сталин. Нет, Родионовна. Я князь.

Родионовна *(оторопела)*. Кто-о? Какой такой князь?

Сталин. Настоящий.

Родионовна. Да неужто?

Сталин. Честное слово. Не верите? Хорошо, я вам расскажу... Жил-был, почтенная Родионовна, в Карталинии, а это в центральной части Грузии, некий князь Игнаташвили. Переспал, извините за грубое слово, этот князь со своей дворовой девкой Кеке и на свет появился мальчик Сосо, будущий вождь мирового пролетариата и всего прогрессивного человечества. Князь же, чтобы, как говорят русские, прикрыть грех, выдал Кеке за горийского сапожника, пьяницу Виссариона Джугашвили. Тот же, повинуясь законам классов, возненавидел мальчика Сосо за его княжескую наполовину кровь и, как говорят русские, лупцевал его как сидорову козу. Ей-бо. Вот видите у меня рука повреждена. Это с тех пор.

Родионовна. Господя...

Сталин. Вот, собственно, и вся моя родословная.

Родионовна. А как же в книжке-то написано... Сталин-пролетарий...

Сталин. Правильно в книжке написано, Родионовна. Я действительно пролетарий. Но тут, понимаете ли, комбинация. Все в жизни комбинация, почтенная. Тут историческая комбинация. С одной стороны я пролетарий, а с другой — князь.

Родионовна. *(невольно)*. Стало быть ублюдок?

Сталин. М-м... Ну, знаете ли... не совсем... Только, Родионовна, это все между нами. Это моя тайна. Это не для широких масс трудящихся города и села. Это для приближенных. Ясно?

Родионовна. Ясно...

Сталин *(оглядел стол)*. Эх, дорогая Родионовна, знали бы вы какие сказочные кейфы закатывали в былые времена грузинские князья...

Родионовна. Кейфы? Это чего такое?

Сталин. Пиры. Пьянки *(увлеченно)*: представьте себе где-нибудь в деревне, под развесистой чинарой, в имении какого-либо Чавчавадзе, на шампурах жарятся шашлыки, целые туши коров, овец, свиней, сотни, сотни кур. У любого Гаргантюа и Пантагрюеля слюнки потекут. Вино же подается в глиняных кувшинах, студеное, полувековой давности. А пьют из рогов, не из стаканов и не из бокалов, а из рогов. А тосты? Тостеби? Цицерону, да, да, Цицерону, почтенная, такие речи не снились. Уверяю вас, голубушка. И продол-

жались такие кейфы день, два, а то и неделю. Без перерыва. Не верите? Днем под солнцем. Ночью при факелах. Красота!

Родионовна. Выходит, без карасину обходилися.

Сталин. Да, без керосина обходились. Правда, к подобным кутежам готовились заранее. Полмесяца до того отсыпались, ели жирную пищу, глотали куски масла, чтобы сделать гортань и желудок невосприимчивыми к алкоголю. Проводили, так сказать, специальные мероприятия. А песни... песни какие пели? А танцы? На кончиках пальцев танцевали и даже на острие кинжала. Представляете?

Родионовна. Ух ты...

Сталин. Летом, Родионовна, князья были в белых черкесках и голубых бешметах, а газыри золотые, а рукоятки сабель даже с алмазами. А женщины надевали такие платья, какие царица Тамара носила.

Родионовна. Сомневаюсь.

Сталин. Почему, позволительно спросить?

Родионовна. Насчет женщин сомневаюсь. Мне Берия говорил, что прежде женщины, то есть бабы, у вас в Грузии в загоне были.

Сталин. Бабы — да. Это верно. Обыкновенные. Из простонародья. Княжны же и княгини, каждая Жорф Занд стоила. На европейских языках говорили. На клавесинах играли. Даже политикой занимались...

Родионовна. Сосив Виссарионович, вот Берия называет вас «батоно». Вы иной раз сердитесь, а иной раз это вам, как я приметила, даже по душе приходится. Это почему такое?

Сталин. Совершенно справедливо. Когда я себя чувствую все же князем, мне это по душе. Когда же я чувствую себя пролетарием, мне это не нравится. Ведь «батоно» означает «господин». Замечу, Родионовна, что почти все грузины до сих пор говорят друг другу «батоно». Но ведь почти все грузины до сих пор думают, что они князья *(смеется)*...

Родионовна. Сосив Виссарионович, ежели вы есть энтот самый князь, то почему бы вам по-господски не пожить? Разве социализьмь не позволяет? Да пес с ним с социализьмом. А то бы и с белыми черкешенками, с Жоржами Зандами, с клависинами. Ведь вы, по правде сказать, бедно живете. А ведь все одно, как царь, владыка всея Руси. Как это... Монарх...

Сталин *(шутливо, с сожалением)*. Красный монарх, Родионовна. Красный.

Родионовна *(не слушая)*. Вот бы в саду и закатить этакой пир на весь мир... а? Здорово, ей-бо, здорово.

Сталин. Хорошо. Но позвольте спросить: а где мы с вами возьмем остальных князей и княгинь?

Родионовна. А эти... ваши министры, генералы, их жены? Разве не подойдут?

Сталин. Э-э-э, Родионовна, куда хватили. Они же барахольщики.

Родионовна. Неужто?

Сталин. Какие там черкески, Жоржи Занд и клавесины. Правда, насчет драгоценностей, мне докладывали, что в московских ювелирторгах шаром покати. Да, да, шаром. Жены моих министров все скупили, даже серебро. Так сказать на черный день. А то вот прогонят их с места или кончится советская власть, что они будут делать? Что? Нет, Родионовна, мои министры, прежде всего, тунеядцы. Ловкачи. И потом, они хороши для, как русские говорят, выпивонов с закусонами. С ними хорошо водку глушить, очуметь, а затем непременно подраться, до крови, доказывая, что «Я не вор, а ты вор». Бездарно это, Родионовна. Глупо и грязно. Не-ет, грузинские князья кутили элегантно. Вот кончится, например, кейф, утром рано в экипажах и верхами едут в город опохмеляться у Самсона или Нико, чачу пить и хаши есть.

Родионовна. Чего это хаши?

Сталин. Суп. Бульон из костей с чесноком. Уф-уф... язык проглотить можно. Даже мы, революционеры, после наших конспиративных сборищ в Грма-Гели, это на окраине Тифлиса, выпивали ночью и на утро тоже ехали к Самсону или Нико. В одной, так сказать, компании с князьями опохмелялись... Эх, Родионовна, дорогая моя, знали бы вы, что такое грузинский духан. Это... это поэзия. Или если хотите, это эпос. Одиссея. Илиада. В местечке Пассанаури, к примеру, это на Военно-грузинской дороге, был духан, в котором круглый год на цепи разгуливал медвежонок, как только он подрастал, хозяин менял его. Одни названия духанов чего стоили. Как теперь у нас рестораны называются? «Заря севера», «Товарищ из Сибири», «Октябрьская мечта», «Парижская коммуна». А раньше? В Тифлисе были «Симпатия» и «Жизнь». А по дороге в Коджори «Бедный Гемо» и «Белый духан»... Да-а... Большевики все изменили. Но позволительно спросить: к лучшему ли? А? Как по-вашему, Родионовна?

Родионовна *(сразу)*. Этого я не знаю и знать не хочу. Я вот... я вот хочу спросить вас, Сосив Виссарионович... кого вы нынче в гости ждете-то? Поди почетный гость сегодня будет. Стараетесь вы очень...

Сталин. Что верно, то верно, дорогая. Гость у меня нынче будет почетный. Я бы заметил: самый почетный.

Родионовна. Кто же это?

Сталин. А вы угадайте.

Родионовна. Кто же это могет быть?

Сталин. Назовите самого, самого, самого великого.

Родионовна. Неужто... Патриарх всея Руси?

Сталин. Выше.

Родионовна. Выше? Куда выше-то? Выше сам Бог.

Сталин. А выше Бога, Родионовна? Выше? Не бойтесь, называйте того, кто выше Бога. Ну?

Родионовна *(решительно)*. Нет такого!

Сталин. Ну хорошо. Рядом.

Родионовна. Разве апостол какой..

За дверью слышны голоса.

Сталин. Вот и они!

Входят Берия и Геловани. Берия в штатском. Геловани в форме генералиссимуса СССР, загримирован под Сталина. Сходство поразительное, кажется, что он только чуть-чуть выше Сталина, а кроме того держится прямее, стараясь представлять Сталина более молодым и красивым. Говорит Геловани с грузинским акцентом и со сталинской манерой делать длинные и произвольные интервалы между словами. Жесты абсолютно сталинские. Порой действительно трудно отличить на сцене Сталина от Геловани. Войдя в гостиную, Геловани останавливается, с почтительной улыбкой и вопросительно смотрит на Сталина.

Сталин *(смотрит на Геловани)*. Здравствуй, товарищ Сталин!

Родионовна. Свят, свят, свят *(перекрестилась и пулей выбегает из гостиной)*...

Геловани. Здравствуй, Иосиф Виссарионович *(рукопожатие)*.

Берия *(торопливо, как бы вставляя, хотя Сталин на него не обращает внимание)*. Добрый вечер, Иосиф Виссарионович, батоно.

Сталин *(Геловани)*. Приятно познакомиться.

Геловани. Я счастлив, Иосиф Виссарионович.

Сталин. Очень, очень рад. Наконец-то мы встретились...

Геловани. Очень, очень рад.

Сталин *(с угрозой, но шутя)*. Но, но... вы меня не копируйте, пожалуйста, слово в слово.

Геловани. Нет, нет, что вы. Извините.

Берия *(опять желая влезть в разговор)*. Я лично заехал за товарищем Геловани, Иосиф Виссарионович. Он живет в доме напротив Моссовета. Когда Геловани вышел из парадного и проследовал в мою машину, советский народ, находившийся во дворе, увидел его и стал аплодировать и кричать: «Да здравствует великий Сталин!».

Сталин *(с усмешкой)*. А бомбочку не подбросили?

Берия. Да нет, что вы, Иосиф Виссарионович, они же там все знают, что Геловани актер, который играет в кино Сталина...

Сталин. Ясно, Лаврентий Павлович, ясно *(к Геловани)*. Я бы сказал, что это редкая, пожалуй, даже уникальная встреча. Не так ли? Кто бы поверил... Вот взглянуть на вас и... совсем как товарищ Сталин. Ну-ка, Михаил Георгиевич... правильно, Михаил Ге-

оргиевич? *(Геловани кивает).* Ну-ка пройдитесь, пожалуйста *(Геловани ходит по комнате).* Еще раз... *(Геловани ходит).* Прекрасно. И походка моя. Моя. Я ходил именно так, когда был помоложе. А не двойник ли это товарища Сталина, товарищ Берия? А?

Берия *(смеется).* Два Сталина на мою голову. Не многовато ли, батоно?

Сталин. Да вы и с одним-то не справляетесь как следует. Скажите, Михаил Георгиевич, сколько у нас в стране на данный отрезок времени актеров, которые играют в кино и в театре роль товарища Сталина? Или вы абсолютный монополист?

Геловани. Нет. В кино снимаются еще несколько человек. От случая к случаю. Что же касается театров...

Берия *(перебивает).* Вы же знаете, Иосиф Виссарионович, по вашему указанию каждый актер в кино и театре утверждается на роли товарищей Ленина и Сталина спецрешением президиума ЦК КПСС.

Сталин. Ах да, забыл. Это правильно. Такое ответственное дело нельзя оставлять без контроля, товарищ Берия *(жест в сторону Геловани).* Пройдемтесь! *(Оба ходят по гостиной. Сталин достает папиросы).* Курите? Это «Герцоговина флор», знаете ли...

Геловани. Извините. У меня свои. *(С улыбкой достает точно такую же коробку папирос).* «Герцеговина флор».

Сталин *(смеется).* Посмотри на него. Даже папиросы сталинские. *(Закуривают. Пауза).* Так вот, товарищ Геловани, для начала я должен сказать вам следующее. Перед вами стоит очень серьезная задача, я бы сказал, чрезвычайно серьезная. Советский народ и народы всего мира хотят знать, *каков* Сталин. Ваша обязанность, товарищ Геловани, показать им Сталина таким, каким они вправе его видеть. И вместе с тем, товарищ Геловани, вам необходимо создать достоверный, я подчеркиваю, достоверный образ Великого Сталина, чтобы он был запечатлен в истории человечества, как... я бы сказал художественный слепок, да, да, слепок, в отличие, допустим, от документальных кинокадров. К чему я это говорю, товарищ Геловани? *(Остановился. Остановился и Геловани).* Вот Михаил Чиаурели, наш славный кинорежиссер, привозит мне свои картины. Вы знаете, я вообще Мишу люблю и приблизил его к себе. Да, я смотрю его картины. Я смотрю все советские и зарубежные картины. К сожалению, советских две-три в год, а зарубежных сотни. Так вот... возьмем, к примеру, последнее произведение Чиаурели «Падение Берлина». Это, безусловно, эпохальная лента и она, безусловно, заслуживает высокой оценки. Я всем вам дал Сталинскую премию. Я надеюсь, вы ко мне не в претензии...

Геловани *(поспешно).* Спасибо, Иосиф Виссарионович.

Сталин. Вы играете там роль товарища Сталина, гениального полководца и стратега. Но скажите честно, положа руку на серд-

це, как говорят русские, неужели гениальный полководец и стратег представлялся вам таким красавчиком и таким... дурачком?

Г е л о в а н и *(растерянно)*. Извините, Иосиф Виссарионович, я старался...

С т а л и н *(перебивает)*. Я понимаю, что это не ваша вина. Это Чиаурели хочет, чтобы Сталин был все еще молодым Тариэлем из «Витязя в барсовой шкуре». Но верно ли это? Я вас спрашиваю, верно ли это? *(Не дожидаясь ответа)*. Я думаю, что нет, не верно. Не верно и с политической и с эстетической точек зрения. Разумеется, мой народ желает, чтобы Сталин жил вечно *(Берия невольно вздохнул)*. Вы что вздыхаете, Лаврентий Павлович?

Б е р и я. Я? Я... что вы... я не вздыхаю... я вообще не дышу...

Берия ходит вокруг стола, заглядывает под стол, считает бутылки.

С т а л и н. Да, мой народ желает видеть Сталина всегда молодым. Однако, во-первых, одно дело молодость, другое дело — дурость, хотя тут есть некоторая логическая связь. Вы не находите, Михаил Георгиевич? *(Опять не дожидаясь ответа)*. Во-вторых же, все это, товарищи, важнее и значительнее, чем вы предполагаете. Советский народ заслуживает того, чтобы ему говорили п р а в д у, правду и еще раз правду. Вы, товарищ Геловани, должны, вы обязаны передать нашим людям, советским людям, обыкновенным труженикам города и села, типичные, характерные черты товарища Сталина, не забывая, конечно, о времени, которое неизбежно определяет исторически данный, конкретный образ Сталина. Ясно? А я не думаю, чтобы в какой-либо из отрезков времени характерной особенностью Сталина являлась дурость. Не так ли, товарищ Берия?

Б е р и я. Так точно, Иосиф Виссарионович.

После того, как Сталин поворачивается к нему спиной, Берия жестами показывает Геловани, что де старик спятил, но надо терпеть.

С т а л и н *(выходя из задумчивости)*. Я, знаете ли, Михаил Георгиевич, против всех этих сусальных или, как говорил товарищ Жданов, «парниковых нежностей». Я против сценок, в которых Ленин и Сталин целуют детишек и раздают им леденцы, я против сценок, в которых они сидят на кухне у рабочего-путиловца и пьют вместе с ним чаек. Этак, знаете ли, можно дойти до того, что Ленин и Сталин будут на сцене или на экране страдать от, извините, несварения желудка. Кому это интересно? Я спрашиваю вас: кому это интересно? Миллионам? Массам? Народам? Да и кто в это поверит? Нет, нет и еще раз нет. Товарищей Ленина и Сталина надо показывать титанами, я повторяю, титанами мысли, корифеями, мудрецами, философами, вождями мирового пролетариата, людьми государственного масштаба, людьми изменившими лицо мира.

Б е р и я *(неожиданно)*. Физиономию.

Сталин. Что? Ну хорошо, Лаврентий Павлович, пусть будет по вашему: физиономию мира. Вот взгляните, Михаил Георгиевич, на эти книжные полки. Это все собрания сочинений товарища Сталина *(жест в сторону книжных полок)*. Знаете ли вы, какое количество книг товарища Сталина издано на русском и других языках мира? В общей сложности около семисот миллионов штук. Да, да, штук. Даже Лев Толстой не имел такого количества штук... Да, товарищ Сталин уже старик. Ему уже за семьдесят. Но тем не менее, Михаил Георгиевич, замечу, что до сих пор история прислушивается к нему. До сих пор он в большой мере влияет на ее поступательные тенденции, как в экономической, так и в идеологической сферах. Вот вам конкретный пример. Садитесь, пожалуйста, Георгий Михайлович. *(Усаживает Гелавани в одно из кресел)*.

Гелавани. Спасибо, Иосиф Виссарионович.

Сталин *(небрежно)*. И вы садитесь, Берия.

Берия Слушаюсь, батоно. (Садится).

Сталин *(подходит к книжной полке, берет папку, раскрывает ее, выходит на середину комнаты)*. Так вот... только вчера я закончил новый научный труд: «Теория надстроечных категорий». По существу это продолжение классической работы «Марксизм и вопросы языкознания», которую, я надеюсь, вы читали, Михаил Георгиевич. *(Гелавани сразу кивает)*. Очень хорошо. В этом же научном труде я показываю, как лингвист Николай Марр, придавая языку классовое значение, дошел до вульгаризации и упростительства марксизма в целом. Вот я вам прочитаю эту статью. Через несколько дней она станет достоянием миллионов. Надеюсь, вы не возражаете? Тут только сто шестьдесят семь страниц...

Гелавани. Конечно, конечно.

Сталин *(к Берия)*. А вы?

Берия. Зачем вы спрашиваете, батоно? Вы же знаете, что каждое слово Сталина для нас — слитки золота. Да, да, слитки. Не крупицы, а слитки. *(Когда же Сталин поворачивается к нему спиной, он показывает Гелавани жестами: мы с тобой пропали)*.

Сталин. Эх, подхалим вы, товарищ Берия, подхалим.

Берия *(шутливо)*. Разве я один, Иосиф Виссарионович?

Сталин. Хорошо, хорошо. Слушайте. Внимательно слушайте. *(Читает)*. «Теория надстроечных категорий»...

Свет на сцене гаснет и через некоторое время снова загорается. Прошло, вероятно, часа два-три. Гелавани в прежней позе. Берия, подпирая подбородок, борется со сном.

Сталин *(Гелавани)*. Ну как?

Гелавани. Очень, очень интересно.

Берия *(вскочил)*. Это... это грандиозно! Это гениально! Это открывает новую страницу в науке и философии. Я думаю, что во всем мире сейчас ученые будут переосмысливать...

Сталин *(перебивает)*. Переосмысливать они, конечно, будут, а вот вы, товарищ Берия, в следующий раз не спите, когда вождь читает свои труды.

Берия. Кто спал? Я спал? Что вы, Иосиф Виссарионович, рогор шейдзлеба? * Я каждое слово помню. Могу наизусть повторить, если хотите...

Сталин. Не надо.

Берия. А этого Марра я бы расстрелял.

Сталин. Опоздали. Он умер и, представьте себе, самостоятельно, в тысяча девятьсот тридцать четвертом году.

Берия. Ах, черт подери. Успел. Ну тогда... тогда давайте переименуем улицу Марра в Тбилиси. Это же большая, широкая улица, на ней столько высших учебных заведений, Грузинский университет. Позор! Как можно, чтобы она носила имя вульгаризатора марксизма.

Сталин *(почесал ус)*. Что ж, это, пожалуй, справедливо, Лаврентий Павлович. Иногда вы говорите не очень глупые вещи. Действительно надо переименовать улицу имени Марра, в улицу имени... ну, например, Михаила Геловани... а?

Гелованн *(от испуга даже подскочил в кресле)*. Что вы... что вы, батоно... Такая улица уже есть...

Сталин. Как есть? Где?

Гелованн. Товарищ Берия распорядился. Этим летом. В Сухуми у меня небольшой домик. Купил. Так вот улица, на которой стоит этот домик, уже называется — имени Михаила Геловани.

Сталин. Ах вот что... *(Смеется)*. Странно, однако, что мы, большевики, марксисты, ленинцы и сталинцы, до сих пор присваиваем имена выдающихся в нашей среде только колхозам, заводам, улицам, площадям и городам. Вот я подумал сейчас, а почему бы не присваивать их, скажем... рекам и морям... а? *(То ли шутит, то ли всерьез)*. Например, вместо Волги, река имени Молотова, а вместо Каспийского моря, море имени Лаврентия Берия.

Берия *(восторженно)*. Блестящая идея, товарищ Сталин! Давайте назовем Атлантический океан — океаном имени Сталина! Плохо?

Сталин. Плохо. Я бы все-таки предпочел не Атлантический, а Великий или Тихий. Знаете о таком, Лаврентий Павлович?

Берия. Пожалуйста, батоно. Это от нас зависит. Хотите Великий или Тихий, берите Великий или Тихий. А если хотите, можно и тот и другой. Объединим все океаны в «Сталинские океаны».

Сталин *(серьезно, важно)*. Однако вернемся к образу товарища Сталина. Михаил Георгиевич, я не случайно прочитал вам труд о Марре. Я хотел познакомить вас с товарищем Сталиным — мы-

* Как можно?

слителем, философом, филологом, знатоком эстетики, словом, с товарищем Сталиным, которого вы, вероятно, не знали, вернее знали, но как артист, своим художническим глазом, не видели. Вот такого, именно такого универсального, я подчеркиваю, товарищи, универсального Сталина, и следует довести до сознания народов всего мира. Сегодня, Михаил Георгиевич, вам представился случай поближе присмотреться к Сталину. Но имейте в виду, что это не только облегчит вашу задачу, но в то же время и возложит на вас еще большую ответственность. До сих пор вы могли, в крайнем случае, сказать: «Что вы от меня хотите, я даже не видел Сталина». Завтра вы уже этого не скажете. *(Пауза).* Глубже, глубже показывайте н а ш е г о Сталина. И не забывайте, что личность в истории все же имеет некоторое значение. Вы меня поняли, Михаил Георгиевич?

Г е л о в а н и. Да... да... я постараюсь... я приложу все силы...

С т а л и н. Думайте. Концентрируйте мысль. На экранах, в театрах, в романах Сталин должен быть непременно думающим, с концентрированной мыслью. Ведь, по существу, мысли Сталина — это мысли целого народа, народов, или, если хотите, всего прогрессивного человечества.

Б е р и я. Иосиф Виссарионович, русские говорят: «Соловья баснями не кормят».

С т а л и н *(не обращая внимания на слова Берия).* Теперь насчет «картинного вождя», то есть о внешнем рисунке. Я думаю, что в общем вы подошли близко к портрету Великого Сталина. Я думаю, ближе, чем кто-либо из других советских артистов. Но, разумеется, тут во многом вам помогло то, что вы грузин. Что мне сказать? Мы, большевики, народ скромный. О себе говорим мало. Ведь я выше говорил не о себе, а о товарище Сталине. Так вот... Ну, я бы, пожалуй, все же убрал в вашем Сталине красавца. Не надо этого. Это ни к чему. Честно говоря я никогда красив и не был, да и как может быть красив человек, лицо которого отмечено оспой. Вот еще несколько беглых замечаний. Во-первых: левую руку вы приподнимаете слишком высоко. Она у меня не в порядке, но тем не менее, я ее ношу не так высоко. Вот, извольте посмотреть. *(Показывает).* А вы? Ну-ка! *(Геловани встает и показывает).* Как, по-вашему, товарищ Берия?

Б е р и я. Да, высоковато.

С т а л и н. Получается слишком подчеркнуто. И вот шаг, шаг у вас, Михаил Георгиевич, шире моего. Взгляните, как я хожу. *(Прошелся).* Вы обратите внимание на то, что я немного, самую малость, приседаю, но не раскачиваю при этом плечами. Вот извольте взглянуть еще раз. *(Проходится).* Заметили?

Б е р и я. Да, да, конечно.

С т а л и н. Я не вас спрашиваю. Я спрашиваю Геловани.

Г е л о в а н и. Да, Иосиф Виссарионович. Я понимаю, о чем вы говорите *(пытается копировать походку Сталина)*. Я поработаю над этим...

С т а л и н. А ну-ка еще разок, еще... ну-ка, ну-ка... *(Геловани прохаживается)*. Пожалуй, сейчас лучше. Как вы считаете, Лаврентий Павлович?

Б е р и я. Я считаю, что... и да и нет...

С т а л и н. Что и да и нет?

Б е р и я. И лучше и не лучше...

С т а л и н. Ох мне эти мингрельцы. Обязательно место для отступления оставляет. Михаил Георгиевич, я знаю, что вам это не очень приятно, но я бы еще немного пригибался на вашем месте, исполняя роль Сталина. Вы человек наблюдательный. Я уже вижу разницу. Каким вы петухом вошли ко мне... а как вы передвигаетесь теперь. Существенная, знаете ли, разница.

Г е л о в а н и. Я же актер, Иосиф Виссарионович.

С т а л и н. Да, насчет этого жеста. Он у меня скромнее, естественнее. У вас же проскальзывает напыщенность, что-то вроде «А ля Наполеон». А я бы хотел, чтобы в истории жест Наполеона называли «А ля Сталин». Понимаете? *(Кладет руку за борт кителя)*. Вот, смотрите, пожалуйста. Ну-ка, сделайте теперь вы. Вот так, так хорошо. Очень хорошо. Превосходно. Есть и скромность и вместе с тем мужественно. Очень хорошо. Усы вы поправляете и почесываете верно. Последнее: и н т о н а ц и и. Ну тут у меня замечаний нет. Интонации у вас вполне сталинские. Вы точно уловили характер моей речи. Скажите, Михаил Георгиевич, а вы по-своему... ну, как Геловани, говорить еще не разучились?

Г е л о в а н и *(смущенно)*. Боюсь, что разучился, батоно.

Б е р и я. Бедная жена... *(Смеется)*. Иметь дома собственного Сталина. Это не так просто, а, батоно?

С т а л и н *(улыбается)*. Тяжела ты, шапка Мономаха... Как вы сказали, Лаврентий Павлович? «Соловья баснями не кормят». Это хорошая поговорка. Да и в самом деле, что же это получается? Пригласил. Раскритиковал. Два или три часа читал научный труд... а где же угощения? Ай-яй-яй, товарищ Сталин. Не подобает так гостеприимному хозяину. Да и грузин ли вы, товарищ Сталин? *(Поправляет усы, широкий жест)*. Прошу к столу, Михаил Георгиевич. Мобзанди, батоно * Миша. Чем богаты, тем и рады. Прошу!

Сталин подводит Геловани к столу. Усаживает его.

Г е л о в а н и. Дид мадлобели вар, батоно.** Спасибо, Иосиф Виссарионович.

---

* Пожалуйте, господин Миша.

** Большое спасибо, господин.

Сталин. А вы, товарищ Берия, садитесь вот сюда, и наполните бокалы вином. Себе и Михаилу Георгиевичу.

Берия *(садится за стол)*. Вот это дело я люблю. *(Наливает вино в два бокала)*.

Гелованн. Какой роскошный стол.

Сталин. Грузинский, с вашего позволения. И в вашу честь. Я, знаете ли, уважаю русских людей, но в отношении стола, они, знаете ли, ни бум-бум. Посади их за такой стол: не поймут, ни черта не поймут. Честное слово. Когда у меня бывают русские гости, я им даю котлеты и беф-строганов. Михаил Георгиевич, попробуйте джонджоли. Берите, пожалуйста.

Гелованн. Благодарю вас. Не беспокойтесь. Я сам...

Сталин. Ничего, ничего. Товарищ Сталин все же грузин. Национальные признаки нас с вами, так сказать, уравнивают. *(Гелованн берет закуску и зелень, разворачивает крахмальную салфетку и одним краем закладывает за борт кителя)*. А вот этого, Михаил Георгиевич, я никогда не делаю. С салфеткой. Я обычно кладу ее себе на колени. И, конечно, рано или поздно, роняю ее на пол.

Гелованн. Извините. Я не знал... *(Кладет салфетку на колени)*.

Сталин. Если это в присутствии Берия, он ее, конечно, поднимает.

Берия. Но если уронишь ты, Миша, я поднимать не буду, имей ввиду.

Сталин. Я это просто так заметил, Михаил Георгиевич, к слову, и что бы вы как актер учли на будущее *(неожиданно)*. Кстати, вы не князь?

Гелованн *(смущенно)*. Я учился в классической гимназии в Кутаиси.

Сталин. Значит из дворян. То-то я вижу манеры у вас...

Берия. Маш, амханагебо! *

Сталин. Посмотрите на него, Михаил Георгиевич. Он как ретивый конь перед генеральным сражением. Копытом от нетерпения бьет.

Берия. Иосиф Виссарионович: «Соловья баснями не кормят», батоно.

Сталин. Правильно, Лаврентий. Правильно. Поступило предложение хозяином стола утвердить маршала Берия. Он на этом поприще собаку съел, как впрочем и на многих других. Все застольные грузинские обычаи и порядки на зубок знает. Возражений нет? Принято единогласно. *(К Берия)*. Приступайте к исполнению обязанностей тулумбаша.

Берия. Спасибо, Иосиф Виссарионович.

---

* Ну, товарищи!

Сталин *(к Гелевани).* К сожалению, я буду пить вместо вина лимонад. Наш. Лагидзевский. А пища у меня, знаете ли, та, которой питался святой Антоний. Врачи ограничивают... Вот кусочек курицы... Но вы, друзья, не обращайте внимания. Михаил Георгиевич, чувствуйте себя как дома. Вина тут достаточно, и есть «сачмели»...*

Берия. Спасибо, товарищ Сталин, за доверие! Я постараюсь оправдать его и на этот раз. Мне кажется, что на протяжении многих-многих лет, чекист Берия вас не подводил. Позвольте мне, батоно Иосиф Виссарионович, позаимствовать у вас одно выражение и сказать: «Товарищ Сталин, вы можете положиться на чекиста Берия, чекист Берия вас не подведет!»

Сталин *(с усмешкой).* Великий поэт написал:

Мария, бедная Мария,
Краса кавказских дочерей
О, знала б ты, какого змия,
Ласкаешь на груди своей...

Берия. Кто змий? Я змий? Я кролик...

Сталин. Наследник престола номер два.

Берия *(сразу).* Если я номер два, то кто же номер один?

Сталин *(смеется, к Гелевани).* Извольте видеть, какие вопросы задает. Не понимает этот медноголовый мингрелец, что он вообще не может претендовать на наш советский трон. Слушайте, вы, маршал Берия, русский народ не вынесет второго грузина, тем более мингрельца. Слава Богу, он все еще терпит первого. Неужели вам это не ясно?

Берия. Мы же... мы же шутим...

Сталин. В каждой шутке, знаете ли, есть доля правды. А мне хорошо известно о чем вы мечтаете... царедворец. Яго чёртов! *(Смеется).* Но, замечу, Михаил Георгиевич, я своих «котят» держу в руках. И этот у меня в руках. Я записываю все его похождения... Да, да, похождения... Молчите, бози-мамадзаглия...** В нашем более или менее стерильном правительственном и партийном стаде, завелся такой бык-гусар... а?

Берия *(вскакивает, как ужаленный, хватает бокал с вином, залезает ногами на стул, напыжившись, как-то особенно, начинает говорить очень громко, почти кричит).* Товарищи! Разрешите мне от имени многомиллионного советского народа провозгласить наш первый, наш традиционный тост за здоровье...

Сталин *(спокойно, точно это в порядке вещей).* Не надо так громко, Лаврентий...

---

* Кушанья.

** Грузинское ругательство.

Берия *(воспринимая это замечание как поощрение, продолжает орать, жилы на шее и на лбу вздуваются).* . . . товарища Сталина! Для нас, советских людей, нет более дорогого на свете имени, чем имя товарища Сталина. Это имя для нас, как светоч, как путеводная звезда, как маяк, как солнечный луч, как, как . . .

Свет на сцене медленно гаснет. В темноте слышно, как Берия затягивает застольную грузинскую песню:

Завтра утром, на рассвете,
К нам товарищи придут,
И на этом самом месте,
Мравалжамиэр споют . . .

Песню подхватывает Геловани. Когда свет на сцене снова загорается, зритель видит: на столе полный беспорядок, если подсчитать пустые бутылки, то их больше десяти. Берия и Геловани стоят в центре гостиной, абсолютно пьяные, покачиваются, обнявшись, и поют. Сталин совершенно трезвый, сидит на диване и улыбаясь, попивая свой «лимонад», смотрит на них.

Свет на сцене опять медленно гаснет. Когда он загорается, зритель видит, как Берия, без пиджака и туфель, танцует лезгинку, а Геловани отбивает такт на стуле, как на барабане. Сталин же хлопает в ладоши, ухмыляется в ус и, поощряя Берия, кричит: «Ассе!»

И в третий раз свет на сцене медленно гаснет и так же загорается. Берия и Геловани спят, один сидя на диване, другой — в кресле. Оба храпят. Геловани уже без сапог. Сталин, в задумчивости, ходит из стороны в сторону, на переднем плане. Входит Родионовна.

Родионовна. Ну, грузинцы ваши я вижу упились, Сосив Виссарионович. И Берия и этот . . . артист, который вас изображает . . .

Сталин *(смотрит на Родионовну).* Что вы сказали, почтенная?

Родионовна. Упились, говорю. Винищем-то разит за версту. Ей-бо.

Сталин. За версту. Ей-бо.

Родионовна. Сосив Виссарионович . . .

Сталин. Да, Родионовна? Вижу, вам что-то требуется? Что?

Родионовна. Да ведь как сказать-то и не знаю. Вроде боязно, а и надо бы . . .

Сталин. А вы не бойтесь. Говорите прямо. Прямо.

Родионовна. Да вот . . . письмо я получила . . . и не все вроде в ём понятно . . . Вот если бы вы прочитали и разъяснили . . .

Сталин. Не хитрите, Родионовна. Вам надо, чтобы я прочитал это письмо? Где оно?

Родионовна. Вот . . . *(Достает из-за пазухи письмо, сложенное треугольником, разворачивает, протягивает Сталину).* Тут ведь какое дело . . . живу я теперича за десятью замками, пошта ко мне

прямо не доходить, через энту ... как ее, цинзюру идеть ... А вот это чудом проскочило ... От моих племяшей оно ... Давно-о я их из виду утратила ... Вот сыскались ... неподалече от Сарапуля значить ...

Сталин. Ну что ж ... Посмотрим, что пишут ваши племяши ... *(Читает вслух).* Дорогая наша тетушка, Агафия Родионовна. Здравствуйте и примите поклоны от ваших племянников: Ивана и Гаврилы, да их жен, Дарьи и Феклы, а к тому же и от их сыновей, Матвея, Семена, Аркадия, Петра, Андрея и дочерей, Натальи, Анны, Екатерины и Ирины ... *(К Родионовне).* Солидное семейство ... не так ли? *(Читает).* Кланяемся вам в ноги все и желаем вам здоровья и благополучия. Как мы есть ваши родственники, порешили мы вам о себе дать знать. Живем мы в колхозе «Свет Ильичевый». На трудодень вырабатываем восемь с половиной копеек, али того меньше. Продовольствия в области нету. Черный хлебушко с травой, одно слово мякина, выдают по спискам, четыреста пятьдесят граммов на рылу. Если кто работает на железной дороге, это в 14 километрах от поселку, получает пятьсот граммов. Варим тюрю. Начальство же наше сидит на мясе. Скот режут. Самогонку гонют. Воруют кто во что горазд. Масло детям не выдают. Годами не видать его, масла коровьего. Правда, Дарья работает в транспортной конторе и на полуторке раз в месяц ездит на станцию, там, как проходит московский експресс, в вагоне-ресторану, у спекулянтов, можно купить сто граммов. Вот сто граммов маслу коровьего и покупает Дарья. Одно слово, голодуха. Вместо того на колхозной площади у нас цельный день радио орет, спасу нет, мол все мы уже счастливые, все мол уже в коммунизме и что мол цены понижаются. А чего у нас понижать? У нас и понижать нечего. Продуктов нету. Не на чего понижать-то. У вас в Московии хоть чего-либо есть, а у нас шаром покати. Житуха. Пухнут русские люди, как индусы всякие. Пухнут те, которые в деревнях прописаны. А податься никуда не подашься. Потому пашпорты наши у председателя колхозу под замком. Откупиться нам нечем. А он у нас, злодей, жадный, пьющий ... Хороним мы каждый день. Мрут люди. Только гроба теперича делают тесные, узкие, не помещается в ём покойник, приходится запихивать силою. Одно слово: «Бог дал вольный свет, а черт кандалы сковал». *(Пауза).* Дорогая наша тетушка, Агафья Родионовна, прослышали мы, что вы, как ни есть наша родственница, там где-то в Кремлях служите, то ли полы моете, то ли стряпаете. И порешили мы всей семьей, мы, ваши племянники, Иван и Гаврила, да их жены, Дарья и Фекла, а к тому же и их сыновья, Матвей, Семен, Аркадий, Петр, Андрей и дочери Наталья, Анна, Екатерина и Ирина, написать вам, чтобы там в Кремлях, значить, замолвили за нас словечко перед господами нашими, перед властителями нашими. *(Родионовна тихо плачет, прикладывая к глазам кончик своего голов-*

ного платка). Неужто отец наш, Сталин, всего этого не знает? Как мы разумеем от него все это скрывают прихлебатели разные, замы всякие. Мы ведь за Сталина кажный день молимся в церкви. Вот бы вы, дорогая тетушка, Агафья Родионовна, сказали бы нашему отцу, чтобы он распорядился и освободил бы нас от этого гнету, чтобы нам вздохнуть посвободнее и чтобы нам землицы получить в пользование, хоть самую малость... *(Сталин перестает читать).* А вы не плачьте, Родионовна, на плачьте...

Родионовна *(всхлипывает и утирает слезы).* Они не врут... Я племяшей своих знаю...

Сталин *(расхаживает из стороны в сторону, хмуро).* Я вот возьму и одним махом весь этот Сарапуль и сцарапну. Голое место от него останется. Построю там металлургический комбинат имени, например, Клары Цеткин или Степана Халтурина... А ваших племяшей, Родионовна, с их женами и многочисленными детьми отправлю туда, куда Макар телят не гонял. Кажется так говорят русские... а?

Родионовна *(плачет).* Сосив Виссарионович, не трожте их...

Сталин продолжает ходить по гостиной. Потом остановился. О чем-то думает. Подходит к круглому столу, берет большой рог и бутылку вина, возвращается к Родионовне, молча сует ей в руки рог. Она недоумевающе смотрит на Сталина, берет рог, держит обеими руками. Он наливает в рог литр вина. Потом берет у Родионовны рог, выходит на авансцену и обращаясь к зрителю, произносит тост.

Сталин. Товарищи.! Из этого рога времен царя Ираклия я хочу выпить... нет, не за старину, не за царей и князей, а за нашего сегодняшнего винтика, за винтика, который трудится в городе и на селе. За советского винтика. Винтики, товарищи, в нашей жизни решают все... Было время, когда я дал указание: «Кадры решают все!» Теперь я говорю: ближе к человеку, так как: «Винтики решают все!» Мы, партийные и беспартийные руководители ничего не стоим без винтиков. Но часто, очень часто мы забываем о винтиках. И это непозволительно. Плохо это, товарищи. Очень плохо. Как говорил наш Ильич: «Архи-плохо». Повторяю, без винтиков мы не сумеем построить коммунизм. Позволительно спросить, товарищи, что же это такое: винтики? Отвечаю: советские винтики, товарищи, это наши братья, сестрички, это простые рядовые люди в городе и на селе, делающие наше общее, наше родное дело. Нет, винтики это не гвоздики. И я хочу, чтобы наш дом держался не на гвоздиках, а на винтиках, потому что гвоздики, во-первых, быстро ржавеют, во-вторых же, это слишком примитивно по нынешним временам... А винтики, винтики, знаете ли, хитрая штука... Они, знаете ли, основаны на законе спирали. Чем больше их вкру-

чиваешь, тем прочнее... Товарищи! Друзья! Я пью за наших дорогих, наших славных, наших честных, глубоко патриотичных и глубоко преданных товарищу Сталину, советских, нет, не гвоздиков, а винтиков!

Выпивает полный рог. Пьет медленно, величественно. После того, как выпил, опрокидывает молодцеватым жестом рог, ни капли вина не стекает.

Родионовна *(ошеломлена)*. Так ведь вам нельзя... нельзя...

Сталин чуть пошатнулся. И снова пошатнулся. Слегка раскачивается, но держит «баланс». Родионовна смотрит на него широко раскрытыми глазами и ждет, упадет или не упадет. Сталин продолжает раскачиваться, но пока не падает. Пока. А Родионовна продолжает ждать: упадет или не упадет...

ЗАНАВЕС

ЭПИЛОГ

Действие происходит перед занавесом. Стол. Стулья. Сидит Михаил Геловани. Он в обычном гражданском костюме, на правом рукаве у него траурная лента. Выглядит несколько иначе, ибо в жизни он, хотя и невольно продолжает имитировать Сталина, все же другой, более подвижный, более обыденный, без многозначительности, столь характерной для Сталина. Да и лицо у него, конечно, без грима, совсем другое. Он без усов, волосы у него черные с легкой проседью. К тому же он много моложе Сталина.

Геловани *(сам с собой)*. Эх, Миша, ведь ты был когда-то хорошим комедийным актером. Помнишь, играл в театрах: Мольера, Бомарше, Гольдони, Островского, Клодиашвили. Тебя в Грузии любили. Да, да, ходили в театр и получали удовольствие. И все это до того момента, пока этот проходимец, этот кинтошка, временщик Чиаурели, не взял тебя на роль Сталина в фильме «Великое зарево». Ты не мог отказаться, это ясно. Вот и пошло, пошло. Ты стал придворным. Актер в тебе, Миша, кончился, умер... зато у тебя звания, Сталинские премии, ты богат, ты в почете... Но что с тобой будет теперь, Миша, когда Сталин умер?

Входит Елена, жена Геловани, она в пальто, в руках авоська с продовольствием. Геловани встает, помогает ей раздеться. Елена высокая стройная женщина с красивым украинским лицом.

Елена. Очереди, очереди, как всегда...

Гелованн. Зачем же ты ходишь в магазины, Леночка. Заказывай продукты по телефону. Или через ресторан «Арагви».

Елена. Народ сошел с ума. Все куда-то бегут, у всех глаза такие, словно сейчас кончится мир.

Гелованн. Да, но это почти так, дорогая...

Елена. Ты о смерти Сталина?

Гелованн *(вздохнул)*. Да.

Елена. Бедный Сталин... Да, Миша, я встретила жену Загородского, народного скульптора... как ее... Ольга Евстигнеевна... Так вот она мне сказала, что ходят страшные слухи...

Гелованн. Позволительно спросить: какие?

Елена. Опять это «позволительно». Она сказала, что были вызваны все советские «светила». Ей это от мужа известно. Все, занимающиеся бальзамированием трупов. Кроме того прилетели какие-то специалисты из Китая, лично от Мао Дзе-дуна. Делали все, что только возможно, но труп Сталина бальзамированию не поддается.

Гелованн. Что-о-о?

Елена. Что с тобой, Миша? Почему ты переменился в лице?

Гелованн *(кричит)*. Укладывай чемоданы! Немедленно! Елена, чемоданы! *(В панике бегает по авансцене)*.

Елена. Какие чемоданы? Да ты что...

Гелованн. Наши! Наши чемоданы!

Елена. Зачем?

Гелованн. Мы сегодня же, сейчас же, улетаем из Москвы.

Елена. Ничего не понимаю. Да что случилось? Куда мы улетаем?

Гелованн. Куда? Куда глаза глядят... в Грузию, в Крым... куда угодно...

Елена. Да зачем же?

Гелованн. Неужели ты не понимаешь? Они меня, меня вместо него в мавзолей положат.

Елена. Что ты сказал?

Гелованн. Меня вместо Сталина — в гроб. Ты же их не знаешь, наших правителей, всех этих Берия, Маленковых, Молотовых и других... Ты их не знаешь!

КОНЕЦ

ИВАН ЕЛАГИН

От житейских толчков
Защищая бока,
Я в бюро двойников
Заказал двойника.

Кто-то кнопку нажал
На сигнальной доске,
Розоватый накал
Засиял в волоске,

Замигали огни,
Засветились щитки,
Ураган трескотни,
И свистки, и звонки —

Но уже через миг
Улеглась трескотня,
И стоит мой двойник
И глядит на меня.

Тот же нос, тот же рот,
Тот же лоб, та же плешь,
Так же руку дает,
Все движения те ж.

Он пойдет в Институт,
И он сядет за стол,
А студенты придут —
Он поставит им кол.

Он приедет домой
Обозлен, раздражен,
И с моею женой
Будет ссориться он.

Будет ездить в метро,
Будет есть, будет пить,
На помойку ведро
Будет он выносить.

Ну, а я между тем
Заживу как паша,
Не печалясь ничем,
Никуда не спеша.

Я себя охраню
От врагов и друзей,
И я печень мою
Завещаю в музей.

Не оставят на ней
Ни малейших следов
Огорчения дней
И печали годов.

ИВАН ЕЛАГИН

Идет замедленный человек
Угасающий человек.
Он мается целый век,
Пугается целый век.

Сорок костюмов снашивает,
Семьдесят пар башмаков,
Счастье выпрашивает
У лошадиных подков.

Едва он на свет явлен,
Совсем еще мал, гол —
А уже на него составлен
Первый протокол.

Еще он роста цыплячьего, —
Розовощекий комочек, —
А что-то уже втолкмачивает
В него педагог-начетчик.

А выйдет на путь человечий,
Шагнет за порог — и глядь —
Уже государство на плечи
Ему навалило кладь!

И только какая-то женщина,
Говорившая вычурно,
Как гайка была безупречно
К нему привинчена,

Да умерла намедни.
Он называл ее Глашей.
И вот он идет замедленный,
Идет погасший.

ИВАН ЕЛАГИН

Наша улица покато
Опускается к реке.
На дворе у нас закаты
Застревают в тупике.

И когда в вечернем гуде
Над водой мосты летят, —
Птицы, здания и люди —
Все кидаются в закат.

А в окошке у соседа
Где-то рядом надо мной —
Поставщик ночного бреда,
Мастер боли головной —

Сотрясается приемник
С лязгом всех своих частей
От испанских неуемных
Раздирательных страстей.

В долгожданную нирвану
Уплываю наугад,
Вместе с городом я кану,
Вместе с птицами в закат,

Вместе с пестрым и гортанным
Населеньем этих стен,
Вместе с доном Эстебаном,
С сеньоритою Кармен,

Чтоб до самого рассвета
Надо мною звезды шли,
Я под красной тучей где-то
Завалюсь за край земли.

ИВАН ЕЛАГИН

Почище всяких легенд,
За полмильона
Рекламный агент
Нанял Наполеона!

И отныне император
Ходит с фотоаппаратом,
Как турист, как турист,
И словами сыпет, сыпет
Про Египет, про Египет,
Что в Египте воздух чист!

О красоте песков
Голос его гремит:
— Сорок веков
Смотрят на вас с пирамид!

Предлагаю я всем отныне и впредь
Непременно на отпуск в Египет лететь,

Приобретайте билеты заранее
На самолеты Каирской компании!

В императора пальцем тычу я:
— Бонапарт!
Где приличия,
Где обычаи,
Где величие,
Где штандарт?

Император без мантии,
Император без знамени,
Никакой нет гарантии,
Что поставят вам памятник!

Что за срам — подрядиться
И ходить в холуях!
Не видать вам гробницы
В золотых вензелях!

Благородство на пошлости
Жалкие выменяв,
Не дождетесь вы площади
Вашего имени!

Ваш конец будет горек,
Как засохшая мята:
Вас объявит историк
Персоной нон грата!

Вдруг откуда-то сбоку
Лохматое пугало
Осуждающе-строго
Заулюлюкало.

И сказало голосом зычным,
Ряженое как халдей:
— Заниматься рекламой куда приличней,
Чем убивать людей.

БОРИС ФИЛИППОВ

ЛИМОНАРЬ ПСИНЫЙ

СКАЗАНИЕ О ПСЕ ПРАВЕДНОМ

Все у вас, которые по церкви мирской, а не по духу, — навыворот. У нас — Исус, у вас — Иисус, у вас и Николай заместо Николы чудотворца, щепоть заместо двоперстия. Все навыворот. И доселева так же. У нас — Максим Исповедник, у вас — Маркс им исповедник. У вас кот неверный, льстун — животина чистая, в алтарь его пускаете, а пес, говорите, смердящий, нечистый. А ведь и тут как раз навыворот. Вот слушай.

Было то в давнюю давность, при императоре поганом — не то Марксимилиане, не то Диалектикиане. Злой был — чистый Антихрист. Круто генеральную линию держал и люто преследовал христиан, которые по духу. Спасались от него христиане, кто как мог. Много было бегствующих — в дебри лесные непроходимые, в пропасти земные. А запоймают враги Христовы — муки принимали и от Исуса не отрекались. Вот и спасались так семь юношей веры чистой и огненной в пещере дальней. И с ними верный пес — не какой там затейный, иноземный, борзой, скажем, а самый-самый русский, православный, хвост крючком, от радости Господней всегда кверху. И взмолились юноши Господу:

— Боже, ужель не дашь нам хоть одним глазком взглянуть на торжество Православия?! Так и не доживем мы, бедолаги, до жизни в Свете и Истине...

А не знали юноши, что была та пещера намоленной великим святым аввой, сорок лет на молитве не сходя в одном углу стоявшим, одну корочку хлеба в неделю евшим, одну кружку воды в три дня пившим. Было ж и так, что после того святого укрылся в той пещере блудня, пьяница и кощун, а уж по части девок — просто похужее Никона-кобеля, сам родом из парижских курощупов, Селадон именем. И помер Селадон в пещере, и пришли старцы из пещер соседствующих — потому как пещера та была всем знаема

как самая святая и чтимая. И слышат старцы — вой бесовский в пещере и смрад из нее нестерпимый. Взмолились старцы:

— Господи, рек Ты, что всяк, кто в пещере сей сколь-либо пребудет, навеки спасается . . .

И слышат вдруг — хор ангельский, а из пещеры дух цветов весенних. И глас свыше:

— Испытать вас, старцы, задумал. А хоть и смрадный блудня помер ныне в пещере сей, но место аввой великим намоленное и сего греходея спасло для жизни вечной.

Ну, а юноши того вовсе не знали про пещеру, семь праведников тех. И молились в простоте и чистоте сердечной: дай, мол, Господи, дожить и хоть вполглаза узреть грядущее торжество веры Твоей . . .

И уснули юноши . . . И проснулись ровно через триста лет такими же юными и такими же радующимися о Господе. Проснулась с ними и собачка их верная. Пошли они в город ближний, а там — престольный праздник: ликованье, пенье, хоры и хоругви, попы и архиереи двоперстием народ благословляют, дьяконы басят непомерно, колокола трезвонят.

Зашли юноши в собор — и тут же и преставились, рассказав наперед народу свою историю, значит. И жили, и преставились яко кадило благоструйное пред Господом.

А собачка — та ведь не просила хоть одним глазом, мол, взглянуть на победу веры — и тут же преставиться. А жизнь-то в пещере получила вечную. Потосковала-поскулила собачка у гробов семи хозяев своих, сорок дней и сорок ночей не принимала ни пищи, ни питья. А потом прижилась у праведника одного. И так и переходила от одного праведного к другому, из страны в страну, и никто не знал, что пес тот — вечной жизни удостоен: утаено то было Божиим соизволением.

Так прибился наш пес и к великому праведному протопопу Аввакуму. Идет огнепальный наш Аввакум Петрович по Москве, видит — плетется за ним пес лохматый, в летах, видимо, самостоятельный, с рассуждением, но очень сам бодрый и с радостью тихой в поступи.

— Ну, пойдем, штоль, со мной — дам тебе, бродяжке Божьей, штец похлебать.

Так и прижился пес у Аввакума Петровича. Добрый был, верный. И ни на кого зубов не скалил.

Раз не стерпел пес. Как сожигали праведного Аввакума, взъярилось сердце собачье, укусил капитана Ананьева, больно лютовавшего над страстотерпцем и иже с ним.

И свершилось чудо прямо на глазах у всенародства: тут же заместо пса явился святой бегун-нетовец Исакий, а капитан Ананьев вдруг оборотился лютым псом, перекусал множество народу и, бешеный, с пеной на морде, бежал, куда глаза глядят.

А Исакий, ни слова не говоря, и досель по Руси бродит. От него и наши бегуны-нетовцы идут: на все «нет» отвечают, только в духе молятся.

*
**

Зал огромный как Сахара,
на эстраде речи, речи —
по шпаргалкам — словно дятлы
долбят древо торжества.
Бархат мантийных педантов,
вдохновенный шелк ученых,
саржа мантий баккалавров, —
и с квадратного повершья
камилавок высшей школы
виснут кисти высших знаний.

И кислятину приветствий,
нудных словоизвержений
вдруг прорезал возмущенный
и глубоко-человечный
лай свободолюбцев-псов.
И воспрянуло собранье:
профессура, магистранты,
докторанты, баккалавры
пелену раздрали спячки,
и незыблемость традиций
стала снова человечной.

СКАЗАНИЕ О ПСЕ МИЛОСТИВОМ

Во времена давние жил в пустыне египетской праведный авва-отшельник. Ну, знаете сами, что у многих святых отцов-отшельников животины разные были. У Еронима — лев, скажем. А у нашего аввы — пес простецкий. Не лев, конечно, но ведь сказано, что каждому — своя слава: «ина слава солнцу, ина луне, ина звездам небесным, звезда бо от звезды разнствует во славе». У кого, значит, лев, а кому собачку Бог сподобил даровать. И сказано еще: «блажен иже и скоты милует».

Авва наш, хоть летами был и дряхл, но телом крепок, даром что на молитве по десять часов стоял, даром что спал часа по три, а остальное время в трудах непрестанных пребывал. Уж одно то, что за водой с кувшином ходить надо было далеко-далеко вверх

по горе, к малому источнику. Ведь пустыня — это тебе не лесная дебрь: вода в ней подороже золота бывает. Пришел к авве другой авва — о божественном побеседовать. Был тот авва летами помоложе. Увидал, что хозяин-старец за водой пошел, — подхватил пришлец кувшин тяжелый глиняный и принес авве воды: — Поберег бы ты, мол, авва, силы: в летах ведь эвон каких.

Авва наш спорить не стал — ведь перечить, возражать — беса тем только тешить. Но как принес старец помоложе, пришелец, значит, кувшин, молча вылил кувшин авва прямо на земь, на песок раскаленный, а сам взял кувшин и так же молча сам за водой поплелся. Не хочу, мол, и минуты без трудов праведных пробыть. А вода, я сказал уже, в пустыне египетской — это первейшая ценность, сама, значит, жизнь. Вернулся с кувшином авва, запыхался, а пес его, такой верный, такой ласковый, такой безропотный, не глядит на хозяина, морда не то сердитая, не то скорбная, сам перед местом, где вода была пролита, на коленях стоит и, ну, прямо поклоны бьет. По-своему, видать, молится. А сам потом авве мордой на пустыню, что внизу, под аввиной пещерой пролегает, кажет и кажет. И авва, осерчавший вначале, сильно духом смутился: хоть и подслеповат был, а увидал: через раскаленную пустыню бредет бедно одетый странник, так, в годах уже, и ведет осла. А на осле женщина молодая с младенцем. И от жара нестерпимого, от безводья, изнемогли все до крайности: и средовек тот, и мать, и младенец. А ослик их, уж на что животное ко всему привычное, еле-еле на ногах держится.

Поспешили оба аввы вниз, уразумев знамение, потащили и кувшин с водой, а из места, куда авва по злобе и гордыне отшельнической воду вылил, места, псом милостивым намоленного, вдруг заструился чистый и студеный источник. И повернули к нему путники, а аввы шли следом за ними и нестройно, но радостно пели: «О Тебе радуется всяческая тварь».

Дружба рождается не как дитя, не сразу,
а как вино, крепчающее год от года
в бочке, слаженной на диво из плотной дубовой клепки
мохнатой ручищей любомудра-жизнелюба —
богоравного бочара.
Сначала сладкое сусло — зеленое, чуть с кислинкой,
подверженное случайностям ветренной погоды
(нет, я люблю тебя за то-то и за то-то), —
оно бродит потом в уверенной в себе дубовой плоти,
коричневея, бурея вспышками руготни и бульканьем
воркотанья
и наконец вскипает густой кровью сердца

пожившего — и потому знающего,
что такое жизнь,
а потому осторожно и бережно
разливающего вино плоти
в простертые до раннеосеннего блеска
хрустальные бокалы духа,
уверенной рукою поднятые к сводам жизни:
— за встречу, за верность, за дружество, —
— за друга!

ЯБЛОКО

1

Счастье растет на древе жизни как яблоко —
сорвать его не труднее, чем любопытной Еве, —
и пусть даже оно обернется кислым дичком, —
все-таки оно сорвано, яблоко,
и началось все, чему надлежало начаться,
без чего жизнь была бы только детским садом,
старинной прописью запрещений
и лишь мальчишечьим подглядыванием в щелку
забора, окружающего рай, —
что же творится на белом свете? . .

2

Думаю, — Ева была итальянкой:
ее любопытство привлек скорее изысканный
иноземец-Змей,
чем простодушное румяное яблоко.
А Адам, несомненно, был негром,
беспечным садовником монотонного рая:
мог ли он работать без хозяйского присмотра?
И почему не съесть плод запретный,
когда Господин не видит?
Он пел и тогда, когда его изгоняли из рая:
ведь с ним была и полногрудая белая жена,
и он уже нанялся к другому господину —
Туку-Муку-Лумумбу,
создателю слона и барабана.

3

А яблоко мы теперь даем детям.

*

Эта древняя глина,
обожженная греками Гомера,
отъединилась
в новом здании
американского университетского культурного центра, —
чернофигурная ваза
для вина хиосского,
твоя ли вина,
что вокруг слоняются
бородатые и босые, —
не брадатые полунагие эллины,
о нет, —
не радующиеся звонкой глине тысячелетий,
где вытянутая на округлой поверхности фигура
стремится в суровое счастье,
добываемое меднообутыми воинами
для их полногрудых, с чадообильными лонами
жен и наложниц,
рождающих воинам
крепких как яблоко детей . . .
Нет, бродят безвольные выкормыши настойчивых отцов,
уверенно упиравшихся
баптистскими и методистскими ступалами
в асфальт вавилонов и вавилониц
тучного Нового Света.
Отцы-то понимали
гулкую медь щитов и разящую медь мечей разбойных,
сами копили золото
и вот эти древние вазы,
даже не вникая в их тленный запах былого величья,
еле-струйных дух вина, огня и земли,
любовного пота жен,
боевого пота солдата.
И у них было свое —
Неулыба-Бог,
распевающий унисоны моральных прописей среднего человека,
руки в мозолях неустанной заботы,
чинный и замкнутый домострой среди лязга и грохота заводов
и крутая устремленность
к своему достоинству и свободе.

Но что и отцам и детям эта звонкая глина?!

*

На пригорке белый дом,
в нем горбатая старуха,
мухи дохнут за окном,
бром и варежки из пуха.

Что бывало, то прошло,
только «Господи помилуй!»
позевотой в вечность шло
вместе с кофточкой унылой.

Кашель, кошки, ревматизм,
клизм колитных побируха...
Муха хлипкий организм
схизм щекочет лапкой духа.

Манной кашкой вызрел пыл,
уплыло в компот страданье,
кот ленивый заменил
позабытые лобзанья.

Полуспят-полуживут
без котят седые кошки,
на окошке мухи трут
ревматические ножки...

Выгнул спину жирный кот,
мухи вверх задрали лапки,
а горбунья крестит рот,
в уши заложивши ватки...

АЛЛА КТОРОВА

ТАИСЬ

(МОСКВА, 1969)

В это кровожадное лето, в Москве, я нанесла самой себе финансово-материальный ущерб: взяла билет за пятнадцать копеек и пошла осматривать Патриаршие палаты в Кремле. Я знала, что там работает контролершей моя давнишняя знакомая, Таись Толстова. Когда-то я была уверена, что если отправить ее на экскурсию в древний град Китеж, она одна удостоится услышать колокольный звон церквей со дна озера Светлояра.

**
*

Попробуем представить себе такое: в школьном дворе в Москве стоит мальчик, закрыв лицо руками, а вокруг него бегает другой и хлещет его ученическим поясом, стараясь заехать металлической пряжкой прямо в лицо. Возле них женщина вертится и вопит:

— Марик! Марусенька! Да дурак ты едакий! Да дай ты ему в рыло хоть разок! Да дай же! Заехай ему в морду-то! Да я и вмешиваться нарочно не буду! Не буду и все! Да дай ты ему как следовает, да ты же в три раза крепше его!

Когда истязатель убежал, увидев шедшего директора, мальчик отнял руки от лица, посмотрел на вопившую тетку и твердо сказал:

— Ну чего вы кричите? Не буду я никого бить. Никогда не дрался, не дерусь, и не буду драться.

Этой парой, мальчиком избиваемым и теткой вопившей, были Марик и его мать, Таська Толстова, торгующая в булочной.

Еще совсем недавно мальчик Марк Фридкес учился в одной из московских школ. И его мать, Таиса Ивановна, приходила к классной руководительнице Сан Санне и грозила пойти в Районо к товарищу такому-то, в Гороно к товарищу сякому-то, и, в конце концов, даже к самому товарищу министру в Министерство просвещения на Чистые пруды, если Сан Санна не отсадит ее Марусю от ры-

жего каторжника Сережки Шипякова и не пересадит его к Андрюше Анфилову или Вове Григорьянцу — шелковым детям. Это Сережка Шипяков только что колотил ее Марика во дворе медной пряжкой за то, что Сынка не подсказывал ему по химии.

На родительских собраниях Таись кричала, что Алесанн Санна неправильно учит и что же это такое *будить*, если одни будут драться и хулиганничать, а другие, тихие и отличники, которые в тысячу раз лучше, — за них, что же, и учительница не заступится?

Горемыки-родители хмуро молчали, а она гремела, — почему мать Сережки Шипякова в школу никогда не ходит, на собрания, а? И что если родители всех остальных, тех, кто бьет Марика — не отвинтят своим задрыгам головы и будут молчать, она пойдет в КГБ и докажет на них.

— Господи мои, — выводила Таись своей приятельнице Ксене, уборщице в Ювелирторге, во всем дворе первой, — ну и дурачок у меня растет. Ксеня! Верь! Несамостоятельный парень, просто тебе скажу — несамостоятельный. Сроду не пожалится! Ну? Да ты на других-то посмотри! Посмотри ты на других-то! Ну хотя на Витальку ты своего посмотри, Ксеня. Да ты хоть обижайся, хоть нет, а скажу я тебе откровенно: и с учителями-то он грубит, и папиросы-то он курит, и на двойках-то он сидит и по материнскому-то он ругается! А мой? Как тряпка, куда шваркнешь, там и лежит. Сроду, дурачок, не пожалится . . .

В конце концов Таись надела итальянский плащ «полуболонья» и отправилась к матери бандита Сережки Шипякова.

. . . . . .

Действительно, странный мальчик был этот Марик! Ну кто же в наше время не дерется? Ты не изобьешь — тебя кончат. Даже Макаренко предлагал всегда давать сдачи. Главное дело: «не буду драться». А если нападают на тебя?

Когда учительница пения сказала, что у него хороший слух и записала в общешкольный хор солистом, Таська стала бегать в очередь в Мосторг и перманентно голосила там:

— Почем пианины? А давать-то когда будете? А какие они, какой марки, черниговские или рижские?

Интеллигентного вида Баба Яга в каракулевом манто и в модной тогда вязаной шапочке «сзади пионерка, впереди пенсионерка», укривила рожу и пустила в эфир:

— Вот до чего доводит уравниловка! И *такой* теперь тоже пианино надо! Им все теперь непременно надо то же, что и у интеллигентов. Нет, ты прежде научись правильно произносить это слово на своем родном языке, узнай, что оно не склоняется, а потом уж интересуйся, какого изготовления инструмент!

**
*

Вначале планировалось разрешить читателю пролить слезу и немного посентиментальничать. Но пока — давайте вынесем это за скобки. Придержим пока за пазухой.

Вместо этого предлагаю аллегорию в виде детской песенки.

Песенка такова:

В этой корзиночке много цветов
Я нарвала их из разных садов,
Розы, фиалки и лилии там есть
Можно веночек для Тасечки сплесть.

Эту песню пели мещанские девочки, жившие в «каморках», — крошечных комнатах дома рабочих Мясокомбината. Таська прекрасно помнила, что из этого заведения ее мать приносила требуху, которую чистили пять часов. Храбрая женщина Павла Павловна Толстова, Таськина мать, работала на Мясокомбинате забойщицей, а потом была подсечена и выслана очень далеко за то, что громко объявила: «Эх-хх, Совецка власть! Раздрога жадноглазая! Обещала-т топор, а дала-т топорище!»

Таська с сестрами и братиком (Валя—Тома—Шурик) остались у тетки. Все они были младше Таськи и вскоре рассеялись по детдомам, а наша героиня в одиннадцать лет поступила на Мясокомбинат тоже, как и мать, забойщицей.

— Разбегуся, и прям в лоб корове или теленку к-а-а-к вдарю!

. . . . . .

А Валя—Тома—Шурик все прекрасно живут теперь. Все получили образование. Все стали людьми. Валя — медсестрой, Тома — кончила пединститут в Омске, а Шурик недавно женился.

. . . . . .

Что же касается Таськиной старой-престарой матери, бывшей забойщицы советского скота, незаконно репрессированной и теперь реабилитированной, то и она в порядке. Часто-пречасто является она в Москву гостить к дочери Таись и все боится зажигать газ. Ей говорят соседи:

— Да и чего вы, Павловна, боитесь? Ну вот, сперва берете спичку, потом — чирк ее и крантик открывайте!

— Да боюсь я, девушка, не уча в попы не ставят, — ответствует соседке смелая в свое время женщина Павловна.

**
*

— Доктор Фридкес, а меня будешь лечить?

— Уйди из-под окон, дурак длиннозубый.

— Доктор Фридкес, а про меня будешь писать?

— Катись спекулянт пучеглазый, а то опера позову, он тебе скулы в минуту согнет.

— До-о-о-ктор Фридддддкес . . . . !

Такие диалоги велись каждую весну между Таись Толстовой, домработницей доктора филологических наук Фридкеса, и Коки Коберидзе, хорошеньким кретином, двадцатипятилетней дубиной.

Как только на Чистых прудах каток превращался в пруд, — Коки Коберидзе появлялся в Москве с мешком лаврового листа и останавливался у дяди Гиви, лауреата Ленинской премии по авиационному делу.

На следующий день после прибытия, он уже стоял на Бабьегородском рынке и бойко выкрикивал:

Что ваш русский борщ
Или ваши русские щи?
В свои русские щи лавровый лист
п-а-а-ллл-а-жи!
Тогда будут не щи, а па-лл-чики
а-бб-лижи!

Жена доктора Фридкеса умерла в конце войны. Остался мальчик Марик. И доктор взял домработницу Таись Толстову, молодуху, с которой он во время войны служил (и что-то вроде больше), в одном батальоне.

**
*

В 52-ом году утром нельзя было пройти через Т-ый переулок к трамвайной остановке. Милиция оцепила садик, внутри садика дом. С краю толпы стояла молочница и говорила мрачной студентке:

— Да говорят там доктор что ли, или уж профессор . . . повесился . . .

**
*

Когда доктора увозили и комнату опечатывали, Таись сидела с Мариком у дядюшки Гиви и Коки. Гиви стонал и плакал, а Коки ходил по комнате и повторял:

— Э-э-э . . . дурак . . . э-э-э . . . дураки . . .

Таись спрятала в карман Марика все деньги, бывшие дома в наличии и документы.

Коки гудел:

— Оставь его, дура, я тебе говорю, оставь, э-э-э, оставь. Они приедут через два часа и заберут его в детдом, а тебе дадут между глаз. Я его лучше в Грузию в-а-а-зьму, он черненький, а тебе он с-а-авсем не идет . . . Оставь его, я тебе говорю . . . оставь . . .

. . . . . .

Таська убежала с мальчиком через черный ход и уехала к Шуре Барабановой на станцию Бутово. Объясняя подруге о смерти доктора, она говорила плача:

— Ты газеты-то глядишь? Каждый день все пишут, космополиты да безродники, что ли... Все боялся, что арестуют, а за что, Господи? Вот и добоялся...

**
*

Потом, когда Таську все ругмя ругали за то, что она повесила себе на шею незнаемо зачем чужого ребенка (несмотря на большой аппетит на мужское внимание и на самые перспективные отношения с Петькой Кулаковым), она кричала:

— Замуж? А зачем мне муж? Муж — он объелся груш, теперь мужья яичницу с колбасой жрать любят, с салом и не заикайся, — а ты на его работай. Муж-то он сегодня мой, а завтра твой, а сын всегда при мне останется!

Через знакомого милиционера, с которым выпивал Петька Кулаков, дело устроилось и стал Марк Фридкес сыном Таськи Толстовой.

Я же, когда еще не знала ничего из вышеизложенной истории и думая, что она — мать-одиночка, а Марик ее настоящий сын, однажды внимательно посмотрела на мальчика и неосторожно пальнула:

— Таись! А Таись! Разреши мне задать тебе нескромный вопрос: твой Марик — еврей?

Таська ужасно разволновалась, свирепо обарбосилась и заблажила, что может я сама еврейка, вот это да, вот это так действительно, а Марик — русский, не хуже других...

**
*

Вот вам Таись — и при виде ее полный отрыв от земного притяжения. Стоя перед дивным иконостасом Патриарших палат, я богохульствовала: быстренько перебирала в памяти случаи из жизни школы, где тринадцать лет назад я ишачила учительницей и где познакомилась с Таись. Вдруг у меня свело спазмой пупок. Заиграло без предупреждения где-то под сводом в записи на пленке «Всенощную» Рахманинова. И, конечно, у всех на глаза

набежала, как искра,
СЛЕЗА...

Потом, закамуфлированная солнцезащитными очками, я подошла к столику, где сидела Таись. Она беседовала с невысоким передовиком производства, окончившим десятилетку.

— Почему не висят тут объяснения на стенах, как это понять «всенощная»? — возмущался он. — И что может обозначать вся эта процедура в религиозном обряде? Вы не подскажете?

Таись лихо ерзнула на стульчике (колченогом, конечно, это единственный эпитет для стульчика) и подсказала:

— Не скажу . . к . . к . . Мы неверующие. Да и чего там знать-то? Ерунда и больше нет ничего.

Производственник нахмурился от обиды, что за свои кровные пятнадцать копеек он не получил всей информации. И Таись сжалилась.

— А вы, гражданин, не расстраивайтесь, — нежно промурлыкала она, — вы в церковь сходите. Там старух-пенсионерок — тьма. Спросите, они знают.

Вечером я набрала номер ее телефона.

— Ой, миленькая, ой, дорогая, — захныкала она в трубку, — да я бы с тобой хоть сейчас, да не могу. У меня, это . . . Марусенька с ураном работает, а соседи сволочи.

Да здравствует Уран! Ура — Урану! Недаром мне всю ночь перед этим снился душещипательный романс «Черный ворон, что ты вьешься?»

Но вопрос о героизме я должна коренным образом пересмотреть.

Ваша же микро-задача — не поддакивать на сто процентов всему, что я вам тут плету.

И вместе со мной — не создавать себе героев озера Светлояра.

Нигде.

Никогда.

И ни при каких обстоятельствах.

Октябрь, 1969.

СОФИЯ ПРЕГЕЛЬ

Летают белые птицы,
Призрачны и легки,
А мне почему-то снится
Высокий берег Оки.

Но не будут сухие колосья
Лежать на краю земли,
На границе чиновник не спросит:
— Подарочки привезли?

Не увижу во тьме безликой
Старый дом, он пошел на слом.
И не будет пахнуть гвоздикой
И весенним густым дождем.

СОФИЯ ПРЕГЕЛЬ

И звучанье и тишину
Надвигающегося лета,
Я давно потеряла это —
У меня украли луну

И восход, высокий и пылкий,
И небесные огоньки . . .
Стали звезды в старой копилке
Словно стертые пятаки.

И волна в пути поседела,
Я сама не та, что была:
Разлюбила, перегорела,
Отгитарила, уплыла.

СОФИЯ ПРЕГЕЛЬ

Опять чужая и странная,
Черная синева.
Под занавес полупьяные,
Всхлипнувшие слова.

Здесь все бессмысленно хмуро,
Но никем не осуждена
Плохая литература,
Отработанная весна!

ИГОРЬ ЕЛЬЦОВ

ТРАНСПЛАНТАЦИЯ

Он был первым. И теперь он — гордость и слава нашей медицины. Газеты, радио, телевидение не устают говорить о нем и его показывать. Его иначе не называют, как исцелитель, чудотворец.

В свое время он во всеуслышание пообещал, с помощью пересадки сердца, почек и других органов продлить жизнь до ста, до ста двадцати.

«Не допусти, Господи!» — с тревогой думаю я сегодня, вспоминая его слова.

— Безумец, он задался коварной целью продлить стариковские страдания, — сказал недавно на прогулке мой престарелый сосед ботаник.

Скажу вам совершенно доверительно, я хорошо знал эту знаменитость — «исцелителя», «чудотворца». Тогда я был молодым здоровым человеком, лучшим лыжником нашего края, плавал как дельфин. Мне было двадцать. Сейчас мне довольно много... Неужели он был прав и мне придется тянуть лямку до ста?..

Точно не помню, сколько лет назад, он вынул у меня из груди убитое сердце и вшил новое, — оно оказалось еще крепче прежнего. Правда, иногда в жаркую погоду оно будто распухает и тяжело давит на стенки. Тогда трудно дышется, под языком образуется сахаринная жидкость, без конца хочется пить.

Вот как это было.

После автомобильной катастрофы меня, смертельно искалеченного, подхватила случайная машина и через три-четыре минуты доставила в клинику. В знаменитую клинику «чудотворца».

По дороге я умер. В операционную внесли мое тело. Некоторые, наверно, еще и сейчас хорошо помнят этот случай: о нем писали все газеты. Я ведь оказался первым удачным пациентом по пересадке чужого сердца. Не буду пересказывать, как все было, не это

Автор этого рассказа — невозвращенец, оставшийся за границей несколько лет тому назад. Рассказ «Трансплантация» — его первый литературный опыт. (Р е д.)

главное. Главное то, что пока хирург удалял мое мертвое сердце и пришивал новое, совершая сложнейшую операцию исцеления, я побывал *там*, — на земле это называют ТОТ СВЕТ.

Скажете, невероятно? Больная фантазия! Да?

Улыбаетесь?

Я не заставляю вас верить. Это ваше право. Мало того: до моей смерти я сам бы посмеялся над такими чудесами, — кстати, я был убежденным атеистом. Не верил ни в черта, ни в Бога, не говоря уж *о том свете*. Но после случившегося *тот* мир приобрел для меня совсем другое значение. Нет, не абстрактное и не мистическое.

Когда на мою машину наскочил тяжелый грузовик, я потерял сознание. Очнулся на минуту, когда меня клали на носилки, видимо пришел в себя от боли. И через несколько мгновений услышал громовые раскаты и неописуемой силы треск, похожий на гигантские электрические разряды.

Я погружался в темноту... Я будто медленно плыл в тягучей жидкости. Грохот уходил дальше и дальше.

Внезапно все стихло. Наступила такая тишина, о которой на земле говорят — «гробовая».

Теперь из чернильной тьмы я выплывал в свет. Но я не видел его, я его только ощущал, каким-то неизвестным мне до того чувством. И я не чувствовал больше ни своего веса, ни времени, ни расстояния. Я становился кем-то другим. Материя уступала место другому качеству, чему-то, похожему на «дух», в земном понимании, как я все это старался представить себе после, когда снова оказался на *этом* свете.

Вокруг стелилась нескончаемая ровная плоскость, как степь или пустыня. Она не была серого цвета, скорее бесцветная, хотя могла казаться серой, и ее покрывала словно бы трава, похожая на коротко подстриженный ковер. Он слегка дымился. Необозримый ковер, сотканный из живых нитей, шевелился, дышал...

Но я не видел его, это не было зрительное ощущение, — однако мое новое сознание рисовало мне именно этот образ.

И небо было тоже необычное; своей бездонностью оно напоминало небо нашей земли, только не было красок и облаков. Ровная дымка сливалась на горизонте с чуть дымящимся бархатом травы, таким же спокойным и похожим на видение, как и бесконечное кажущееся небо.

Я никогда не представлял, что можно быть таким счастливым.

С того момента, как я стал ощущать свет и постепенно отдельные детали *нового мира*, откуда-то из неразличимой дали, из полной тишины, в которую я был погружен, как в вату, начали слышаться голоса. Они плыли ко мне со всех сторон: сверху и справа, снизу и слева...

Удивительные голоса! Мягкие, спокойные, ровные, как клавесинная музыка. Непрерывный их поток, похожий на многоголосый человеческий разговор и вместе с тем на него непохожий, настолько меня поразил, что я некоторе время не двигался, наслаждаясь этим концертом.

Говорят, у древних греков был остров Сирен. Девы с обворожительными голосами сладостным пением заманивали к себе мореплавателей и те, попадая в пучину, погибали.

Это хорошая легенда. Никто и никогда не слышал этих голосов. Но если бы придумавшему удалось услышать те голоса, какие слышал теперь я, он ярче изобразил бы в легенде голоса Сирен.

И вдруг я разглядел, что, оказывается, я не один, что вокруг много тех, кто был на земле людьми. Они скользили вокруг, как тени, такие же неслышные, и будто отдельные от чудесных голосов, которые я слышал. И они не обратили ни малейшего внимания на мое появление: любопытства там, по-видимому, не знают.

Вместе со мной сквозь зыбкий, почти неопределимый, но реальный *барьер* между двумя мирами в тягучей мгле пробились еще какие-то бывшие люди. С одним я даже познакомился, сказал ему, почему отбыл с земли, — в ответ попутчик поведал свою историю. Она была так интересна, что я запомнил ее до последнего слова.

Этот юноша только что покинул Канарские острова. Он никогда не болел. Но однажды не встал с постели. Родители были убиты горем — неожиданной кончиной единственного сына. Его обрядили, положили в гроб. Он выглядел так хорошо, что все, кто приходил, говорили: «Он как живой». Но ведь так часто говорят об умерших. Среди друзей был врач. И вот он-то и установил перед самыми похоронами: юноша спит в летаргическом сне.

Похороны отменили. Родители не отходили от постели спавшего. Сон его был долгим и глубоким, не было заметно никаких признаков жизни.

Через несколько дней он открыл глаза.

Родители не могли нарадоваться.

Но скоро заметили, что у юноши пропал интерес ко всему окружавшему, чем он раньше жил. Он не хотел встречаться с друзьями, его не интересовали книги, спорт, которыми он увлекался. С каждым днем он все больше уходил в себя. Врачи не могли понять, откуда эта прогрессирующая отчужденность. Жизнь оставляла его.

Однажды он сказал:

— Я не хочу больше оставаться здесь. Я хочу туда, где был . . .

Когда я слушал этот рассказ, *там,* куда ему так хотелось, родители на земле наверно снова оплакивали его кончину.

Я не успел спросить его о первом пребывании в этих местах. Уплывая, он сказал мне:

— Меня привел сюда мой глубокий сон, после этого там быть нельзя.

И он растворился среди плывущих толп . . .

Голоса . . . Голоса . . . Голоса . . .

Как хорошо, что нет ничего телесного: все растворено в этой дымке, все невидимы — и видимы как только не совсем уловимые потенциалы сознания. И сознание здесь светлое, возвышенное, очищенное от земной скверны, от бытовой шелухи.

С первых же мгновений, как я снова стал смутно ощущать себя, я наслаждался покоем моего душевного состояния. К сожалению, его не передашь словами.

Больше всего меня удивляло ощущение моего отсутствия. Меня не было — и в то же время я был! Я был, как сознательная частица этого бескрайнего мира, равная всем другим.

Неожиданно я сделал поразительное открытие. Вблизи проплыли два собеседника, говорившие на двух языках: один на французском, другой на английском. Они понимали друг друга. Но и я понимал все до последнего слова, — а я этих языков никогда не знал! Почему?

Потом я услышал разговор по-шведски и по-испански. И опять я понимал!

Услышал я, наконец, и русскую речь.

Я последовал за собеседником только потому, что один голос показался мне очень знакомым. Я прислушался. Нет, ошибки не было: это был он. Я знал его очень хорошо, *там*. Здесь голос его звучал чище и спокойнее. Сколько раз я слышал его — в театре, на эстраде или с заигранных пластинок! . . . Невозможно перечислить все споры за чаем у него на даче. Мы любили спорить о месте человека в обществе . . . о смысле жизни . . . Не раз вели наивные дискуссии о потустороннем мире, где суждено было встретиться, — тогда я в это не верил.

Нет, я не ошибся: это был Василий Иванович Качалов! Его собеседника я не знал.

Качалов читал стихи. Такие я никогда не слышал на земле. Наверно, второй был поэт, время от времени он выражал одобрение чтецу. Возможно, стихи были его.

Мне казалось, все было необычно в этих стихах. Потом я не раз пытался припомнить хоть несколько строчек, — ничего не получалось. Но я отлично помню их музыкальное звучание и почти неуловимое содержание. Здесь мы сказали бы о таких: «Они ни о чем». Я только едва помню, что там были слова о суете сует земного бытия и о величии, о вечности *того мира*. Нет, нет, лучше не пересказывать, это так же невозможно, как пытаться передать словами аромат цветов.

Я плыл и плыл за ними. Кажется, Качалов заметил меня, но не торопился вступить в разговор со мной. Там нет потока времени, нет спешки, нет отставаний.

Если бы я знал тогда, что через несколько минут меня вернут обратно, я бы заговорил с ним, мне этого очень хотелось.

... И вдруг все умолкло. Я опять проваливался в темную бездну... Снова я услышал удары, раскаты, треск электрических разрядов в миллионы вольт. Повторялось все, как в начале, когда меня перекладывали из машины на носилки и несли в операционную, — несли мертвое тело. Только теперь было в обратном порядке.

Грохот и треск удалялись и чернильная мгла становилась фиолетовой. Я плыл в тягучей массе...

Сколько времени это длилось, трудно сказать.

Голос, который вернул меня в земное сознание, был грубым и хриплым. От него стреляло в ушах, больно давило на барабанную перепонку, будто я был глубоко под водой.

— ТЕПЕРЬ ОН БУДЕТ ЖИТЬ! — пробасил голос-труба надо мной.

Голос был сильный и самоуверенный. Я никогда не забуду его и буду проклинать этот момент весь остаток жизни.

Я сделал попытку приподняться на локтях, но боль кипятком прошла по телу, не дав мне даже пошевельнуться.

Попытался открыть глаза...

...Из красного тумана проступило мясистое, гладко выбритое лицо в белой шапочке. Строгое лицо и такие же строгие глаза под мохнатыми крыльями бровей изучали меня.

— Ну, вот! Видите, он открыл глаза! — лицо сияло по-детски, будто после трех недель беспрерывных дождей он впервые увидел солнце. Его медное лицо растянула улыбка. С гордостью победителя он заявил:

— Считайте, что мы вас с того света вернули, голубчик!

В этот момент по моему больному телу пробежали сотни электрических мурашек.

«Боже! — взмолился я. — Он даже не подозревает, что говорит. Если бы он знал! Безумец, лучше бы молчал...»

— Да, вы выиграли вторую жизнь! — сказал другой, женский голос, тихо-тихо, как бы боясь испугать меня.

Красный туман рассеялся. Теперь я хорошо видел склоненные головы. Люди стояли вокруг моей кровати в белоснежных халатах, в накрахмаленных шапочках. Каждый считал своим долгом утешить меня, подбодрить. Говорили по цепочке:

— Теперь вы будете обязательно жить! — картавил седой старикашка. — Да, да, вы герой...

— До ста вам теперь, не меньше с таким сердцем...

«Значит, была трансплантация . . .» — подумал я, вникая в голоса, висевшие надо мной: люди в халатах все говорили и говорили . . .

— Поздравляю вас, это новая победа медицины, — кого поздравляли, меня или хирурга, я не понимал.

Голоса звучали, как репродукторы на большом вокзале. Было трудно слышать их. Каждое слово железным прутом стегало по голове. Захотелось что-то сказать этим людям. В таких случаях, кажется, принято благодарить. Я собрал в себе всю волю, с большим трудом разжал связанные спазмой челюсти — и сказал то, что совсем не хотел говорит:

— Зачем вы это сделали?

Недоуменная пауза. Потом хирург с медным лицом и тонкими пальцами пианиста пробасил:

— Во имя жизни и науки, дружок!

Я и сейчас вижу этот гордый взгляд, слышу эти патетические слова большого ученого и хирурга, который мастерски залатал мои раны, пришил новое, чужое сердце. Новый «аппарат», как иногда цинично называют сердце медики. С каждым годом все больше и сильнее давит он на стенки грудной клетки, — я, кажется, говорил уже об этом. Мне объяснили потом: под руками не оказалось «аппарата» моего размера. Решено было попробовать этот. Поступили, как сапожники: сапог сорокового размера вогнали на ногу сорок второго. Надели и заставили ходить. Он жмет, а тебе говорят — терпи.

Бывают дни, «аппарат» булыжником катается по ребрам.

Перед выпиской «чудотворец» похлопал меня по плечу:

— С таким насосом будете жить до ста и больше. Мы впервые применили пластику. До этого никто не делал, дружок!

Вот и живу я после операции не первый десяток . . .

Хирурга, «чудотворца», давно нет в живых. Теперь он *там,* откуда меня, «во имя науки», силой своего таланта, вытащил. И только Богу известно, сколько мне еще ходить по земле?

Эту историю я держал в тайне. Никто и никогда ее не слышал. Сегодня я это делаю не по своей воле. Многие этому не поверят. Некоторые над ней посмеются. Но все, кто узнал о ней, в какой-то час жизни вспомнят ее — и кто знает, может быть призадумаются.

ВАЛЕРИЙ ПЕРЕЛЕШИН

ДОЖДЬ

Сам на голой доске, голова на камне.
Взяв разбег по верхам исхудалых рощ,
Сквозь решетку стучится весенний дождь.
Для чего, незваный, пришел ко мне?

Иисусе Христе — всполошились краски —
Сыне Божий — кругом поползли ростки.
Это ноги — помилуй — в разгульной пляске,
Это почки, набухшие, как соски.

На доске, на камне томится инок:
Настигает узкий стальной клинок.
Приюти в захлестнутый свой венок
Опаданье яблоневых снежинок!

... Утихает буря, и от дождя
Остается шелест возни несмелой.
Дождь ошибся окном. Теперь, уйдя,
Он в другое окно стучит, кадя
Остро пахнущей цвелью и пеной белой.

ВАЛЕРИЙ ПЕРЕЛЕШИН

УЧЕНИК

Потрясал непугавшей тростью:
Не чуди, не зевай, не мешкай!
Взять хотел то придворной злостью,
То незлой, посильной насмешкой.

И ушел, потеряв терпенье:
Предал юношу своеволью
В раскаленном котле, в кипеньи,
В той свободе, что стала болью.

А теперь — крылатый, готовый,
Для чего-то ждет не дождется
Ученик — и сам седобровый —
Что учитель к нему вернется.

ВАЛЕРИЙ ПЕРЕЛЕШИН

МУЗА

Не пленница и не куплена.
В плену? Не бежит из плена!

Таких, говоришь ты, дюжина:
Гадалка, воровка, странница, —
Для каждой своя страница
Исписана до конца . . .

Но эта — одна — останется,
Как рост — как горб — как жена.

ИРИНА ОДОЕВЦЕВА

НА БЕРЕГАХ СЕНЫ

Ту зиму, 25-26 года, мы с Георгием Ивановым проводили в Ницце.

Из Парижа Георгий Адамович писал нам, что он постоянно бывает у Мережковских и что они, как когда-то в Петербурге, возобновили свои воскресенья, игравшие немалую роль в дореволюционной литературной жизни.

Я еще в детстве увлекалась трилогией Мережковского — «Петром и Алексеем», «Юлианом Отступником» и, особенно, «Леонардо да Винчи». Читала я и «Александра Первого», и «Гоголь и черт», и «Толстой и Достоевский». Видела я на сцене и «Павла I», до революции находившегося под запретом.

Знала я, конечно, и стихи Зинаиды Гиппиус. Они мне не очень нравились своей рассудочностью и главное тем, что она писала о себе в мужском роде.

Все же я знала наизусть два ее стихотворения. Первое очень любил Блок:

Окно мое высоко над землей,
Высоко над землей.
Я вижу только небо с вечерней зарей,
С вечерней зарей.

Оно мне очень нравилось качающимся ритмом, редко свойственной Гиппиус музыкальностью и неожиданно прелестным концом, таким характерным для всегда и всем недовольной Гиппиус:

Мне нужно то, чего нет на свете,
Чего нет на свете.

И второе:

Единый раз вскипает пена
И рассыпается волна.
Не может сердце жить изменой,
Измены нет — любовь одна...

Отрывок из готовящейся к печати книги.

Читала я, конечно, и Антона Крайнего (псевдоним Гиппиус), беспощадного критика, ведущего суд и расправу над современной прозой и поэзией.

Антона Крайнего боялись не меньше самого Брюсова. Приговоры его были убийственны. Критические статьи его пестрели определениями вроде: «рыжая бездарность», «идиот», «недоносок», «кретин» и тому подобными вежливыми характеристиками писателей.

На похвалы Антон Крайний был чрезвычайно скуп. Даже о «Стихах о Прекрасной Даме» Блока он отозвался более чем сдержанно.

О Зинаиде Гиппиус в Петербурге ходили всевозможные легенды. Как, впрочем, о всех знаменитых писателях и писательницах.

Рассказывали, что она выходила на сцену в белом хитоне с распущенными длинными, рыжими волосами, держа лилию в руках, и молитвенно произносила:

Я сам себя люблю, как Бога.

Рассказывали, что она требует, чтобы все ее бесчисленные поклонники, те, что женаты, отдавали ей свои обручальные кольца и что она нанизывала их на цепочку, висевшую в изголовьи ее кровати.

Видела я и прославленный портрет Бакста, где она изображена в черном трико, казавшемся в те далекие годы фантастически неприличным и скандальным.

Мне не раз в Петербурге приходилось слышать, во время моих чтений стихов, восхищенные восклицания пожилых представительниц художественной богемы: — Совсем наша Зина! Хотя, судя по ее портрету, я ничем не была похожа на нее.

Но мне все же хотелось убедиться самой, существует ли между ней и мной сходство.

О Мережковском я знала, что он всемирно знаменит, дома ходит в туфлях с помпонами, пишет четыре часа в день, каждый день, что бы ни случилось, а остальное время проводит в бесконечных дискуссиях с Розановым, Булгаковым, а главное с Философовым и Зинаидой Гиппиус.

Адамович писал нам, что Гиппиус выразила желание познакомиться с Георгием Ивановым и мной, и мы, не долго думая, собрались и приехали в Париж.

И вот мы на 11-бис, рю Колонель Боннэ, у Мережковских.

Вполне буржуазный дом, вполне буржуазная, хотя и очень скромная и безвкусно обставленная квартира с многотомной библиотекой. Мережковский всегда и всюду первым делом обзаводился библиотекой. Он не мог и дня провести без книг. В разговоре он постоянно цитировал древних и средневековых авторов. Его недаром называли «полководцем цитат».

Квартира была снята Мережковским еще задолго до войны, чтобы во время приездов в Париж не приходилось — «Ведь это так неудобно» — жить в отеле. «И как она теперь пригодилась! Ведь в Париже квартирный кризис. Что бы мы стали делать, если бы у нас ее не было?»

Чаепитие почему-то происходит в это воскресенье не в столовой, а в смежной с нею гостиной, за небольшим столом. Гости сидят вокруг него двойным кольцом.

Адамович представляет Георгия Иванова и меня Зинаиде Николаевне Гиппиус. Она, улыбаясь, подает мне правую руку, а в левой держит лорнет и в упор разглядывает нас через него — попеременно — то меня, то Георгия Иванова.

Я ежусь. Под ее пристальным, изучающим меня взглядом я чувствую себя жучком или мухой под микроскопом — очень неуютно.

Мережковский, здороваясь с нами, рассеянно оглядывает нас и продолжает свои рассуждения об Атлантиде.

Злобин, играющий одновременно роль секретаря Мережковского и роль jeune fille de la maison, находит для меня место за столом и приносит мне чашку чая.

Зинаида Николаевна усаживает Георгия Иванова возле себя с правого, слышащего уха и, не обращая внимания на общий разговор, подвергает его перекрестному вопросу-допросу: «что, как и зачем, а если нет, то почему?» — стараясь выпытать у него «интересуется ли он интересным».

Оказывается — интересуется. Если не всем, то все же главнейшим — спасением России и поэзией.

Я смотрю на Зинаиду Николаевну. Она все еще от времени до времени наводит на меня стекла своей лорнетки. Я знаю, что она очень близорука, но меня все же удивляет это бесцеремонное разглядывание. Удивляет и смущает, но не обижает. Обижаться было бы неуместно. Обижаться не полагается.

Нет, она совсем не похожа ни на портрет Бакста, ни на воображаемый портрет, созданный мною по рассказам о ней. И она ничем не похожа на меня. Абсолютно ничем. И слава Богу!

Впрочем, одним она все же схожа со своим воображаемым портретом — страстным желанием нравиться, «будить повсюду восхищение», сквозящим в каждом ее жесте, в каждом слове, лениво и капризно произносимом ею.

Да, она могла снимать с рук своих поклонников обручальные кольца.

Я спрашиваю себя: уж не потребует ли она и у Георгия Иванова его обручальное кольцо?

Но как мог Блок называть ее «зеленоглазой наядой». «Женщина — безумная горячка», еще и сейчас правильно сказано о ней. Но «зеленоглазая наяда» . . Как он мог? . .

У нее мутно-болотистые, бесцветные глаза. Лицо без рельефа. Плоский лоб. Довольно большой, грубый нос. Узкие, кривящиеся губы... Она очень сильно набелена и нарумянена. Морковно-красные волосы, явно выкрашенные хной, уложены в замысловатую, старомодную прическу с шиньоном. Волос чересчур много. Должно быть большая часть их фальшивые.

Но я ошибаюсь. Волосы, как я потом узнала, все ее собственные. Она до последних дней сохранила длинные, густые волосы и любила распускать их и хвастаться ими.

На ней пестрое платье какого-то небывалого фасона, пестрое до ломоты в глазах. И, будто этой пестроты еще мало, на груди большая ярко зеленая роза и коралово-красная ленточка на шее.

Я разочарованно гляжу на нее. В ней что-то неестественное, даже немного жуткое. Она чем-то — не знаю чем — о, только не красотой — смутно напоминает мне Панночку Вия.

Но может быть я несправедлива к ней и слишком строга?

У нее тонкие ноги в узеньких, остроносых, бронзовых туфельках и стройная, изящная фигура.

Может быть, надо только привыкнуть к ее гриму, к ее маскарадному наряду, к ее жеманно-ленивой манерности и лорнету? Может быть, она, действительно, могла казаться когда-то «зеленоглазой наядой»?

Нет, я еще не могу правильно судить о ней. Я не доверяю первым впечатлениям. И я перевожу взгляд на Мережковского.

Он-то, по крайней мере, совсем, точь-в-точь как мне его описывали — маленький, худой, сутулый до сгорбленности, с поразительно молодыми, живыми, зверино-зоркими глазами на старом лице, обрамленном интеллигентской бородкой.

Вот он встает. Ему понадобилась в разгаре спора, для цитаты, какая-то книга и он мелкими, бесшумными шажками идет за ней в кабинет.

Да. Он совсем, точь-в-точь такой. Для полного сходства не хватает только помпонов на синих войлочных туфлях. Но где в Париже найти туфли с помпонами?

Он возвращается, держа раскрытую книгу в руках, и убедительно произносит непонятную мне греческую цитату.

Он весь сверкает и горит вдохновеньем. Слова его пенятся, плещут и льются водопадом. Я за всю жизнь не встречала никого, умеющего так говорить и импровизировать.

Никого, за исключением Андрея Белого, тоже рассыпавшегося блестками, искрами и брызгами в яростном водовороте слов и образов, как на качелях взлетавшего на доказательствах, рушившегося в бездну отрицания и закруживающего, как на карусели, слушателя, до отупения, до головокружения, до невозможности спо-

рить, до безоговорочного принятия всего и согласия со всем, что с неистовым красноречием говорит Андрей Белый.

Впрочем, у Мережковского была черта, отсутствовавшая у Андрея Белого — уменье концентрироваться и постоянное, никогда не ослабевающее устремление всех мыслей и воли к одной цели: к созданию Царства Духа, к преображению души.

Сейчас он спорит с чисто юношеской запальчивостью и жаром о дате смерти какого-то неизвестного мне фараона с сидящим рядом с ним худощавым брюнетом — с Юрием Терапиано, как мне услужливо сообщает устроившийся во втором круге за моей спиной, очень длинный и длинноволосый, седеющий молодой поэт, Антонин Ладинский, как он мне представился, по-военному щелкнув каблуками.

Здесь, за исключением Адамовича и Оцупа, Георгия Иванова и меня, почти все «молодые поэты». Молодые не столь годами, как творчеством. Все они начали печатать свои стихи уже в эмиграции.

Всех их я вижу впервые. Я обвожу их взглядом, перескакивая с одного незнакомого лица на другое, запоминая лишь какую-нибудь деталь — серьезный, сосредоточенный вид Терапиано, красивые глаза Мамченко под резко очерченными темными бровями, энергичное, жизнерадостное выражение лица Кнута, очки Злобина, горделиво закинутую, пышноволосую голову Бахтина.

Все они, вместе с Гиппиус и Мережковским, Адамовичем и Оцупом, сливаются в одну картину. Ее надо непременно запомнить. Ее нельзя забыть. Ведь это одно из самого интересного и значительного, что сейчас происходит в эмиграции — воскресенья на рю Колонель Боннэ.

Зинаида Николаевна уже давно перестала наводить на меня лорнет. Она подносит чашку кофе к губам, прислушиваясь к тому, что говорит Мережковский.

Перед ней стоит маленький кофейник. Пить кофе полагается только ей одной. Остальные, независимо от вкусов, о которых никто не осведомляется, довольствуются чаем.

— Нет, Димитрий. Я не согласна! — вдруг громко, капризным тоном заявляет она, прерывая страстную тираду Мережковского.

«Я не согласна» — фраза наиболее часто — кстати или не совсем кстати — произносимая ею. Утилитарная, «ширпотребная», фраза-паспарту. Ее разговоры часто начинаются именно с нее:

— Я не согласна с Эйнштейном! или — с Бергсоном! или — с Алдановым! или — со Степуном! (Кстати, получившее некоторое распространение пожелание: «Степун тебе на язык» принадлежит ей).

Иногда, по глухоте — она из кокетства старается скрывать ее — не расслышав о чем спрашивают, она отвечает: — А я не согласна!..

И чаще всего ее ответ производит магическое действие.

Так, например, молодой поэт, робея и смущаясь, задает ей вопрос:

— Зинаида Николаевна, вы читали мои стихи в «Звене»?

И она роняет капризно-лениво:

— Нет. Я не согласна.

Спрашивавший в смущении замолкает. Стихи его, должно быть, не понравились Зинаиде Николаевне, неизвестно почему. Но не стоит настаивать. Ведь она любит повторять афоризм: «Если надо объяснять, то не надо объяснять». И он не решается требовать объяснений.

Сейчас я впервые слышу от нее ее знаменитый протест, о котором мне кагда-то рассказывал еще Гумилев в Петербурге.

Я вся обращаюсь в слух. Я хочу знать, с чем она собственно не согласна, мне хочется услышать парадоксальные выводы и доводы ее блестящего, острого, неженского ума.

Нет, все-таки женского: ведь ведьма — женщина. Троцкий писал когда-то: «Я не верю в существование нечистой силы (цитирую по памяти). Не верю ни в чертей, ни в ведьм. Впрочем, все-таки в существование ведьм верю, — вспомнил Зинаиду Гиппиус». И тут же отдает дань ее исключительному уму.

Но послушать Зинаиду Николаевну мне в тот день не удается.

Ко мне близко наклоняется сидящий за мной Антонин Ладинский и шепчет мне в самое ухо:

— Какой ваш любимый цветок?

Я поворачиваюсь и чуть не стукаюсь лбом о его лоб.

— Что? Что вы сказали?

— Какой ваш любимый цветок? — повторяет он. — Я уверен, что роза. Правда? Я угадал?

Переход от рассуждений об Атлантиде к любимому цветку так неожиданно фантастичен, что я с трудом удерживаю смех.

А он, наклонившись ко мне, ждет моего ответа.

Верно он, глядя на меня, подумал: «Бедненькая, сидит, молчит и скучает, слушая непонятное. Надо ее занять подходящим разговором». И, как телеграфист, гуляющий по железнодорожной платформе со станционной барышней, задал мне галантный, доступный моему пониманию вопрос.

Я киваю.

— Вы правильно угадали — роза!

Он широко улыбается, прикрывая рот рукой и произносит:

— Я был уверен. Вы сами похожи на белую розу!

Я не успеваю поблагодарить его за такой оригинальный комплимент.

Зинаида Николаевна встает и все за ней. Прием кончен. Шум отодвигающихся стульев. Все подходят прощаться с Зинаидой Николаевной. Подхожу и я.

— Надеюсь, вы будете постоянно бывать у нас. Каждое воскресенье, — любезно и капризно тянет она. — С вашим мужем мы уже сговорились. Он обещал. А вы?

И я, краснея от удовольствия, говорю:

— Обещаю, Зинаида Николаевна.

Да, я тогда в то первое воскресенье у Мережковских еще не могла правильно судить о Зинаиде Гиппиус.

Я многое в ней не разглядела и не поняла. Я не разглядела даже, что у ее лорнетки не два, как полагается, а только одно стекло, что это не лорнетка, а единственный в своем роде предмет — монокль на ручке, сделанной по особому заказу, должно быть.

В те далекие годы монокли еще были в ходу — их носили изящные старики и снобичные молодые люди. Но, конечно, не дамы. Дама в монокле или с моноклем была совершенно немыслима.

Но, как почти всегда, действительность оказалась более фантастичной, чем фантазия. Зинаида Николаевна носила монокль. Правда, она носила его исключительно на улице, вставляя в левый глаз в прихожей, перед тем как надеть перчатки.

Гиппиус и Мережковский представляли собой на улице совершенно необычайное зрелище.

Как известно, парижан редко чем можно удивить. Они равнодушно смотрят на китайцев с длинными косами — тогда такие китайцы еще встречались, — на восточных людей в тюрбанах, на японок в вышитых хризантемами кимоно и с трехярусными прическами, на магараджей и прочих.

Но на идущих под руку по улицам Пасси Гиппиус и Мережковского редко кто не оборачивался и, остановившись, не глядел им вслед.

Я и сама, встретив их впервые, не могла не остановиться, пораженная их видом.

Они шли под руку — вернее, Мережковский, почти переломившись пополам, беспомощный и какой-то потерянный, не только опирался на руку Гиппиус, но прямо висел на ней. Гиппиус же, в широкополой шляпе, замысловатого, совершенно немодного фасона — тогда носили маленькие «клоши», надвинутые до бровей — с моноклем в глазу держалась преувеличенно прямо, высоко подняв голову. При солнечном свете белила и румяна еще резче выступали на ее лице. На ее плечах неизменно лежала рыжая лисица, украшен-

ная розой, а после визита Мережковских к королю Александру Сербскому — орденом Саввы II степени.

Король Александр Сербский пожаловал Гиппиус Савву II степени, а Мережковскому того же Савву, но I степени, что ею было принято не без некоторой обиды. Мережковский, впрочем, никогда о своем Савве I степени не вспоминал и никогда не надевал его, не в пример Зинаиде Николаевне, не расставшейся со своим орденом, как с любимой игрушкой.

Они ежедневно обходили небольшую часть Булонского леса, называемую Парк де ля Мюэтт, — а потом, тоже по раз навсегда заведенному ритуалу, шли пить кофе в кафе на площади, садясь всегда за один и тот же столик.

В кафе их хорошо знали. Не только гарсоны, но и постоянные посетители. Знали, что это de grands écrivains russes, и к ним относились с должным уважением.

И во время прогулки, и в кафе они говорили, не умолкая. Они всегда находили интересную для них тему и горячо обсуждали события двадцатилетней давности и происшествия сегодняшнего дня. Они как будто не чувствовали ни «груза времени», ни даже границ между жизнью и смертью. О живых и мертвых они говорили одинаково. Для них мертвые, наравне с живыми, действовали и участвовали в их беседах.

— Нет, нет, — повторяла Зинаида Николаевна, — я не согласна с Яковом Петровичем. Ему кажется, что он всегда прав и что он пишет хорошо. А по-моему —

Писатель, если только он
Есть нерв великого народа —

просто плохо. Почему писатель должен быть нервом народа? И какой такой «нерв народа»? Один нерв?.. И дальше: что это значит? —

Не может быть не поражен
Когда поражена свобода.

Поражен — удивлен? Или поражен — от поражения — то есть не понести поражения? — и пожимая капризно плечами: — Не понимаю. И понимать не хочу. А Яков Петрович спорит. Он ведь всегда доволен собой, «своим обедом и женой».

Она говорит «спорит», а не «спорил». Спорил больше чем тридцать лет тому назад. Но для Зинаиды Николаевны Полонский не умирал, он по-прежнему ее собеседник. И с ним, как и с другими, игравшими какую-нибудь роль в ее жизни, встреченными ею на ее длинном жизненном пути, она продолжает споры-разговоры.

С того первого нашего «воскресенья» я бывала на 11-бис, рю Колонель Боннэ почти каждое воскресенье. Зинаида Николаевна очень

подружилась с Георгием Ивановым. Она часто приглашала его к себе вечером и просиживала с ним до «глубокой ночи», с глазу на глаз, и он ни разу не отказался навестить ее. Даже когда я бывала больна и он никуда из дома не выходил, для Зинаиды Николаевны он делал исключение.

Правда, мне и в голову не приходило попросить его не ходить к ней. Я знала, что эти вечерние посещения доставляли ему большое удовольствие.

Мережковские вели размеренную по часам жизнь. Зинаида Николаевна ложилась поздно, проведя полночи в писании писем, дневника, стихов, рассказов и статей, и вставала тоже очень поздно. Ее утро было занято «обрядностями туалета». К ним она относилась крайне серьезно и добросовестно, никогда не забывая произвести над своим лицом все то, что могло „réparer de l'âge l'irréparable outrage".

Она выходила из своей комнаты только к завтраку, уже вполне одетая, причесанная, подкрашенная и подтянутая.

Мережковский же ложился рано, вставал рано и работал все утро до завтрака.

После завтрака они шли гулять в любую погоду — в холод и дождь, — считая прогулку не менее необходимой, чем сон и пища.

Они оба курили. Но не больше раз навсегда положенного числа папирос и только после завтрака. О лечении и гигиене у них были свои особые, довольно странные понятия.

Так, например, на мой совет поехать летом в Виши, Мережковский в ужасе замахал на меня руками:

— Бога побойтесь. Смерти вы нашей хотите, что ли? Минеральная вода — яд!

И Зинаида Николаевна поддержала его:

— Лучше уж, чем минеральную воду, скипидар пить, как Владимир Соловьев, — и тут же пояснила: — Владимир Соловьев пил скипидар, чтобы избавиться от чертей. Он был уверен, что черти не выносят запаха скипидара и не заберутся к нему в рот. — Зинаида Николаевна подняла свой лорнет-монокль к глазам и, полюбовавшись произведенным впечатлением, продолжала: — Но и скипидар не помог. Только смерть его ускорил. А черти преследовали его по-прежнему. Правда, мне, как я ни старалась, не удалось их увидеть, хоть мне и очень хотелось . . .

Ла Рошфуко в своих «Максимах» утверждает, что «существуют хорошие браки, но восхитительных браков не бывает». И это, к сожалению, правильно. В особенности у нас, русских, и особенно в художественных и литературных кругах.

Тэффи, «великая умница-остроумница», как ее называл Бунин, со свойственным ей юмором, прерывала надоевшие ей политические споры, без которых не обходился ни один эмигрантский обед:

— Довольно! Теперь займемся очередными литературными делами и поговорим о том, кто с кем разводится, кто на ком собирается жениться и кто кому с кем изменяет. Поговорим о новых романах.

И действительно, среди писателей почти не существовало ни одной супружеской пары, не разводившейся, не вступавшей по нескольку раз в брак. Даже Михаил Осоргин, героически решившийся перейти, для женитьбы на Рахили Григорьевне, в еврейство, и тот не выдержал, не избежал общей участи — развода.

Но брак Гиппиус—Мережковский опровергает утверждение Ла Рошфуко. Это был поистине «восхитительный брак».

Вернувшись из Италии, куда они ездили по приглашению Муссолини, Зинаида Николаевна на одном из «воскресений», делясь своими «итальянскими впечатлениями» рассказывала между прочим и о мелких, неизбежных неприятностях. О том, как они забыли в Риме ключи от своих чемоданов и обнаружили это только приехав, уже не помню в какой город:

— Так досадно и глупо. Так утомительно. Нам пришлось возвратиться в Рим. И сколько денег стоило! Туда и обратно два билета в спальном вагоне.

— Но почему же не поехал Димитрий Сергеевич один? Почему вы, Зинаида Николаевна, тоже ездили? — недоумевали слушатели.

Она только плечами пожала.

— Ну, нет! Совершенно невозможно. Немыслимо! Чтобы мы хоть одну ночь провели не вместе? Этого за всю нашу жизнь не было. И надеюсь, никогда не будет. *

Они так, до самой смерти Димитрия Сергеевича и прожили, не расставаясь ни на один день, ни на одну ночь. И продолжали любить друг друга никогда не ослабевающей любовью. Они никогда не знали скуки, разрушающей самые лучшие браки. Им никогда не было скучно вдвоем. Они сумели сохранить каждый свою индивидуальность, не поддаваться влиянию друг друга. Они были далеки от стереотипной, идеальной супружеской пары, смотрящей на все одними глазами и высказывающей обо всем одно и то же мнение. Они были «идеальной парой», но по-своему. Неповторимой идеальной парой. Каждый из них оставался самим собой. Но в их союзе

* Зинаида Николаевна, утверждая, что она с Димитрием Сергеевичем за всю жизнь не провела «ни одной ночи врозь» приукрасила правду. Я узнала об этом только из ее «О бывшем», опубликованном д-ром Темирой Пахмус в февральской тетради «Возрождения» 1970 года. В 1901 году Мережковский один, без Зинаиды Николаевны, оставшейся в Петербурге, на несколько дней уезжал в Москву. (И. О.)

— они как будто переменились ролями — Гиппиус являлась мужским началом, а Мережковский — женским. В ней было много М — по Вейнингеру, а в нем доминировало Ж. Она представляла собой логику, он — интуицию.

Они вели беспрерывно дискуссии и споры, опровергая друг друга. Со стороны это казалось чрезвычайно странным. В особенности, когда эти споры происходили на собраниях «Зеленой лампы».

Зинаида Николаевна, всегда усаживавшаяся на эстраду рядом с выступавшим Мережковским, чтобы чего-нибудь не пропустить, не дослышать — вдруг прерывала его речь капризами:

— Нет, я не согласна, Димитрий. Ты ошибаешься. Это совсем не так!

После чего сразу же закипала яростная словесная дуэль, оба противника скрещивали шпаги и наносили друг другу искусные и жестокие удары.

Слушатели замирали от изумления. Некоторые из них даже считали, что это подстроено, что это «трюк» для придачи занимательности выступлениям Мережковского. Разве можно поверить, что Мережковский публично ссорился с Гиппиус? И чем же это кончится, если это не подстроено? Чем? . .

А кончалось это обычно так же неожиданно, как и начиналось. Высказав с предельной резкостью все свои доводы, Мережковский сразу превращался в любящего мужа, нежно и заботливо брал Гиппиус под руку, помогая ей сойти с эстрады. — Осторожно, Зина, ступенька. Не оступись! — подводил ее к месту в первом ряду, усаживал ее и бережно поправлял лисицу, спустившуюся с ее плеча, осведомляясь: — Тебе не холодно? Не дует, Зина? Не принести ли тебе шубку? Не простудись!

И она, улыбаясь, благодарила его. — Нет, хорошо. Спасибо, Дмитрий, — и приготовлялась слушать следующего оратора.

Заседания «Зеленой лампы» . . .

«Зеленая лампа» безусловно — одно из замечательнейших явлений довоенной эмиграции.

Она была задумана на воскресеньях, на 11-бис, рю Колонель Боннэ, с каждой неделей становившихся все более интересными и многолюдными. Теперь на «воскресеньях» бывали уже и Ходасевич с Ниной Берберовой, и Фондаминский, и Бунин, и Керенский, и Варшавский, и Шаршун, и Тэффи, и Л. Шестов, и Н. Бердяев, и Поплавский. — Кто только не посещал «воскресений»? — Всех не перечесть.

На «воскресеньях» обсуждались общественные, политические, литературные вопросы, чаще всего под свойственным Мережковскому «метафизическим углом зрения».

Отвергал Мережковский только разговоры, общепринятые за чайным столом — о здоровье, о погоде и тому подобном, и немедленно пресекал их возмущенным возгласом: «Обывательщина!»

Вскоре выяснилось, что «воскресенья» становятся чем-то вроде «инкубатора идей», каким-то тайным обществом или заговором. И Мережковский, и Гиппиус, одержимые страстью «глаголом жечь сердца людей» и владеть их умами, решили расширить поле своей деятельности, перенести дебаты-дискуссии, в которых из столкновения мнений должна была рождаться истина, из их столовой на «общественую арену». Расширить круг «тайных заговорщиков», перебросить мост в толщу аморфной эмиграции и заставить ее приобщиться к истине.

Название «Зеленая лампа» напоминало о тайном кружке Всеволожского. В нем участвовал и Пушкин.

Теперь, через столько лет, мне кажется, что Мережковские мечтали создать что-то вроде Pugvash, о которых столько пишут и говорят сейчас. Не интернациональные и не научные, а эмигрантские писательско-философско-религиозные. Как и нынешние Pugwash, являющиеся некоей доброй, оккультной силой, «Зеленая лампа» должна была спасать если не весь мир, то по крайней мере Россию и ее филиал — эмиграцию.

Что эмиграцию надо спасать не только от «обывательщины», но и от гордыни и самоунижения, от отчаяния и потери веры в будущее, что надо ей помочь организоваться духовно и управлять ею, было для Мережковского несомненным. Всем этим, с помощью «заговорщиков воскресников», и должна была заняться «Зеленая лампа».

**
*

«ЗЕЛЕНАЯ ЛАМПА» начала свое существование 5 февраля 1927 года.

В день открытия В. Ф. Ходасевич объяснил собравшимся, чем была «Зеленая лампа» во времена Пушкина. После чего был прочитан первый доклад, сопровождавшийся прениями, сразу, как и доклад, произведшими на слушателей сильное впечатление отсутствием академичности и необычной страстностью, горячностью и парадоксальными мыслями, высказываемыми не только Мережковским, но и большинством «заговорщиков».

Так, во время одного из первых заседаний, молодой поэт Довид Кнут заявил, что литературная столица России теперь не Москва, а Париж, и, конечно, вызвал бурные дебаты и реплики с места.

Доклады следовали один за другим. Гиппиус говорила о «Русской литературе в изгнании», Фондаминский-Бунаков о «Русской

интеллигенции», как о духовном органе, Адамович о том «Есть ли цель у поэзии», и так далее, и так далее.

«Зеленой лампой» заинтересовались широкие круги эмиграции. Многие стали «добиваться чести» попасть на ее заседания. Для этого требовалось письменное приглашение. Правда, дававшееся без особых затруднений.

Аудитория первых лет существования «Зеленой лампы» была повышенно нервной, верившей в то, что с такой страстью проповедовал Мережковский. Она выражала свое одобрение взрывами аплодисментов, а несогласие и протест — криком и топотом ног.

Мережковский, в особенности в ответах оппонентам, когда он импровизировал, а не произносил заранее подготовленную и продуманную речь, иногда достигал необычайной силы и даже магии. — Да, именно магии, на нахожу другого слова.

Казалось, что он на глазах вырастает, поднимается все выше и выше, отделяется от земли. Голос его звенел, широко открытые глаза смотрели куда-то вдаль, как будто сквозь стену, туда, в ему одному открытое будущее, которое он так пламенно описывал очарованным, околдованным, боящимся перевести дух, слушателям.

В эту минуту он, действительно, был пророком. Пусть только на одну минуту, но слушатели свято верили, что он «носитель мысли великой».

«Зеленая лампа» заставила многих слушателей (слушателей, действительно, бывало много, — особенно, когда заседания происходили в Саль Плейель) серьезно разобраться в своем мироощущении, лучше понять происходящее и — что не менее важно — самих себя.

«Воскресенья» и «Зеленая лампа» воспитали ряд молодых поэтов, научив их не только думать, но и ясно высказывать свои мысли. Ведь большинство воскресных «заговорщиков» выступало с докладами, предварительно обсуждавшимися на 11-бис Колонель Боннэ, и принимало участие в прениях.

Из всех посетителей «воскресений», кажется, только я одна ни разу не прочла в «Зеленой лампе» доклада, никогда не участвовала в прениях и даже с места не подавала реплик. Все же я, по настойчивому требованию Мережковского, выступила один раз на большом вечере «О любви», двойном вечере в зале Плейель.

Слушателей собралось на такую интересную для всех тему видимо-невидимо.

Не скрою, что я, как, впрочем, большинство французских ораторов, написала свою речь и выучила ее наизусть, не раз старательно прорепетировала перед зеркалом жесты и мимику. И благодаря этому неожиданно «блеснула красноречием», ко всеобщему удивлению.

Мережковский даже заявил на последовавшем после вечера «О любви» воскресенье, что «речь Одоевцевой была лучше всех». Что, конечно, никак не соответствовало истине. Просто он был удивлен, что я могу что-то сказать.

Сам Мережковский произнес на первом вечере блестящую речь.

— Миром правят Нейкос и Филотес, Распря и Дружество, учит Элепедокл, — провозгласил он. — Или противоположное, созвучное: Эрос и Эрис, Любовь и Ненависть, Мир и Война. Язва убийства — война; язва рождения — Содом. Пол с войной пересекается... Кровь сначала загорается похотью, а потом льется на войне.

— «Благодарю Тебя, Господи, что я никого не родил и никого не убил». В этой несколько странной для непосвященных молитве, русский ученик Платона, Владимир Соловьев, соединяет эти две язвы в одну... И я поэтому с Соловьевым! — воскликнул Мережковский, ударяя себя в грудь.

Не обошлось и без курьеза. На втором из этих вечеров выступила и Тэффи. Ведь это был полный парад-алле и смотр всех, посещавших «воскресенья».

Тэффи, должно быть сознавая всю ответственность предпринятого ею дела, взялась за него даже слишком глубокомысленно и написала целый ученый доклад — об аскезе.

Когда она, в нарядном красном платье, появилась на эстраде, в зрительном зале все радостно встрепенулись и заулыбались. — Наконец-то можно будет посмеяться!

И действительно, с первой фразы Тэффи об аскезе, с первой, с трудом произнесенной ею, греческой цитаты раздался то тут, то там смех. Должно быть, некоторым слушателям показалось, что это все очень забавно и остроумно, а они одни не понимают такого тонкого юмора. И они на всякий случай стали смеяться.

Тэффи, разложив перед собой большие листы, исписанные ее крупным, неровным почерком, торопливо читала, напрягая голос, чтобы перекричать смех, свой длиннейший обстоятельный доклад. Начала она с языческого аскетизма, всесторонне разобрала египетский монакизм и его три стадии, приведя ряд греческих и латинских цитат.

Она, наконец, после подробного описания жизни св. Антония, сделанное Апаназом, — в ней должное место было отведено и свинье св. Антония, — перешла к различным мифам, посвященным отцам-пустынникам. О том, как львы похоронили св. Павла в пустыне, о том, как лев — должно быть уже другой, не из компании тех львов-могильщиков, уступил св. Мальку свою пещеру, о крокодиле, переправившем на своей спине какого-то пустынника через Нил, о картине Веласкеза, изображавшей ворона, принесшего спорящим монахам-аскетам, забывшим среди молитв и споров о Боге,

подкрепиться монастырской трапезой, хлеб. — Теперь хохотал уже весь зал.

Бедная Тэффи все же мужественно дочитала свой ученый доклад. Дочитала до самой последней точки, не пропустив ни одной цитаты.

И слушатели устроили ей грандиозную овацию.

— Ах, уж эта Надежда Александровна! Ну, кто, кроме нее, может придумать такое смешное? — восторженно повторяла седая дама, меценатской внешности, отбивая свои пухлые, украшенные бриллиантами руки. — Ах, до чего, до чего смешно! Даст же Бог талант человеку!..

Тэффи вошла в артистическую красная, как после бани, краснее своего красного платья и остановившись на пороге, развела руками:

— Слышали? Я когда-то еще до революции написала рассказ об аптекарском ученике Котомко, читавшем на концерте свои стихи и не понимавшем, почему слушатели хохочут. «Покажи им Венеру Милосскую, так они наверное лопнут со смеха», рассуждает он про себя. — Вот и я сейчас моего Котомку разыграла, — она швырнула рассыпавшиеся лисы на пол. — А сколько мне труда и времени эта проклятая аскеза стоила! Нет, в первый и последний раз в жизни читаю доклад. Дайте лимонаду. Даже горло пересохло.

В антрактах Гиппиус улыбаясь объясняла подходившим к ней, что ей доклад Тэффи многое открыл.

— Я благодарна Надежде Александровне. Очень благодарна. Я поняла то, чего раньше не понимала, не хотела понять, — и понизив голос, полушепотом: — Не об аскезе, нет. Я впервые из-за Тэффи оценила здравый смысл дедушки Крылова, поняла, что и он бывает прав. Да еще как:

Беда коль пироги начнет печи сапожник,
А сапоги тачать пирожник.

Гиппиус и Тэффи не очень симпатизировали и охотно критиковали друг друга, конечно, за глаза.

Но Тэффи все любили. И читатели, и знакомые, и друзья. Я никогда никого не встречала, относившегося к ней плохо. Тогда как Гиппиус многие терпеть не могли. Ее не мог терпеть, — прямо ненавидел — даже очаровательный Андрей Седых, один из самых милых и добрых людей эмиграции. Правда, она действительно скверно поступила по отношению к нему.

А. ВЕЛИЧКОВСКИЙ

СКАЗКА

Далеко, у быстрой речки,
Мы найдем себе местечко.
Там избу соорудим:
Печь затопим, пустим дым.
Заживем, как прежде — значит:
Заведем себе собачек —
Шайку шавок удалых,
И лягавых, и борзых.
Наш колодец, со скрипучим
Журавлем в саду под кручей,
Выроем под сенью ив
Вместо всяких новых див.
А водой его студеной,
Светом солнца заискренной,
Наполняемый стакан —
Будет покрывать туман.
Садик наш наполнят птицы:
Иволги, дрозды, синицы.
В майском сумраке ночей
Засияет соловей.
Будут нас встречать приветом
На заре, зимой и летом,
В легких седлах у крыльца
Два прекрасных жеребца.
В жилках — головы и плечи,
Груди широки, как печи,
А на круп — хоть спать ложись:
Ногу в стремя и садись!
По росой увитым травам,
По полянам, по дубравам,
Блещут капельки огнем,
Воздух льется серебром.
В ритме конского движенья
Отдается ритм творенья,
Тот, которым создан свет,
На земле среди планет.

*

Фантастический наш домик:
Сочинений легкий томик —
И на этот тихий гроб
Взгромоздится небоскреб.
Но еще никто не знает,
Как и что? Но вот мигает
Огонек, его стеклом
Накрываем мы, потом:
Лампа светит чайной розой
За окном шуршат березы
И кружится мотылек
Тень бросая в потолок.
Крик совы вдали единствен,
Потому он так таинствен.
Эта тайна хороша:
Ею полнится душа.
Звезды в окна льются ливнем
Завораживая дивно
Всесияющим жезлом
Мир, объятый сладким сном.
Но еще живее счастье:
Если налетит ненастье,
Сотрясая утлый дом,
В черном сумраке ночном.
В паузах между громами
Молния, сверкнув когтями,
Рвет из мрака мокрый сад
Струны ливня задрожат
Все зеркальнее светлея
Изумрудно голубея
Скажешь: ангел с неба пал
И незримо просиял:
В том немеркнущем виденьи,
Что живет в воображенье,
С первого быть может дня,
У тебя и у меня.

Тут мы вскользь заметим тоже:
Мир живой созданье Божье.
Мир, который создал Бог,
Дьявол сотворить не мог.

Бога он возненавидел,
И сказал: ну что ж, увидим:
Если жизнь творить не мне,
Будем все же наравне.
Сотворю-ка я в отместку,
Затмевая Бога блеском,
Мир не хуже, чем живой:
Мир технический — второй.
Мой металл он тоже дышет,
Лучше видит, лучше слышит,
Думает и говорит,
В небе ангелом парит.
Долго ль людям до ошибки?
И они, не хуже рыбки,
Могут клюнуть червячка,
Незаметивши крючка.
Что ж, пожалуй это сказка,
Да ведь в сказке есть завязка:
Божий мир почти исчез
В блеске дьявольских чудес.

*

Только мы, его лелея,
Будем наше слово сеять.
Пусть напрасное оно:
В камень павшее зерно.

ВЛАДИМИР САМАРИН

МЕСЯЦ В ЕВРОПЕ

1

Браться за путевые очерки? Стоит ли? Не достаточно ли уже написано?

Такие вопросы я задавал себе, собираясь в Европу.

В поездке колебания исчезли. Я чувствовал, что должен написать, должен сказать, какую радость принесла мне встреча с Европой.

Сказать, как нежны были краски парижского неба в начале августа 1968 года, когда вышел я рано утром из отеля на ничем не примечательную, одну из сотен парижских улиц — рю Бломэ.

Сказать, какой голубизны небо над Неаполитанским заливом, как пахнет жарким летним днем город... Бейрутом, Востоком, Средиземноморьем.

Сказать, что навсегда, на всю жизнь покорен я Флоренцией.

Сказать, как радостно идти по узким улицам Венеции, через мосты и мостики, смотреть и дышать воздухом второй нашей родины.

Я забегаю вперед. Я потом скажу о Европе, второй родине русских.

А сейчас... Впрочем, хронологии не будет — будут впечатления. В дороге обостренные. И очень разные.

... Пенный след за кормой уходит к горизонту — и летит вслед кораблю, то опускаясь, то взлетая; острокрылая птица долго летит, не отстает и не обгоняет, наконец взмыв в последний раз над кораблем, уносится в сторону, все уменьшаясь и уменьшаясь, исчезает, будто ныряет в океан.

Приближается Европа. Перед приходом в Гавр можно осмотреть помещения первого класса, отделенного в пути от нашего, туристического, плотно закрытыми дверями.

Мы поднимаемся с женой на верхнюю, открытую палубу первого класса.

Господин из Сан-Франциско, — не тот, бунинский, так невесело закончивший свое путешествие, а другой, нынешний, прикрытый дорогим пледом, лежал в шезлонге в обществе жены, тоже прикрытой пледом.

Час был послеобеденный и господа из Сан-Франциско и других отдаленных мест отдыхали на свежем морском воздухе и в закрытых апартаментах, куда свежий воздух подается усовершенствованными аппаратами.

Кажется, Тургенев говорил о трех категориях эгоистов.

Господа эгоисты из Сан-Франциско сами, конечно, живут, но и другим жить дают.

Господа из Москвы сами живут припеваючи, но никому жить не дают.

Господа из Пекина не дают жить ни себе, ни другим.

Высшая общественная формация, вполне законченный построением сумасшедший дом.

Вот и такие мысли приходили, когда пересекал я Атлантический океан на пароходе «Франция». Приходили они и потом, в Европе.

2

В Париже, на вокзале Сан-Лазар, куда нас привез поезд из Гавра, долго ждали такси. Наконец-то свободное! Таксист, молодой поляк, родившийся во Франции, по-польски говорит свободно, понимает и по-русски.

Конечно, вопросы:

— Кто вы, откуда?

Рассказываем.

— О, эмигранты! Очень хорошо. Мой отец тоже эмигрант. И я эмигрант.

Разумеется, о России, о Польше.

— Лучше? То же самое!

Симпатичный наш единомышленник предложил осмотреть ночной Париж.

Дворец Инвалидов, мост Александра Третьего, неоновая вывеска «Максима», невидимая, пунктиром огней очерченная Эйфелева башня.

Мы остановились в Париже в скромном отеле на тихой улице в пятнадцатом арродисмане.

Хозяйка отеля говорит по-английски.

Недавно читал в «Литературной газете» очередную похвальбу, будто бы русский язык, «на котором говорил Ленин» (как трагично,

что говорил он на русском, а не на зулусском!), стал мировым языком.

Люблю наш язык, но мировым языком был и остается английский.

Мы останавливались в разных странах в девяти отелях, и только в одном из них, в Риме, хозяин по-английски не говорил.

Первая ночь в Париже. Окно открыто во двор-колодец — парижский двор.

Открыты окна в других номерах, и в доме напротив. И за окнами, за спущенными и задернутыми шторами, негромкие голоса, постепенно стихающие.

Одно за другим гаснут окна, только одно светится, и на зеленой занавеске тень, склоненная над книгой.

Как хорошо, что не слышно ни радио, ни телевизоров.

Хронологии не нужно, но некоторые данные необходимы.

Железнодорожные билеты — двухнедельные, месячные, двухмесячные — можно купить заблаговременно, в Америке. Это — небольшая карточка. Ее предъявляешь на вокзале в любой стране Западной Европы, кроме Англии, страны островной; на дальние расстояния места нужно резервировать заранее.

Кондуктор, взглянув на карточку, говорит на языке страны, по которой едешь:

— Спасибо!

Формальности окончены. Садишься в мягкое кресло первого класса и смотришь неотрывно в окно: на пригороды Парижа, на бирюзу Средиземного моря, на пинии и оливы Тосканы, так напоминавшие мне Святую Землю, на Женевское озеро, на темную зелень Баварии.

Мы были в Париже, Версале, Ницце, Риме, Неаполе, Флоренции, Сиене, Венеции, Женеве, Цюрихе, Мюнхене, Франкфурте-на-Майне.

Германию я знаю. Жил в Гамбурге. Бывал в Мюнхене, Франкфурте-на-Майне, Ганновере, Нюрнберге, Регенсбурге, Кельне, Дюссельдорфе, Касселе, Вюрцбурге, Бремене, Висбадене... В Германию приехали, чтобы повидать старых друзей.

Когда были в Париже у Бориса Константиновича Зайцева, он говорил:

— Едете во Флоренцию... Если вам Флоренция не понравится, тогда берегитесь!

Борис Константинович говорил о Флоренции как о близком, любимом человеке.

Я не могу сказать, что Флоренция понравилась: не то слово.

Флоренция в душу вошла.

В. В. Вейдле, тоже любящий Флоренцию, как любят самое дорогое и близкое, пишет о ней:

«Можно любить город, как живое существо, если у города есть личность. В некоторой мере она есть у всякого не слишком нового, не слишком наспех или по шаблону построенного города; у этого она есть в очень высокой, в высшей степени».

Флоренция полонит полюбившего ее. Полонит и Венеция.

Над Венецией нависла угроза разрушения. Оседают храмы и дворцы. Трескаются стены. Коробятся полы. Это как личное горе.

Городу угрожает и современная техника. Город на сваях. Океанские пароходы, входящие в порт и выходящие из порта, поднимают волны, расшатывают фундамент города — сваи. Городу грозит гибель.

Город-памятник, город-музей должна спасать вся Европа, весь культурный мир, потому что нет и не будет никогда второй Венеции.

Города мы с женой поделили без споров.

Женева, Ницца, Венеция — ее. Париж, Флоренция, Венеция — мои.

Теперь спрашиваю:

— Вот если бы ковер-самолет . . . Куда?

И отвечаем вместе:

— В Венецию!

А Париж? Что же с Парижем?

Париж остается Парижем.

3

Время идет — ничем не удержишь его. И чем дальше идет время, тем явственнее становится: заболел Европой. Надолго ли — не знаю. Наверно навсегда.

Слышу голоса недоумения:

— Скажите на милость, какой сентиментальный! Европой заболел. Так и ждут вас там с распростертыми объятиями. Не забывайте еще, что ваша Флоренция в двух днях пути для танковых дивизий.

Не забываю, знаю.

Вскоре после капитуляции Германии садились мы с приятелем в поезд на большой станции в американской зоне. Американские солдаты, разболтанные, расхлябанные, с засученными рукавами рубах, гоняли по перрону, как футбольный мяч, стальную солдатскую каску.

— Армия футболистов! — с раздражением сказал я.

— А где бы мы с тобой были, не будь этих футболистов? — спросил приятель.

Что верно, то верно: не будь Америки — не было бы теперь и Европы.

За океаном, в самой Америке, острота восприятия прошлого и настоящего приглушена, тускла.

В Европе все видится отчетливо, рельефно.

В Сиену приехали мы из Флоренции на один день. Собирались в Пизу.

— Поезжайте лучше в Сиену, — сказал настоятель русской православной церкви во Флоренции отец Федор Бокач, встретивший нас, незнакомых, как родных.

Конечно, в Сиену! Как я мог забыть о ней, о ее соборе!

Из Флоренции в Сиену — поездом. С вокзала в центр города, на небольшую площадь Независимости, автобусом.

К собору нужно идти еще через одну площадь — Плацца дель Кампо, где дух захватывает от восторга перед ее архитектурным чудом. Вся площадь с окружающими ее домами — одно целое, неповторимое, незабываемое.

И собор, соперник Флорентийского, чудо из чудес. Смотришь и оторваться не можешь.

И вдруг... Я отчетливо помню мистический страх, охвативший меня, когда мы уходили, когда я в последний раз оглянулся на собор, на площадь перед ним, на широкие ступени лестницы, поднимающейся к собору.

Есть такая нарочитая копия репинских «Запорожцев». В центре группы-панорамы некий Василий Теркин, сбив на ухо пропотевший треух, рассказывает побасенки представителям всех родов войск, выстроенным дотошным художником вокруг балагура-рассказчика. Здесь и пехотинцы, и артиллеристы, и летчики, и танкист с гордо поднятой головой, прямо-таки гоголевский Остап Бульба.

Кончил балагурить Теркин, рявкнул баян, и лихой связист Перчук пустился в родимую присядку.

Вот это видение и возникло передо мною на ступеньках Сиенского собора.

А потом, когда тронутся на восток набитые освобожденными итальянцами эшелоны, нелюдь из органов госбезопасности поведет по святым плитам собора очередную толпу, привезенную, после строгого отбора, в социалистическую Италию, и, тыкая пальцем в сторону алтаря, будет повторять ржавые слова об эксплуататорской роли церкви в истории Сиены.

— Лучше бы не быть русским!

Когда мы были в Париже, в русской среде говорили о взволновавшей не только монархистов статье Георгия Адамовича в «Русской мысли», — статье, посвященной памяти царской семьи.

Настанет ли день, спрашивает он, когда Россия с содроганием вспомнит о 17 июля 1918 года, — о дикой расправе над беззащитными людьми, олицетворявшими ее же, Россию?

Настанет ли действительно день, когда Россия содрогнется от преступлений, совершенных за пятьдесят с лишним лет, диких, бессмысленных преступлений, каких не знала наша история?

«Если дня этого не наступит, — восклицает Георгий Адамович, — лучше бы не быть русским».

Чувствую, как в моих туристических заметках нагнетается мрак.

Что я могу поделать, если никакого просвета впереди?

Могу только вернуться в Париж, в то раннее утро, когда проснулся после короткого, но крепкого сна, с сознанием: я в Париже.

Из окна, со двора-колодца, тянуло утренней свежестью, нежно серело парижское небо.

Я встал, тихо оделся, чтобы не разбудить жену, вышел, спустился в вестибюль, где портье приветливо сказал:

— Бонжур, месье!

Я ответил и вышел из отеля на тихую в этот час улицу, где шаги одинокого путника слышны за квартал, где только-только начинается дневная жизнь.

Солнце еще за домами, краски мягки, светлы, прозрачны. Небо удивительное, серо-голубое. И воздух светел и прозрачен. И запахи как бы прозрачны: политого перед кондитерской тротуара, свежих круасонов на прилавке, фруктов, только что подвезенных к овощному магазину, каштанов небольшого парка, мимо которого сейчас прохожу.

На этой парижской улице, в этот утренний час я подумал, что знал уже этот город, видел во сне, слышал запахи его на страницах книг.

В тот же день, на автобусе № 80, мы поехали в центр, на Елисейские поля.

В тот же день начали осмотр города с Монмартра. Оттуда, от базилики Сакрэ-Кер, виден весь Париж. С Триумфальной арки нужно осматривать центр. И потом осматривать все, что намечено.

От Триумфальной арки хорошо пройти к Лувру. Смотреть с площади Конкорд — арка будто парит в воздухе.

Не раз в Европе я вспоминал Пастернака, ходившего на свиданья с застроенными пространствами.

На здание можно смотреть подолгу, как на картину в музее, и застроенное пространство может пленить так же, как галерея французских импрессионистов.

И перед зданием ее стоишь очарованный, как перед «Балконом» Эдуарда Манэ, висящим в здании.

В Париже я вспомнил Петроград, в Версале Петергоф, в Ницце Ялту.

Выйдя тоже ранним утром, когда воздух на юге так ясен и чист, — выйдя на набережную Ниццы, я и вспомнил нашу Ялту, где был в июне сорок первого года, и, Боже мой, как укоротилась, сузилась

ялтинская набережная, какой скромной провинциалкой показалась она мне теперь, на берегу Средиземного моря!

Красив Петергофский дворец, чудесен парк, напружив все свои бицепсы, вздувает к небу струи воды Самсон, но как мал Петергоф по сравнению с Версалем. Мал и провинциален, как провинциален и Сан-Суси под Берлином.

Есть общее у Версаля и Лувра: величие, ни с чем не сравнимое.

По дороге от Лувра к площади Конкорд, в другой раз, я вспомнил Петербург, Петроград, Питер, как его теперь называют в Советском Союзе, чтобы не называть временной оскорбительной кличкой.

Не одни петербуржцы, все знают: у Петербурга-Петрограда свое прекрасное лицо, тоже ни с чем не сравнимое.

Свое прекрасное лицо было и у Киева до его разрушения. Киев разрушили свои варвары, и пришельцы. Москву безвозвратно изуродовали только свои.

Петроград — наша архитектурная гордость — чудом уцелел.

В Петербурге жил Пушкин. Пушкина я тоже вспомнил в Париже. Он в Париже не был, но я явственно видел его и на Елисейских полях, и пробегающим по залам Лувра.

Пушкин был европейцем больше, чем любой из наших писателей.

Пушкин должен был видеть Европу.

В Париже я вспоминал Пушкина, Тургенева. Я был в доме на улице Оффенбаха, в тех комнатах, где жил Бунин. Я поклонился его могиле на кладбище Сен Женевьев-де-Буа, в русском Пантеоне.

Нет, хорошо все-таки быть русским!

4

22 августа 1968 года в Венеции, в отеле «Ла Кальцина», на берегу голубой лагуны, я проснулся, как всегда, с восходом солнца.

Сидел внизу, в холле, писал письма.

Потом — на поплавке — мы пили кофе. Ни тревоги, ни предчувствия . . .

Венецию мы уже видели. Два дня ходили и ходили по ее узким улицам, пересекали каналы, останавливались на горбатых мостиках, дышали ее воздухом, ни с чем не сравнимым воздухом веков, воздухом моря, не отравленным дымом фабричных труб, выхлопными газами автомобилей.

Автомобилей в Венеции нет, автомобилю не проехать по ее улицам: они свободны для людей.

Созданный на благо человека, автомобиль стал его врагом, убийцей.

В затянувшейся войне во Вьетнаме гибнет в год пять-шесть тысяч американцев. На дорогах Америки — в десять раз больше.

Все растет число автомобильных катастроф в Европе.

В Венеции автомобилей нет — и это как чудо.

На улицах и площадях ее — пешеходы, на каналах — гондолы.

Гони беду в дверь — она в окно. На каналы двадцатый век ворвался грохотом моторных лодок. Большой канал в их власти.

Только малые каналы свободны для гондол, и гондольеры — в белых рубашках с большими матросскими воротниками, в соломенных шляпах с красными лентами, — пружинят с носка на пятку, неторопливыми, точными движениями рук переносят вперед длинное черное весло, неотделимы от черных своих гондол, слиты с ними.

Час предвечерний, пахнет водой, нагретым за день камнем. И как в радостном сне, взмывает вверх, несется над каналом чистейший тенор.

С моста видно: приближается флотилия гондол, и стоит на передней во весь рост, поет венецианец.

До позднего вечера не могли мы возвратиться в отель, все ходили по улицам, снова и снова возвращаясь к площади Святого Марка, будто невидимый магнит тянул.

Утро светоносно, радостно. В чистом воздухе запах моря.

Утренний кофе со свежими булочками — на свежем воздухе, под парусиновым тентом , — так душист, такой покой на душе, что не хочется завтрак кончать, а нужно: ждет Венеция.

Закончив завтрак, опять пошли в город.

Уже не раз переходили мы этот мост у Академии.

Знакомая площадь. Газетный киоск, только что открывшийся. На стенде газета «Стампа», и через всю страницу красная шапка.

Итальянского я не знаю, но такое поймешь и на китайском:

«Русские оккупировали Прагу. Дубчек и его правительство арестованы».

«Война!» — была первая мысль.

Жена прозорливо сказала:

— Не будут американцы воевать из-за Чехословакии.

На другой день мы уехали в Швейцарию. Ее нейтралитета даже Гитлер не нарушил. А в Прагу вломился.

Только три дня тому назад, около музея Уффици во Флоренции встретили мы двух туристов, говорящих по-русски: чеха и словака. Оба — архитекторы. Один член партии, другой беспартийный.

— Все хорошо! — сказали они, когда спросил я о положении в Чехословакии.

— Молодцы вы! — сказал я.

— Ничего, и у вас тронется, и вы домой поедете, — улыбнулся беспартийный.

Член партии подтвердил:

— Теперь не остановить.

Это было три дня тому назад.

Обложка немецкого журнала «Квик» разделена косым, рваным пунктиром на две части. Справа — центр Праги. Готические шпили собора. Фигура святого на парапете Карлова моста. В руках святого крест.

И прямо на крест нацелено дуло орудия танка, вырывающегося из черного провала, и в открытой башне — брат Каин.

Написал — и страшно стало, потому что это мой брат.

И думаю теперь: не слишком ли много написали мы — все мы! — слишком громких и красивых слов о нашем народе?

Великий народ, великий простой человек освободит Россию.

Послезавтра в три часа дня... Это послезавтра продолжается вот уже какой год.

А великий простой человек тем временем давит танком и чужую, и свою свободу. Подавил революцию в Венгрии, оккупировал Чехословакию.

Иван Солоневич, бежавший еще до войны из Соловецкого концлагеря в Финляндию, в книге своей «Россия в концлагере» рассказал о девочке, крошечной девочке-ссыльной из семьи раскулаченных.

Поздним полярным вечером видел он, как на помойке, куда выбрасывали остатки со стола лагерного начальства, эта девочка нашла выброшенную алюминиевую кастрюлю с замерзшим супом, прижала к себе, чтобы теплом своего измученного тельца оттаять лед в кастрюле.

И спрашивал Солоневич:

«Как это мы, взрослые люди России, тридцать милионов взрослых мужчин могли допустить до этого детей нашей страны? Как это мы не додрались до конца?.. Как это мы не додрались? Как это мы, все поголовно, не взялись за винтовки?»

Где же они, тридцать миллионов взрослых мужчин, где, спрашиваю и я теперь из своего безопасного далека?

Почему допустили, почему допускаем, что пятьдесят лет правят Россией, позоря и губя ее, преступники?

Почему поднялись венгры?

Почему неведомые, далекие индонезийцы почти поголовно истребили коммунистических нелюдей в своей стране?

Почему мы терпим столько лет?

Вот еще какие вопросы задаешь себе после месячного путешествия по Европе.

Кто ответит на них?

5

Родина там, где ты родился, где деды и прадеды наши пахали землю и писали оды, играли на гармонике и клавесинах, давали зуботычину провинившемуся лакею и замерзали на облучке кибитки, стояли на полях Куликовом и Бородинском — рядом: холоп и господин.

Родина там, где земля пропитана русским потом, полита русской кровью, где лежат кости миллионов.

И только случайно, совершенно случайно сидишь ты в экспрессе Рим—Милан, а не лежишь в братской могиле зэков.

Но есть у нас, русских («Да, скифы мы, да, азиаты мы!» — какая фальшь!), — есть у нас вторая родина, духовная родина наша — Европа.

Пусть швейцарское правительство дает эмигранту подданство только через двенадцать лет, а шведы раздражаются, если ты не говоришь по-шведски; пусть французский рантье называет тебя грязным иностранцем, а немецкий бюргер русской свиньей; пусть официант-итальянец припишет к твоему счету лишние сто лир, а розовый англичанин поморщится, узнав, что ты не красный русский, — пусть!

Европа была и будет нашей второй духовной родиной.

«Русскому Европа так же дорога, как и Россия. О, Боже! Нельзя более любить Россию, чем люблю ее я, но я никогда не упрекал себя за то, что Венеция, Рим, Париж, сокровища их наук и искусств, вся история их — мне милей, чем Россия. О, русским дороги эти старые чужие камни, эти чудеса старого Божьего мира, эти осколки святых чудес; и даже это нам дороже, чем им самим».

Это, конечно, Достоевский.

«К западу тучей означаются в небе хребты Эстерэля и Мор. К востоку темнеет горб Антибского мыса. И таинственно и мерно, с промежутками, зорко прядает там, на горбе, белый огонь маяка . . .»

А это Бунин.

Я видел его, Антибский маяк. За ним, невидимые в темноте из окна вагона, хребты Эстерэля и Мор.

И не странно ли: эти горы мне тоже близки и дороги, как горы Крыма и Кавказа.

Есть в Европе, однако, и чуждое, непонятное.

В Риме, на Капитолийском холме, стоит конная статуя императора-философа Марка Аврелия, одна из немногих, сохранившихся до наших дней.

Рим не раз разрушали варвары, а закончили христиане. Уничтожалось все языческое, а с ним и бесценные памятники иускусства.

Статуя Марка Аврелия уцелела только потому, что приняли императора за кого-то другого.

Есть в Риме трофейные обелиски, привезенные из Египта после военных побед над ним. Обелиски, покрытые иероглифами, памятники великой культуры, но и страшной религии, враждебной христианству. На обелисках кресты. В этом что-то кощунственное.

Перед Пантеоном, оставленным векам Адрианом, стоишь пораженный архитектурной мощью постройки, сложенной из крепчайшего римского кирпича.

Мрамор с Пантеона содрали, не раз наверно пытались разбирать на кирпич — не смогли.

Внутри Пантеона католический храм.

Ободраны и изнутри и снаружи термы, то есть бани Диоклетиана. Внутри бань тоже храм, расписанный самим Микельанджело.

Нелегко наверно молиться в таком храме.

И спрашиваешь себя, зачем было нужно разрушать, обдирать, коверкать величайшие архитектурные памятники, почему не оставить их, почему не строить новое на новом месте, чтобы видели потомки, чтобы могли сравнить и оценить?

В России разрушено не меньше, только в России разрушали не языческое, а христианское. Уничтожены невосстановимые памятники русской христианской хультуры, за пятьдесят лет разрушено больше, чем в Европе за века.

Из Италии — через Альпы — мы поехали в Женеву.

Жизнь в Швейцарии, веками утверждавшаяся, — налаженная, размеренная, устойчивая жизнь. Что-то есть и провинциальное, уютное.

Женева свежее, новее. В Цюрихе ощутимо средневековье.

Показывая Цюрих, приятель мой остановился перед серым зданием, тоном гида сказал:

— Кафе «Одэон». Здесь часто бывал Ленин, когда жил в Цюрихе.

— Тьфу!

Приятель рассмеялся:

— А теперь пойдем к дому, где Ленин жил.

— Да будь он проклят! Не пойду!

Обернувшись, я еще раз плюнул в сторону серого здания.

В Европе сохраняются русские православные храмы. Мы были в храмах Парижа, Флоренции, Женевы, Мюнхена, Франкфурта-на-Майне. Во Флоренции храм наш внесен в каталог архитектурных памятников города. В Женеве — заново отделан: три года на-

зад был его столетний юбилей. Во Франкфурте-на-Майне храм новый, в старом стиле псковских храмов.

Сохраняется в Европе, в эмиграции, и та русскость, что угадывается каким-то особым чувством. Она явственна в самом центре Парижа, на Елисейских полях, в редакции журнала «Возрождение».

Там Русью пахнет... Нет, не Русью, а Россией, той, что живет только в сердце.

Над моей книжной полкой висит сейчас фотография Флоренции, купленная у антиквара недалеко от музея Уффици. Ей больше пятидесяти лет. Сделана, значит, году в 1913, когда за границей побывало больше русских туристов, чем за все последующие темные годы.

На фотографии мост Понто Веккио. На нем различимы фигуры людей. Среди них — все возможно! и русские...

«Русскому Европа так же дорога, как и Россия...»

Теперь, когда нет у нас России, — осталась Европа.

Как же не любить ее?

НИКОЛАЙ ТАТИЩЕВ

ВЕСЕЛЫЕ ГОСТИ

В последний год перед потопом мы с сестрой жили в Царском Селе у Е. А. Нарышкиной. За обедом у нее собирались гости, люди разговорчивые, веселые, большей частью пожилые.

Это были сановники новой формации, карьеристы, министры или кандидаты в министры. Бывали и вельможи из знатных родов, члены Яхт-клуба, тоже весельчаки, но эти не интересовались государственной карьерой и щеголяли своим либерализмом.

Гости собирались не все сразу, одновременно приходило не больше двух или трех. В первой категории, среди новых сановников, были и молодые архиереи.

Всех гостей объединяло одно свойство — вкус к шуткам. Веселье было подозрительное, не вполне искреннее, часто ироническое.

Сестра и я прислушивались к их остротам. Нам казалось, что некоторые из гостей стараются прикрыть смехом какую-то неловкость, будто стыдятся своего привилегированного положения, не оправданного заслугами. Они как бы недоумевали перед неожиданностью успеха и не верили в прочность своего положения.

Сестра называла это общество «Смешливый ад». Это определение она заимствовала из жития какого-то святого, где оно относилось к римской или цареградской аристократии первых веков христианства.

О Распутине за обедами не упоминалось ни прямо, ни косвенно. Сама Елизавета Алексеевна его никогда не видала, а те из гостей, которые к нему ходили, о нем не рассказывали. Ни осуждать, ни оправдывать, ни уменьшать его влияния не имело смысла. Мне он представлялся неким таинственным явлением, полуфантастическим, скорее неприличным, о чем не принято говорить за столом.

Но в то же время Распутин меня глубоко интересовал. Я предполагал, что это был может быть самый замечательный и талантливый человек в Петрограде.

Среди гостей иногда появлялся наш молодой родственник, служивший в Особенной Канцелярии по Кредитной части. Я знал, что он бывает у Распутина.

Однажды зимним вечером, когда аллеи Царского Села были белы от снега, я пошел провожать его на вокзал — он приезжал из Петрограда. Набравшись храбрости я спросил его, что представляет собой Распутин и правда ли, что он принадлежит к секте хлыстов.

Помолчав (он вообще был не разговорчив), Кирилл спросил, читал ли я книгу Андрея Белого «Серебряный голубь».

— Да, я как раз читаю ее.

— Это гениальная книга, — сказал он, — и думаю, что Белый ничего лучше не напишет. В «Серебряном голубе» он раскрыл русское хлыстовство, что граничит с ясновидением, так как сам он ни в какие «корабли» допущен не был. Нам, ученым, туда никак не добраться. Не называя прямо хлыстов — он называет их «голубями», может быть, есть такая секта, — Белый понял, в чем тут дело. Консисторские чиновники обо всем этом понятия не имеют. Так что кроме книги Белого, о хлыстах вообще ничего серьезного не было написано.

Вспомни ту сцену, когда целебеевский батюшка, который должен наблюдать за «голубями», весело играет на гитаре и вдруг пугается, когда герой романа начинает что-то бормотать про «радостную жизнь».

Хлыстов много разных толков по селам и уездам. Но все они учатся ощущать жизнь как радость. В этом есть некоторая истина, но и доля безответственности. Голуби Белого, как и наши сегодняшние сотрапезники, смутно чувствуют, что они катятся к какой-то катастрофе. Отсюда их песни, которые так удивительно пародирует Белый — и ритм, и синтаксис, все бесподобно! Как он догадался?

В бесконечных временах
Нам радость в небесах —
Господи, помилуй!

Мы, оставя всех родных,
Заключась в стенах иных —
Господи, помилуй!

Их пляски и песни церковь причисляет к блуду, что отчасти верно, но ничего с этим поделать нельзя, поздно. Начиная с Петра, болезнь зашла слишком глубоко и Синод не понял главного: что хлыстовство это отдушина в трагической сущности всей нашей империи.

И не случайно у Белого сказано — «в стенах иных». Эта хлыстовская видимая радость, свобода легкая и безответственная, ей не суждено стать подлинным освобождением. Новые стены окажутся замурованными, как и старые, монастырские. Ты помнишь песню послушницы у Городецкого?

Стены выбелены бе́ло.
Мать-игуменья велела
У ворот монастыря
Не болтаться зря!

Или вот уже настоящая монастырская песнь, я слыхал, как ее пели молодые монахини в Тихвинской обители:

Ты не пой, соловей
Против кельи моей!
Не смущай ты покой
Монастырских людей . . .

— Я не совсем понимаю, о чем ты говоришь?

— Все то, что в веках было чересчур сурово — Синод, сенат, генералитет — вдруг стало чересчур общедоступным.

Вот тон самого большого нашего поэта, вслушайся:

Славой золотеет заревою
Монастырский крест издалека.
Не свернуть ли к вечному покою?
Да и что за жизнь без клобука?

Так Блок записал в первые недели войны, в августе 14-го года. Почему бы и не свернуть? Не надеть клобук? Представляешь, головы наших сегодняшних сотрапезников под клобуками? Например Штюрмера с желтыми зубами? Александру Алексеевичу клобук тоже не к лицу. Обе последние строки, от «не свернуть ли» и до конца звучат не серьезно, почти как озорство. Вероятно он сам почувствовал, что чудит и больше такого желания не повторяет.

Голуби тоже озорничают, но по-другому, по-крестьянски. Потому что мужики интуитивно понимают, что настоящие знания не в ловких словах, а в той области, куда разуму вход запрещен. Ум не может погрузиться или вознестись в глубину неизреченную, и в то же время нам невозможно далеко от нее уйти. Мужики это знают, потому что они добрее наших мудрецов.

Да, так вот значит, нынешние поэты и генералы ищут новых развлечений и находят их в среде «голубей».

Серьезность хлыстовства в смутном пантеистическом ощущении соловьевского «Всеединства»: ничего реально не существует, кроме центрального Солнца — оно же космическое Сердце — и его лучей. Кто в этом живет, не только потому, что внимательно читал Еван-

гелие, а всем своим индивидуальным сердцем, тот счастлив и не может причинять зла: он любит всех и вся.

Это легко опровергнуть, признать «прелестью», соблазном, но, возражают «голуби», которые не держатся за скучную практическую мораль, «мы счастливы и святы и на нас нет греха».

— Но Распутин, говорит ли он об этом?

— Нет, конечно, как он может ... Во всяком случае, если говорит, то не словами. Он не проповедует как мы, книжники, ни говорить ни писать не может. Какие-то загадочные афоризмы, когда он в ударе ... Если попросишь объяснений, кричит: «А ну тебя! Ничего не видишь, не слышишь! Смотри лучше, как плясать буду!» Выписывать ногами вензеля для него легче, чем каракули чернилами. Он учит без слов или находит не точные слова, как иногда Белый, только этот умышленно. Пляски Григория, легкие, таинственные, это те же корявые буквы и может быть одни цыгане понимают, или некоторые генералы, из простодушных, незамысловатых. Пантеизм невозможно выразить вразумительно, да и опасно. Помнишь, как писал другой Григорий, Сковорода: «Наркисс нарицается некий цвет и некий юноша. Наркисс-юноша в зерцале вод прозрачных, взирающий сам на себя и влюбившийся смертно в самого себя есть предревняя притча из обветшалыя богословии египетския, яже есть матерь еврейския. Наркиссов образ благовестит сие: УЗНАЙ СЕБЕ! Будто бы сказал: хощеши ли быть доволен собою и влюбиться в самого себе? Узнай же себе! Испытай крепко ... Право! Не любит сердце, не видя красоты. Видно, что любовь есть Софиина дщерь. Воистину блаженна есть самолюбность, аще, есть свята ... Посреде вас стоит, Егоже не весте ... Мой мудрый Наркисс амурится дома, по Соломоновой притче: разумыв праведник, себе друг будет ... Вся есть там, где сердцем сам».

Григорий Второй, то есть Распутин, кричит: «Про благодать понимаешь? Какая тебе еще наука? Святой дух — вот и все книги!» Или: «Никаких грехов на мне, я все делаю с душой ... а ваша наука в злобе, вот и все!

— Сковорода не вмешивался в политику, — заметил я.

— Спросишь его: зачем, Григорий Ефимович, ты таких неудачных министров выдвигаешь? — А где я удачных возьму? Ух, если бы не подколола меня тогда (летом 14-го года) подосланная недругом Илиодором дурища Гусева, никакой войны бы и не было. А сейчас, что я могу сделать? Войну почали, остановить не могут, сидят и ждут, пока мужики сами не прихлопнут вашу войну, да заодно и всех вас» ... Недавно он меня предупредил: — Кирилище, очкастое чудилище, тебе самое время о смерти подумать ...

Предсказание оправдалось: Кирилл умер три года спустя, в 1918, от сыпного тифа в Ростове-на-Дону.

Помню, в тот вечер я еще спросил его:

— Почему бы тебе не записать все это?

Но Кирилл покачал головой:

— Это я тебе поручаю. Не теперь, а лет примерно через пятьдесят. С объяснениями о Распутине придется повременить — нынешние читатели дураки, кроме, пожалуй, Андрея Белого... не способны ни в чем разобраться. «Не в коня корм», как говорит Григорий Ефимович.

1 марта 1969.

В. ВЕЙДЛЕ

ДВА ГУМАНИЗМА

Не так давно (1962, ноябрь), в едва ли не лучшем и теперь, а в течение долгих лет без сомнения лучшем французском журнале, „Nouvelle Revue Française", была напечатана подписанная женским именем (быть может вымышленным: больше я его в печати не встречал) серия афоризмов. Второй из них гласил: «Люблю слово Гуманизм и подобные ему, так как невежеству предпочитаю напыщенное невежество (ignorance pompeuse)».

Презрительная ирония эта в немалой доле оправдана, особенно при наличии предполагаемой автором заглавной буквы; да и без нее слово, что и говорить, не меньше других в том же роде, затаскано; применяют его без толку и зря. Но упрек в невежестве тут все же и не совсем точен, и для упрекающего не безопасен: обратим к нему. Если сам он никаких смыслов высмеиваемого им слова, кроме ничтожных или путанных не знает, это его образованию чести не делает. Допустим поэтому, хотя бы из вежливости — вдвойне уместной по отношению к даме — что имел он в виду не невежество, а неведение (ignorance можно перевести и так и этак), неведенье в одном, но решающем пункте. Тогда получится укор, многими заслуженный: нечего ораторствовать пользуясь словом, точное значение которого тебе неведомо. Только ведь тогда пустоватым будет и его высмеивание; если же смешком этим желают нам внушить, что на тему, намеченную словом «гуманизм», вообще рассуждать не стоит, то никакая вежливость не заставит нас поддаться этому внушению.

На какую тему? На тему о человеке; она-то уж в слове этом сквозит ясно. Презрение, правда, можно перенести и на это мнимо простое, отвлеченное, а потому и многим бедствиям подверженное слово; есть люди, человека нет. Но тут мы возразим, что люди, в качестве мыслящих существ, не могут обойтись без понятия «человек», и вряд ли вполне заслуживают называться людьми, если сами себя не относят к этому понятию. Шутливое замечание Гете —

«не понимает человек, до какой степени он человекообразен», можно истолковывать очень по-разному, но во всяком случае он и в шутку не сказал, что человек себя человеком вовсе не мыслит, о своей «человечности» вовсе ничего не знает. Гуманизм, как бы мы ближе его ни определяли, не может не иметь отношения к этому знанию; он — о человеке, он же, как мы увидим, и о людях, что увеличивает трудность его определения, которая нисколько, сама по себе, понятия этого не порочит. Для размышлений о человеке (в том, что его отличает от животного) мы вообще не располагаем понятиями той четкости, какая достижима в математике и естественных науках; но, конечно, полной расплывчатостью мы и тут довольствоваться не можем, а уж различать понятия, рискующие быть смешанными лишь потому, что их обозначают тем же словом, мы всецело обязаны и тут. Затруднения этого рода нам и нужно устранить в первую очередь, после чего мы обратимся к истории, которая одна может нас привести к мыслям о гуманизме, сколько-нибудь плодотворным. Она же нам разъяснит, как различные смыслы этого слова относятся один к другому и чем они внутренне между собою связаны. Но начать мы все же должны с простого учета словоупотреблений и с нынешнего положения вещей.

*

В настоящее время существуют (не считая многочисленных оттенков) три смысла, придаваемых слову «гуманизм», заимствованному всеми европейцами — в разное время, прямо или через чужое посредство — у итальянцев. Два из них далеко уходят в прошлое, на много дальше, чем само это слово (что, однако, применяющими его, как правило, не сознается); третий возник в прошлом веке, в английском языке, заменяет в нем второй; мы его коснемся, но к старой и сложной, противоречивой даже, идее гуманизма, которую мы попытаемся заново осознать, в отличие от двух первых, он отношения не имеет.

Первый, обусловивший возникновение слова, первоначальный поэтому, и в течение трех веков единственный, сам распадается на два, близких, однако, один к другому смысла: узкий и широкий. Гуманистами все мы называем итальянских книголюбов и грамотеев эпохи Возрождения, которые в последние ее десятилетия сами себя называли так (слово это впервые встречается в послании ректора пизанского университета от 1490 года, затем у Ариосто), а гуманизмом — основное устремление их жизни, всю их деятельность и мировоззрение, связанное с ней. Но гуманизмом зовется и вообще любовное изучение классической древности, прежде всего ее двух языков и литератур, основанное на убеждении в их неутраченном воспитательном значении. Итальянским гуманистам было известно,

что Цицерон и другие латинские авторы пользовались словом humanitas (означавшим как «человечество», так и «человечность») для определения того воспитывающего, облагораживающего воздействия, которое они приписывали литературе и искусству — прежде всего греческой литературе и греческому искусству; и что прилагательное humanus («человеческий» и «человечный») они же применяли к характеристике людей, испытавших такое воздействие. А так как для самих гуманистов латинская, а затем и греческая письменность были воплощением всего человечнейшего и лучшего на земле, то придумали они эту письменность называть именами древним неизвестными: litterae humanae или humaniores, чем они вовсе не противополагали светскую или языческую литературу церковной (как по недомыслию иные измышляли, забывая на каких языках писали апостол Павед или блаженный Августин), а прославляли всяческое эллинство и латинство, подчеркивая их ценность для всех людей. Имена эти послужили первою ступенью в возникновении слов «гуманист» и «гуманизм».

Расширение вместимости этих слов произошло сперва вследствие распространения итальянского гуманизма на другие страны, а затем в результате ухода всей этой эпохи в прошлое. Гуманизм не раз пытались воскресить, из различных предпосылок в различных странах, и мы теперь называем гуманистами не только Петрарку или Колуччио Салутати, не только Эразма, Вивеса, Гуттена, но и многих латинистов, эллинистов, знатоков римского права или греческого искусства в более близкие к нашим времена, особенно тех, кто обладал писательским дарованием и достаточно широким культурным кругозором. Немцы обрели в своем языке слово «гуманизм» лишь в первом десятилетиии прошлого века, но годы Винкельмана и итальянского путешествия Гете они нередко считают временем своего собственного, второго гуманизма, а в нашем веке помышляли о третьем, которому обещал было свою опеку, чтоб затем ему шею свернуть, третий Рейх. Классическая филология всех стран лелеяла, да и не перестала лелеять гуманистическую традицию, даже и переставая ей следовать в своих методах и во всем понимании своего предмета. За последние десятилетия намечается, однако, явный отход от того привычного образа мыслей, в силу которого англичане еще недавно могли называть гуманистом своего Гилберта Murray, а итальянцы, испанцы своих даже и не в изучении классической древности блиставших Бенедетто Кроче и Рамона Менендеса Пидаля. В связи с этим и самое слово «гуманизм», в этом первом значении своем, стало вместимость свою сокращать, возвращаться к старейшему примененью, обозначая теперь нечто бесповоротно относимое к прошлому. Итальянское, испанское, как и немецкое слово сопротивляются лучше, чем французское и английское; совсем не сопротивляется русское, — по особым причинам, о которых в даль-

нейшем будет речь. Общие же причины этого явления — рост специализации вместе с падением престижа наук о человеке сравнительно с престижем естественных наук (не гуманисты высадились на луне, не они изобрели термоядерное оружие). И везде, где сжался, где засох этот первый смысл слова «гуманизм», употребительней стало оно в его втором, или в третьем, английском его смысле.

Второй основной его смысл, не то, чтобы нов был вообще, но пристегнули его к этому слову не раньше, чем в конце XVIII века. С первым он, поскольку мы очень давней их истории, которой займемся позже, еще не знаем, не имеет ничего общего. Как раз поэтому, должно быть его пристегнутость к тому слову и кажется непрочной, а сам он остается неустойчивым, интеллектуально хилым, даже и способным вовсе исчезать. К этому именно смыслу несомненно и относится ирония приведенного нами в начале афоризма, что с другой стороны обличает общепринятость этого значения в нынешнем французском литературном обиходе. «Гуманизм» этого толка поклонник Маяковского, помнящий его стихотворение о «хорошем отношении к лошадям», очень недурно мог бы определить сказав, что он, гуманизм — неизвестно зачем отягченное «измом» — хорошее отношение к людям. По-русски, однако, нет и никакой надобности его определять, так как в нашем распоряжении имеются целых два слова — «человечность» и «гуманность» — означающих то же самое. Оба они соответствуют (в перемешку) немецким словам, от которых исторически зависят: Menschlichkeit и Humanität, хотя смысл второго, тот, по крайней мере, углубленный, который оно имело у Гердера и Вильгельма Гумбольдта, немного и обедняют. Именно потому немцы и не обременили своего слова «гуманизм» новым смыслом, что они располагают этими двумя словами, да еще и прилагательными, которым отвечают наши «человечный» и «гуманный». Впрочем, немецкое menschlich как и французское humain значат одновременно «человеческий» и «человечный», чему у немцев на помощь приходит неологизм (нами перенятый) human, тогда как наш язык, подобно английскому (human и humane) выражает эти два смысла разными словами общего корня, — как и в существительных, где англичане и французы довольствуются одним двоящимся словом, а немцы (Menschheit и Menschlichkeit) той же двоицей слов богаты, что и мы. Французы, чуя свою скудость, обзавелись было в тридцатых годах прошлого века двумя новыми словами — humanitarisme и humanitaire (англ. humanitarian, откуда или может быть от немецкого humanitär, отпочковался наш «гуманитарный»); но слова эти слишком тесно были связаны с позитивизмом Конта и его «религией человечества» и поэтому (как и по неуклюжести первого из них) в широкий оборот не вошли. Об этом следует пожалеть.

Слову «гуманизм», в новом его смысле, это на пользу не пошло. Пришлось ему принять на себя их особый оттенок, без которого оно прекрасно могло бы обойтись.

Всего больше, однако, их неудача отяготила соответственное английское слово, совершенно его оторвав не только от первого, но и от второго общеевропейского его значения. По-английски «гуманизм», если отвести узко-исторический его смысл, означает теперь нечто противоположное деизму и, конечно, любой исторической религии: веру в человека, отменяющую и заменяющую веру в Бога; веру как раз в безбожного человека, который только и способен, а по вере этой и будет в состоянии утвердить победу добра на земле и обеспечить людям беспечальное земное существованье. Проистекает это новое значение слова именно из позитивизма (бентамовского в соединении с контовским), но гуманитаризмом прекраснодушную эту микстуру англичане, к сожалению, не называют, а вливают ее все в ту же фляжку, разделенную внутри, на двух сторонах которой значится не «уксус» и «прованское масло», а «гуманизм» и опять же «гуманизм». Причем уксус этот, хоть и добыт отчасти из дешевенького французского вина, сам не становится вином, и континентальные виноделы его в свои погреба не принимают. Американцы и те это английское словоупотребление переняли не вполне, — быть может потому, что в недавние времена отведали они, все под той же кличкой, не одного свежей очистки экстракта, предложенного им F. C. S. Schiller'ом ("Humanism", 1903), но и неплохого самодельного кьянти-рейнвейна фирмы Irving Babbit & Paul Elmer More. Хоть мы, пока что, и о словах, а не об идеях говорим, но уже с чисто словесной стороны нельзя не отметить неудобств, проистекающих из английского словоупотребления, — из запрета, постулируемого им, говорить о христианском гуманизме (французском, например, которому аббат Бремон посвятил весь первый том своей «Истории религиозного чувства во Франции», как и об одновременном английском), или от заключенного в нем предписанья считать, что «гуманист», это всего лишь псевдоним безбожника, — чему удивились бы несказанно Петрарка или Эразм.

Терминологически, таким образом, дело обстоит с гуманизмом — со смыслом слова «гуманизм» — весьма неблагополучно. Всего менее благополучно — в Англии, за которой, не без опоздания, следуют другие страны английского языка, а затем, по-другому, кое в чем еще хуже, кое в чем, как мы увидим, даже и лучше — но как жалостно, до чего беспомощно — у нас в стране. Туда-то мы теперь взгляд и обратим, что нас и заставит под конец от слов перейти к существу дела.

*

Как это ни удивительно, и как ни прискорбно для людей моего поколения, но в нынешнем русском языке, в литературном русском языке Советского Союза, слово «гуманизм» совершенно утратило свое первоначальное значение (чего я, в моей юности, и представить себе не мог) и стало значить только и точно то же самое, что «гуманность». А так как слово гуманность и без того уже значило то же самое, что «человечность», то теперь у нас имеются три слова с одинаковым смыслом, чему, с точки зрения языкового благоустройства, радоваться конечно не приходится. Тем более, что слово «гуманист» потерпело такой же ущерб: и оно значит теперь точно то же, что человек «гуманный» или, в русском переводе, «человечный». На Западе столь резкого сдвига не произошло, хотя перемены там, как мы видели, идут в том же направлении. В Германии, Италии, Испании оба слова остались на своих местах, лишь круг их применения сузился. Во Франции сдвинулся «гуманизм», но не «гуманист»: Сартр называет свой экзистенциализм гуманизмом, но себя гуманистом не называет и другие ему этого имени тоже не дают. В Англии сдвинулся (хоть и не совсем в ту сторону) вслед за «гуманизмом» и «гуманист», но осталось чувство особого, неканонического применения этого слова к последователям Конта и Бентама, как и двусмысленности именования им, скажем, Бертранда Расселя. У нас затруднений этого рода не ощущают; старые смыслы этих слов из сознания говорящих и пищущих исчезли бесследно, чего на Западе все-таки еще нигде не наблюдается. Для нас, к тому же, все слова этого корня всегда были более чужеземны, чем для западных людей: гуманизма и гуманистов у нас ни в XIV, ни в XV или в XVI веках не было. Оттого-то и в досоветские времена слово «гуманитарный» (англ. humanitarian, франц. humanitaire) употреблялось у нас то правильно («гуманитарные идеи», то есть те «женевские» идеи, о которых говорится в «Подростке», или «гуманитарная работа, деятельность» — в помощь голодающим, например, или по распространению грамотности в деревне), то неправильно («гуманитарное образование», «гуманитарные науки», когда следовало бы говорить: «гуманистические»: по-немецки, вместо humanistisches Gymnasium, никто не сказал бы humanitäres). При последовавшем затем снижении культуры вообще и языковой культуры, в частности, недоразумения с такого рода словами могли лишь участиться, а не разъясниться.

Произошла ли, однако, столь радикальная утечка смысла из слов «гуманизм» и «гуманист» от одного этого снижения или непосредственно оттого, что в России исчезло классическое образование, и что даже студенты имеют возможность ознакомляться с древними языками всего лишь, сколько я знаю, в трех университетах на всю

страну, решать не берусь. Отчасти, думаю, от этого, и еще оттого, что «гуманитарные», то есть гуманистические науки нынче именуются общественными. Отчасти же и потому, что образованием (классическим или иным) как раз и любят у нас блеснуть литераторы — и даже литературоведы — его лишенные, которым русское слово «человечность» нравится меньше, чем полурусское «гуманность», а «гуманность» меньше, чем совсем не русское «гуманизм». Они называют поэтому таких писателей, как Тургенев или Чехов, людей несомненно гуманных, гуманистами, вовсе не подозревая, что настоящий смысл этого слова и широко образованному Тургеневу, и скромней образованному Чехову отлично был известен, и что они такого титула, именно потому, никогда не согласились бы принять.

Конечно, из энциклопедий или из глав об итальянском Возрождении в учебнике истории, нетрудно и в Советском Союзе почерпать сведения о том, чем был некогда гуманизм и что за люди были гуманисты, но это нисколько не помешало старому смыслу этих слов исчезнуть из литературного обихода. Этот старый смысл они сохранили лишь в качестве исторических терминов, ни к какой нынешней действительности не применимых. В литературном обиходе, а значит и в распоряжении мысли, пытающейся мыслить на связанные с исчезнувшим содержанием слова темы, осталась под тремя именами одна «гуманность». И это всего через полвека после того, как Вячеслав Иванов, Иннокентий Анненский, Фаддей Францевич Зелинский мечтали о новом «славянском» гуманизме, в годы, когда никому и в голову не приходило, что может столь быстро пропасть это древнее, отнюдь не выдуманное, а только воскрешенное итальянскими гуманистами понятие, которое пережило их надолго, хиреть начало лишь в нашем веке — после 14-го, после 17-го года — и все-таки не исчезло бесследно, на Западе, по сей день.

Еще Блок, когда писал о «Кризисе гуманизма» полностью знал, что такое гуманизм, то есть известен был ему пусть и двоящийся, но неущербленный смысл этого слова, подвергшегося вскоре после того реквизиции и раскулачиванью. Кризис — не слова, конечно, а всего того, что оно значило и что многим было дорого — он ощутил с пророческою силой, но проанализировал его наскоро; кое в чем преувеличил, кое в чем преуменьшил. Анализ следовало начать гораздо более издалека, именно потому, что речь была не о словах, а об идеях. Мы тоже сейчас (хоть и не по его следам) к идеям перейдем; но сперва отметим одну черту в этом новом, уже не русском смысле слова «гуманизм», — черту, которой могло бы и не быть, которую мы не смели бы ожидать. Случайную может быть, и все-таки отрадную.

Из учтенных нами смыслов этого слова отброшен в нынешней России первый (грубей, чем где-либо, но в соответствии с перевесом науки и техники, наблюдаемым повсюду), удержан и выставлен на

показ второй (чему ближайшее соответствие, при меньшей нарочитости, являет Франция), но совершенно не принят и даже по-видимому неизвестен новейший английский, тот, что в Англии и не столь четко в Америке, заменяет второй и его заменив отстраняет первый, как он, но уже в свою пользу, — в пользу безбожия, упрощенно выражаясь, а не в пользу гуманитарной человечности. Казалось бы советской власти, основоположникам и идеологам ее, куда как выгодно было бы, да и сколь приятно, отожествить гуманизм с атеизмом, объявить, что одни лишь враги религии, и в первую очередь конечно христианства, имеют право зваться гуманистами, и что если ты горазд громить поповщину, заушать попов, сжигать или разорять церкви, глумиться над Распятием, то тем самым ты и гуманист. Могли бы объявить, да не объявили; или хоть исподволь внушать, да не внушали. То ли не догадались (ведь не догадались же назвать, по уругвайскому образцу, Рождество «семейным праздником», а страстную неделю «неделей туризма»), то ли не посмели. Слишком свыклась Россия с возвеличиваньем сострадательной человечности, которым проникнута почти вся ее прежняя литература. Из вражды к религии, из ненависти к христианству человечность эта не вытекает, как и ненависть эта не вытекает из человечности (вопреки тому, что думали иные — на Западе, не у нас). В этом пункте, партийная логика с логикой не решилась разойтись. Безбожие и ненависть к христианству, разумеется, прекрасны, но и гуманизм хорош, даже и без них. В понятие это, пусть и приспособленное для партийных нужд, безбожия не включили; сплошь состряпали его из одной гуманности, — на три четверти лицемерной, а на одну четверть (в сознании «масс», а не вождей) может быть и подлинной. Говорить о «гуманизме» вместо «человечности» (и даже «гуманности») тоже выгод не лишено: слово иностранное, всуе применять его удобней. Иных партийных радетелей человеколюбцами называть как будто и неловко, а гуманистами — чего ж? Это менее возмутительно, чем смешно, да и смеяться будут лишь те, кто когда-то что-то слышал о настоящих гуманистах.

И все-таки очень хорошо, что не смогли или не сумели хозяева нашей страны в этих словесных делах — но ведь не просто словесных, тут совсем уж ясно: не просто словесных — последовать английскому примеру. Прежде всего, хорошо для нас, для страны, потому что хоть в этом не посрамленным оказалось, но прославленным, против воли могильщиков его, наше прошлое. А затем, хорошо и вообще, потому что древняя, всей Европе завещанная, всему человечеству нужная идея гуманизма, пусть и очень болезненно искривляется от выключения из нее всего, кроме одной гуманности, все же гуманность эту, или человечность неотчуждаемо в себе содержит, тогда как с проповедью безбожия, с отрицанием веры в Бога и христианства ничего общего не имеет и никогда не имела,

— как, впрочем, и с обязательством их признания. В этом отношении, как и во всех прочих, она автономна; с христианством сочетается счастливо и свободно, при полном отпадении от него едва ли уцелеет; но возникла она до него, и к истинам Откровения не принадлежит.

*

В чем же эта идея? Из нынешних значений унаследованного нами в связи с ней слова этого почти невозможно усмотреть; оттого ирония насчет него и оказывается — почти — оправданной. И даже история подводящая нас к ней самой, к ее существу, не есть история слова, но скорей его предистория. Идея эта двойственна, двуедина, и обе половины ее были осознаны, были продуманы — не обе вместе, правда, но отдельно, и в их противоборстве, а не в их единстве — задолго до того, как возникло слово «гуманизм». Его прообраз, латинское слово humanitas существовало уже и до Цицерона, обозначая ту человечность, гуманность, которую греки эллинистической эпохи (с IV, по-видимому, века) называли человеколюбием, Филантропи́ей (пишу это слово с заглавной буквы и ставлю в нем ударение на втором слоге от конца, чтобы отличить его от «филантро́пии», полученной нами от французов и давно утратившей свой первоначальный вес). Но Цицерон, лучшего не найдя, решил это же слово применить для передачи другого, исконного, греческой ранней поре и греческому расцвету, а не эллинизму принадлежащее слово, ввести в оборот латинской мысли и речи, наряду с Филантропи́ей — или вернее поверх нее — еще и то, что у греков звалось Пайдейя: идею воспитания и образования вместе взятых, воспитывающего образования, заботы о вызревании в человеке всех лучших человеческих возможностей. Приняв решение это, он, если судить рассудочно и узко, допустил ошибку: обозначил тем же словом два понятия вполне различные; но с точки зрения более широкой — и единственно верной на наш взгляд — совершил духовный акт неисчерпаемого, но едва ли до сих пор и вполне осознанного значения: заставил эти два понятия вступить, пусть и в насильственный, но этически необходимый и уже тем самым праведный союз.

Так родился гуманизм. Не только в том смысле, что гуманисты Возрождения отсюда извлекли то, что они называли этим словом; и совсем не в том смысле, что отныне Филантропи́я отменена или поглощена была Пайдеи́ей, с которой гуманизм и отожествился на вечные времена. Нет; но можно считать его родившимся в тот миг, когда открылась возможность мыслить его не так, как прежде: пусть и все еще в виде двух гуманизмов, обреченных враждовать между собой, но уже осознанных не по очереди, не врозь, а одновременно, совместно, в результате чего становилось мыслимым и

их примирение. Сам Цицерон, в своем мышлении, их не примирил. Следует вечно его благодарить за то, что он человечностью назвал и эту, *требовательную* человечность, но превознес он ее все же в ущерб другой, которую она не может заменить, да и понял слишком цивилизационно, слишком внешне: как усвоение чужого, скорей чем взращивание своего (это две стороны того же становленья, но их уравновесить не легко, особенно когда чужое, как здесь, по необходимости оказывается не только прежним, но и чужеземным). И давно уже, кроме того, начались тогда времена, куда ближе принимавшие к сердцу Филантропи́ю, чем Пайдейю, так что humanitas, в языковом обиходе римлян, не послушалась Цицерона и осталась при старом своем значении. Есть тому свидетельство, уже привлекшее внимание итальянских гуманистов и не раз приводившееся с тех пор, а все же недооцененное и поныне, у римского литератора II века Авла Геллия, в его «Аттических ночах» (кн. XII, гл. 17). Он протестует против мнения «толпы» (volgus) о слове humanitas будто бы значущем то же, что у греков «филантропи́я», то есть «некое благоволение и готовность помочь, распространяемые без разбора на всех людей», тогда как «по замыслу тех, кто создали латинские слова и как должно (probe) ими пользуются (тут, вероятно, Цицерон и имеется в виду) значит оно то самое, что греки зовут пайдейей, мы же осведомленностью и сноровкой по части словесности и художеств (eruditionem institutionemque in bonas artes). Те, кто искренне такую образованность ценят и к ней стремятся, те и суть человечнейшие (humanissimi) из людей. А так как стремление это, из всех живых существ, дано одному лишь человеку, то и зовется оно человечностью (humanitas)».

Не стану распространяться о том, чем Пайдейя была за много веков до того, для Пиндара, скажем, или для Софокла (лучше всего осведомляет о ней трехтомный труд Вернера Иегера, провозвестника «третьего гуманизма» и беглеца из третьего Рейха, — по образцу Зелинского, Вячеслава Иванова, Ростовцева, вовремя ускользнувших из-под опеки наших добросердечных чекистов-гуманистов). Но во всяком случае была она не тем, чем представлялась начетчикам и краснобаям Траяно-Адриановых времен: была живой передачей живого предания и школой высокого самообузданья, а не той тренировкой говорунов, не тем приобретеньем стандартной «культурности», которыми кичились такие именно пустозвоны, как сам Геллий. Воспитывающее образование с культурой неразрывно, и греческая былых времен была его результатом, как и его предметом; Пайдейя культурой (как свойством людей) и была. Но главный закон высших культур в том и состоит, что хоть и чувствуют они себя, знают чем живы, но извне себя не видят, не могут себя пересказать, не мыслят себя чем-то, чего могло бы и не быть. Даже Цицерон, накануне римского золотого века, даже и гуманисты Воз-

рождения — он уходившую вдаль Грецию, они ее же, воскрешенную вместе с Римом и не совсем ясно сквозящую сквозь него — видели (иначе быть и не могло) все-таки «со стороны», благоговели перед чем-то, все-таки им чуждым, и как раз потому во след превозносимому сами превозносились, себя почитали «человечнейшими из людей», а простую человечность оставляли «толпе»: слишком она им казалась erga omnes homines promiscam, неразборчивой и общедоступной. Гуманисты, почитатели Цицерона, не могли не быть сторонниками Геллия. Они еще не знали, что как раз в его веке триумфальнейшие памятники Рима свидетельствуют неприкровенно о закате Пайдейи или ею завещанного героического этоса, отвергающего жалость в бою, страх смерти — своей, как и чужой — и о подъеме Филантропи́и, знающей состраданье и средь боя, обращенное даже и к побежденному, убиваемому врагу. Свидетельство это можно прочесть сравнивая рельефы колонны Марка-Аврелия с рельефами Траяновой колонны; оно же читается и на саркофагах этого и следующего века, но впервые прочел его наш век, быть может потому, что и в нем торжествует, пусть и худосочная, да нередко и притворная Филантропи́я над сухими листьями Пайдейи, хранимыми, на смех технократам, в стерилизованных университетских гербариях.

Те века — эллинизма, Империи — во многом, во всем пожалуй, нам ближе (хоть и хуже многим из нас известны), чем то, что было до них, чем то, что пришло после них. Вселенскими они были, по тогдашним размерам вселенной; греческое (сквозь Рим или с помощью Рима, но в сознании греков и до него) стало универсальным, как европейское в наши дни. Филантропи́я была универсальной в самом замысле своем, но ко времени ее рожденья универсализировалась, по-своему, и Пайдейя. Исократ (в «Панегирике» IV, 50) объявил, что эллинами не родятся, а становятся. То есть не совсем этими словами, но то же он сказал, что Тертуллиан, через шесть веков, скажет о христианах. Эллинами, по словам Исократа, зовутся ныне уже не те, кто греками родились, а те, кто усвоили греческое образование (пайдейсис) и греческий образ мыслей (дианойя). Едва ли сознавал он, что, при такой перемене, переменится вскоре и «образ мыслей», и само образование соответственно изменится, но вряд ли мог не сознавать, что устраняя одну (этническую или национальную) преграду между людьми, перемена эта в тот же миг воздвигнет другую. Варвар — уже не варвар, если научился хорошему греческому языку, если читал Гомера и Платона; но грек, если их не читал, если остался при своем долитературном или внелитературном «общем» языке (койне), тем самым уже заслужил непочетное званье варвара. Тут-то и стало явным на все грядущие времена то, чего прежде не было, чего старая Пайдейя не признавала или что пряталось в различьях между городом и деревней, Афинами и глушью,

свободным и рабом. Теперь и раб (особенно греческий в Риме) мог отнюдь не считаться варваром (что порой и вело к его освобождению), тогда как горожанин и столичный житель начинал уже тонуть в «тупой, бессмысленной толпе», в profanum vulgus Пушкина — и Горация (которому вторит Геллий со своим volgus). Та Пайдейя, которую Цицерон пожелал внедрить в свою латинскую «гуманность», не могла не стать в его мысли, на его восковой дощечке, образовательным цензом, предвещавшим все будущие аттестаты и докторaты, «культурой», прежде всего литературной, которую — пойди-ка, приобрети! Образование создает, или вернее с неизбежностью обнаруживает неравенство, ощущаемое потаенней, но и острей, чем любая сословная или имущественная рознь. Если „humanitas" — оно, если оно очеловечивает нас или нам дарует превосходную степень человечности, то как же его примирить с тем, что это слово значило до тех пор?

Больше, чем на тысячу лет — вне истории, навсегда — примирение было найдено в христианстве. На первый взгляд, принимает оно одну Филантропи́ю, углубляет, преображает ее, как и не снилось грекам до него. Христианами *становятся* — через Крещение; но и через обучение, предшествующее ему и неотделимое от него, неравенства, однако, не создающее, так как оно и решительно его отрицает, и не дает ему пищи, а если несходство и создает, то в измерении совершенно другом, ту, прежнюю меру обращающем в ничтожество. Оно требовательно; так что вглядевшись видишь: оно Филантропи́ю именно тем и преображает, что вносит в нее эту не ей, а Пайдейе — старой героической Пайдейе — созвучную требовательность. Но требования его столь велики, столь поистине сверхчеловечны, лишь в мученичестве, в святости исполнимы, в самозабвенной жертвенной любви, что рядом с ними, с исполнением их, как раз и обращаются во прах все остальные возвышенности и совершенства. Недаром учит оно, что причастный Тайнам причастен Божеству и что человеку дано сиять на земле образом Бога, в подобии которому он был создан. Когда же sermo humilis первых веков, смиренная неукрашенная речь вовсе перестала чуждаться греческого любомудрия и греко-латинского витийства (полного тут разрыва ведь и у Павла, даже у Иоанна, не было), когда каппадокийские отцы учились в Афинском университете и блаженный Августин писал свои, у латинян, по напряжению мысли бесподобные труды; и еще много позже сквозь века, когда все грамотеи были клирики и никто, кроме них, ни Ансельма, ни Фому, ни даже школярами сочинявшихся нечестивых стишков прочесть не мог, огромное неравенство это все-таки несправедливым не казалось, потому что клир был клиром и служил перед алтарем за всех и для всех, а не для кучки избранных. Тринадцатый, впрочем, век был веком не только Фомы, но и Франциска, человека неученого, простого

(таким он сам себя видел), евангельского человека, не порвавшего с Церковью, но внутри нее противопоставившего иерархии Евангелие. Раскол в его ордене предвещает раскол, или точней воскрешение раскола, вне церковных стен, между человечностью гуманистической и человечностью всего-навсего гуманной. «Всего-навсего», потому что Филантропи́я, когда христианское свое углубление и преображение теряет, тем самым отдаляется от Пайдейи, от христианством воспринятой и в свою очередь преображенной, как и от всякой Пайдейи; так что обе возвращаются к цицероновским своим позициям, и если к примирению, то лишь словесному, да и оно теперь то одной, то другой стороной больше по недоразумению будет предлагаться, чем согласно высокому все же, и ответственному, хоть и неудавшемуся замыслу Цицерона.

Наследие Греции мыслил он уже как целое, не исключая из него и Филантропи́ю, и хотел, чтобы как целое принял и усвоил его Рим: римлянин станет вполне человеком только если воспитает его Греция. Ко времени Геллия идея эта сузилась, да и гуманисты Возрождения восприняли ее не во всей ее широте. Они от Филантропи́и отмежевались, немножко как Геллий, но всего больше, вероятно, потому что оставили ее на попечении Церкви, а своей, не менее священной для них задачей сочли содействие усвоению греко-римского предания, литературного прежде всего, и в этом видели подвиг, очеловечивающий, облагораживающий человека, но тем самым и возвышающий его над людьми, отделяющий его от всех письменам непричастных (отсюда французские выражения Lettres, lettré, illettré). Характерна для них также была завещанная эллинизмом и Империей концепция поэзии (особенно развитая Петраркой) как некоей гуманистической науки, основанной на знаниях, недоступных «тупой, бессмысленной толпе». Идее воспитывающего образования они, при всем том, полностью остались верны и неискаженно передали ее потомству, не помышляя, однако, ее отделять от познания двух древних языков и их литератур. Вследствие этого, веками, на Западе, а после Петра и в России, без их изучения, полного, «настоящего» образования не мыслили. Исторически это вполне оправдано, но уже для прошлого века такое понимание было слишком узким. Исторически, усвоение Европой, в новое время, греческой и латинской культуры было делом огромной важности, но литература, искусство, мышление европейских народов, этим усвоением воспитанные, сами дают совершенно достаточный материал для воспитывающего образования, для Пайдейи, для того, что от Пайдейи сохранилось в идее гуманизма. Не отвечает этой идее лишь то образование, которое ничего не дает воспитанию, а сводится к передаче определенных знаний и умений. Знаниями и уменьями, весьма редкостного даже свойства, может обладать человек совершенно лишенный того образования, которое связано с воспита-

нием или которое по своей природе может содействовать ему. Подготовка специалистов, ни о чем кроме своей специальности не мыслящих и разумно мыслить неспособных, образованием и вообще назвать нельзя. Поэтому, хоть и грустно, что классическое образование повсюду идет на убыль, а у нас в стране исчезло совсем, но еще грустней, что и сама идея воспитывающего образования повсюду оскудевает — технической цивилизации нужны техники, а не люди — у нас же выветрилось до такой степени, что и слово «гуманизм», в этом смысле, больше у нас не применяют и не понимают. Воспитывать-то у нас, правда, воспитывают: Партия воспитывает; но как будто и она *этого* воспитания гуманистическим не решается назвать.

Впрочем, чего доброго, возьмет, да и назовет. Ведь она-то уж во всяком случае ничего кроме гуманитаризма в гуманизме не видит и, отсюда исходя, свою деятельность гуманизмом, своих деятелей гуманистами весьма охотно величает. Незаслуженно, разумеется: гуманности в ней — и в них — столь же мало, как и гуманизма; ни по-гречески, ни по-человечески она с людьми не говорит. Ничего от гуманизма, от обоих аспектов его, в ее «гуманизме» не остается, — так что махнем рукой, нечего тут больше и сказать? Однако живем мы в мире, где, кажется, нет мрака, для сравнения с которым не вырастал бы вдалеке или по соседству мрак еще мрачней.

В девятом китайском комментарии на открытое письмо ЦК компартии СССР (1964) читаем: «Хрущев внушает советскому народу, вместе с буржуазным идеализмом, реакционные идеи индивидуализма, гуманизма и пацифизма, разрушая таким образом социалистическую мораль». Партийно-советское понимание гуманизма здесь ратифицируется (на это указывает уже соседство с пацифизмом), а затем предается анафеме (вместе со всеми другими пониманиями его, что известно по другим источникам). Значит и те жалкие остатки человечности в на три четверти — или на девять десятых, если по верхушке судить — лицемерном советском гуманитаризме и пацифизме еще проклинаются теми, чья мечта все наследие христианства и Европы бесследно стереть с лица земли. России, в первую очередь России надлежит над этим призадуматься, — но и Западу, конечно, тоже. Идеализм, индивидуализм, это ведь все те же, «наши», партийные отпугивающие ярлыки, как и гуманизм или пацифизм, если только прицепить к ним прилагательное «буржуазный». Оно, да еще «империалистический» или «реакционный» в идеологией начиненных мозгах любое понятие превращает в нашиваемые каторжникам на спину бубновые тузы. А ведь понятия эти уже и без того, большей частью, выхолощены были этим «измом», пристегнутым к ним, этой радиогазетной, всесветной, прилипшей к ним болтовней. И вот, оказывается (о другом помолчим) в этом, самом хилом, самом выцветшем гуманизме — совет-

ском — еще достаточно осталось горючего материала, чтобы вызвать желание его сжечь. Или пламени, чтобы его затоптать желтокожими, но все теми же, Марксом сшитыми, Лениным подгвожденными сапогами. Казалось бы гуманизмик этот — о Пайдейе забывший, на Филантропии седьмая вода — только для провозглашений и годится, под пером одних шолоховых и цветет, но тогда и ненавидеть в нем тем ненавистникам было бы нечего. Да и западный — «религия человечества», «женевские идеи», розановская «ледяная любовь», разве не знаем мы о нем все, что знать надлежит, — во след Западу знаем: еще осьмнадцатый просвещеный век поэту, им вскормленному, Джорджу Крэбби (Crabbe) продиктовал незабываемую строчку

And a cold charity from man to man

и сам Руссо, в Женеве (1754), а не где-нибудь, писал: «Сдается мне, что чувство человечности (le sentiment de l'humanité) испаряется и слабеет распространяясь на всю землю». Недаром Христос ближнего заповедал любить, а не дальнего (о любви к которому мечтал, не гуманитарно, а все же прогрессивно Ницше). Испаряется, слабеет, холодеет... Но и последние крохи любви, заповеданной нам, жечь и топтать мы их должны — все мы, ci-devant христиане, на восток и на запад от роковой, от дурацкой черты — жечь и топтать, чтоб понравиться тем, кто иначе их растопчат сами.

*

Значит еще не мертв гуманизм; не мертвы его жалкие остатки. Первый иссох, второй разжижился, изолгался. Но в сознаньи людей где-то — о! никак не на «авансцене», дальше, глубже — еще шевелятся их тени и (не это ли для них наивернейший признак жизни?) еще сражаются между собой. Чуть кто-нибудь на Западе — у нас и пикнуть об этом не смеют — вздохнет об упадке латыни или насчет Греции вспомнит, что недавно еще там искали не песка для купанья, а возвышения души, или (еще хуже) заговорит о питательном — для всего человеческого в человеке — не натаскиваньи, а подлинном воспитаньи, тут же сразу на него и накричат; одни с позиций практических, а другие — с демократических. О практических ни слова: техницизма, утилитаризма, как и карьеризма, с гуманизмом не примиришь; но демократизм, в данном случае, не далек от гуманизма номер два, от подпорченной гуманитарным идолопоклонством, но все же подлинной и понятной человечности. Ты печешься о немногих, говорит она требовательному воспитателю, а как же многие? Ты ищешь лучших, ты их отбираешь, ты хочешь их сделать еще лучшими; нет первенства жесточе, нет непоправимей того, которым мы обязаны тебе. Что ответит воспитатель? Не знаю. Пусть скажет: так надо, и замолчит. Если он будет

оправдываться, да еще заикаясь, да еще, когда его не видят, самодовольно ухмыляясь, я не с ним. Но человечность должна понять, что человек дан, и задан. Нельзя данному жертвовать заданным; нельзя и заданному бросать данного на съеденье. Цицерон Пайдейю и Филантропи́ю соединил в одном слове, но не примирил. Нельзя их примирить. Их спор решается лишь от случая к случаю, и не одним рассудком: всем человеческим существом. Нет общего решенья; нет легкого, нет никакого примиренья. Но задача все же остается: два гуманизма, оба гуманизма сохранить, помешать их взаимоистребленью, не дать вконец засохнуть одному, раствориться в лицемерии другому. Не может задача эта исчезнуть, покуда европейский, покуда и русский — нет его вне Европы — человек не отрекся окончательно от своего прошлого. И нет имени у этой задачи, кроме все того же: гуманизм.

Что же он такое, в конце концов? Не Бог знает что. Не религия он, не философия, никакой системы идей из него не извлечешь; но любую систему идей, любую философию, религию, несогласованную с ним, я буду чувствовать себя вправе в этой несогласованной с ним части начисто отвергнуть. Согласить с ним можно, по-разному, очень многое; можно поднять его на высоту, на которую он собственными силами не в состоянии подняться. Христианство это сделало; выше этого преображения гуманизма в богочеловечестве Сына Человеческого, на земле и на Кресте, ничего не может быть; но в историческом христианстве, как и в иудейской вере до Христа есть много черт, которые гуманизму претят и которые он никогда не примет. Есть философемы и цепи философем, которые можно так изложить, что они примут вид осложненных гуманизмов: игра не стоит свеч; и с антропологией, даже и философской (а тем более естественно-научной) смешивать гуманизм незачем. Не раз, на Западе, в виде гуманизма, пытались излагать марксизм, но затея эта пуста уже потому что марксизм предполагает нечто аналогичное расизму — классизм, а эти два «изма» ни с какой человечностью не совместимы. Сартр объявляет свой экзистенциализм гуманизмом, но отбрасывает вместе с тем всякое предварительное представление о том, что такое человек, а это гуманизму противоречит, потому что не может он отрицать, что человек — говорящее существо, через язык причастное преданию, которое полностью только и делает его человеком. Гейдеггер, наоборот, гуманизм отстраняет, но в языке видит некое природное откровение, истолкованием которого, сплошь и рядом произвольным, он уже четверть века и занят; к гуманизму пожалуй и впрямь это мало имеет отношения. Повторяю: гуманизм — не философия, хотя критике философий он и может и должен послужить.

Критика, это вероятно и есть основное его дело. Или, верней сказать, он — естественная основа всякой критики. Не только крити-

ки идеологий, общих теоретических конструкций, мыслительных систем, но и литературы, искусства, всех дел человеческих на земле. Из чего же исходя их и критиковать, как не из требовательной — но и любящей человечности, составляющей сущность обоих гуманизмов, а значит и двуединого гуманизма, в котором нераздельно и неслиянно (здесь уместен, быть может, этот богословский язык) соприсутствует вера в священность всякой человеческой особи, даже самой гадкой и пустой, и вера в высокие, в надчеловеческие возможности ее духовного роста и подъема (подъем уже не рост, он ее подъемлет над земным). Паскаль сказал: „La grandeur de l'homme est grande en ce qu'il se connaît misérable"; я хотел бы, чтобы у этой мысли его был вариант: tant qu'il se connaît misérable, потому что величие человека только и сохраняется до тех пор, покуда он сознает свою слабость и свое убожество. Критика, исходящая из двуединой идеи человечности, не может быть чисто рассудочной; так например, требование «демифологизации», обращенное к историческим религиям, не может не казаться ей абсурдным, и даже, по разуму судя, если не по рассудку, попросту идиотским (все равно что заставлять музыку изъясняться на языке статистики); и не может она признать рассечения надвое, а затем дальнейшего распыления так называемых «ценностей»; не может, в применении к чему бы то ни было — но имею в виду искусство прежде всего — быть «чисто» эстетической, как и «чисто» моралистической. Человеческой хочет она быть везде и всюду.

Гуманизм скромен. Не высокого он мнения о себе, еще менее высокого о своем имени. Ни на минуту он не допускает, что собою может заменить, в какой бы то ни было области, подлинную работу мысли. Но и не ослепляется никакими виртуозными оказательствами этой работы: судит дерево по плодам его. По целебности или ядовитости плодов этих для человека. И к подделкам он чувствителен: к поддельным оказательствам мысли и воображения, к раздуванию ничтожного, для человека ничтожного, хотя на своей полочке, среди других безделушек, оно и кажется быть может нивесть каким интересным и значительным. «По человечеству» он судит, как говаривали у нас в народе. Человеки, скажите, как же вас иначе и судить?

Г. АДАМОВИЧ

ИЗ СТАРЫХ ТЕТРАДЕЙ

ПОКЛОН БЫЛОМУ

Со всяким пишущим случается, что сквозь «магический кристалл» он не совсем ясно различает, куда мысль или воображение заведет его. В творчестве художественном, особенно в романе, это естественно и даже законно. В статьях бесспорно лучше обходиться без «кристалла», но бывает, что садясь за статью и твердо зная предмет ее, неожиданно отвлекаешься в сторону, — и вовсе не в угоду пустой прихоти, а потому, что новая, другая тема, будто вынырнув из-под первой, побуждает ее оставить.

Мне хотелось написать статью о театре, главным образом о театре Мариинском. Не только воспоминания, нет, — хотя не обошлось бы и без воспоминаний: в частности, без воспоминаний о Ершове, незабываемом Гришке Кутерьме в «Китеже», незабываемом и несравненном Тристане, единственном из всех виденных мной артистов, который в этой роли, — не в пример иным байрейтским может быть и более голосистым знаменитостям, — был на уровне вагнеровского замысла и вагнеровской музыки. Не обошлось бы, конечно, и без воспоминаний балетных. Мне хотелось сравнить наш былой балет с новейшим западным балетом, который при наличии первоклассных сил и блестящих дарований полностью утратил то, что можно бы назвать «праздничностью». Очевидно утрата эта не случайна. Очевидно сказывается дух эпохи, стремление внести ученость, — впрочем нередко мнимую, — внести серьезность, — впрочем нередко напускную, — в область, где им делать нечего. Сказывается и комическая, или вернее трагикомическая уверенность, что иллюстрировать танцами можно решительно все: сегодня «Девятую симфонию» Бетховена, завтра, например, «Опыты» Монтэня... Уместны ли в самом деле колебания? Не искалечит Бетховена с Монтэнем, скажем, Икс, так возьмется за них Игрек, а в театраль-

ном мире царит жестокая конкуренция, надо быть начеку, держать ухо востро и следить, чтобы никто тебя не обогнал и не прослыл более передовым и смелым.

Отложим однако разговор об этом до другого раза. Я вспомнил Мариинский театр, вспомнил далекие предреволюционные годы, тогдашний быт, общие черты тогдашней жизни, остановился, задумался . . . и не мог больше ни к опере, ни к балету вернуться.

Прошу простить, что говорю о себе: это всегда досадно, даже и в самых малых дозах. Но в данном случае трудно было бы объяснить, а тем более оправдать, скачок от одной темы к другой, более широкой и по-моему более значительной.

Тема эта — наше прошлое.

Не должны ли люди моего поколения ценить, не должны ли они радоваться, что им посчастливилось застать Россию хотя бы только в последние годы, предшествовавшие потрясениям и катастрофам, перед теми «неслыханными переменами, невиданными мятежами», о которых говорил Блок? Я не собираюсь ничего идеализировать, не хочу поддаваться близорукой сентиментальности, часто охватывающей человека, когда он вспоминает свою юность. Много было плохого, несправедливого, темного, беззаконного в нашей былой России. Закрывали себе на это глаза, да и посейчас закрывают, главным образом те, кто находился на социальных верхах, со всеми преимуществами, из такого положения вытекающими, или чей социальный ранг был хоть и не очень высок, однако все-таки много выше средней черты, разделявшей многомиллионное население. Но сколько теперь клеветы на прежнюю Россию, сколько злобы и лжи, при том не только лжи по обязанности, как у советских болтунов и чиновников от литературы, а на Западе, по неведению, по твердо укоренившейся «клюквенной» традиции! Да, бесспорно, много было темного в прошлом, и припоминая его, только диву даешься, как же было этого не понять, не заметить, не исправить. Мы приезжали, например, из театра, из того же милого, голубого Мариинского театра, порой взволнованные виденным, даже как будто внутренне облагороженные: «Маша, готов самовар?» В голову не приходило, что Маше или Дуне хочется в первом часу ночи спать и что чай легко было бы приготовить самому, — да, я нисколько не преувеличиваю, в голову не приходило! В голову не приходило, что можно бы завести ключ от входной двери и не будить швейцара, обыкновенно выходившего в накинутой на плечи ливрее вместо халата, позевывая и ежась от холода. Ничего не приходило в голову и теперь об этом странно, грустно и как-то неловко вспоминать. «Мелочи, мелочи, — возразят пожалуй некоторые, — нашел о чем говорить! Маша или Дуня были довольны своей жизнью и ни на что не жаловались». Может быть. Не жаловались потому, что таков был издавна заведенный порядок, казавшийся нерушимым.

Но дела это не изменяет и мелочи, мне вспомнившиеся, предопределили будущее.

Идеализировать прошлое, значит, не к чему. Но мы застали все-таки конец русского золотого века, его закат, последние его дни, не догадываясь, что в духовной истории России это был именно золотой век и что он больше не повторится. Еще раз я процитирую Блока, пророческие, удивительные его строчки: «О, если б знали дети, вы, холод и мрак грядущих дней...» Нам при всей нашей беспечности еще посчастливилось подышать удивительным единственным русским воздухом, теперь исчезнувшим, смесью добродушия, душевной щедрости, беспокойства, порывистости, непоседливости, не знаю, чего еще, всего того, словом, что разлито в лучших русских книгах и чего нет на Западе, при всех его великих, подлинно великих «святых чудесах», — уже не по Блоку, а по Хомякову. Нам еще довелось быть членами былого русского общества, огульно оклеветанной русской «буржуазии», в целом мало похожей на ту, какой теперь ее изображают. Конечно, не доставало общественного благоустройства, порядка, даже воли к порядку. Но вот теперь эта воля стала в России государственным принципом, теперь каждый принужден трудиться на общую пользу, каждый знает, что труд есть долг, что отдых есть неотъемлемое право трудящегося — и так далее. Что же, само по себе все это верно! Дай только Бог, чтобы когда-нибудь в этих неоспоримых нормах обнаружилась трещинка, то есть чтобы явилось чувство их недостаточности и невозможности для человека найти в них удовлетворение. У нас, — обобщая и расширяя слово «мы» на несколько поколений, — этого чувства было пожалуй больше, чем нужно, и когда думаешь о судьбах России, то приходишь к мысли, что главным, непоправимым ее несчастьем была гибель былого русского общества с различными его разветвлениями: прежде всего — гибель былой русской интеллигенции. Сейчас, в наши дни, доживают свой век последние ее представители, и оттого сейчас хочется договорить все то, чего не успели мы сказать вовремя. Я знаю, конечно, что для этого потребовалась бы большая, тщательно продуманная книга, а не короткая, торопливая газетная статья. Но разве не ясно и в нескольких словах, о чем была бы речь? Не сомневаюсь, кстати, что упоминание о золотом веке вызовет ироническое недоумение. «Какой это, скажите, золотой век? Тот ли самый, о котором Герцен писал, что «есть с чего с ума сойти», а Тургенев, что единственной его отрадой, единственной драгоценностью остается великий русский язык?» Да, именно тот самый, и именно потому, что в нем были Герцен и Тургенев, если уж не называть других, всем известных имен. Именно потому, что люди тогда способны были «сходить с ума», а теперь глядят на постепенное, безмятежное водворение

упорядоченного бездушия, как на нечто соответствующее прогрессу.

В 1917 году все оборвалось и полетело неизвестно куда. Даже в сущности не в 1917, а в 1914 году, — потому, что конечно девятнадцатый век, как духовное целое, вольно или невольно покончил с собой именно в 1914 году. Нам довелось еще его застать, но по молодости лет мы недостаточно в него вгляделись, почти ничего в нем не поняли, увлекаясь преимущественно поверхностными его чертами, беспечно балуясь тем, что было к нашим услугам. Но теперь, на далеком, полустолетнем расстоянии, и гораздо меньше сокрушаясь об исчезновении житейских благ, чем нас в этом подозревают, хочется низко поклониться былому и сказать ему спасибо. Хочется сохранить благодарную о нем память и по мере сил передать ее тем, кто придет после нас.

О СЛОВЕ «ПАССЕИЗМ»

Не так давно в статье об Александре Бенуа промелькнуло слово «пассеизм». Едва ли верно, что слово это самим Бенуа придумано: оно существует во французском языке, хотя и вошло в литературный обиход лишь в наше время, да и употребляется редко. А потребность в этом слове есть, и бывают случаи, когда заменить его нечем. Конечно, можно сказать: культ прошлого, любовь к старине, — но это не совсем то. В этих оборотах речи нет нужного оттенка.

Пассеизм... Не культ прошлого и не любовь к старине, а попытка жить в прошлом, страстное предпочтение прошлого настоящему, с юлиановским, то явным, то скрытым стремлением его воскресить. К стремлению примешивается порой отчаяние, даже безнадежность, но отказ принять «грядущую новь в ее отвратной наготе», — говоря словами Бунина, — остается.

Бунин, кстати, был типичным «пассеистом», несмотря на то, что с Александром Бенуа общих черт было у него мало. Его «пассеизм» имел иной характер, иную основу, более русскую, менее «версальскую», хотя наличие побуждений эстетических было и у Бунина несомненно. Только эстетизм был у него не грустно-созерцательный, а активный, чуть ли не боевой, и по условиям нашего времени был неотделим от взглядов политических.

Не далее, как на прошлой неделе пришлось мне говорить с несколькими молодыми англичанами, интересующимися русской литературой, об отношении Бунина к революции, — в связи с той переоценкой его творчества, которая предпринята в Москве. Бывает иногда, что говоря с другими, объясняя что-нибудь другим, сам

уясняешь себе то, что прежде понимал не вполне отчетливо. Так было со мной в мыслях о Бунине.

Разумеется, не следует в пылу «высших соображений» забывать об истинах первоначальных и очевидных. Отношение Бунина к большевизму было резко отрицательным именно в первоначальном, простейшем смысле, и об этом он достаточно ясно говорил и писал.

Но революция была для него все-таки лишь одним из явлений — может быть, самым крупным, потому и самым ненавистным, — в постепенном неотвратимом процессе эстетического оскудения мира, в процессе исчезновения красоты, изящества, прелести мира, всего того, чем было богато прошлое и о чем с таким, даже для него редким словесным вдохновением, редкой тоской рассказал он в «Несрочной весне».

Бунин хорошо знал, что эти черты могут возникнуть в жизни лишь при отсутствии социального равенства и что именно этой ценой они оплачены. Надо, чтобы тысяча человек работала на одного, — без этого не могли бы появиться эти дворцы, колоннады и галереи, без этого не могла бы удержаться утонченность чувств, блеск обычаев, внешнее очарование быта, то, одним словом, что было ему дорого. Если все возможное количество красоты в мире поделить поровну, каждому достанется лишь неумолимо ограниченный «паек», — и вместо резных, как кружево дворцов, возникнут унылые дома-казармы, а на смену какой-нибудь одной поэме, от которой в непонятном восторге кружится голова, придут тома стихов на «производственные» или другие, столь же общедоступные, столь же общеполезные темы. Бунину это и было ненавистно. Куда мир идет? Как могут люди, не сошедшие с ума, сочувствовать и содействовать движению истории, если история именно это направление выбрала? Нет, «не принять грядущей нови . . .»

Эта печаль, эти предчувствия и опасения нашей литературе знакомы давно. Бунин лишь развивал то, что бывало высказано и до него, причем делал это скорей как художник, чем как мыслитель. Но задевал он и мысль, обращая ее к вопросам значительным, почти что «проклятым». Надо признать, что вообще «пассеизм» связан с такими вопросами: оттого-то и близоруко было бы свести его к безобидно-салонному любованию стариной. Дело сложнее и глубже. Есть «пассеизм» у Герцена, в обличениях восторжествовавшего мещанства, хотя у Герцена, при его гениально-прихотливой и противоречивой натуре, все нити перепутаны и чуть ли не на каждую мысль можно найти контрмысль. В чистейшем виде эстетический «пассеизм» — при том именно юлиановский, внушенный стремлением остановить ход истории, — представлен Константином Леонтьевым, и однажды ему удалось выразить самую сущность своих

настроений в одной фразе, необычайно яркой... Не могу удержаться от того, чтобы не процитировать ее, хотя нет, кажется ни одной статьи о Леонтьеве, где не была бы она приведена. Едва ли однако все помнят ее, — если принять во внимание, что репутация «мракобеса» резко ограничила известность Леонтьева, по размерам ума и дарования одного из самых замечательных русских писателей.

«Не ужасно ли и не обидно ли думать, что Моисей всходил на Синай, что эллины строили свои Акрополи, римляне вели Пунические войны, что гениальный красавец Александр в пернатом каком-нибудь шлеме переходил Граник, что апостолы проповедовали, мученики страдали, поэты пели, живописцы писали и рыцари блистали на турнирах, для того только, чтобы французский, немецкий или русский буржуа в безобразной и комической своей одежде благодушествовал индивидуально или коллективно на развалинах всего этого прошлого величия?..»

Как сказано! Какая сила тоски и отвращения! И как неизбежно, сама собой, мысль от всех этих красот, для «пассеиста» единственно драгоценных, обращается к сомнению: надо ли о них скорбеть? Справедливы ли гневные упреки Леонтьева? Нет ли за эстетическим преклонением морального безразличия?

Леонтьев, — как и Бунин, — был страстным почитателем толстовского поэтического гения. О «Войне и мире», об «Анне Карениной» он написал несколько проницательнейших критических страниц. Но как и Бунину нравственный облик этого гения остался ему чужд... А ведь именно у Толстого и есть ответ и на «Несрочную весну», и на любование пернатыми шлемами всяких исторических героев! Помню, однажды Бунин вспылил и рассердился, когда при нем зашла речь об «Анне Карениной» — и о том, почему Толстой в последние свои годы не любил даже и вспоминать о ней: Анна, в своем прелестном черном бархатном платье, танцевала на московском балу, а в это время на кухне другие женщины, — которые по Божьему замыслу были ничем же не хуже Анны! — засучив рукава, мыли ее грязные тарелки...

— Вздор, вздор! — хмуро повторял Бунин.

Для Толстого это не было вздором. Бунин здесь пошел скорей за Леонтьевым, чем за тем, кого признавал главнейшим своим учителем. Очень возможно, что и политические страсти, политические влечения и отталкивания, у всех русских людей, обострившиеся в связи с революцией, мешали ему согласиться с тем, что у «пайка», как у всего постепенного линяния, посерения, обнищания жизни есть могучее моральное оправдание. Леонтьев, впрочем, это сознавал, — может быть именно потому, что жил в другие, более спокойные времена. Леонтьев, незадолго до смерти, писал:

«Христианская проповедь и прогресс Европы совокупными усилиями стремятся убить эстетику жизни на земле, то есть самую жизнь... Что

же делать? Христианству должны мы помогать даже в ущерб любимой нами эстетики...»

Эстетический «пассеизм» Леонтьев, значит, в себе преодолел. А в наше время, нашел ли бы он в себе силы с собой справиться? А мы сами, на чью сторону в развитии исторических судеб станем?

Так слово, кажущееся книжным, мало кем употребляющееся, чуть-чуть мертвенное, приводит к мыслям, которые связаны с нашим будущим и даже всей нашей жизнью.

ЛЕРМОНТОВ

В духовном облике Лермонтова есть черта, которую трудно объяснить, но и невозможно отрицать: это — его противостояние Пушкину.

В детстве все мы спорили, кто из них «выше», поумнев — спорить перестали. Возникли другие влечения или пристрастия, да и отпала охота измерять то, что неизмеримо. Замечательно, однако, что и до сих пор в каждом русском сознании Лермонтов остается *вторым* русским поэтом — и не то, чтобы такое решение было внушено величиной таланта, не то, чтобы мы продолжали настаивать на каких-нибудь иерархических принципах в литературе, — дело и проще, и сложнее: Лермонтов что-то добавляет к Пушкину, отвечает ему и разделяет с ним, как равный, власть над душами. Были у нас и другие гениальные стихотворцы, великие художники — Тютчев, например. В последние десятилетия, со времен Владимира Соловьева, слава его выросла необычайно, и престиж его — особенно среди поэтов — стал высок исключительно. Случается даже иногда слышать мнение, что никто на русском языке таких стихов, как Тютчев, не писал — и это почти правда. Почти — потому что рядом с ним все-таки стоит Пушкин. Это разные жанры мастерства, разные виды блеска и прелести. Пушкин чуть-чуть холоднее, Тютчев страстнее, расточительнее сердцем, но если говорить об «умении писать стихи», оба находятся на одном, непревзойденном у нас уровне. Отдельное, взятое вне всего остального текста, стихотворение Лермонтова при сравнении со стихотворениями пушкинскими или тютчевскими кажется просто беспомощным: все грубо, все преувеличено подчеркнуто, везде реторика, словом, отдает Грушницким, из «Княжны Мэри». Правда, попадаются удивительные, — как кто-то выразился — «райские» строчки. Правда, стихи 40 и 41 годов порой и полностью превосходны. Но Жуковский морщился и над ними, и по-своему был прав.

Однако, все современники Пушкина входят в его «плеяду», а вот Лермонтова туда никак не втолкнешь. Он сам себе господин,

сам себе голова: он врывается в пушкинскую эпоху как варвар и как наследник, как разрушитель и как продолжатель, — ему в ней тесно и, может быть, не только в ней, в эпохе, тесно, а в самом том волшебном, ясном и хрупком мире, который Пушкиным был очерчен. Казалось, никто не был в силах отнять у Пушкина добрую половину его литературных подданых, — Лермонтов это сделал сразу, неизвестно как, с титанической силой, и продолжай Пушкин жить, он ничего бы не мог тут изменить.

По-видимому, в самые последние годы Лермонтов сознавал свое место в литературе и свое предназначение. Но в январе 1837 года он едва ли о чем-либо подобном отчетливо думал. Однако, на смерть Пушкина ответил только он, притом так, что голос его прозвучал на всю страну, и молодой гусарский офицер был чуть ли не всеми признан пушкинским преемником. Другие промолчали. Лермонтов как бы сменил Пушкина «на посту», занял опустевший трон, ни у кого не спрашивая разрешения, никому неведомый. И никто не посмел оспаривать его право на это.

С тех пор у нас два основных, — не знаю как выразиться точнее, — поэта, два полюса, два поэтических идеала: Пушкин и Лермонтов. Обыкновенно Лермонтова больше любят в молодости, Пушкина — в зрелости. Но это разделение поверхностное. Существуют люди, которым Лермонтов особенно дорог; есть другие, которые без Пушкина не могли бы жить — вечный разлад, похожий на взаимное отталкивание прирожденных классиков и прирожденных романтиков. Классицизм ищет совершенства, романтизм ищет чуда. Что-то близкое к этому можно было бы сказать и о Пушкине и Лермонтове — и по этому судить, как глубока между ними пропасть, как трудно было бы добиться их творческого примирения.

Думая о Лермонтове, читая его, мы порой упускаем из виду то, что надо бы помнить всегда: умер он 27 лет. Как бы рано ни началось развитие, в 27 лет человек еще почти мальчик. По нашим теперешним, здешним понятиям, поэт такого возраста даже еще не «молодой», а просто какой-то литературный приготовишка. Лермонтов в пятнадцать лет писал с важностью о «промчавшейся юности», но именно эта важность и доказывает, насколько он еще был зелен. Кстати, для характеристики лермонтовских представлений о возрасте любопытная цитата из «Княгини Лиговской».

«Ей было двадцать пять лет. Она была в тех летах, когда еще волочиться за нею было не совестно, а влюбиться в нее стало трудно».

Двадцать пять лет! Что скажут на это наши барышни и дамы. Мы держим в руках «полное собрание сочинений» — и забываем, что это почти сплошь «проба пера», опыты, черновики, обещания — именно обещания, заставившие Белинского воскликнуть:

— О, это будет поэт с Ивана Великого!

Надо признать, что с чисто эстетической точки зрения — обещания меньше пушкинских. У Пушкина уже и в лицее чутье было непогрешимо, вкус безошибочен. Но Пушкин, скажу еще раз, искал совершенства — и ничуть не замыкаясь в какой-либо «башне из слоновой кости», не боясь жизни, не отступая перед ней стремился создать в ней свой, особый мир, упорядоченный и просветленный. У Пушкина есть стих, звучащий, кстати, почти по-лермонтовски:

И от судеб защиты нет!

— стих, который он как будто старался всем своим творческим делом опровергнуть. Оттого его гибель и кажется в истории России чем-то столь ужасным, что действительно защиты «от судеб» не нашлось, и после того как исчез человек, своим гением поддерживавший веру в нее, все уже стало разваливаться, катиться под гору. Пушкин держал Россию и выронил ее; не знаю, чем другим, каким другим образом можно бы объяснить или иллюстрировать чудесное и вместе с тем пронзительно-грустное впечатление, производимое «Онегиным», особенно заключительными его главами — этим величайшим, конечно, пушкинским созданием. Рядом с ободряющим, успокаивающим голосом Пушкина голос Лермонтова сразу звучит гневно, жестко, сурово:

И вы не смоете всей вашей черной кровью
Поэта праведную кровь!

Николай I получил эти стихи по почте, с пометкой «призыв к революции». Он так и сам их оценил, в парадоксальном согласии с советскими истолкователями Лермонтова. Революция не революция, но призыв к мести и к открытой борьбе с какими-то темными силами, — у Лермонтова, как и у Байрона, имевшими несколько неясных имен: «свет», «толпа», «они» — звучал тут явственно. Пушкинский «золотой сон» был кончен.

У Лермонтова поразительна в стихах интонация, поразителен звук, а вовсе не тот тончайший подбор слов, которыми пленяют Пушкин и Тютчев. В лучшем случае Лермонтов бывает остер в выборе выражений, хотя и почти всегда склоняется к внешним эффектам. Но источник его вдохновения так глубок, сила напева так могуча, что после его стихов трудно вспомнить другие, которые не померкли бы рядом. Стихи эти бесспорно хуже пушкинских по качеству, но они не менее их значительны своим общим смыслом, — вот что все чувствуют, как бы Лермонтова не оценивали. В стихах этих есть какой-то яд, от которого пушкинский поэтический мир вянет; какой-то яд, от которого он распадается — и если не свершения, то стремления лермонтовской поэзии тянутся дальше пушкинской. И в детски-волшебном «Ангеле» и в зрелом «Договоре» — один и тот же внутренний строй, ни у кого не заимствованный, ни в какой школе не найденный.

«Пускай толпа клеймит презрением
Наш неразгаданный союз...».

Как будто, ничего необыкновенного. Пушкин, пожалуй, не сказал бы «клеймит презреньем», избегая метафор вообще, а тем более стертых. Но замечательно вот что: поэт нас не забавляет, не прельщает — он с нами говорит серьезно, печально, будто глядя прямо в глаза, дружески без заискивания, сдержанно без высокомерия, искренне без слезливости — и это-то и потрясает, это и потрясло когда-то всю Россию, никогда ничего такого до Лермонтова не слышавшую. Пушкин остался богом, Лермонтов сделался другом, наедине с которым каждый становился чище и свободнее. Пресловутая его «злоба» мало кого обманывала.

Если чтение и понимание Лермонтова дело не легкое, хоть и необыкновенно заманчивое, необыкновенно благодарное, то потому, что он носил «маску» и хотел казаться не тем, чем был. Для метафизика его стихи и проза — материал в своем роде единственный, но не будем в этой статье касаться подобных тем. Несомненно, что Лермонтов всегда чувствовал себя окруженным врагами, и, обороняясь, опасаясь выдать свою слабость, упорствовал в выбранной позе. Случалось ему и «махать мечом картонным», после чего, как бы в припадке раскаяния, он произносил слова настолько глубокие и простые, что над книгой невольно протираешь глаза: тот ли человек написал это? Кто привык представлять себе Лермонтова «байроненком» или доморощенным демоном, пусть вспомнит «Люблю отчизну я»... Стихи неровные, как неровно все у Лермонтова. Начато не без декламации. А к середине, в пейзаже, в напеве, в эпитетах — «дрожащие огни печальных деревень» — и другое — звучит что-то непостижимо русское, с предчувствием знаменитых тютчевских «бедных селений» и всего того, что в нашем искусстве по этой линии прошло. Как, когда, откуда гусарский офицер это взял? Как сочетал он это с «гордым мщением Творцу» — и прочим пустозвонством? Бог его знает. Сдается только, что в доброй своей части «гордое мщение» было чем-то вроде тактического приема — и что Лермонтов умер как раз тогда, когда донкихотствовать ему становилось скучно. Он искал своим силам иного применения, иного выражения.

В этом смысле необыкновенно ценен «Герой нашего времени». Что это, кстати, за чудо, этот «Герой»! Что за гениальная вещь! Ища какую-то справку я раскрыл «Княжну Мэри» и перечел повесть, казавшуюся мне все-таки чуть-чуть одеревянелой, слегка поблекшей, — перечел с изумлением, росшим с каждой страницей. О «Тамани» нечего говорить. «Тамань» стала в русской прозе образцом поэтической прелести: это ведь первый русский рассказ, в котором каждое слово пахнет морем, влагой, ночью, чем-то зеленым,

южным, прохладным. Вспомним тоже, что до Лермонтова никто всего этого у нас не уловил. Но «Княжна Мэри»? Тургенев поблек гораздо больше, весь Тургенев, со всеми своими идеальными девушками и лишними людьми. Печорин умен и душевно взросл, как никто. А вместе с тем, какая безвкусица в его показном, наружном поведении, как он близок к своей карикатуре, Грушницкому, в нелепой интриге с бедной милой княжной! То, что писано для «райка», в представлении Лермонтова, наполненного насмешливыми недоброжелателями, почти простодушно в желании ошеломить и напугать, а все другое так верно, так проницательно и так чудесно сказано, что до Льва Толстого никому у нас и не снилось писать на такой высоте. (Конечно, Гоголь не в счет. Но Гоголь писатель фантастический, и насколько его реализм призрачен, — именно при сопоставлении с истиным реалистом, Лермонтовым, и становится ясно). Нельзя читать без волнения рассказ о дуэли Печорина, о его настроении перед поединком, который мог бы оказаться дле него роковым; о его чувствах, о его поездке верхом, на рассвете, к месту встречи; нельзя отделаться от впечатления, что Лермонтов рассказывает это о себе, заглядывая в будущее, оставляя нам какой-то незаменимый документ. От этих страниц мысль сама собой переносится к тому, о чем столько уже было сказано — и что остается, однако, вечным предметом наших сожалений, упреков, догадок, раскаяний, сомнений: как же все так случилось, что ни *того*, ни *другого* в России не уберегли? Что внесли бы они — и тот и другой — в русскую сокровищницу, проживи они нормально долгую жизнь? Что было бы с русской литературой при их участии в ней во второй половине прошлого века? Кто смоет, может ли быть смыта их «праведная кровь»? Предмет для размышлений почти беспредметный, книга падает из рук, — а когда принимаешься читать снова, понимаешь опять, с новой силой, какое несчастье смерть того, кто ее писал.

СПОРЫ О НЕКРАСОВЕ

Ни в литературе, ни в искусстве ничего доказать нельзя. В лучшем случае можно только убедить. Всем известную и явно неверную поговорку насчет того, что «о вкусах не спорят», очевидно надо понимать в том смысле, что о вкусах не следует спорить: не следует — чтобы не терять попусту времени. Но так уж устроен человек, что спорить ему всегда хочется, и надежда сделать ясным для всех других то, что ясно ему самому, никогда не оставляет его.

К спорам о Некрасове всякий, любящий его поэзию, давно привык. Помню, как несколько лет тому назад один известный русский писатель, глядя на меня насмешливо-умными глазами и как будто «выводя на чистую воду», говорил:

— Послушайте, ну зачем вы притворяетесь? К чему? Ну, между нами, скажите правду. Никто не услышит. Ну, какой же Некрасов поэт?

Ответить было трудно. Лист, когда при нем бранили Вагнера, садился к роялю и наигрывал несколько тактов из «Тристана». Здесь надо было бы в сущности поступить так же: раскрыть том Некрасова и прочесть вслух одну-две страницы.

Писатель, о котором я говорю, не любит, даже не признает стихов, и много раз заявлял об этом. При таких условиях нельзя и ждать справедливости к Некрасову, который весь в своем ритме и одержим им был настолько, что до самой смерти, «у двери гроба», в ужасающих физических страданиях не перестал слагать песни. Но на днях в печати повторил то же самое В. Ф. Ходасевич, человек, которого в равнодушии к поэзии заподозрить нельзя, так как он только ею всю жизнь и занимается. Ходасевич удивляется, что я «с капризным упорством» именую Некрасова «великим русским поэтом». Отнесем «капризное упорство» к обычным цветам полемического красноречия: если выражение это и досадно, то, право, не по личным соображениям, а только потому, что косвенно оно затрагивает и Некрасова. Значит — по Ходасевичу — Некрасов вовсе не великий поэт. Иначе, где же каприз и в чем упорство?

История литературы — область важная, солидная, почтеннейшая, но не о ней сейчас речь. Не в том дело, что Некрасов сыграл в свое время определенную «роль», а в том, что он жив до сих пор, — как Пушкин, Лермонтов или Тютчев.

Утверждение голословно, «декларативно», — по выражению Ходасевича. Оно, к сожалению, таким и останется, несмотря на любые доводы: если завтра кто-нибудь примется утверждать, что и Пушкин никуда не годится, нельзя будет опровергнуть это утверждение с абсолютной достоверностью. Доказательства — только в откликах, в привязанности, в благодарности, в желании читать и перечитывать, в повторении по случайному поводу то одной, то другой строки, в уверенности, что никто на свете не сказал этого именно так, с такой же силой и страстностью, в чувстве душевного обогащения, которое после чтения возникает, в очищении и освобождении — «над вымыслом слезами обольюсь» — которое душа в книге находит. Хочется спросить: неужели действительно мало уже остается людей, у которых таково отношение к Некрасову? Не может этого быть, и, наверное, это не так. Поговорите с самыми молодыми из наших «молодых» поэтов — и они ответят, что это не так. Поговорите с «широким читателем». А если бы даже это было так, то и тогда пришлось бы признать, что произошло недоразумение, что Некрасов не понят, — ибо в основе своей поэзии он не рас-

ходится с настроениями и мотивами современного искусства, а, наоборот, связан с ними. Ходасевич смеется над мнимым, будто бы, сходством Некрасова с Бодлером. На поверхности, в самом деле, сходства не много. Но оболочка, как шелуха, отпала и у того, и у другого, а под ней оказалось что-то нежданно-родственное. (Бодлера не раз — и с полным основанием — называли далеким потомком Данте. Если вести творческую генеалогию Некрасова, то со всяческими поправками на глубочайшую его русскую «почвенность» и на непосредственные влияния и воздействия, выясняется, что он все-таки уходит туда же, к дантовскому типу и складу поэзии. По-видимому, корень в живом, неустранимом ощущении греха и воздаяния, в прирожденном чувстве вины. Пушкин — совсем вне этого, как и Гете).

Достоевский очень верно определил, что у Некрасова в сердце была «незаживающая рана». Он вообще сказал о Некрасове в «Дневнике писателя» много замечательного и, вероятно, чувствовал духовную близость к нему, несмотря на различие взглядов. Многое из того, что иногда думаешь о Достоевском, может быть отнесено и к Некрасову, — и если не в темах, то в тоне они друг друга повторяют. Некрасов трезвее, скептичнее, рассудочнее. Но когда герои Достоевского, будто схваченные кем-то за горло, изнемогая и задыхаясь, переходят от обычной логической речи к восторженно исступленным восклицаниям, — какие стихи могли бы они вспомнить? Некрасовские, из всей русской литературы. Какие стихи мог бы произнести старик Мармеладов в конце своего рассказа, опошленного, но гениального, или Ипполит из «Идиота», на рассвете, перед катастрофой? Только некрасовские, потому что только Некрасов, во всей русской поэзии, тоже берет человека за горло и делает с ним, что хочет. Даже больше: есть у Достоевского в том же «Подростке» сцена с матерью в пансионе Тушара, настолько некрасовская по тону, что в памяти она сливается с «Рыцарем на час» и всеми обращениями Некрасова к «русокудрой, голубоокой».

Повидайся со мною, родимая.
Появись легкой тенью на миг!

Это почти то же самое, — и одно в другом тут отражается, углубляясь до бесконечности. Может быть, Достоевский — сомнительный художник, как теперь постоянно приходится слышать, но я позволил бы себе посоветовать тем, кто это утверждает, перечесть хотя бы только этот эпизод из «Подростка» — визит матери в пансион к сыну — и, положа руку на сердце, ответить, не потрясены ли они глубочайшей, сияющей, — не знаю, как сказать, — правдивостью замысла, торжествующей над уязвимой словесной тканью или невпопад поставленным эпитетом? А заодно и вспомнить того же «Рыцаря на час»! Если не потрясены, то нечего делать. Не стоит ни

в чем и убеждать. Очевидно, люди бывают настолько различны, что в одних и тех же словах видят и слышат разное.

К Некрасову нельзя подходить с мерилом ограниченно-эстетическим и судить его с точки зрения хорошего вкуса. Безразлично сейчас, почему он сложился именно таким, а не другим. Но действительно тому, кто воспитан на Пушкине, Баратынском или Тютчеве, трех величайших и тончайших мастерах русского стиха, его поэзия может показаться грубой, кое-как сколоченной и часто стилистически фальшивой. У тех каждое слово вымыто в десяти водах, поставлено с безупречной точностью, в данном месте незаменимо. Некрасов пишет сравнительно грязно, пишет, «как из ведра», будто всегда начерно. Ему несвойственно ощущение возраста слова и принадлежности к тому или иному стилистическому составу, он часто вводит в стихи фельетонный, условно-образный язык, с обилием прозаизмов и готовых общераспространенных оборотов. Если взять карандаш и приняться делать на полях замечания, критической придирчивости откроется раздолье. Но потому-то Некрасов и великий поэт, что ему не мешает дурной стиль, что он им не отягчен, и мощной силой напева уносит, вздымает все, что попадется на пути. Он не тонкий мастер, но он в своей области единственный мастер, потому что слух, в конце концов, ему всегда подсказывает ритмическое ударение, которое оживляет и преображает самую серую фразу, подсказывает интонацию, которая идет неизмеримо дальше и глубже непосредственного смысла слов. Даже в любовных или жанровых бытовых стихах: «головки», «красивые картинки», «прелестные и лукавые взгляды» и, о ужас! — «ангельчик», — как в «Муже и жене», а затем вдруг:

Делай, что хочешь со мной!
Сердце мое, исходящее кровью,
Всевыносящей любовью
Полно, друг мой!

Некрасов, по собственному признанию, «катался на диване» и «навзрыд плакал», сочиняя свои стихи. Ему просто некогда было останавливаться в процессе их создания для раздумья или оценки подвернувшегося слова. Некрасов чувствовал, что не в чистоте и блеске стиля его сила. Но не случайно он настойчивее, чем какой-либо другой русский поэт, говорит о присутствии Музы: муза, как будто, действительно стояла над ним, внушала ему, что и как петь, и что-то он из этих внушений запомнил такое, чего другие русские поэты не расслышали и не уловили. Тютчев, например ... Беру нарочно имя бесспорное, а по Льву Толстому даже первое в нашей поэзии. Не любить Тютчева нельзя, и я не за тем его вспомнил, чтобы в чем-нибудь или как-нибудь умалять его. Тютчев рядом с Пушкиным — на веки веков учитель всех русских поэтов. Но даже и он, при всех своих очевидных преимуществах перед Некрасо-

вым, беднее и слабее его в дыхании, в «полете». Того, что есть у Некрасова, этого рвущегося к миру голоса, этих «песен», как будто потому и не окончательно складных, что несовершенен и сам мир этого постоянного, неустранимого участия в мелких человеческих невзгодах и самых больших страданиях, нет ни у кого. На похоронах Некрасова раздались — в ответ Достоевскому — восклицания, что он был «выше, выше» Пушкина и Лермонтова. Восклицания наивные, конечно. Но и Владимир Соловьев, написавший несколько благозвучно-гладеньких, презрительных строчек о «расчетливом обмане» и «шумящем балагане», был, при всем своем уме и таланте, еще много наивнее. Неужели он в самом деле думал, что Некрасов кого-то обманывает? Неужели он считал, что человек в силах *так* обманывать и, с хитрым расчетом на слабые и слезливые души, сочинять «Княгиню Волконскую», «У парадного подъезда», «Рыцаря» или последние короткие предсмертные стихи?

«Поклонник Анненского» . . . Беру эти слова из той же иронической статьи Ходасевича. Поклоннику Анненского не пристало, будто бы, восхищаться Некрасовым.

Если бы эти строки принадлежали другому человеку, я, признаться, решил бы, что он не читал или забыл Анненского. Прежде всего, сам Анненский очень любил и чтил Некрасова (как любил он Шевченко, за пренебрежение к которому жестоко обрушился когда-то на Кузмина). Но даже и не зная этого, разве можно отрицать между ними связь? Что же, мы любим Анненского за «изыски», за сложнейшую причудливость техники, за двоящиеся, ускользающие от анализа образы? Анненский оттого и остался одиноким среди русских символистов, что не обольщался напыщенной декламацией о «высших реальностях», декламацией, особенно удобной тем, что она оправдывает безразличие к реальности ближайшей и несомненной. Анненский соглашался быть поэтом только при условии, что опоэтизирована может быть вся жизнь, то есть он не уходил «в мечту», как не уходил в нее и Некрасов. Вернусь еще раз к Бодлеру, раз уж была о нем речь. В сущности, если бы надо было дать понять русскому читателю, не знающему французского языка, что это такое, Бодлер, следовало бы сказать: смешайте Некрасова и Анненского, пламенную, цельную силу одного, с сомнением, ясновидением, безутешностью и изощренностью второго. Смесь составится легко, так как оба элемента по составу одинаковы, а различны лишь по темпераменту и окраске.

З. Н. Гиппиус, в «Русских записках», соглашается признать Некрасова «большим поэтом». Но ей кажется удивительным, что «один современный критик», «страдающий склонностью к парадоксам», причислил Некрасова к поэтам христианским.

Вопрос этот такой, на который, пожалуй, правильнее всего ответить: и да, и нет. Нет, конечно, если искать у Некрасова каких-либо религиозных мотивов и священных имен. О церкви он, правда, довольно часто упоминает, но скорее всего в плане бытовом, как естественную черту русского пейзажа, русского жизненного уклада, с которым он сроднился. Не иначе.

Но в пользу «да» основания много глубже. «Христианский» не значит «церковный», и продуктом христианской культуры может быть явление, внешне чуждое символам и даже догматам. Некрасов — христианский поэт в том значении, что все, им написанное, продиктовано уязвленной совестью, «незаживающе раненым» сердцем. Он в тысячу раз больше христианский поэт, нежели его обличитель, Владимир Соловьев, дававший лишь стихотворные иллюстрации к своим религиозным идеям, как мог бы давать их к идеям философским или научным. У Некрасова взывает к небу сама плоть, сама музыка его стихов, ищущих и не находящих выхода. Его обращения к матери — почти, почти, почти молитвы, и недаром «в муках мы мать вспоминаем». Его отношение к России тоже выходит за пределы обычного народолюбия. Нет, право, никакой склонностью к парадоксам процитированные выше слова о Некрасове не внушены. Можно читать поэта, — и довольствоваться его дословным текстом, но можно читать — и делать выводы. Разница в истолковании Некрасова объясняется только этим. Если в страдании есть какой-то смысл, то автор «Рыцаря на час» был ближе кого бы то ни было к тому, чтобы его разгадать и других ему научить.

О ЦВЕТАЕВОЙ

Марина Цветаева постоянно жаловалась в эмиграции на то, что ее не ценят и не понимают. Надо признаться, что основания для этого у нее были, — хотя были и причины, в которые она отказывалась, или не способна была, вдуматься. При жизни Цветаеву даже в журналах печатали неохотно, — по крайней мере она сама не раз, и с большим раздражением, об этом говорила, — а еще меньше внимания, радушия и предусмотрительности встречала она у редких русских зарубежных издателей. Правда, Цветаева всегда была окружена небольшим числом людей, с восхищением следивших за ее творчеством, но расширить этот круг ей до отъезда в Россию так и не удалось. Насколько мне известно, удалось ей это только посмертно, притом именно в России, после нескольких исключительно трудных и бедственных проведенных там лет. На днях, перелистывая сборник стихов Беллы Ахмадулиной, я убедился, что для некоторых молодых московских поэтов обаяние Цветаевой неотразимо, и

зная, с какой верой и нетерпением она этого признания ждала, я пожалел, что ей не привелось до него дожить.

Восхищение, восторг, любовь — чувства, не допускающие споров, как бы исключающие всякое полемическое противоречие и даже заранее отвергающие его. В ответ им необходима осторожность, осмотрительность, тем более, что это чувства по существу благородные. Поэтому мне не хотелось бы сказать о покойной Марине Цветаевой, одареннейшем и несчастнейшем человеке, ни слова, которое могло бы оказаться воспринятым ее поклонниками, как оскорбление ее памяти, хотя бы только памяти литературной. Единственная моя задача — указать на наличие в ее писаниях чего-то такого, что многим мешает полностью их принять и признать. В частности в ее статьях, включенных в сборник «Световой ливень».

Конечно, Цветаева была чрезвычайно талантлива, конечно, она была по природе умна: отрицать это можно только при заведомом стремлении назвать белое черным и исказить очевидную истину. Но при чтении Цветаевой, в особенности прозы ее, довольно часто, и с каким-то смущением за автора, вспоминаются знаменитые слова Бюффона, французского натуралиста восемнадцатого века: «Стиль, это человек». Впрочем, мысль Бюффона была проще той, которую приписывают ему потомки. В речи на приеме во французскую Академию он сказал, что содержание научного трактата представляет собой общее достояние, и только форма его принадлежит тому, кто трактат написал. «Стиль — от человека», уточнил он. Но фраза понравилась, запомнилась, и мало-помалу сделалась поговоркой, получившей значение более глубокое, чем Бюффон вероятно предполагал. Кстати, если уж коснулись мы этого предмета, можно было бы указать, что мудрец Сенека, чуть ли не двумя тысячелетиями раньше сказал в точности то, что Бюффону было приписано: «Стиль есть лицо души» — „Oratio vultus animi est".

В цветаевской прозе, например, в большой статье «Искусство при свете совести», есть какой-то утомительно-однообразный вызов, или как выражался покойный Ходасевич, «заскок»: «Я, мол, такая как есть, считаться ни с кем не нахожу нужным и верю только себе, а нравится это вам или не нравится, мне решительно все равно!» Есть «заскок» и в ее стихах, но их спасает напев, мелодическая их щедрость, прелесть, их своеобразие, — причем, в ранних стихах Цветаевой, до встречи с поэзией Пастернака, напев этот все же был чище. В юности она подлинно пела, — как в стихах о Москве или в стихах к Блоку, — позднее стала как будто задыхаться, и характерной чертой ее поэтической речи стали непрерывные восклицания или патологическое пристрастие к так называемым «анжамбанам», то есть переносу логического содержания строки в строку следующую. Ахматова справедливо недоумевала: неужели не

ясно, что только в виде исключения такой перенос действен, выделяя нужное слово!

Но оставим стихи Цветаевой, повторив, согласившись, что во всяком случае и при каких угодно оговорках, поэтом она была редкостным, одним из тех, к кому допустимо применить пишкинские слова о «херувиме, занесшем нам несколько песен райских».

В статье «Искусство при свете совести» немало верных мыслей. Но отчего даже самые простые, самые скромные из них поданы так, будто это синайские заповеди или какие-то великие открытия? Тут-то и говоришь себе: что же делать, «стиль, это человек». Цветаева часто повторяет то, что было сказано давно — и даже лучше, яснее, было сказано, — но делает это так, таким тоном, будто ей одной оказались доступны эти озарения. «Речь моя, — пишет она, — обращена к тем, для кого Бог—грех—святость — есть» (между каждым из этих слов — тире), впрочем допуская, что и «атеист может заговорить о высоте искусства» и тогда поймет ее и он.

«В чем, — спрашивает она, — отличие художественного произведения от произведения природы, в чем отличие поэмы от дерева? Ни в чем. Путем труда и чуда, но оно есть. Я — есмь!» Однако произведение искусства «должно быть просвещено светом разума и совести», и для обоснования этого неособенно хитрого утверждения Цветаева пускается в длинный, до крайности сбивчивый анализ песни председателя из «Пира во время чумы», а дальше переходит к Гете, к Толстому, к Гоголю. Величайшее удовлетворение испытывает она при мысли о том, что Гоголь сжег вторую часть «Мертвых душ».

«Может быть, — пишет она, — мы бы второй частью «Мертвых душ» и не соблазнились. Достоверно: им бы мы радовались. Но наша *та* радость им, ничто перед нашей *этой* радостью Гоголю, который из любви к нашим живым душам свои Мертвые — сжег. В огне собственной совести. Те были написаны чернилами. Эти — в нас —огнем». (Разумеется, слова опять разделены тире!)

По поводу этой радости, на полях цветаевской статьи, можно было бы сказать кое-что очень существенное, впрочем в суховатом, и для Цветаевой явно неинтересном, историческом плане. Не оттого ли Гоголь сжег вторую часть своей поэмы, что она была мало удачна и он это сознавал? При крайней его склонности к фантазированию, не приобретают ли кроме того особое значение слова отца Матвея Ржевского, духовника Гоголя, знавшего его вероятно лучше кого бы то ни было: «Да и существовала ли она вообще, эта вторая часть «Мертвых душ»? — сомневался о. Матвей.

Однако Цветаева, отталкиваясь от фактов, парит за облаками — или, по крайней мере, старается унестись в заоблачные высоты в своем воображении. Кстати, в связи с высотами, она предлагает и афоризм, в тексте выделенный:

— Высоты, как равенства, нет. Только, как главенство.

Позволю себе обратиться с вопросом к тем, кто «Искусство при свете совести» читал или кому цветаевские статьи попадутся когда-нибудь в руки: не испытывают ли они досадной неловкости при чтении? Не вспоминается ли им бессмертный упрек Базарова его приятелю Кирсанову: «Аркадий, не говори красиво». Имеет ли основание, имеет ли даже право поэт красоваться своей избранностью и вещать, изрекать, вместо того, чтобы говорить, да, именно только говорить нашим обыкновенным, общим, чудесным, в тысячу раз более выразительным языком? Неужели в каждом своем размышлении поэт должен давать понять, что он — некая пифия, внимающая только божественным внушениям? Наконец, что это за непрерывное «ячество», без малейшего сомнения в себе, — сомнения, которое почти всегда бывает плодотворно? Добавлю, что говорю я это скорее с грустью: какой талант, и как этот талант искажен тем самоупоением, которым проникнут! В той статье об искусстве попадаются замечания, свидетельствующие об уме Цветаевой, о ее большой проницательности. По природе она была выше, чище, свободнее той позы, которую раз навсегда усвоила, и которая в житейских несчастиях вероятно утешала ее и поддерживала. В будущее свое признание она твердо верила. Что же, если теперь находятся у Цветаевой поклонники, способные без колебаний принять каждое ее слово, порадуемся за нее и за них. Но тех, для кого многое в цветаевских писаниях было и остается неприемлемо, они не переубедят.

В. В. РОЗАНОВ

Василий Васильевич Розанов был одним из самых замечательных русских писателей нашего века. Думаю, что насчет этого, — то есть насчет исключительной даровитости и своеобразия Розанова, — не может быть сомнений. Недостатков у него было множество, был он человеком душевно-шатким, слабым, пожалуй даже порочным, иногда шедшим на самые неприглядные сделки с совестью. Розанов сам о себе сказал: «Моя душа сплетена из грязи, нежности и грусти».

Тем, кто в творчестве и деятельности выше всего ценит твердость убеждений и непреклонную стойкость в их отстаивании, тем с книгами Розанова делать нечего. Но ведь личность человека, духовная сущность человека — нечто слишком сложное, чтобы ценность и значение ее можно было бы свести к наличию твердых убеждений. Розанов неповторимо своеобразен. В новейшей русской литературе он — явление в своем роде единственное, ни с каким другим не сравнимое. Можно его любить, можно отвергнуть, но при малейшей чуткости к слову нельзя не признать, что никто не пи-

сал так, как он, и что страницу Розанова нельзя спутать ни с чьей другой.

К стилю его неприменимы такие эпитеты как «блестящий», «красочный», а еще менее ужасающе безвкусный эпитет «сочный», к сожалению довольно часто встречающийся в статьях литературных критиков. Ничего блестящего в писаниях Розанова нет, да и с грамматикой он далеко не всегда в ладу. Но при чтении его возникает впечатление, что расстояние между словом и мыслью исчезло. Слово слито с мыслью, слито с чувством и представляет собой как бы их моментальную фотографию. У другого писателя это было бы сопряжено с усилием и могло бы показаться манерностью. Розанов же, по-видимому, иначе писать не мог, и искренность его чувствуется в каждой фразе. Подражать такому писателю было бы нелепо и привело бы именно к манерности. Но непосредственность стиля на лучших страницах Розанова поистине граничит с волшебством, — например, в двух самых значительных, поздних его книгах, «Темный лик» и «Люди лунного света», объединенных подзаголовком «Метафизика христианства».

Христианство, судьба его и смысл его занимали и волновали Розанова всю жизнь. Но именно в отношении к христианству двойственность его натуры обнаружилась особенно отчетливо. Смолоду он «был ранен в сердце» христианством, — это его слова, — но страдал, содрогался, бился, не зная, как примирить евангельскую проповедь с очарованием жизни, с устоявшейся прелестью семейного быта, с плодородием, с чадолюбием, со всем тем, к чему был глубоко привязан. Он ненавидел аскетизм, и на страницах «Темного лика», в примечаниях к рассказу психиатра Сикорского о группе сектантов, решившихся на самосожжение ради избавления от греха и соблазна, он дошел до того, что назвал Христа «Царем ужаса». Но тут же, в ту же книгу включил удивительную главу об «Иисусе сладчайшем», и еще другую «Христос — судья мира», едва ли не самое вдохновенное из всего, что на русском языке было когда-либо о Христе написано.

Наиболее популярны, даже среди убежденных поклонников Розанова, сборники коротких, отрывочных записей, сделанных под разными впечатлениями, по разным поводам, без всякой внешней связи — «Уединенное» и два тома «Опавших листьев». Выбор этот, мне кажется, не вполне удачный, и досадно, что именно эти книги привлекли особое внимание. Я упомянул уже о недостатках Розанова, и хотел бы добавить, что одним из этих недостатков была несомненная болтливость. В «Опавших листьях», вышедших вслед за «Уединенным», немало записей пустых, никчемных, таких, которые только расположением к болтливости и могли быть внушены. «Уединенное», сборник более сжатый, с большей требовательностью проверенный, многих поразил, — поразил прежде всего новиз-

ной литературного жанра. Розанов, окрыленный успехом, очевидно решил, что вправе делиться всем, что приходит ему в голову. Правда, и тут, над некоторыми его записями, трудно не задуматься, трудно на них не отозваться, не оценить их словесную остроту; такова, например, уже приведенная мной характеристика, которую Розанов дал самому себе, точнее составу своей души — «грязь, нежность и грусть». Или совсем коротенькое признание: «Я не хочу истины, я хочу покоя» — признание, сразу уводящее мысль бесконечно далеко, к почти бесконечным выводам или возражениям, психологическим, социальным и другим. Но в целом ни «Уединенное», ни еще менее «Опавшие листья» — не на той высоте, которую Розанов достигает в минуты истинного своего творческого подъема.

Зато необычайно интересна и ценна, в качестве завещания, последняя, предсмертная его книга, «Апокалипсис нашего времени», написанная уже после революции. Обычно Розанова причисляют к убежденным сторонникам самодержавия, к крайним консерваторам, к реакционерам. Но даже в этой политической области он от готовых ярлыков и мерил ускользает, и они не дают о нем сколько-нибудь отчетливого представления. Политическим мыслителем он не был, а если революция его ужаснула, то скорей всего как внезапное крушение житейского уклада, с которым он по-обывательски свыкся. Революция развязала страсти, бурей пронеслась над страной, и на старости лет Розанову не под силу было искать для нее какое-либо оправдание: он ведь не хотел истины, он хотел «покоя», и знал, что покоя для него больше не будет. Умер он в глубокой растерянности, в глубоком отчаянии, но, судя по «Апокалипсису нашего времени», и в каком-то просветлении, ясно видя свои былые ошибки и заблуждения.

На этих ошибках, заблуждениях, вообще на том, что было в облике Розанова неприемлемого, мне хотелось бы остановиться, чтобы не возникло впечатление, что я его идеализирую. Неумеренные почитатели Розанова сравнивают его с Паскалем, и это, конечно, до крайности преувеличено, даже нелепо. Паскаль был великий гений, Паскаль — одна из вершин многовековой западной культуры. Розанов, при всей его талантливости, как бы красуется своей ординарностью, мелочностью, и он в самом деле бывал мелочен, а что еще много хуже, бывал двуличен. По-видимому, перед смертью он вспомнил о своих слабостях, в частности, с раскаянием и грустью вспомнил о своем отношении к еврейству. Есть в «Апокалипсисе нашего времени» страницы, похожие на гимн народу, который дал миру христианство. Вспомнил ли Розанов и самый тягостный эпизод своей жизни, связанный со знаменитым, прогремевшим на весь свет делом Бейлиса? Розанова это дело потрясло. Однако потрясение, им испытанное, не помешало ему писать под псевдонимами, в двух различных газетах статьи противоположного содержания: в одной

он яростно доказывал виновность Бейлиса, в другой утверждал, что несчастный еврей оклеветан и что никаких ритуальных убийств еврейское вероучение не допускает и не признает. Двуличие Розанова было обнаружено, самые преданные друзья от него отвернулись, и если бы не вмешательство Вячеслава Иванова, пользовавшегося в те годы огромным авторитетом, он был бы с позором исключен из всех литературных организаций. Вячеслав Иванов в замечательной своей речи не то, чтобы оправдывал Розанова: нет, он лишь настойчиво напоминал, что «чужая душа потемки» и что человека душевно столь сложного нельзя судить по единым, раз навсегда установленным меркам. То же самое надо бы повторить и теперь, больше чем полвека спустя. Розанов не принадлежит, конечно, к благороднейшим украшениям нашей литературы. Возводить его в ранг учителя и духовного светоча не следует. Но писатель это был удивительный, и скажу еще раз — явление в своем роде единственное.

Не так давно в одном из зарубежных русских журналов были помещены отрывки из посмертных записей Розанова, полученные из Москвы. Вот одна из них.

«Ко мне прийдут, если когда-нибудь прийдут, нежные, плачущие, скорбные, измученные, замученные. Придут слабые. И я скажу им: 'Я всегда и был такой же слабый, как все вы, и даже слабее вас, но всегда душа моя плакала об этой своей слабости. Потому, что мне хотелось быть верным и крепким, прямым и достойным. Только величественным никогда не хотелось быть. Давайте, устроим Вечерню Господню, Вечерню чистую... И запоем наши песни, песни слабости человеческой, песни скорби человеческой'».

Привожу эту запись как послесловие ко всему мной о Розанове сказаному. Если бы нужен был дополнительный штрих к его характеристике, то лучшего пожалуй не найти.

ЮРИЙ ИВАСК

ПИСЬМО О МАНЬЕРИЗМЕ

Русская душа всегда отталкивалась от всего искусственного, манерного, хотя и в России были свои маньеристы. Некоторые наши предубеждения против маньеризма едва ли основательны и их следовало бы пересмотреть.

Я не специалист по искусствоведению, на научность не претендую и более всего полагаюсь на мои наблюдения и впечатления. Кое-чем я обязан А. Хаузеру, У. Сайферу, Ж. Бускэ, Сатчевереллу Ситвеллу: книги их спорные, недостаточно авторитетные, но могут быть использованы для дискуссии и, несомненно, отражают западное увлечение маньеристами. Моде на маньеризм предшествовало серьезное изучение постренессансного искусства в 10-20-х гг. Вальтером Фридлендером, Дворжаком, Певзнером и другими учеными, которые не одобряли слишком расширенное толкование маньеристского стиля.

Что же такое маньеризм? Исчерпывающего определения нет и его даже не должно быть. В наше время мы избегаем окончательных формулировок и препочитаем «приближенья» к теме (Шарль дю Бос). Наметим некоторые признаки, черты маньеризма. Это игривость, резвость, бравада, акробатика, поза, экивок, иногда — извращенность, декадентство. При этом, как это ни покажется странным, маньеризм не исключает искренности, порывов, верований. Еще — искусственность, двусмысленность, формализм — обнажение приемов, экспериментализм — и далеко не всегда поверхностный. Характерные черты маньеризма в зодчестве, в живописи — асимметрия, диспропорция, причудливость. То же самое и в литературе, но с добавлением некоторых специфических приемов, например, кончетто — парадоксальных сравнений, метафор.

Типы маньеристов: самодур, скоморох, блудница, юродивый — иногда притворщик, но изредка и чистый сердцем... Также — *испытатель*, экспериментатор. Все они мастера на выдумку. Каждый художник — *играющий человек* (Хойсинга), но маньерист — в бóльшей степени, чем все другие «артисты».

Маньеристы большого стиля не создали. Они преимущественно подчеркивали отдельные приемы, мотивы, которыми часто пользовались и художники не «манерные», в особенности в эпоху барокко, рококо. Допустим, маньеризм бывает: 1) самодостаточный, 2) экспериментальный, и чаще всего — 3) служебный, подчиненный большому замыслу. Особый вид служебного маньеризма — пародия или сатира, всякое умышленное преувеличение грехов человеческих путем несложных, но заметных приемов, например, гиперболы. Может быть, эта гипотетическая классификация окажется пригодной для понимания маньеризма.

Многие современные ученые выделяют эпоху маньеризма, которая в живописи будто бы началась после смерти Рафаэля в 1520 году и закончилась в 1590 году, или же несколько позднее. С этим отчасти соглашается и советский искусствовед А. А. Аникст (сборник «Проблема стилей», 1966). Это была эпоха конфликтов — реформации, контрреформации, религиозных войн, а также великих открытий новых земель и законов природы. Цельное «гармоническое» мировоззрение ренессанса было нарушено или утеряно, что привело к надрыву. Надрыв этот ищут и находят и в религии — в «нервности» испанских святых (св. Терезы, св. Иоанна Креста); Сайфер даже утверждает, что вера Кальвина вызвана отчаянием, и его Бог походит на жестокого манерного самодура. Отмечается маньеризм Микельанджело: у его Давида «нервные» неклассические руки, есть «истерия», странное упоение безумием в его видении Страшного Суда (Сикстинская капелла). Он внес дисгармонию в ренессанс и выразительность предпочел совершенству, что будто бы уже иногда ощутимо и у Рафаэля (Пожар в Борго, Ватикан). К тому же, если и можно найти подчеркнутые или выпяченные приемы у Микельанджело, то это служебный маньеризм, подчиненный новому не гармоническому, а дисгармоническому единству, в котором части, частности, иногда бунтуют против целого, но, разрывая это целое, все же не уничтожают его . . . У Буонаротти есть черты освобожденного Прометея, соперничающего с Творцом, но и ищущего примирения с Ним. Микельаджело знает или надеется, что Бог его одолеет: он сродни богоборцу Иакову. Мастер монументального и динамического стиля. Бытие для него не в элеатской сфере ренессанса, оно — в потоке, оно *течет*, как у Гераклита. Это становящееся бытие (im Werden), как у многих барочных художников. Но, конечно, нельзя это истолкование навязывать: поистине *миф* Микельаджело — явление неисчерпаемое.

Самодостаточный, обедненный маньеризм характерен для некоторых художников последующих поколений — Понтормо, Пармид-

жанино, Бронзино, Тибальди. Они живут в расколовшемся мире, который продолжает двигаться. Но это движение распада, а не становления. Эти художники изображают отдельные моменты разложения в манерных ошарашивающих картинах. Им явно нравится изумлять, они позируют. Так, причудливо кривляется дрезденская Мадонна Пармиджанино: она самовлюблена, она Нарцисса, любующаяся собственной правой рукой, а ее левая рука почти соприкасается с пахом младенца: это, конечно, не Иисус, а Эрот и, при этом, совсем не классический. Другой своей Мадонне Пармиджанино удлинил шею (Уффици), а младенец, не имея опоры на коленях матери, непременно должен был бы, по законам физики, соскользнуть на пол. Манерна и подчеркнутая продолговатость фигур, предметов на этих картинах, а так же загадочность аксессуаров.

У Бронзино — андрогинные юноши и девы. Лица их — не зеркало души, а маска, что будто бы соответствовало строгому испанскому церемониалу при дворе Элеоноры Толедской и ее мужа великого герцога Козимо Медичи. В Лондоне — Венера и Купидон кисти Бронзино: голый мальчик, выгибая ягодицы, и, наложив руку на сосок голой женщины, медленно (церемониально) приближает губы к ее губам. Сзади олицетворенные грехи, например миловидная девочка, а ноги у нее гусиные: она бесовка. Потрясает нездешне-лунное, бесстыдно-лунное сияние обнаженных тел. Зло, соблазнительное зло, совсем не в намечающемся «акте», а в том незабываемом демонском сиянии, и, отойдя от картины, я ослеп к другим полотнам, развешанным в той же зале, к Микельанджело, Рафаэлю. Это какой-то упоительный экивок Люцифера. Все двусмысленно, манерно и победно.

Позируют и обнаженные атлеты Пеллегрино Тибальди в Болонье. Здесь манера Микельанджело не имеет никакой высшей функции и доводится до абсурда. Это голый прием — самодовлеющая игра мускулов и перспективных диспропорций: задранная пятка одного дюжего молодца больше его полуприкрытого длинными волосами лица.

Есть манерное обнажение приемов у некоторых художников XV века — в загадочных ландшафтах, людях, животных Пьеро ди Козимо. Его ожившую статую Прометея (в мюнхенской Пинакотеке) Хаузер сравнивает с жестикулирующими статуями Понтормо (Иосиф в Египте, Лондон). Но если Пьеро, при некоторой манерности, сказочно волшебен, то Понтормо, прежде всего, хочет удивить необычностью и неправдоподобностью ситуации, — а удивить новым приемом можно только один раз. Говорят о декаденстве Понтормо, Пармиджанино, Бронзино, Тибальди и сближают с ними художников-модернистов. Но есть и разница, не только в плане историческом, но и эстетическом. У тех итальянцев больше упоения игрой, хотя бы и «бесовской», больше вдохновения, воображения. К

тому же, они не всегда манерны. Есть почти рембрандтовская «глубина» в портрете Неизвестного работы Пармиджанино (вилла Боргезе, Рим). А его автопортрет в выгнутом зеркале — образчик самодостаточного маньеризма.

Маньеризм находят еще в эротической казуистике Петрарки, и до него — у трубадуров. Парадоксальные сравнения, метафоры (кончетто) встречаются в итальянской поэзии XVI века, у Микельанджело, в особенности у Торквато Тассо (Хаузер) и, более всего, у блестящего лирического словоблуда Джанбаттиста Марино (1565-1625), дожившего до нового своего возрождения в нашем веке. Быстро приедаются его оксюмороны — ледяное пламя, горячий снег (вспомним строку Мандельштама: «И живая ласточка упала на горячие снега . . .», где никакого маньеризма нет). Но кое-что у Марино запоминается: звезды — небесные уста или Божии языки. Есть прелесть в его легкой резвой поэзии, например, в стихах о непостоянной любви, которую он, конечно, предпочитает любви постоянной:

Кто хочет увидеть, Марчелло, / Протея новейшей любви, / Новейшего хамелеона, / Оглянется пусть на меня. / Едва я подумаю: сразу / Меняю окраску и образ.

Хамелеон не только удачная метафора для непостоянного любовника, но и для других героев маньеризма — скомороха, блудницы или для Нарцисса, склонного к переодеваниям и гримировке, или же тешащего себя отражением в выгнутом зеркале, как у Пармиджанино.

Большой темы у Марино не было. Его поэзия — образчик самодостаточного маньеризма в поэзии.

Сайфер причисляет к маньеристам Шекспира и Сервантеса. Не лучше было бы оставить их в покое . . . Это, поистине, сложнейшие явления — отчасти ренессансные, отчасти барочные.

Шекспир был «цветист» для одного Толстого . . . Его метафорика всегда служебная, функциональная: выражает радостно-благодарное и мучительно-неутолимое познавание человеческой души, которой все прощается за страстность — не только королю Лиру, но и Ричарду Третьему. Манерен ли Гамлет? Лишь отчасти, и, при этом, не только по поведению, но и по языку. Вообще же, этот образ «чреват» неисчислимыми толкованиями. Я вижу в нем лирического актера, который упивается разными ролями: любовника Офелии, мстителя за отца. Гамлет приказывает бродячим комедиантам разыграть убийство для того, чтобы разоблачить отчима, но, вместе с тем, также и наслаждается всем этим действом. Нравится ему мо-

рочить Полония этим вот кончетто: облако похоже на верблюда! Игры его опасные, но не рискует ли он со скуки? Этот пухловатый Нарцисс сам себе надоедает. Если он и манерен, то не манерен сам Шекспир, везде подчинявший самые разнообразные приемы единству живого, то трагического, то комического видения мира.

Еще труднее найти маньеризм у Сервантеса, который тоже мучительно-неутолимо и радостно-благодарно познавал человека. По всей вероятности, он Дон Кихота осуждал, но и любил его, как всякий великий художник любит свои измышления (как Гоголь, по верному замечанию Анненского, любил Чичикова, Хлестакова, хотя этих «черненьких» героев куда труднее полюбить, чем Ламанческого рыцаря). Современные ему читатели потешались над Дон Кихотом не менее, чем его мучители в романе. Давно уже никто над ним не смеется. Этот кастилец — самый правдоподобный святой в мировой литературе. Правдоподобие его — от слабости, и слабость эта не столько в сумасшествии, сколько в тщеславии: это я, рыцарь Печального образа, одолею всех злодеев и великанов, и не только для прославления Дульцинеи, но и ради собственного прославления! Святость этого героического Нарцисса в том, что он, при всей своей «ячности», следовал не только законам романического рыцарства, но и заповедям блаженства: был нищий духом, был чистый сердцем, был алчущий и жаждущий правды. Наконец, жалея ближних, освободил преступников, потому что они в узах, и опять сделал бы то же самое, хотя они и побили его камнями. Так только и может поступать настоящий христианин . . .

Тинторетто и Эль Греко. У обоих повторяющиеся, резко подчеркиваемые ошеломляющие приемы. В этом их маньеризм. У Тинторетто и почти всегда у Эль Греко особенное удручающее небо, — как разлитые водянистые чернила. Или — треугольные, будто темные расщелины в бездну, провалы между складками развевающихся одеяний. У грека-испанца червеобразные полуголые тела с узкими раздвоенными животами. У венецианца — копошащиеся во тьме фигуры, но и многое другое — уже без этих повторяющихся странностей. Например у Тинторетто — Введение во храм Богородицы (Академия): подымающаяся в небесном просвете отроковица, и ее восхождение по лестнице пересекает загадочный обелиск в том же световом пятне. У Эль Греко двойной план в похоронах графа Оргаса (Толедо). Золоченые священнослужители, темные гранды, белые жернова их воротников, а наверху столь знакомое по многим его картинам небесное действо: длинные извивающиеся (серпантинные) фигуры. Слева, в углу, незаметный сперва паж, указующий перстом на смертные останки графа, и тот белый, заткнутый за по-

яс, треугольничек платочка, который вдруг оказывается не менее важным, чем вся эта перенаселенная людьми и силами небесными картина.

Даже самые выпирающие, ошарашивающие «манеры» обоих художников подчинены единству их метафизики. Везде целость единого видения иного мира в этом мире, а у Эль Греко и тот мир приоткрывается, уже за пределами нашего. Все динамично, нервно, выразительно, головокружительно. Св. Иоанн Богослов, в голубом хитоне, с преувеличенными коленями, на глазах зрителя выпадает из картины (Эль Греко, Метрополитэн, Нью-Йорк).У этих художников нет мощи Микельанджело. У них только сильные порывы расколотой, мятущейся души, души XVI века. Это гении контрреформации, это барокко с чертами маньеризма, но не самодостаточного, а служебного, функционального.

Барокко расцвело в XVII веке и часто отзывалось маньеризмом. Барочно-манерны многие английские метафизические поэты. Сильнее всех Джон Донн с его рискованными кончетто: солнце — занятóй старый дурак, храм любви — блоха, насосавшаяся крови обоих любовников. Донн часто груб, у него низкий язык, низкие образы и он как-то щеголяет тем, что вводит их в божественные сферы. Его неистовая мистика эротична. В «Экстазе» духовное общение душ напоминает физическое совокупление тел. Донн всегда мужествен: не скоморох, а лирический самодур. Католик эмигрант Крашо — кающаяся блудница, воспевал Магдалину, одну из любимых святых контрреформации. Ее слезы, нарушая законы тяготения, текут вверх, в самые небеса. Поэт у Крашо поет лучше соловья, потому что пение его искусственное, рассчитанное. Это не только позерство, но и страстная вера, с тяжелым приплясыванием Донна и легкими пируэтами Крашо. Вообще барокко зачастую хореографично. Так, барочные церкви иногда напоминают бальные залы с танцующими святыми и ангелами. Манерен и чистый сердцем Джордж Херберт, играющий буквами имени Иисусова: джи-и-эс-ю-эс. Он не блудница, не самодур, а блаженный младенец, поэт высшего духовного посвящения. Потрясает его молитва:

Неистовствуя, с ума сходя, / Одичалый и злой, / Я зов услышал — Дитя! / И отозвался: Боже мой!

Луис де Гонгора после долгого осуждения опять провозглашается первым поэтом испанского мира. Ему подражали сотни поэтов в Испании и в Латинской Америке, его лирические крестословицы любили разгадывать молодые иезуиты. Теперь по его стопам идут многие испанские поэты сюрреалистического направления. Может быть ни у кого не было таких смелых кончетто, как у Гонгоры: водопад — скала, которая мочится, душа — наполненный ночной гор-

шок, дни — вши, а земля синяя как апельсин. Какое причудливое эллиптическое (прыжками!) развертывание сюжета в «Полифеме»: всюду быстрота и натиск коротких ударных предложений (стаккато). Огромный размах какого-то диковинного мозга с механизмом самолета в «Уединениях»:

Если мои помышленья, / Что прикрыли крылами небесное темя, / При паденьи — Атлантике имя / Мое не оставят, — отныне: / Оперенья гордыня / В невидимой ветрописи песнопенья / Пребывает — и все помышленья... (Перевод этот очень приблизительный).

Гонгора тоже мужествен, как Донн, но это не мистический самодур, а книжник-экцентрик. Его прихотливые образы, грубые или изысканные, его энергический сжатый синтаксис, вообще все его странные «манеры» тоже строго подчинены чувственно-интеллектуальным замыслам, как и у современных ему английских метафизиков. Нет у Гонгоры сердца Донна, Крашо, Хёрберта. Но есть та же смелость мысли, воображения, что как-то не вяжется с нашими шаблонными представлениями о католической Испании XVI-XVII вв. Между тем, еще дерзновеннее были монархомахи Сюарес, Мариана: они оправдывали благочестивое убийство королей, отступивших от веры. Многие испанцы той эпохи были революционерами по темпераменту и находились под подозрением у инквизиции, хотя и ненавидели протестантизм. Духовные власти косились даже на св. Терезу, реформировавшую орден кармелиток. Св. Иоанна Креста бросили в темницу, откуда он бежал по повелению Богородицы, которая помогла ему связать лестницу. Это — мистика, но и нарушение послушания церковным властям! Была у этих святых живая вера. Тереза, страстно изъяснявшаяся в любви ко Христу, спрашивала Его: — Ваше величество, за что вы меня так мучаете? — Потому что я люблю тебя, Тереза. Пламя любви разгорается в гимнах св. Иоанна Креста (и поэзия его не манерна). А поэт-аноним XVI-XVII вв., в сонете ко Христу распятому говорит, что любит Его не потому, что ожидает вознаграждения на небесах, а потому, что жалеет.

В XVII веке возникают новые течения, направления, которые классифицируются как барочные, и иногда — с чертами маньеризма. Это эпоха новых кризисов. Современная наука во всем сомневается, писал Донн. В Германии свирепствовала Тридцатилетняя война. А торжествующая контрреформация поражала великолепными барочными спектаклями в декоративных храмах Борромини, Гварини, Ювары, которыми так восхищается теперь Сачéверелл Ситвелл. Силы небесные завиваются, жестикулируют в храмах Испании и Мексики, Португалии и Бразилии, а также в католической Германии. Вместе с тем творческий гений Запада находит утерянное после Ренессанса равновесие, идеал манерной выразительности

сменяется идеалом совершенства, и более углубленного, живого, чем в эпоху Возрождения. Замечу, теперь очень уж много шишек сыплется на бедного Макара — на Ренессанс! Карающая палица иногда перегибается. Эпоха Возрождения не только «зеленая скука», как теперь думают многие энтузиасты маньеризма, барокко, рококо. Но пусть его оправданием займется другое поколение. Нельзя любить все стили, если кровь еще течет в жилах и мысль напряжена. Объективизм иногда — непрощаемый грех против духа творчества. Более всего корят Ренессанс за схематизм, теоретизацию, гладкость, поверхностность, безличность. Готический художник более личность, чем ренессансный художник, и он не отрицал земное, плотское, молился почти реалистическим изображениям святых, так что у Ренессанса отнимается заслуга в «реабилитации плоти».

Барочный художник — тоже личность, и он иногда полностью преодолевает индивидуалистический маньеризм, в особенности во Франции, где барокко обернулось классицизмом. Есть равновесие, при страстном темпераменте, в трагедиях Корнеля, Расина, воспринявших три единства греческих классиков и стремившихся к прекрасной ясности мышления и языка. Классичен и Декарт, о котором теперь говорят, что оправдывая разум, он, вместе с тем, обеднил его. Величайший гений XVII века — Паскаль, жил в двух мирах — в светлой математике и в темной мистике, жил умом и сердцем, которое знает «резоны» сердца, неизвестные разуму, и верил в Бога Авраама, Исаака, пророков, а не в божественную машину деистов. Нет гармонии в его философии вопрошаний и откровений, но есть четкость мысли, ясность и глубина.

В итальянской живописи позднего синкеченто наблюдается сильная реакция против маньеризма: стремление к естественности, уравновешенности в скучноватых картинах обоих Каррачи, а также у гениального Караваджо, и в суровости иезуитской церкви Джезу (1580 г.) в Риме (Фридлендер). Но при этом именно Караваджо едва ли преодолел маньеризм: не позирует ли его упавший навзничь и простирающий руки апостол Павел (Рим)?

У Веласкеза — «спокойное» барокко: незаметная, но и новая, смелая игра красок — серебристой парчи и розовых цветов на робах его инфант, королев. Никакая отдельная манера не преобладает на его картине Менинас (Прадо). Композиция очень смелая: она написана разными приемами, и портретным, и реалистическим в деталях, и импрессионистическим, и все уравновешено в сложнейшей живой гармонии... Есть особая мистика земной жизни в «натурализме» Веласкеза: в его Водовозе (Лондон) или в сковородке с рыбками (Христос в доме Марфы и Марии, там же).

Рубенс любил блистать, удивлять, но и его картины красочно согласованы. Есть гармония и в живописи Вермеера Дельфтского, так восхищавшего Пруста. Он тоже поэт земной мистики: скромных интерьеров с покоробленными картами, с пяльцами, разной утварью. Как-то священно-благообразна опрятная бедность на картинах Ле Нэна (Le Nain). Наиболее классичен в XVII веке — Пуссэн с его «статуйными» фигурами.

Если Рембрандт и странен, то странность его другая, чем у маньеристов. Нет у него их нервной ажитации. Есть великая тайна в его священном золотистом или белесоватом мерцании (Батавский король в Стокгольме). Это таинственное мерцание на платье, на кубках — мистично, и лучше всего выражает его ветхозаветную веру: увиденный им во тьме свет, который и во тьме светит. Есть глубина в его портретах, но чудесны не его лица, а тот метафизический свет. Нет вихрей, как у Эль Греко, а есть покой напряженного ожидания, иногда — прозрения. Нервный, капризный маньеризм нашел разрешение в новой гармонии барокко — у Рубенса, Рембрандта, Вермеера или Веласкеса. Но гармония эта сложнее, глубже ренессансной, и маньеризм еще «продолжался», в особенности в архитектуре и в поэзии.

Некоторыми чертами маньеризма отмечено и рококо, которое иногда называют облегченным барокко. Рококо чуждо тяжелой пышности, динамической монументальности, героике и экстатике «левого» барочного искусства. Художники этой эпохи ценили тонкий вкус, глубокомыслию предпочитали элегантность, позу «амatера». Любили и простоту, но стилизованную. Идиллически-пастушеский маскарад Марии Антуанетты в Малом Трианоне тоже поза.

Барочные художники заполняли орнаментом и фигурами все пространство, а мастера рококо оставляют его открытым, любят простор, но простор без глубины — поверхностный. Одна из вершин рококо — Ватто. Его белый клоун (в Лувре) монументален, но не тяжел, декоративен. Это не маньеризм. Но отчасти манерен венецианец Тьеполо. На его плафонах роскошный простор голубого неба цвета застиранного ситчика (может быть и потускневшего от времени). Всюду позируют амуры, херувимы, позируют и негероические уже, а декоративные персонажи античной мифологии. Все легко, округло или овально, много прелести, но есть и некоторое однообразие в волнистых мантиях и локонах.

Самый великий художник XVIII века, умерший уже в следующем столетии, Франсиско Гойя. Есть легкая рококошность в его ранних гобеленных картинах, но есть и беспокойство: колют-режут острые треугольники в деталях — будь то шляпы, косы, выемки, узковатые лица. Позднее раскрывается Гойя-титан, родственный

Микельанджело. Он неистовствует кистью на огромных полотнах, изображающих шабаши ведьм или французские казни: белая рубаха расстреливаемого испанца с поднятыми руками торжествует над всем ужасом, странно радует на пороге смерти. Гойя не соперник Творца, не богоборец, готовый в конце концов уступить Ему, как Буонаротти: для него небо уже пустое, только краски его празднуют «эстетическую» победу — вопреки отчаянию, которым этот неистовый испанец тоже упивается. Не был ли Гойя последний великий художник, имевший свое «одно виденье» в уже бессмысленном безбожном мире? Рядом с ним — недавно «возрожденный» бразильский мулат-ваятель Алейжадиньо, что значит Уродец (он болел проказой) — создатель пророков с задранными носами, острейшими морщинами и резкими складками развевающихся одеяний. Пророки гениального Уродца еще вещают о Боге, мучаясь и веруя. Гойя и Алейжадиньо — последняя вспышка огромного пожара барокко, и оба они не манерны, хотя и любят подчеркивать отдельные приемы.

Рококо в поэзии — Александр Поп, просвещенец и официально классик. Его стихотворный «Опыт о человеке» рассудочен, прозаичен. Но Муза Попа или Попия, как его называли в нашем Осьмнадцатом столетии, рококошно-легко, прелестно-манерно приплясывает в его «Похищении локона» или в «Дунсиаде». Поп — сатирик, он высмеивает глупость рококошного общества при королеве Анне, пародирует вздорные капризы дам-бабочек, кавалеров-трутней. Его маньеризм отрицательный, маньеризм сурового судьи, преувеличивающего общественные грехи, но все, что просвещенным автором осуждается, прелести своей не теряет и очаровывает в легкой поэзии, уносит на блаженные острова:

К обители блаженной, где аббаты / Вину уподобляясь, красноваты, / И к острову, где лилии колдуя / Любую бурю укротят, где струи / Лепечут лютней, где поют и пляшут / Невольники и мантиями машут, / И где Венера, голая царица, / И на тритоне купидон умчится, / Где бриз адриатический слегка / Ласкает евнуха и пастушка («Дунсиада»).

Этими стихами недавно восхищался последний могикан рококо — Сатчеверелл Ситвелл . . . А в «Похищении локона» — нечто вроде рококошного сюрреализма:

Метаморфозы прихотливы сплина, / Передо мною мрачная картина: / Прошелся чайник, носик опуская, / На робу брызнула струя Китая. / Трезубцем Илиады, воле рада, / Сплясала вазочка-для-мармелада. / Вздохнул кувшин, паштеты зашептали . . . / Фантазия, благословенны врали. / Бутылка, девой будучи неробкой, / Вскричала: — Затыкайте горло пробкой! (Из Четвертой песни).

Еще легче, резвее, лишенное пародийности рококо Элия-Екатерины Фрерона. Поэт он был невеликий, воспевавший метаморфозы растений, животных: гибридность была тогда в моде, и рококош-

ные люди задавали потешные вопросы: какое будет потомство, скажем, у петуха и белки? Это все капризы воображения. Того же Фрерона забавлял сюрреалистический полет быков, носорогов, слонов («Эстетика рококо», Ж. Мингэ, 1960). Капризам поэтическим соответствуют капризы архитектуры на картинах Франсуа де Кювилье: диковинные раковинные арки, похожие на виньетки той же эпохи. Всюду ассиметрия завитков, декоративный беспорядок, «сошедшие с ума пасторали» (Сайфер).

В России разные мотивы барокко, рококо, с их манерными вариантами отразились в зодчестве и в поэзии. Барочно-монументальна жестикуляция прославителя Петра и петровской империи Михайлы Ломоносова. Манерно ведут себя в его поэзии реки: они руками машут. Есть позднее барокко у Державина, с добавлением рококошного анакреонтизма и даже предромантического Оссиана. Он не только певец Фелицы и ее российского царства-государства. Его диапазон куда шире, чем у имперского Ломоносова. Державина восхищали яркие краски, зрелища: пиры, щука с голубым пером или павлины — «лазурно-сизо-бирюзовы». Он упивался контрастами: где стол был яств, там гроб стоит ... Пышность, живость, яркость не затемнены, а оттенены смертью у этого грозно-ревущего или тяжело подплясывающего лирического медведя. Смысловым контрастам соответствуют языковые контрасты, противоположения архаики и просторечия: в своей Званке он раздает лакомства крестьянским детям, чтобы они «во мне не зрели буки» (зреют или лицезреют Фелицу, а на буку глаза пялят). У Державина та же возвышенность и грубость, тот же служебный маньеризм, что и у Джона Донна, но, конечно, темы другие.

Есть рококо в песенках Сумарокова и более всего в «Душеньке» Богдановича. В полном согласии с рококошными канонами она однажды является «вполодета». Изложение легкое, изящное, что, однако, не помешало Богдановичу обозвать русскую Психею дурой. Это легкая поэзия, которая так восхищала Батюшкова, и это анакреонтическое рококо унаследовал от него молодой Пушкин. *Легкие* поэты избегали церковно-славянской архаики, часто ориентировались на разговорный язык, но простота их не простая, нарочитая, манерная.

Есть прелесть в резвых песенках И. И. Дмитриева:

Амуры, утирая
Ручонками глаза,
Уж вьются, воздыхая
Под самы небеса.

Владимир Панаев еще допевал рококо в своих «Идиллиях» (1821 г.). Лет через сто рококошные мотивы неожиданно и ненадол-

го возродились в «Мире искусства», позднее в стилизациях Андрея Белого («Поповна», «Опала»), а в годы гражданской войны у стареющего Сологуба, который искал тихого убежища в своих пасторалях, бержеретах или в изящно-похабной сказочке «Королева поцелуев». Отзывался на рококо и Кузмин.

В Англии рококо возродил Бёрдсли, иллюстратор Аристофана и Попа-Попия, и он опять входит в моду. Его знали и в России и ему, кажется, подражали.

Рококо — поверхностное, фасадное искусство, изобретенное французами. Искусство классически-ясное, хотя и неуравновешенное и зачастую манерное в своей очень уж умышленной простоте. Маньеризм Фрерона — самодостаточный, как и у Богдановича — без большой темы. Маньеризм Попа — служебный, отрицательный, хотя все, что он в сатирах или пародиях высмеивает, прелести своей не теряет.

Немцы иногда называют Гете: Rokokomensch. Но это мало что в его творчестве объясняет. Его готический доктор Фауст, заключивший договор с дьяволом, живет и в ренессансе, и в барокко. Фаустова душа — это душа Нового времени за последние пять столетий (Шпенглер).

Моцарта тоже называют Rokokomensch, и, вероятно, с большим правом, чем Гете. Вообще, творческая диалектика музыки неотделима от других искусств. Кто-то сказал или мог бы сказать: новому богоборцу Микельанджело дал ликующий ответ новый псалмопевец Бах... Но не мне судить о музыке.

Еще несколько слов о рококо: как ни странно, это поверхностное легкомысленное искусство имеет черты райские... Искусно сделанные (заводные!) рококошные бабочки и трутни насаждали какой-то рай на земле... хотя радости их часто нечистые. Многие художники той эпохи не дети, не ангелы, а старики, сюсюкающие при виде деток и ангелочков...

Самое высокое видение детско-ангельского рая, земного и небесного, было создано примитивными маньеристами в мексиканском селении Тонанцинтла. Но, вероятно, можно найти и другие примеры в Испании, Португалии, Баварии, Австрии, где их выискивал могикан рококо Сатчеверелл Ситвелл. Оформление церкви в Тонанцинтле — это, отчасти так называемое чурригереске, родственное рококо. Предполагают, что резчики и ваятели были местные резчики ацтеки, подражавшие более изощренным орнаменталистам в соседнем большом городе — Пуэбло, где украшения, статуи покрывались позолотой. Церковь в Тонанцинтле невелика и сплошь покрыта полихромами — будь то плоды земные, цветы или фигуры святых и ангелов. Вся эта Красота вьется, завивается, делает ручкой, поддер-

гивает плечиком по канонам рококо (но заселенность храма, отсутствие пустого пространства, этим канонам противоречит). Всюду преувеличенная кудрявость, всюду ухищрения, но нелепо наивные, хотя кустари, вероятно, и старались подражать мастерам в Пуэбло, Топоцотлане или в Таско. Здесь поза стала жестом детской радости, ангельского ликования. В этой церкви нельзя хоронить, хотя в ней, несомненно, и совершались отпевания. В Тонанцинтле все уже спаслись, воскресли, радуются, празднуют под эгидой купольного белого голубя. Это не пируэты дам и кавалеров, не хлыстовские радения, а райский праздник детей и ангелов, прославляющих Святого Духа на земле и на небе.

Еще один пример: Хёльдерлин, его неясные мечты об античном золотом веке, его пантеистические обращения к Отцу-Эфиру (но по-немецки это звучит лучше: Vater-Aether). Изредка родной швабский ландшафт. Зыбкие белые стихи гимнов. Как все это определить? Нет рококошного кокетства, но нет и сентиментального мления, как и романтической страсти. Все же он ближе к рококо: его поэзия — легкая и, при этом, не манерная. Хёльдерлин один из самых высоких и чистых поэтов Запада. Гимны он писал на рубеже двух веков, XVIII и XIX, незадолго до длительного умственного затмения. Стареющий Хейдеггер пытался его комментировать в терминах своей экзистенциальной философии, но едва ли удачно. Хёльдерлин — чистое сердцем дитя, небесный человек, родственный ангелам. Таким был и барочный Джордж Хёрберт. Это поэты высшего духовного посвящения: ими были и Жерар де Нерваль, и Осип Мандельштам, хотя стилистического сходства между ними нет.

Рококо часто эмоционально, но безо всякой сентиментальности. Сентименталисты сменили «рококошников»: меланхолически умилялись как Томас Грей в своей кладбищенской элегии, переведенной Жуковским. Они утеряли дары игривой, резвой радости рококо.

Романтики отменили все классические правила, которых еще отчасти придерживались художники эпохи барокко и рококо. Романтический размах — огромного диапазона. Но еще Фридрих Гундольф писал о них иронически: романтики всегда рожали и ничего не родили! У них не было большого стиля— единства, утверждают Хаузер, Сайфер и другие. Об утере стиля в эпоху романтизма писал В. В. Вейдле («Умирание искусства»).

Есть маньеризм в романтической иронии. Романтики часто мстили действительности за то, что она не походила на их идеалы, и щеголяли снижающими метафорами, сравнениями, напоминающими манерное кончетто. У Гоголя, разочарованного романтика-сентименталиста, дамы на балу — сахар, облепляемый кавалерами-мухами,

трактирщик похож на самовар, а у дяди Митяя самоварное брюхо. Его тешила и звуковая игра слов, как и Ноздрева с его субтильными суперфлю, канарейками-канальями. Манерна гоголевская гротескная сатира, преувеличивающая и осуждающая человеческие грехи; при этом, как многие сатирики, Гоголь любил своих отрицательных героев, любил и пошлость, которую с таким «аппетитом» описывал. Есть манерность в изображении и в речах добровольных шутов Достоевского: именно поэтому так удались Лебедев, Лебядкин, Федор Карамазов (все вообще скоморохи — маньеристы).

Будто бы нет стиля у реалистов XIX века! Не раз указывалось на смешение всех классических жанров в европейском романе — эпоса, трагедии, комедии, лирики, а русские еще добавляли философию, богословие. Об этом можно было бы поспорить. Есть структура в живом хаосе «Войны и мира»: параллельная история трех семейств, вовлекающих и бессемейных героев. Другая структура у Достоевского: в «Идиоте», в «Подростке», в «Бесах» все герои, подобно планетам, движутся вокруг своего солнца — Мышкина, Версилова, Ставрогина. Реалисты презирали всякую искусственность, даже избегали метафор, предпочитая ей метонимию, — вещи, среду, быт, поясняющие героев (что отмечено Д. С. Чижевским), и соблазнялись гротеском только на периферии, как Достоевский или Диккенс, и их иногда называют романтическими реалистами (Д. Фангер).

Правдив и серьезен был XIX век, но утерял радости игры... Кризисы — революции, скепсис, атеизм *не вызвали* новое барокко. Появились пламенные пророки, преклонявшиеся перед новыми идолами: это фаланстера Фурье, анархия Бакунина, пролетариат Маркса, прогресс буржуазных либералов. Были и антисоциальные пророки, которых мало слушали или вовсе не знали: Киркегор, утверждавший «абсурдную» веру пророков или Ницше, заменивший «умершего» Бога Сверхчеловеком. Либеральный Д. С. Милл защищал эксцентриков от тиранического общественного мнения. Назарейцы, прерафаэлиты, Рескин искали высшей правды в готике, как и многие романтики. Патер, Арнольд хотели заменить религию эстетикой.

Серьезнее всего и страстнее в своих абсолютных требованиях были русские писатели с пророческими призывами: Толстой, который в своем учении оригинальности не проявил и многое по-доктринерски упрощал, всегда искал высшую правду в раскрывшейся ему живой жизни. Достоевский, новый богоборец Иаков, новый Иов на гноище: его вера прошла «через горнило сомнений» и, может быть, он до конца сомневался в Боге, бессмертии, но никогда не изменял Христу, был Ему лично верен. Наконец, Константин Леонтьев, доводивший эстетику до абсурда — эстетику не в искусстве, а в жизни, — включающую всю живописную игру добра и зла. Такого ду-

ховного накала докрасна и добела на Западе не было, хотя русские жили западной проблематикой: Толстой больше всего отталкивался от Руссо, Достоевский от Шиллера, Фурье, Бальзака, Жорж Занд, которой увлекался и Леонтьев. Можно выделять и анализировать отдельные приемы этих писателей, как это делают формалисты, но все они подчинены единству замысла и выполнения, и, значит, был у них свой стиль (евангельского реализма, как утверждал Эрих Ауэрбах в своей книге «Мимесис»). Леонтьев подметил повторные описания физических деталей у Толстого (губка княгини Болконской) и некоторые из них ему не нравились. Леонтьеву казалось, что Толстой манерно щеголяет своими приемами снижения (беззубый рот Пьера Безухова). А у Достоевского иногда выпирает периферийный гротеск.

Многое изменилось к концу века. Есть манерность в L'Art Nouveau, Jugendstil. Оскар Уайльд и позднее — недавно воскрешенный Рональд Фербанк, культивировали все искусственное (самодостаточный маньеризм). Искусственна чистая интеллектуальная игра в поэзии Малларме (экспериментальный маньеризм). А. Хаузер, Сайфер усиленно ищут и находят новое барокко и новое рококо с чертами маньеризма — в искусстве конца века и в нашу эпоху и, несомненно, многое преувеличивают. Они же утверждают, что все это вызвано современными кризисами, войнами, революциями, отчуждением личности от общества, индивидуализмом, нарциссизмом, что далеко не всегда убедительно.

Некоторые из наших символистов следовали западным модам, — это эстетический символизм Бальмонта, Брюсова, но у большинства из них преобладали русские традиции. Они переводили прозу Достоевского на язык поэзии, и пытались всуе пророчествовать. Прислушивались и к западным пророкам — к Ницше или Ибсену. В стиле их немало маньеризма: они культивировали диковинные слова, создавали свой условный язык — несказанное, безглагольность. У неутомимого выдумщика Андрея Белого свой синтаксис, свой ритм речи. У архаического Вячеслава Иванова такие новообразования, как скрежетопильные ковачи. В моде был «демонический» лиловый или фиолетовый цвет. Сейчас многие из этих ухищрений отталкивают безвкусицей. Все же это было творчество, и маньеризм русских символистов служебный — подчиненный их двусмысленной мистике. К тому же, было какое-то зерно правды у этих богоискателей: у дионисийца Вячеслава Иванова, и, в особенности, у Блока.

Новый экспериментальный маньеризм ярче всего проявился у некоторых футуристов. Заумь Хлебникова или Крученых создавалась в поэтической лаборатории, их вдохновляла десятая муза — Технэ. Эти фонические эксперименты недавно (неожиданно!) заинтересовали советских ученых, которые, с помощью информантов

разного возраста, изучают восприятие звуков в заумных стихах Хлебникова, Крученых (такого же рода опыты делаются и на Западе). Все же это далеко не всегда чистый экспериментализм, который редко «бытует» в природе искусства. Хлебников не только лаборант, но и колдун, волшебник, может быть и пророк России-Евразии или какого-то нового человечества, и это сближает его с символистами (В. Марков).

Маяковский любил кончетто, как любила их и его антипод Марина Цветаева (Бог — стройнейший гимнаст). У обоих выпирает манера — стихи, написанные лесенкой или же стихи, переобремененные переносами. Но их маньеризм подчинен тематике — это «эго» Маяковского, которое он потом проецировал в Октябрьскую революцию, в большевизм, а у Цветаевой — это культ героев и поэтов, будь то Тезей или Зигфрид, Пушкин или Рильке.

Реалисты, создавая иллюзию жизни, литературные приемы тщательно скрывали. Но, в конце века, многих потянуло именно к подчеркиванию приемов, к заострению и к эпатированию, к новому маньеризму (фовисты, экспрессионисты). Благородно-провинциальный Сезанн в самом деле видел мир иначе, но никого удивлять не хотел, как модник Пикассо, у которого тоже «другие глаза», свое видение мира.

Теперь о триаде писателей, которых считают Колумбами современной литературы. У Кафки язык простой, но безумны его сны, кошмары, о которых он рассказывает с таким жутким для читателя спокойствием. Пруст не порывал с традициями реалистического романа, ничего странного, манерного, в его «Поисках» нет, но старый привычный мир он разлагает анализом своего главного героя, упорно припоминающего прошлое и верящего, что все бывшее опять чудесно вспыхнет в памяти. Джойс пытался вписать в древний миф об Одиссее-Улиссе один, ничем не примечательный, день в Дублине. В эпическую структуру входит и разымчивый поток сознания в эпилоге его «Улисса». В последней его книге, «Поминки по Финнегане», можно найти маньеризм в причудливой игре языковых ассоциаций, но нет радости в решении его, может быть, неразрешимых крестословиц. Вся эта триада безотрадная, как и многое другое в культуре XX века, как, например, экзистенциальная философия. Радость вышла из моды, и наши современники говорят: нечему радоваться в атомном веке. Современный человек будто бы познает бытие только в тревоге (Angst, anxiety). Хейдеггер, постоянно спрашивая — *что такое бытие*, утверждает, что небытие объяснимее, «нормальнее» бытия.

Хаузер и, в особенности, Сайфер, ищут и находят маньеризм во всем современном искусстве и многое преувеличивают. Так, в современном функциональном зодчестве подчеркиваются приемы, но оно не манерно, не «игриво» (Гропиус, Корбюзье). Современные

архитекторы стремятся к строго-продуманному подчинению частностей, частей основной структуре, к некоторой новой гармонии, и, поэтому, их иногда называют неоклассиками. Их конструкции соответствуют новой физике: материя, предметы, пространство сами по себе не существуют, есть только функциональная зависимость между ними, соотносительность. Вывод: все должно быть функционально, как в машине, и как будто бы и в мироздании.

Выводы делаются мрачные: Бог умер, как сказал Ницше (а умирал он еще в просвещенческом XVIII веке). В XX веке умирает и человек: он уже не единое целое, не мера вещей, и не имеет подобия Божия, он сводится к «комплексам», к потоку сознания, он уже не кто-то, а что-то, — беспощадно уничтожаемое бомбами, напалмом или за проволокой концлагерей.

Новые Нарциссы Запада, эгоцентрики, рассказчик в «Поисках» у Пруста или джойсовский Стивен Дедалус, очень собою заняты, но никого, даже и самих себя не любят, как полагалось бы Нарциссам, они даже неуверены в собственном существовании, их *эго* зыбкое, призрачное, лишенное центра. Умирают и предметы: есть беспредметное искусство. Что же остается? У Кафки еще есть боль, у Пруста вера в чудо припоминания, у Джойса, может быть, его ирландская страстность, и это очеловечивает их призрачных героев. Но мало походит на человека новый функциональный человек, техник или бюрократ.

Есть на Западе и другое: напряженое внимание к тому, что происходит именно сейчас. *Лучшее будущее*, будь то технический прогресс или коммунистическая утопия, достаточно скомпрометировали себя после двух мировых войн и многих революций. Вместе с тем, не ясно ли, что к прошлому возврата нет. Остается загадка настоящего времени, что лучше всего определил Т. С. Элиот: *«И все всегда теперь»* («Квартеты»). То есть то, что не может быть отложено, и таинственно присутствует в прошлом и в будущем. Эта единственная и неповторимая нынешность вырисовывается, например, в комизме и трагизме итальянского фильма «Золото Неаполя». Связи с духом еще нет, но новое *ныне* открыто религии, которая по самому значению этого слова означает связь (земли-неба, плоти-духа). Но это особая тема, только намечающаяся и не вполне осознанная.

Кончаю это письмо, в котором разным проблемам иногда уделено внимание, не соответствующее значительности каждой проблемы. Маньеризм очень значительное явление. Правда, это не стиль, а только признак разных стилей в разные эпохи. Был маньеризм

и на закате критской цивилизации или в александрийском эллинизме, и в древней Мексике. А возможен и такой маньеризм, вполне современный, со старыми, хотя и по-новому звучащими мотивами: это легкая музычка Марино, резкие стаккато Гонгоры, тоненький голосок Хёрберта, играющего с именем Иисусовым, сладкие трели искусственного соловья Крашо, грубый бас Донна, иронические, но и сладостные мелодии Попа-Попия, лепет Богдановича, рык Державина, гибридные фантазии-капризы рококошных поэтов, раковинные арки Кювилье, широкие ситцево-голубые небеса Тьеполо, монументальная динамика Микельанджело и даже его подражателя Тибальди, а также и многое другое, в особенности детско-ангельский бал в Тонанцинтле и в других церквах XVIII века, в Португалии или в Баварии. Все это было дано на радость, но радость гонима в наши дни тревогой, атомными бомбами, колючей проволокой, бюрократией, технократией, абстрактными функциями физики, архитектуры, машинными роботами, призрачными Нарциссами и всем, кому не лень гнать и поносить ее. Между тем бытие познается, доказывается и творится радостью, а не тревогой.

АНДРЕЙ КОДЖАК

О повести Пушкина «Выстрел»

Даже при самом поверхностном обозрении исключительно обширной литературы о Пушкине легко можно установить, что некоторые области его творчества исследованы недостаточно и что в пушкиноведении есть еще значительные пробелы. Один из таких пробелов относится к первому законченному произведению Пушкина в прозе — к «Повестям покойного Ивана Петровича Белкина».

После первых рецензий на «Повести Белкина», еще при жизни Пушкина, затем после сурового суда Белинского, этим циклом, как и всей прозой Пушкина, занимались сравнительно мало. Обращался к «Повестям» А. Григорьев, упоминал о них Достоевский, но к анализу приступили позже.

Совсем мало работ было обо всем цикле в целом (В. Узин, В. Гиппиус, А. Искоз, А. Гукасова и некоторые другие); несколько больше работ появилось об отдельных повестях цикла, главным образом о «Станционном смотрителе» и о «Выстреле». О последней повести писали Л. Гроссман, Б. Эйхенбаум, Н. Лернер, В. Виноградов, Д. Благой и некоторые другие в своих общих трудах о творчестве Пушкина. К «Повестям Белкина» обращались и литературоведы на Западе, — достаточно упомянуть сборник статей о «Повестях Белкина», вышедший в 1968 году, при участии голландских ученых: Jan Van Der Eng, A. G. F. Van Holk, and Jan M. Meijer. Повестью «Выстрел» занимался также американский пушкинист J. Thomas Shaw.

Основная тема настоящей работы — история написания «Выстрела» — еще не была освещена (что, впрочем, относится и к другим повестям цикла). Между тем можно надеяться, что разработка ее позволит более ясно и точно осветить замысел и идейное содержание этой повести, вызвавшей среди пушкинистов немало противоречивых интерпретаций.

1

До нас не дошел план повести «Выстрел» — первой в порядке издания «Повестей покойного Ивана Петровича Белкина». Из всего цикла сохранились планы только двух повестей: «Станционного смотрителя» и «Метели». Однако из рукописи Пушкина видно, что первоначальный замысел «Выстрела» тоже подвергся изменениям, и притом даже более значительным, чем те, которые были внесены в план «Станционного смотрителя».

Вначале Пушкин закончил «Выстрел» на первой главе, пометив это место датой: «12 окт. 1830. Болд.» и добавив в скобках: «Окончание потеряно». [1] Число 12 через два дня было переправлено на 14, то есть приноровлено к дате окончания всей повести: в конце «Выстрела» стоит «1830 14 окт.» Переправка даты окончания встречается и в другом месте того же цикла: так, «Смотритель» был помечен датой «13 сент.», переправленной на следующий день (вероятно после вставки эпизода с ассигнациями и хорошо одетым молодым человеком) на «14 сент.» Пушкин стремился к точности датировки. [2]

Дата «12 окт.», поставленная в конце первой главы «Выстрела», сама по себе не может служить указанием на то, что по первому плану повесть кончалась на этом месте. Пушкин мог пометить отдельной датой окончание первой главы. Но заметка в скобках «Окончание потеряно» ясно говорит нам, что повесть обрывалась на этом месте и что история написания «Выстрела» была сложна и состояла из нескольких этапов — и что первоначальный замысел повести не совпадал с окончательной ее редакцией.

Из примечания к вступлению — «От издателя» — видно, что «Выстрел» был рассказан Белкину подполковником И. Л. П. Рассказана и записана была, конечно, вся повесть. Ясно, что пометка в скобках принадлежит издателю повестей — А. П. и лишний раз свидетельствует о разрушительной деятельности ключницы Белкина, пустившей уже одну главу белкинского романа на «домашние потребы» и, по-видимому, добравшейся до цикла повестей. Таким образом, пропажа окончания одной из повестей вполне вероятна. Читателю остается лишь гадать о последующих событиях повести и досадовать на «глупую бабу».

Такова согласованность начального замысла повести «Выстрел» и вступления «От издателя». Не следует, однако, преувеличивать

---

[1] Черновики Пушкина здесь цитируются по юбилейному изданию Академии наук, том VIII, 2, 1940 г.

[2] Написание «Выстрела» в два приема уже отмечалось, правда, вскользь, Д. Благим в книге «Мастерство Пушкина» (Москва, 1955) и в статье J. Thomas Shaw, Pushkin's "The Shot" (Indiana Slavic Studies, v. III). В прекрасной работе T. Shaw даются библиографические указания.

значения истории белкинских рукописей: все повести были задуманы как внутренне завершенные новеллы, чему не противоречило и замечание о потере окончания «Выстрела».

Это замечание несет значительную функцию: оно ведет внимание читателя по двум различным путям. Само упоминание об утерянном окончании говорит, что развязка повести существовала и, следовательно, разжигая любопытство читателя, вызывает у него вопрос: что же случилось дальше? С другой стороны все, что можно узнать об этом, читатель может почерпнуть только из имевшейся части повести, то есть из первой главы. Чтобы проникнуть в будущее, он должен прочитать и проанализировать прошлое. Таким образом, прочитав заметку о потере окончания, читатель обращается к той же повести, но уже с новым, критическим подходом, — тем самым замечание в скобках было целеустремленным приемом. Однако Пушкин тотчас же и изъял его, может быть на следующий же день.

Сопоставляя два варианта повести «Выстрел» — первый, состоящий из одной главы с заметкой об утерянном окончании, и второй, из двух глав, — мы видим два различных варианта или, точнее, две различные повести. Поверхностное сходство не может заслонить их внутреннего различия друг от друга. В обоих случаях художественное воздействие на читателя совершенно различно, можно даже сказать взаимно противоположно. Последнее объясняется не только различием фабул и смысловой канвы повестей, но и значительными структурными изменениями. В повестях разнородны не только события: несравнима и вся атмосфера, окружающая их, — другие краски, другое освещение, другие ударения. Как увидим ниже, различие это настолько разительно, что можно говорить о двух отдельных замыслах, вытекших один из другого в процессе написания повести. Можно говорить о замысле А, из которого вышла повесть в одну главу с замечанием в скобках «Окончание потеряно», и о замысле АБ, который дал нам повесть, изданную Пушкиным. В соответствии с этим здесь будут употребляться термины «Выстрел А» и «Выстрел АБ» для обозначения двух по существу самостоятельных и законченных повестей.

Тут, однако, следует выяснить важный для последующего исследования вопрос: существовал ли замысел АБ в сознании Пушкина во время его работы над «Выстрелом А», то есть до 12 октября? Предвидел ли Пушкин хоть в какой-то степени будущее изменение повести и переход от замысла А к замыслу АБ? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно сравнить детали повестей и проверить их согласованность между собой и с общим обрамлением всего цикла «Повестей Белкина». Пушкин, как известно, деталями не пренебрегал.

Обратимся к хронологии и рассмотрим главные даты в двух различных вариантах «Выстрела А» и «Выстрела АБ».

В «Выстреле А» есть прямое указание на время: «Шесть лет назад я получил пощечину, и враг мой еще жив», — говорит Сильвио. После этого разговора Сильвио уезжает заканчивать дуэль с графом и «Выстрел А» обрывается. Следовательно, от дуэли Сильвио с графом до рассказа о ней и до конца «Выстрела А» прошло шесть лет. Сильвио вышел в отставку после первой части дуэли, что трудно себе представить во время кампании 1812 года или европейского похода, да и пощечина была дана Сильвио на балу у польского помещика, то есть в западной части империи, где кавалейский полк верно стоял с 1814 года. Мы видим, что события «Выстрела А» начинаются приблизительно в 1814 году, к концу июня, когда созревают черешни: «Он стоял под пистолетом, выбирая из фуражки спелые черешни . . .», а рассказ Сильвио о дуэли происходит шесть лет спустя — в 1820 году.

Сильвио рассказывает свою историю офицеру И. Л. П., который значительно моложе его. Рассказчик говорит о Сильвио: «Ему было около тридцати пяти лет, и мы зато считали его стариком». Рассказчик И. Л. П. в то время был еще в малом чине: «Жизнь армейского офицера известна. Утром ученье, манеж . . .» И. Л. П., однако, значительно поднялся в чинах ко времени встречи с Белкиным. Он уже служил в чине подполковника: в примечании к вступлению говорится, что Белкин пометил над повестью — «Выстрел [был рассказан, А. К.] подполковником И. Л. П.» Повышение на два-три чина требовало по мирному времени пять-шесть лет. Пушкин, как видим, отпустил рассказчику достаточный срок, чтобы подняться в чинах до подполковника, так что встреча с Белкиным могла состояться в 1825 году. К этому же году приурочен рассказ Белкину «Станционного смотрителя» титулярным советником А. Г. Н., и к этому же году приводит нас указание соседа Белкина, что повести были первым литературным опытом покойного (Белкин начал писать, выйдя в отставку в конце 1822 года, [3] а умер в 1828 году).

Есть и другая, хоть и мало ощутимая, нить в хронологии «Выстрела А». По словам Сильвио, он «перепил славного Бурцова, воспетого Денисом Давыдовым». Бурцов, кавалерийский офицер, сослуживец Давыдова по Белорусскому гусарскому полку, был известен бесшабашным поведением и умер в 1813 году. Вероятно, Бурцов и Давыдов принадлежали к одному поколению. Давыдов родился в 1784 году, а Бурцов, вероятно, был его сверстником. Принимая 1820 год за время встречи рассказчика И. Л. П. с Сильвио, которому тогда «было около тридцати пяти лет», мы легко можем вычис-

[3] В письме соседа к издателю говорится, что Белкин служил «до самого 1823 года».

лить время рождения Сильвио — он почти одних лет с Денисом Давыдовым и, вероятно, Бурцовым. Сильвио родился около 1785 года. Итак, вскользь упомянутое имя Бурцова тоже приводит нас к 1820 году — году встречи поручика И. Л. П. с Сильвио. Хронология «Выстрела А» стройна и точно согласована с основными датами всего цикла: рассказчик И. Л. П. встречается с Сильвио в 1820 году, узнает о первой части дуэли, которая произошла шесть лет до этого, в 1814 году, потом достигает чина подполковника в шесть лет. В 1825 году он встречается с Белкиным, который записывает с его слов повесть о Сильвио. До издателя же доходит только первая часть этой повести.

Совершенно иное положение мы находим, обратясь к «Выстрелу АБ», то есть ко всей повести, в том виде, в каком она вышла в свет.

Как ни странно, Пушкин, окончив «Выстрел АБ», не обратил внимания на то, что И. Л. П, согласно пометке Белкина над повестью, остается на службе в армии до встречи с Белкиным. Между тем, по «Выстрелу АБ» рассказчик И. Л. П. ко времени встречи с Белкиным — находится уже в отставке. Пушкин, видимо, позабыл переправить в примечании издателя «подполковник И. Л. П.» на «подполковник в отставке» или «оставной подполковник И. Л. П.» Трудно заподозрить в подобной неточности пунктуального Белкина, да и сам Пушкин в других случаях, говоря о чине, не забывал и о положении действующего лица.[4] Что же случилось в примечании издателя? Здесь Пушкин был совершенно последователен, но не согласно «Выстрелу АБ», а согласно «Выстрелу А». И. Л. П. не выходил в отставку в «Выстреле А» и, следовательно, оставался на службе до встречи с Белкиным. Поэтому он и был занесен в рукопись Белкина как подполковник на службе. Пушкин, перейдя от «Выстрела А» к замыслу АБ, упустил из виду, что этот факт из варианта «А» остался отраженным в примечании издателя, и не согласовал чин и положение И. Л. П. с фабулой «Выстрела АБ».

О том, что Пушкин не предвидел перехода к «Выстрелу АБ», свидетельствуют и другие противоречия. Продолжение намеченного развития фабулы «Выстрела А» никак не может привести читателя к событиям «Выстрела АБ». В конце «Выстрела А» Сильвио уез-

[4] Несколько примеров точности Пушкина в этой области: «Сей Дубровский, отставной поручик гвардии, был его ближайшим соседом и владел семидесятью душами»; несколько строк ниже: «Спустя несколько лет Троекуров, отставной генерал-аншеф, приехал в свое поместье». Ту же пунктуальность мы находим в «Гробовщике»: «Он думал о проливном дожде, который, за неделю тому назад, встретил у самой заставы похороны отставного бригадира» или в той же повести: «Ты не узнал меня, Прохоров, — сказал скелет, — Помнишь ли отставного сержанта гвардии...» Как видим, отставка не умалчивалась Пушкиным при определении чина.

жает, чтобы встретиться с графом, который, судя по письму, собирается жениться и находится в Москве. Дальнейшие события, однако, протекают не в Москве, не на фоне полковой жизни, а в провинции, в поместьи графа. Эта перемена обстановки не случайна. Она была необходима Пушкину и, в свою очередь, повлекла за собой второстепенные переломы фабульной линии, которые и обусловили только что рассмотренные неувязки в хронологии повести.

По замыслу АБ, рассказчик И. Л. П. должен встретиться с графом и узнать от него о второй части дуэли с Сильвио. Армейскому офицеру (а он должен был быть именно армейским офицером: Сильвио встретился с ним в глухой провинции) было легче всего познакомиться с графом благодаря соседству по имениям. Другой случай свести этих двух людей, принадлежавших к совершенно различным слоям общества, был бы значительно сложнее, искусственнее и, несомненно, замедлил бы ход повести. С другой стороны, самым естественным для графа было, женившись, остепениться и выйти в отставку. Таким образом, как только Пушкин решил продолжать повесть, как только в его замысел АБ вошла встреча И. Л. П. с графом, ему пришлось вывести И. Л. П. в отставку и поселить его в деревушке по соседству с графским имением. Этим, однако, еще не объясняется приезд Сильвио в поместье графа, несмотря на то, что выехал он в Москву из местечка ***. Граф мог бы встретиться с Сильвио и в Москве, до своей свадьбы, как предполагалось или, по крайней мере, намечалось в «Выстреле А». Пушкин приводит Сильвио в поместье графа: ему необходима картина на стене графского кабинета, в которой пять лет оставались две всаженные одна в другую пули, и графиня, принявшая участие в событиях. О внутреннем и композиционном значении этих факторов я буду говорить ниже, теперь же достаточно заметить, что из-за них Пушкину пришлось перевести все действие «Выстрела АБ» в поместье графа, где картины висят на тех же местах годами и где молодой жене графа легко было появиться на сцене.

От внимания критиков почему-то ускользает опоздание Сильвио. В конце первой главы он говорит: «Еду в Москву. Посмотрим, так ли равнодушно примет он смерть перед своей свадьбой, как некогда ждал ее за черешнями!» Здесь мы еще находимся на территории «Выстрела А». Перейдя к «Выстрелу АБ», мы узнаем, что Сильвио встретился с графом не перед свадьбой и даже не непосредственно после свадьбы, а чуть ли не целых два месяца спустя. [5]

---

[5] Все события, связанные с развязкой дуэли Сильвио, происходили весной, летом и осенью 1820 г. Офицер Р*** нанес оскорбление Сильвио, вероятно, весной, т. к. на следующий день офицеры застали Сильвио на дворе за его обычным занятием — стрельбой в цель. На дворе было тепло, иначе Сильвио не стал бы упражняться вне дома — мы помним, что стены его комнаты были источены пулями. После этого, вероятно, прошел месяц или два, пока

Как видим, изменение замысла повести повлекло за собой несогласованность и во времени и в отношении места событий. Этим, однако, перестройка всей повести не ограничивается: она идет гораздо глубже и, затрагивая композицию, распространяется на ее идейное содержание. Но рассмотрим сначала изменения структуры повести.

2

Не раз говорилось о симметричности в композициях Пушкина вообще и в построении «Выстрела» в частности. Однако при самом беглом сравнении «Выстрела» с другими повестями Белкина легко убеждаешься, что симметрия в «Выстреле» значительно законченнее и сильнее, чем в остальных четырех повестях. Можно указать на трехчленное построение «Станционного смотрителя», по числу приездов рассказчика на почтовую станцию; на две симметрично расположенные встречи Марьи Гавриловны со своим мужем — в «Метели»; на четыре полных оборота, по числу трансформаций Лизы — в «Барышне-крестьянке»; на явные парные контрасты — в «Гробовщике». Но все эти повторы и аналогичные ситуации не могут идти в сравнение с подчеркнутой, бьющей в глаза симметрией в «Выстреле». Исключительность структуры «Выстрела», конечно, не случайна.

Причины нарочито-схематического построения повести «Выстрел» вскрываются анализом истории написания ее и сравнением «Выстрела А» с «Выстрелом АБ». Внимательно перечитывая «Выстрел А», всякий может убедиться, что эта повесть обладает собственной, впоследствии затушеванной, симметрией построения. «Выстрел А» разделен на две приблизительно равные части. Граница между этими частями обозначена не так ясно, как граница между двумя главами «Выстрела АБ», но она вполне ощутима, причем в той же мере, в какой ощущаются внутренние границы в остальных белкинских повестях.

Обе части «Выстрела А» начинаются вступлением, первое из которых открывает всю повесть:

«Мы стояли в местечке ***. Жизнь армейского офицера известна. Утром ученье, манеж; обед у полкового командира или в жидовском

офицеры стали снова бывать у Сильвио. Сильвио получил известие, вероятно, в июне и тогда же уехал в тележке. В тележке же он приехал и к графу, но запыленный: уже, вероятно, в августе, когда на дорогах пыль. В это же лето граф женился и покинул Москву. Свадьбы летом справлялись между Петровским постом, кончающимся 28 июня по старому стилю, и Успенским постом, начинающимся 1 августа по ст. ст. Следовательно, граф женился в июле, август проводил в поместье; Сильвио же добирался до него два месяца — с июня до августа.

трактире; вечером пунш и карты. В *** не было ни одного открытого дома, ни одной невесты; мы собирались друг у друга, где, кроме своих мундиров, не видали ничего».

Затем следует описание Сильвио и всех событий, связанных с инцидентом с Р*** за карточной игрой в доме Сильвио. Тут Пушкин кончает первую часть «Выстрела А» и начинает второе вступление, которое во всех отношениях симметрично первому:

«Рассеянные жители столицы не имеют понятия о многих впечатлениях, столь известных жителям деревень или городков, например об ожидании почтового дня: во вторник и пятницу полковая наша канцелярия бывала полна офицерами: кто ждал денег, кто письма, кто газет. Пакеты обыкновенно тут же распечатывались, новости сообщались, и канцелярия представляла картину, самую оживленную».

Далее немедленный переход к Сильвио и его отъезду, который стал поводом рассказа Сильвио о первой части дуэли с графом. Оба приведенные отрывка, которыми начинаются парные части «Выстрела А», стилистически идентичны: та же ссылка на общую осведомленность или общее неведение в отношении провинциальной жизни; в обоих случаях стремительный переход к конкретным фактам; тройное перечисление в первом вступлении («... ученье, манеж; ... обед ... пунш и карты») соответствует тройному же перечислению во втором вступлении («... кто ждал денег, кто письма, кто газет»). Внезапный и решительный переход к Сильвио тождествен в обоих случаях и, наконец, их длина равна (47 и 50 слов). Разительное сходство обоих вступлений слегка завуалировано различием настроений: первое хмуро, второе оживленно и радостно.

Второе вступление делит «Выстрел А» на две приблизительно равные части. Первая часть содержит описание жизни Сильвио в местечке ***, его отношений с офицерами и его загадочности. Уже введены все необходимые атрибуты — богатое собрание пистолетов, простреленные стены, исключительное мастерство стрельбы, нежелание говорить о дуэлях и, наконец, неожиданный и противоречивый случай с Р***, оскорбившим Сильвио за игрой.

Во второй части «Выстрела А» мы находим симметричное соответствие первой части: описание жизни Сильвио в гвардейском полку, его исключительное и завидное положение среди других офицеров, описание ссоры с графом и ее последствий. Основное сходство обеих частей состоит в упоминании о двух дуэлях, по одной в каждой части. Между дуэлями есть взаимная связь, они как бы перекликаются одна с другой. Первая дуэль с молодым и неопытным Р*** кажется непредотвратимой, и исход ее не вызывает сомнений: «Мы не сомневались в последствиях и полагали нового товарища уже убитым». Однако ожидания не сбываются: «Мы с удивлением спрашивали: неужели Сильвио не будет драться? Сильвио не дрался». Во второй части мы слышим тот же вопрос, относящийся на

этот раз к дуэли с графом и заданный Сильвио в лицо: «Вы с ним не дрались? — спросил я. — Обстоятельства верно вас разлучили?» В обеих дуэлях Сильвио не стреляет, хотя и по разным причинам.

В первой, как и во второй части, «Выстрела А» Сильвио первенствует в своем кругу. В обеих ситуациях ему дозволяются отклонения от общепринятых или предписанных норм: во второй части он говорит, что командиры считали его «необходимым злом», а в первой офицеры смирились с его манерой метать банк:

«Сильвио имел обыкновение за игрою хранить совершенное молчание, никогда не спорил и не объяснялся... Мы уже это знали и не мешали ему хозяйничать по-своему...»

Таково положение Сильвио в двух совершенно различных кругах — в гвардейском и в захолустном армейском полках. В обоих случаях новоприбывший офицер вступает в конфликт с Сильвио. В первой части — это Р***: не зная привычек Сильвио или не считая себя обязанным с ними считаться, он «почел себя жестоко оскорбленным» молчаливыми поправками Сильвио во время игры «и в бешенстве схватив со стола медный шандал, пустил его в Сильвио...» Та же схема и во второй части «Выстрела А», правда, значительно усложненная обстановкой гвардейского полка.[6] Первенство Сильвио в полку было безусловным, когда появился блестящий молодой граф, для которого авторитет Сильвио не имел большого значения. Сильвио сам передает этот случай с предельной прямотой:

«Первенство мое поколебалось. Обольщенный моею славою, он стал было искать моего дружества; но я принял его холодно, и он безо всякого сожаления от меня удалился».

Оба конфликта — один сложный и продолжительный, с эпиграммами и соперничеством перед женщинами, другой примитивный, вспыхнувший за карточной игрой — в сущности тождественны, и оба ведут к дуэли.

В каждой части «Выстрела А» дуэль играет центральную роль. Лишь из-за несостоявшейся дуэли в первой части, Сильвио пришлось во второй части открыть историю своей дуэли с графом. Между тем, то, что дуэль в первой части не состоялась, обусловлено дуэлью, о которой мы узнаем во второй части. После рассказа Сильвио первая дуэль выступает в новом освещении и дает совершенно новую характеристику герою. Две дуэли в «Выстреле А», симметрично расположенные и помещенные Пушкиным в аналогичные условия, психологически дополняют друг друга.

Замкнутая в себе, эта повесть не удовлетворила Пушкина. В по-

[6] В повести «Выстрел» прямо не указано, что Сильвио служил именно в гвардейском полку, однако учитывая описание быта этого полка, легко прийти к такому заключению.

следующие два дня — с 12 по 14 октября — была написана вторая глава, образовавшая «Выстрел АБ», который и вошел в издание «Повестей Белкина». При первом сравнении этой повести с другими повестями белкинского цикла, одна особенность бросается в глаза — разделение на две главы. Причина деления «Выстрела» на две симметричные главы — в том, что Пушкин, как мы увидим, стремился затушевать и скрыть двухстворчатую структуру «Выстрела А» под новой симметрией «Выстрела АБ». Четкая и очевидная симметрия, как бы выставленная напоказ, чрезвычайно характерна для «Выстрела АБ» и не раз отмечалась в критике: две главы с одним рассказом одного из участников одной и той же дуэли в каждой, в результате чего рассказанное одним входит в рассказ другого рассказчика.[7] Оба рассказа приблизительно равны по длине. Обе половины дуэли в описании участников напоминают друг друга: в обоих случаях Сильвио ждет графа; в обоих случаях Сильвио опускает пистолет и не стреляет в графа; в каждой части граф стреляет в Сильвио и отмечает пулей предмет, служащий потом напоминанием о дуэли. Черешни, косточки которых долетали до Сильвио в первой части дуэли, косвенно введены и во вторую часть: «Жалею, — сказал он, — что пистолет заряжен не черешневыми косточками... пуля тяжела». В обоих рассказах говорится о жребии, о простреленной графом фуражке и об удивительном счастьи графа:

«Положили бросить жребий: первый нумер достался ему, вечному любимцу счастья. Он прицелился и прострелил мне фуражку».

А вот отражение этих деталей во второй главе:

«Наконец мы зарядили еще пистолет: свернули два билета; он положил их в фуражку, некогда мною простреленную; я вынул опять первый нумер. — Ты, граф, дьявольски счастлив, — сказал он с усмешкою, которой никогда не забуду».

Тождество обеих частей дуэли необыкновенное: каждая деталь повторена с буквальной точностью, хоть и в другой обстановке и с совсем другим эмоциональным наполнением. Симметрия этих деталей построена с необычайной тщательностью: не только подчеркнуто и выставлено напоказ повторение, но и полнота деталей сохранена с поразительной точностью. Все основные черты первой части дуэли бережно перенесены во вторую. Подобная скрупулезность не могла быть случайной: Пушкин стремился тут к бьющей в глаза и над всем доминирующей симметрии двух глав «Выстрела АБ».

Приглядываясь, однако, более внимательно к построению «Выстрела АБ», нельзя не заметить, что все детали, вошедшие в систему симметрии «Выстрела АБ», относятся только ко второй части «Выстрела А». Это наблюдение весьма важно для уяснения процесса работы Пушкина над повестью. Сошлемся на примеры.

---

[7] См. у Виноградова: «Стиль Пушкина», Москва 1941, стр. 468-471.

Казалось бы, что между двумя деталями, входящими — одна в первую часть «Выстрела А», а другая во вторую главу «Выстрела АБ», существует полная аналогия: дважды простреленная картина в кабинете графа и сцена, в которой Сильвио сажает пулю в пулю на приклеенном к воротам тузе. Однако проведенная здесь параллель искусственна и у читателя может и не возникнуть. Эти две детали даны в различных эмоциональных плоскостях. В сцене с тузом читатель к тому времени видит лишь в сущности миролюбивое, ежедневное занятие Сильвио, это его спорт, его конек. Своей обыденностью эта сцена разочаровывает пришедших к Сильвио офицеров: они ожидали совсем другого — дуэли. И безобидный туз ассоциации с простреленной картиной не вызывает.

В первой части «Выстрела А» есть и другой образ, которым И. Л. П. тоже мог бы воспользоваться:

«...Если б он вызвался пулей сбить грушу с фуражки кого бы то ни было, никто б в нашем полку не усомнился подставить ему своей головы».

И эта деталь, сама собой напрашивающаяся в рассказ И. Л. П. графу о виртуозной стрельбе приятеля, не вводится во вторую главу. Пушкин, отбирая необходимое ему для системы симметрии «Выстрела АБ», не допустил в нее ни единой черточки из первой части «Выстрела А».

Пушкин осторожно отбирал те детали, которые должны были доминировать над всей повестью, войдя в новую систему «Выстрела АБ». Действительно, вся симметричная постройка «Выстрела А» развалилась под тяжестью воздвигнутого над ней здания «Выстрела АБ» с его собственной системой симметрических колоннад и капителей. Первая часть, которая служила отражением и дополнением второй части «Выстрела А», потеряла свою функцию одной из сторон симметрии, как только вторая часть «Выстрела А» была включена в новую и гораздо более очевидную архитектурную систему с новой осью, передвинутой на конец первой главы — в то место, где прежде обрывался «Выстрел А». Смещением связей между отдельными элементами повести Пушкин исключил первую часть «Выстрела А» из центральной системы и, лишив ее всякой поддержки парной ей второй части «Выстрела А», свел ее функцию на чисто служебный уровень. После того, как первая часть перестала взаимодействовать со второй частью «Выстрела А», она потеряла свое значение для образа Сильвио и для главной части темы повести. Роль ее свелась к функции вспомогательного эпизода, давшего Сильвио случай рассказать И. Л. П. о первой части дуэли.

По той настойчивости, с которой Пушкин строил четкую симметрию «Выстрела АБ», разбив повесть на две главы и тщательно отобрав элементы, вошедшие в новую симметрию, мы видим, что

Пушкину было крайне важно ослабить действие симметрии «Выстрела А» и создать иную структуру, по-видимому более соответствующую его новому замыслу.

3

Формальные изменения повести были слишком значительны, чтобы они могли не отразиться на внутренних слоях произведения и не изменить его содержания. Интересно сравнить внутренние темы «Выстрела А» и «Выстрела АБ».

Читатель «Выстрела А», решивший еще раз вернуться к повести, по-новому увидит эпизод в первой части с несостоявшейся дуэлью. Короткое и ничем не выделенное замечание, что «Сильвио не дрался. Он довольствовался очень легким объяснением и помирился» — звучит под влиянием второй части «Выстрела А» гораздо сильнее и приобретает новое значение. Из второй части на первую начинают давить и оказывать влияние следующие фразы: «Если б я мог наказать Р***, не подвергая вовсе моей жизни, то я б ни за что не простил его». Далее следует окончательная формула: «Так точно: я не имею права подвергать себя смерти». По кодексу чести право рисковать жизнью у Сильвио, конечно, было, и фраза эта прикрывает нечто совсем другое: его неспособность рисковать жизнью. Сильвио потерял эту способность, когда его соперничество с графом превратилось в ненависть, а ненависть в некий священный обет: «С тех пор не прошло ни одного дня, чтобы я не думал о мщении». Сильвио не заметил, что, живя шесть лет одной неподвижной идеей и высматривая свою жертву из засады с помощью поверенного в Москве, он сам попал в капкан, который поставил графу: он лишился свободы. Говоря же о своем порабощении жаждой мести и сохраненным выстрелом, Сильвио скрывает свою трагедию под пустой фразой: не имею, мол, права рисковать жизнью. Не только счастье порабощает человека, но и ненависть может заставить малодушничать.

Заметка в скобках «Окончание потеряно» возвращает внимание читателя к уже прочитанной повести и заставляет его убедиться, что все уже сказано и что лучше и короче сказать этого нельзя. Продолжением «Выстрела А» является первая часть, а объяснением первой является вторая. Ключ же к оценке второй части дает первая часть. Так перекликаются и дополняют друг друга две симметрично расположенные части «Выстрела А».

В этом освещении совершенно по-новому звучит концовка «Выстрела А». Исследователи неоднократно ссылались на фразу: «При сих словах Сильвио встал, бросил об пол свою фуражку и стал ходить взад и вперед по комнате, как тигр по своей клетке». Обычно из этой фразы извлекают слово «тигр« как характеристику крово-

жадности Сильвио. Это, конечно, упрощение. Вся фраза дает совершенно иной оттенок завершению «Выстрела А». Сильвио — тигр в клетке, сильный человек, лишенный свободы, порабощенный навязчивой идеей, ненавистью и желанием отомстить. Тигр и клетка — образы противоположные и совмещение их трагично. Об этом, вероятно, думал рассказчик И. Л. П., глядя на Сильвио: «Я слушал его неподвижно; странные противуположные чувства волновали меня».

Основная тема «Выстрела А» — тема потери внутренней свободы. Жизнь Сильвио в местечке *** подобна ссылке. Сильвио явно несвободен, он скован непонятным для окружающих образом. Вся его жизнь проходит в ожидании свободы, которая должна наступить после отмщения графу. Сильвио одинок, внутренне он не принадлежит к среде армейских офицеров. У Сильвио только один собеседник, и тот значительно моложе его — рассказчик И. Л. П. Женского общества в местечке ***, как известно, не было совсем. Однако Сильвио живет там шесть лет. Странная ограниченность действий Сильвио еще резче выступает после инцидента за игрой с Р***. Всем стало ясно, что Сильвио чем-то связан, и офицеры решили, что связан он трусостью. Во второй части «Выстрела А» порабощенность Сильвио принимает уже ясную и определенную форму.

Внутренняя порабощенность Сильвио подчеркивается всеми деталями повести, и эта направленность «Выстрела А» выступает особенно ясно перед читателем, когда он перечитывает рассказ, узнав, что «окончание потеряно». В первой части говорится, что Сильвио не любил говорить о дуэлях — этим его прошлое становилось еще более таинственным и интригующим; но во второй части «Выстрела А» его нежелание говорить о дуэлях приобретает совсем иную, гораздо менее привлекательную окраску: напоминание о дуэлях для Сильвио было как звон цепей для колодника. В первой части мы узнаем, что Сильвио легко расставался со своими книгами, и эта деталь как бы показывает его широту и беззаботность, но лишь потом мы начинаем понимать, что все это время Сильвио жил как на бивуаке и ничем не обзаводился, кроме богатого собрания пистолетов, с которым и уехал. [8] В первой части говорится, что хотя у Сильвио иногда и водились деньги, но жил он крайне скромно, довольствовался кулинарным искусством отставного солдата,

[8] Деталь о книгах интерпретируется несколько искусственно Л. Гроссманом — он ставит ее в связь с собирателем книг И. П. Липранди, долженствующим быть прототипом Сильвио. Л. Гроссман не учитывает, что Сильвио в данном случае прямо противоположен Липранди. Упоминание о книгах хоть и напоминает о книголюбе Липранди, но имеет свое, совершенно независимое художественное назначение — доказать постоянную готовность Сильвио к внезапной перемене жизни. См. Л. Гроссман: «Исторический фон 'Выстрела'», Цех пера, Москва 1930, стр. 203—235.

однако часто приглашал офицеров и не скупился на шампанское, — дочитав вторую часть «Выстрела А», мы начинаем понимать, что денег у Сильвио, вероятно, было мало, что все это время он во всем себя урезывал, чтобы просуществовать в своей засаде до ожидаемого дня, когда можно будет выйти на свет и закончить дуэль. На шампанское же Сильвио не скупился, чтобы не лишиться общества хоть и армейских офицеров. Наконец, маловажная ссора с Р*** и выявленные при этом не то трусость, не то нерешительность Сильвио начинают, как уже было указано, звучать совсем по-новому. Все детали «Выстрела А» прямо или косвенно говорят о внутреннем порабощении Сильвио, о его трагическом положении.

Пушкин подчеркивает трагизм положения Сильвио посредством нескольких привлекательных, человечных черт героя. Между Сильвио в гвардейском полку и тем Сильвио, какого мы встречаем после шести лет «ссылки» в местечке ***, видна несомненная разница. Теперь он уже способен мириться и прощать, способен искренне привязываться, — так, он говорит о своей привязанности к И. Л. П. в прямых и сильных выражениях, и это тем более неожиданно, что Сильвио был отчасти оскорблен молодым офицером. Сильвио, однако, уже не тот, что был в гвардии. Его облик в местечке *** хоть и необычен, но привлекателен.

О внутренней перемене Сильвио говорят и другие детали, брошенные Пушкиным мимоходом и после переработки повести в «Выстрел АБ» совершенно сгладившиеся в новой системе построения. Сильвио сам говорит о своей внутренней эволюции:

«Характер мой вам известен: я привык первенствовать, но смолоду это было во мне страстью».

Тут противопоставлены два различные понятия: страсть и привычка; — прежде была страсть первенствовать, от нее осталась одна привычка. О том же процессе внутреннего перерождения свидетельствуют и следующие слова Сильвио: «Вы могли заметить, что я мало уважаю постороннее мнение . . .»: когда Сильвио первенствовал из страсти, он не пренебрегал посторонним мнением, а скорее служил ему; теперь же, первенствуя только по старой привычке, он потерял интерес к мнению окружающих.

Внутренний рост Сильвио не освобождает его, однако, от ставшего теперь уже бессмысленным обета отомстить графу. Перемены в Сильвио только подчеркивают искусственность его цели. «Выстрел А» — повесть о деспотической власти внешних шаблонов светской жизни. Выхода и надежды герою «Выстрела А» Пушкин не дает: не может быть и сомнения в кровавом исходе дуэли, [9] а

[9] О коренной ломке первоначального замысла «Выстрела» говорит и изменение эпиграфа к повести. Судя по дошедшему до нас списку эпиграфов к «Повестям Белкина», эпиграфом для «Выстрела» служила строка из

пролитая кровь графа неминуемо должна превратить Сильвио в покорного раба бессмысленных традиций и шаблонов уже ради простого оправдания своего преступления. [10]

Порабощенному Сильвио мерещится свобода, которую сулит ему оставшийся за ним выстрел, — сулит, но вряд ли даст. На эту основную идею повести указывает и другая, мало заметная деталь — намек на драму Шиллера «Вильгельм Телль»:

«Искусство, до коего достиг он, было неимоверно, и если б он вызвался пулей сбить грушу с фуражки кого бы то ни было, никто в нашем полку не усумнился подставить ему своей головы». [11]

За удачный выстрел Теллю была обещана свобода, которую он впоследствии добывает сам. Сильвио от своего выстрела тоже ожидает свободы, внутреннего освобождения; но подобный исход представляется читателю «Выстрела А», как и самому рассказчику И. Л. П., мало вероятным. Вот та внутренняя смысловая линия, которая была отвергнута Пушкиным и заменена другой посредством новой системы симметричных образов «Выстрела АБ».

Написав «Выстрел АБ», Пушкин рассек безысходный круг, сомкнувшийся вокруг Сильвио. Совершенно неожиданно дуэль не заканчивается убийством графа. Сильвио уезжает из поместья графа, не пролив крови и вырвавшись из психологического и морального тупика. И если темой «Выстрела А» была потеря внутренней свободы, то темой «Выстрела АБ» стало внутреннее освобождение от оков условностей и дальнейший духовный рост героя, ведущий его на борьбу за свободу других, на поле исторической борьбы против деспотии.

Такова история написания повести «Выстрел». Это — не только бретерский анекдот или автобиографическая повесть, и не только быстрая новелла, как не раз указывалось в критике. Все эти интерпретации были бы отчасти верны, если бы Пушкин не продолжил своей работы над повестью после 12 октября, то есть после окончания «Выстрела А». «Выстрел АБ» перерос узкие рамки, в которые критика подчас старалась его втиснуть.

«Евгения Онегина»: «Теперь сходитесь». Основная разница между первоначальным эпиграфом и эпиграфами, вошедшими в издание повестей, для «Выстрела» состоит в том, что дуэль Онегина с Ленским кончается убийством; дуэли же, о которых говорится в эпиграфах, на которых Пушкин впоследствии остановился, не доводятся до конца и не ведут к смерти. По этому признаку эпиграф из «Евгения Онегина» мог относиться к «Выстрелу «А» и был заменен другими эпиграфами, как только Пушкин закончил «Выстрел АВ».

[10] О трагическом исходе второй части дуэли с графом у читателя «Выстрела А» не может быть сомнения. Единственный оставшийся за Сильвио выстрел, при виртуозном мастерстве стрельбы последнего, мог привести только к смерти графа.

[11] «Вильгельм Телль» был переведен на русский язык в 1828 году, но и до этого мог быть известен Пушкину по французскому переводу.

В течение написания повести все подвергалось коренным изменениям, все приспособлялось Пушкиным к главной идее повести. История дуэли прошла сквозь ряд радикальных изменений. То же самое надо сказать о герое повести. Что же осталось неизменным? И ради чего Пушкин перестраивал свою повесть? Ради сложного развития темы внутренней свободы человека. Эта тема проходит сквозь все этапы работы Пушкина над повестью, эта тема все усиливается, уясняется и углубляется.

На этом можно было бы и закончить историю написания «Выстрела», если бы тема свободы не требовала отдельного и более подробного анализа, приводящего нас к более точному пониманию причин перестройки всей повести и совершенно исключительного значения для Пушкина сцены в кабинете графа, простреленной картины на стене и графини на коленях перед Сильвио.

4

Пистолет Сильвио наконец разряжен — не в противника, а в картину, изображавшую какой-то швейцарский пейзаж:

«В картинах я не знаток, но она привлекла мое внимание. Она изображала какой-то вид из Швейцарии, но поразила меня и ней не живопись, а то, что картина была прострелена двумя пулями, всаженными одна в другую».

Интересно отметить, как Пушкин, при свойственной ему краткости, на этот раз замедляет повествование целым рядом вводных предложений и оговорок, отвлекающих внимание читателя от Швейцарии. Тут и замечание о том, что И. Л. П. не знаток живописи, — что и без того каждому ясно, и немедленный поворот от живописи, а следовательно и от пейзажа и от самой Швейцарии, к пулям, всаженным в доску картины; и сама картина введена не самостоятельно, а между прочим: И. Л. П. осматривал «книги и картины», причем ударение лежит на книгах, так как мы знаем, что в его усадьбе книг не было. О Швейцарии говорится вскользь. Однако почему именно та картина, на которой Сильвио показал свое искусство, характеризовавшееся прежде его способностью сбить грушу с фуражки любого офицера, почему она оказалась швейцарским пейзажем? Тут перед нами второй, искусно замаскированный намек, ведущий нас опять к теме свободы и напоминающий о шиллеровском «Вильгельме Телле». Это — следующее звено теллевских образов, протянутых через всю повесть и напоминающих о ее главной теме.

Установив эти два звена, ведущих нас от Пушкина к Шиллеру, от «Выстрела» к «Вильгельму Теллю», легко найти связь между эпилогом «Выстрела» и темой драмы Шиллера. До сих пор порабо-

щение или свобода человека в «Выстреле» были внутреннего порядка. Не тирания Габсбургов, а тирания светских шаблонов и собственной ограниченности лишила Сильвио внутренней свободы. Эпилог «Выстрела» выводит эту тему на историческую арену. Сильвио борется не за внутреннюю, а за политическую свободу, и погибает он в рядах этеристов в сражении под Скулянами против иноземной тирании.

Связь «Выстрела» с «Вильгельмом Теллем» не ограничивается, однако, приведенными тремя пунктами. Еще один интересный пример взаимной близости двух произведений — это описание второй части дуэли, разыгравшейся в кабинете графа, во многом напоминающей третью сцену третьего акта драмы Шиллера.

Сцена на лугу в «Вильгельме Телле» (акт 3, сцена 3) проходит со все нарастающим напряжением. Это — центральная сцена всей драмы. Она служит высшей точкой обличения тирании и поворотным пунктом в сознании Телля. Жестокость фогта показана на его психологическом истязании Телля, на приказании отцу выстрелить в яблоко, положенное на голову его сына. Телль сопротивляется приказаниям и угрозам фогта, несколько лиц заступаются и просят фогта за Телля. Борьба ведется за выстрел. Один старается заставить другого выстрелить и этим пойти на риск стать убийцей.

Сходство сцены на лугу со сценой, разыгравшейся в кабинете у графа, можно наглядно иллюстрировать примерами. Фогт отвечает на просьбу — остановить свою «шутку»: „Wer sagt Euch, daß ich scherze?“ («Он всегда шутит, графиня, — отвечал ей Сильвио, — однажды дал мне шутя пощечину, шутя прострелил мне вот эту фуражку, шутя дал сейчас по мне промах; теперь и мне пришла охота пошутить...»). Вот слова Телля, когда его дед стал на коленях просить фогта о милости: „Großvater, knie nicht vor dem falschen Mann!“ (Граф: «Встань, Маша, стыдно! — закричал я в бешенстве...»). Просьбу Телля казнить его, но пощадить сына, фогт отвергает словами: „Ich will dein Leben nicht, ich will dein Schuß!“ (Сильвио: «... я доволен: я видел твое смятение, твою робость; я заставил тебя выстрелить по мне, с меня довольно»). Вот слова Телля после того, как он в первый раз навел арбалет на яблоко на голове сына: „Mir schwimmt es vor den Augen!“ (Граф: «Голова моя шла кругом...»).

Параллели очевидны: принуждение стрелять против своей воли; просьбы третьего лица о великодушии, которые отвергаются из гордости лицом, подвергающимся опасности быть застреленным; попытка обратить весь эпизод в шутку и циническое возражение на нее; роль выстрела как средства моральной пытки; головокружение — и то не пропущено Пушкиным. Однако наиболее тождественна общая атмосфера этих двух сцен.

Встреча Телля с фогтом непосредственно связана с пресловутой шляпой, выставленной на шесте под стражей, в качестве символа

государственной власти. Бессмысленность этого символа и смехотворный приказ всем проходящим кланяться ему придают всей сцене привкус гротеска. Люди должны кланяться бессмыслице и этим признавать над собой не только власть, но и деспотию. Поклониться шляпе не составляет особого труда; но за этим кроется внутреннее подчинение абсурду, потеря внутреннего достоинства и неминуемо вслед за этим — внутренней свободы.

В «Выстреле» система образов значительно сложнее; однако, наряду с формальным сходством двух сцен, нельзя не отметить также и внутренней связи между «Выстрелом» и «Вильгельмом Теллем». В обоих произведениях сквозь внешние события просвечивает гротеск; Пушкин ввел гротеск завуалированно в сцену второй части дуэли в кабинете графа.

Вторая часть дуэли Сильвио с графом ведется без секундантов. Отсутствие свидетелей могло превратить ее исход в простое убийство. Тем не менее, все остальные атрибуты видимой законности тщательно соблюдаются и пунктуально перечисляются. Отмеривают двенадцать шагов, граф становится на свое место, Сильвио отказывается стрелять в сумерках, подают свечи и, чтобы никто не помешал, запирают двери. Все это делается медленно, чуть ли не торжественно, как будто Сильвио, тайком застрелив графа, сможет кому-нибудь доказать, не исключая и самого себя, что в кабинете графа не произошло простое убийство. Все это похоже на гротеск, который постепенно нарастает. Сильвио предлагает начать дуэль снова. За его оговоркой — «Мне кажется, что у нас не дуэль, а убийство . . .» — звучит издевательство Пушкина: еще бы не убийство — без секундантов, при запертых дверях, после шестилетних упражнений в стрельбе! Но вот следующий шаг к гротеску: «. . . я не привык целить в безоружного», — высокопарно заканчивает Сильвио свою фразу, и это — после шести лет ожидания того часа, когда он сможет застрелить графа, не имеющего права стрелять. Ведь оправдание дуэли состояло в том, что оба дуэлянта подвергаются равной опасности и тому же риску. С этой точки зрения об убийстве не могло быть и речи, но Сильвио говорит и действует, уже не следуя светской традиции, а согласно здравому смыслу. [12] Реальность здравого смысла поставлена тут Пушкиным лицом к лицу с условной реальностью кодекса чести, и результат противопоставления получается самый неожиданный: вся сцена превращается в гротеск. [13]

---

[12] Над неотменными правилами дуэли Пушкин иронизировал уже в «Евгении Онегине».

[13] Интересен прием остранения, который Пушкин применил тоже к теме дуэли несколько лет спустя. Приведу пример из «Капитанской дочки»: «Швабрин, Алексей Иванович, вот уже пятый год как к нам переведен за смертоубийство. Бог знает, какой грех его попутал; он, изволишь видеть, поехал за

Итак, оба дуэлянта двигаются к полной бессмыслице: «Начнем сызнова; кинем жребий, кому стрелять первому», — говорит Сильвио, и снова начинаются медлительные приготовления — пишут, сворачивают, кладут в фуражку и тянут номера, кому стрелять первому в дуэли, потерявшей уже всякую логику и смысл. Начинается новая дуэль без действительной причины, без вызова, без секундантов, старающихся, хотя бы для видимости, помирить противников. Новая дуэль является лучшим доказательством бессмыслицы продолжения поединка шестилетней давности. Надо и здесь заметить, как Пушкин затушевывает настоящее значение слов Сильвио: он начинает с черешневых косточек и этим направляет внимание читателя к первой части дуэли, восстанавливая мнимую логику событий. Но логика эта нереальна, и обоим дуэлянтам предоставляется случай последовать здравому смыслу и помириться:

Не засмеяться ль им, пока
Не обагрилась их рука,
Не разойтись ли полюбовно? . .
Но дико светская вражда
Боится ложного стыда.

(«Евгений Онегин», гл. VI).

Гипноз традиции слишком силен, начинается новая дуэль, гротеск нарастает.

Граф не сумел освободиться от этого гипноза и не подал Сильвио руки примирения. У него, впрочем, еще оставался выбор: стрелять в Сильвио или в потолок. Он выбрал первое и этим замарал свою честь покушением на убийство. Граф поставил себя в положение потенциального убийцы, в положение, из которого Сильвио минуту до того поспешил выйти. И не мудрено, что при рассказе о дуэли лицо графа «горело как огонь», а слушатель его, И. Л. П., «не мог воздержаться от восклицания». Граф дал промах, и в картину со швейцарским пейзажем всажена первая пуля. Теперь очередь за Сильвио принять участие в фарсе. И вот Сильвио, который сейчас всадит свою пулю в графа и сделает это «почти не целясь», начинает разыгрывать роль дуэлянта: «. . . тогда Сильвио . . . (в эту минуту он был, право, ужасен) Сильвио стал в меня прицеливаться». К чему было Сильвио прицеливаться, когда, при его искусстве, он, конечно, попал бы в графа и с завязанными глазами? А прицеливал-

---

город с одним поручиком, да взяли с собой шпаги, да и ну друг в друга пырять; а Алексей Иванович и заколол поручика, да еще при двух свидетелях! Что прикажешь делать! На грех мастера нет». Рассказ о дуэли Швабрина наивной Василисой Егоровной лишен всей специальной, условной терминологии, благодаря чему сама дуэль попадает в мир широкой жизненной реальности, где люди не фехтуют, а пыряют друг друга, и где нет и речи о чести, а простое, религиозное, по совести определение события. В этом контексте дуэль превращается в гротеск.

ся он медленно — Пушкин тут искусственно замедляет рассказ повторением имени Сильвио, замечанием в скобках, многоточием и двойным сказуемым. Все признаки гротеска налицо: искажение естественных пропорций, нарушение нормальной причинности событий и поступков, смешение устрашающего с комическим.

Пушкин, однако, создает гротеск не только путем обессмысливания всей дуэли и лишения второй части поединка даже намека на правомерность. Гротеск «Выстрела АБ» построен также на радикальной перемене личности Сильвио. Стоит лишь проследить поведение Сильвио во второй главе, чтобы убедиться, что Пушкин изображал в «Выстреле АБ» уже совершенно нового героя.

Сильвио является в поместье графа по-разбойничьи. Он не говорит людям графа своего имени, что можно попытаться объяснить разными соображениями. Все предполагаемые причины, однако, мало убедительны: во-первых, можно допустить, что Сильвио хотел ошеломить графа неожиданностью; во-вторых, Сильвио хотел отрезать графу путь к отступлению; в-третьих, самое нелестное для Сильвио и совершенно невероятное соображение: Сильвио рассчитывал в случае убийства графа немедленно ускакать и этим избежать ответственности перед законом. Все эти соображения не могут рассматриваться всерьез. Остается лишь одно соображение — стилистическое: Пушкин меняет наружность и поведение героя, атмосферу повести, весь стиль событий. Сильвио ждет графа запыленный и заросший бородой — детали, совершенно не необходимые для дальнайшего развития повести, но важные Пушкину, стремившемуся поставить вторую часть дуэли на новую плоскость — плоскость не светской изысканности, а жизненной реальности, поединка не за первенство в полку, а за внутреннюю свободу зрелого человека. Этим объясняются и другие подробности: торчащий без всякой нужды пистолет из бокового кармана Сильвио (у Сильвио был ящик с дуэльными пистолетами) и, главное, сам тон разговора Сильвио с графом.

Любопытная подробность пушкинского рисунка заключается в такой мелочи, как обращение на «ты» и на «вы» между Сильвио и графом.[14] Конечно, тут не может быть и речи о дружеском «ты». Сообразно этому переговоры во время первой части дуэли ведутся со злой иронией и в строго официальном тоне:

«Вам, кажется, теперь не до смерти, — сказал я ему, — вы изволите завтракать; мне не хочется вам помешать...» «Вы ничуть не мешаете мне, — возразил он, — извольте себе стрелять, а впрочем, как вам угодно: выстрел ваш остается за вами; я всегда готов к вашим услугам».

[14] Пушкин ввел местоимение «ты» в речь Сильвио совершенно сознательно; в черновике стояло: «Вы не узнаете меня, граф?» Этот вопрос Сильвио Пушкин, по-видимому немедленно, переправил на второе лицо единственного числа и так и продолжал повесть.

Эти искусственность и саркастическая жеманность исчезают во второй части дуэли благодаря новому тону, взятому Сильвио. Новый, совершенно неожиданный поворот в речи Сильвио от изысканно-издевательского к грубому и властному тону, вводится Пушкиным с самого начала последней встречи Сильвио с графом. Первая фраза Сильвио произносится дрожащим голосом: «Ты не узнал меня, граф?»; далее уже тверже: «... Я приехал разрядить мой пистолет; готов ли ты?» или: «Ты, граф, дьявольски счастлив...» Однако граф, обращаясь к Сильвио, употребляет «вы». Он кричит в бешенстве: «... А вы, сударь, перестанете ли издеваться над бедной женщиной? Будете ли вы стрелять или нет?» Сильвио отвечает властными фразами-обрубками и, в то же время, ощеломляющей по искренности исповедью; его ответ насыщен местоимениями «ты» и «твой», без «сударь» или «граф»:

«Не буду, — отвечал Сильвио, — я доволен: я видел твое смятение, твою робость; я заставил тебя выстрелить по мне, с меня довольно. Будешь меня помнить. Предаю тебя твоей совести».

Пушкин совершенно ясно выделяет этот отрывок речевыми приемами. Правдивость, властность и внутренняя серьезность ответа Сильвио доведены Пушкиным до кульминации, причем неожиданно для читателя.

Сцена в кабинете выпадает из рамок светского этикета: тон Сильвио не вяжется с манерами блестящего гвардейского офицера. Сильвио просто груб с графом. Но этим Пушкин не ограничивается: Сильвио ведет себя не лучше и после появления графини. Ее супруг, как истинный рыцарь, чтобы оградить чувства жены, немедленно прибегает к испытанной светской лазейке — к шутке: «Милая, — сказал я ей, — разве ты не видишь, что мы шутим? Как же ты перепугалась! Поди, выпей стакан воды...» Сцена, однако, слишком необычна, чтобы можно было так легко успокоить графиню: «Скажите, правду ли муж говорит? — сказала она, обращаясь к грозному Сильвио, — правда ли, что вы оба шутите?» Здесь, конечно, не только вопрос, а попытка воздействовать на Сильвио: в силу светской традиции, вопрос графини допускал только один — положительный — ответ. И тут Пушкин вторично дает почувствовать, что дело идет не об условностях, а о реальных ценностях. И поведение Сильвио не меняется: принимая внешне учтивый тон первой части дуэли, он издевается над уловкой графа и заодно над всем шуточным укладом светского мира. Все мы, мол, шутили и, если угодно, продолжаем шутить. Чтобы рассеять последнюю надежду графини, он при ней начинает целиться в графа. В третий раз разрушается власть светского уклада: присутствие дамы не возымело действия, графиня бросается к ногам обросшего бородой и грязного Сильвио.

Наконец, наступает развязка. Сильвио отказывается от своего выстрела, и на этот раз — окончательно. Гротеск доведен до конца. Остается лишь разрядить пистолет в картину. Но Сильвио подводит итог всему происшедшему: «Будешь меня помнить. Предаю тебя твоей совести». Фарс окончен. Надсмеявшись и надругавшись над светским укладом, разыграв карикатуру дуэли, Сильвио снова добыл себе внутреннюю независимость и свободу, не пролив крови. Закон кодекса мнимой чести уступил место закону совести, во власть которой Сильвио и предает графа. Тирания абсурда пала.

Контраст поведения Сильвио в первой и второй частях дуэли очевиден. Перемена его манер обусловлена двумя факторами: нежеланием Пушкина заканчивать дуэль так, как это проектировалось в «Выстреле А», то есть убийством графа, и введением гротеска в сцену в кабинете ради большего сближения всей повести с «Вильгельмом Теллем» и большей рельефности внутренней темы повести — темы свободы. Обретение свободы для Сильвио было возможно только в случае бескровного окончания его дуэли с графом. Однако, если бы вторая часть дуэли проходила в том же изысканно-издевательском тоне, что и первая часть, у Сильвио не было бы выбора, он должен был бы застрелить графа. Отказ Сильвио стрелять, его перечисление причин своего решения — перечисление, превратившееся в страстную исповедь — могло быть сказано только на «ты», только прямо и просто. Это и есть тот фабульный сдвиг, который читатель «Выстрела А» не мог предвидеть.

Остается напомнить, что именно ради этого сдвига всей фабулы Пушкин поместил вторую часть дуэли в кабинет графа, с картиной на стене и в присутствии графини, что повлекло за собой прибытие Сильвио не в Москву — как предполагалось в «Выстреле А», — а в поместье графа, и встречу Сильвио с графом не перед свадьбой, а после нее. Ради этого потребовался выход в отставку И. Л. П., что, в свою очередь, создало противоречие между «Выстрелом АБ» и примечанием издателя «Повестей Белкина».

5

Связь «Выстрела» с «Вильгельмом Теллем» можно наблюдать на нескольких уровнях. Первый и самый поверхностный — внешние параллели (стрельба в грушу, положенную на фуражку; швейцарский пейзаж; участие Сильвио в народном восстании); второй уровень — структуральные параллели (борьба за выстрел, роль выстрела как средства моральной пытки и другие детали, сближающие сцену в кабинете графа со сценой на лугу); третий уровень — внутреннее настроение и художественное воздействие на читателя (введение гротеска в сцену второй части поединка и низведение ее на

уровень фарса). Основной же фактор близости «Выстрела» и «Вильгельма Телля» — тема обоих произведений, тема свободы.

В «Выстреле» все элементы, связанные с повествовательной линией бретерского анекдота, при переходе Пушкина от «Выстрела А» к «Выстрелу АБ» подвергались столь радикальным изменениям, что следует говорить о двух различных анекдотах, двух различных дуэлях. Сам поединок и оставшийся за Сильвио выстрел, как мы видим, не были важны Пушкину. Эта сторона повести играла лишь служебную роль, иначе Пушкин не подвергал бы ее так легко самым резким изменениям. То же самое следует сказать и о Сильвио. Как было показано выше, его характер и судьба подверглись такой переработке, что невозможно предположить существование законченного образа героя в сознании Пушкина до 12 октября — образа, которым он дорожил бы и вокруг которого он строил бы свою повесть. История написания «Выстрела» ясно показывает, что не Сильвио — стержень повести, что не герой — самое важное и незаменимое для Пушкина. Можно с уверенностью сказать, что «Выстрел» — не бретерский анекдот, не авантюрная новелла, не психологическая повесть и, конечно, не литературная пародия. В «Выстреле» ясно обозначается тематический стержень, не испытавший резкой ломки и переработки автором, а, напротив, все усиливающийся, крепнущий и углубляющийся. Это — проблема внутренней свободы. Получая различное разрешение, она неизменно проходит через все перемены, связанные с переходом Пушкина от «Выстрела А» к «Выстрелу АБ». Тема свободы ясно звучит в мрачной замкнутости «Выстрела А»; она же встает перед читателем в гротеске второй части дуэли, и, наконец, та же тема — тема свободы — намечена в гибели Сильвио в рядах этеристов и связи повести с «Вильгельмом Теллем» Шиллера. Быть может, «Выстрел» — одно из тех произведений Пушкина, в которых проблема свободы трактуется наиболее глубоко.

В заключение следует отметить, что «Выстрел» написан после декабря 1825 года, в период творчества Пушкина, когда свободолюбивые темы стали у него звучать значительно слабее. Слабее, но глубже — такое заключение, возможно, будет сделано, когда мы лучше узнаем пушкинскую прозу вообще и повести загадочного И. П. Белкина в частности.

А. РЖЕВСКАЯ

Письмо как компонент повествования

Тема эта, сравнительно мало изученная и в то же время важная (в самом деле: какие *различные* назначения имеют вводимые в повествовательную ткань послания?), рассматривается в этом очерке на материале пушкинских произведений.

Их три с половиной десятка — писем (в том числе четыре кратких записки), которые мы насчитываем в романах и повестях Пушкина. Не входят в этот подсчет три письма-грамотки из «Сказки о царе Салтане», интересные своей сжатой выразительностью. Вот одна из них — та, которую посылают царю коварные его свояченицы:

Родила царица в ночь
Не то сына, не то дочь,
Не мышонка, не лягушку,
А неведому зверюшку.

Ответная грамотка Салтана еще лапидарнее:

Ждать царева возвращенья
Для законного решенья.

Исключим из тридцати пяти писем — десять, которые составляют начатый и оставленный Пушкиным «Роман в письмах». Их пишут друг другу две девицы, Саша и Лиза (7 писем), и два молодых человека (3 письма). Исключим — потому что здесь письма не «компонент», но сама *форма* повествования, пришедшая в свое время в Россию от сентименталистов Запада: роман Руссо «Новая Элоиза» вышел в 1761 году, а через пять лет, в 1766, появился роман Федора Эмина под названием «Письма Эрнеста и Доравры».

Исключим и еще одно письмо, помещенное во вступлении «От издателя» к «Повестям Белкина». Это письмо некоего А. П., друга предполагаемого автора, содержащее биографические о нем сведения. Оно замечательно старомодным своим слогом, в котором полуканцелярские обороты смешаны с обиходными словечками и вызывающим улыбку простодушием (сообщением, например, о том, что Иван Петрович Белкин умер, «несмотря на неусыпные старания

уездного нашего лекаря, человека весьма искусного в лечении закоренелых болезней, как-то мозолей и тому подобное»). Письмо выполняет роль предисловия к целому и, значит, функционально стоит среди других особняком.

После этих изъятий останется 20 писем и четыре записки (особого интереса не представляющие). По произведениям Пушкина эти двадцать писем распределяются так:«Евгений Онегин» — 2 письма, «Арап Петра Великого» — 2 письма, «Дубровский» — 2 письма, «Пиковая дама» — 2 письма, «Капитанская дочка» — 7 писем, «История села Горюхина» — 1 письмо, «Гости съезжались на дачу» — 1 письмо, «Марья Шонинг» — 3 письма.

*

Все эти письма можно было бы разбить на три группы по тому творческому назначению, которое они выполняют по отношению к сюжету повествования.

Группа первая: письма, образующие сюжетную структуру произведения в целом.

Группа вторая: письма, мотивирующие сюжетное движение.

Группа третья: письма, являющиеся попутной иллюстрацией этого движения.

К письмам «структурного» типа несомненно относятся два письма из «Евгения Онегина»: вся композиция романа держится по существу на этих двух письмах и двух — устных — ответах на них. Приезд Онегина в деревню, дружба с Ленским — ступени к сюжетному центру первой половины романа: к встрече с Татьяной; узловые компоненты встречи — ее письмо и ответ на него, главы 3-я и 4-я. Остальные эпизоды — ссора на балу у Лариных и дуэль — тоже центростремительны по отношению к этому сюжетному узлу.*

Так и во второй части романа центром сюжетных отношений, складывающихся шесть лет спустя, стоит другое письмо. «Мостик» между двумя письмами — это события, которые происходят с персонажами за несколько лет и освещают метаморфозу в характере письменных объяснений и отповедей.

Экспозиция первого письма особо, целою строфой, подчеркнута Пушкиным:

Письмо Татьяны предо мною;
Его я свято берегу,
Читаю с тайною тоскою
И начитаться не могу... (и т. д.).

* «Два письма (Татьяны в третьей главе, Онегина в восьмой) и два монолога (Онегина в четвертой главе, Татьяны в восьмой) — вот вся фабульная схема романа (то есть его событийная часть)», — пишет А. Слонимский в книге «Мастерство Пушкина». Москва, 1963, стр. 318-19.

Подчеркнута, конечно, потому, что письмо важно не только в композиционном отношении, но и как раскрытие внутреннего облика героини, мечтательность которой выступает в романтически-туманных обращениях:

Ты в сновиденьях мне являлся,
Незримый, ты мне был уж мил...

И эта романтическая туманность чувств и слова находится в таком поразительном контрасте со вторым объяснением с Онегиным, когда язык Татьяны столь прост и непосредствен:

...и так смиренно
Урок ваш выслушала я.
Сегодня очередь моя...

Романтична и поза Онегина, отвечающего на письмо, — только ведь позу и могли представлять собой слова человека:

Мечтам и годам нет возврата,
Не обновлю души моей...

— если этому человеку было едва ли двадцать лет.

Зато еще отчетливее контраст между этим Онегиным и поздним, двадцатишестилетним, который пишет любовное письмо. Душевная экспрессия принадлежит скорее стилям *психологического реализма*, чем романтизму. Так мог бы написать Дмитрий Карамазов, если бы объяснялся в стихах:

Нет, поминутно видеть вас,
Повсюду следовать за вами,
Улыбку уст, движенье глаз
Ловить влюбленными глазами,
Внимать вам долго, понимать
Душой все ваше совершенство,
Пред вами в муках замирать,
Бледнеть и гаснуть... вот блаженство!

Или такая, например, экспрессия афоризма:

Я знаю: век уж мой измерен;
Но чтоб продлилась жизнь моя,
Я утром должен быть уверен,
Что с вами днем увижусь я.

*

Теперь — о письмах, которые мотивируют сюжетное движение; иными словами — о письмах, появление которых определяет переход к новому сюжетному эпизоду в развитии фабулы.

Вот несколько примеров в хронологическом порядке. Таково письмо няньки молодого Дубровского, Орины Егоровны, своему воспитаннику в Петербург. В письме сообщалось, что отец Дубровского «...очень плох, иногда заговаривается и весь день сидит, как дитя

глупое», и была просьба приехать, чтобы спасти имение, которое суд постановил отдать Троекурову.

Получив это письмо, Дубровский —

«...решился к нему (к отцу. — А. Р.) ехать и даже выйти в отставку... Тот же день стал он хлопотать об отпуске и через три дня был уж на большой дороге».

Так кончается рассказ о Дубровском-корнете гвардии и начинается повествование о Дубровском-разбойнике.

К письмам, мотивирующим сюжетное движение, надо отнести и письмо старого Дубровского Троекурову, которое вызвало усиление ссоры. Вот это письмо:

«Государь мой премилостивый,

Я до тех пор не намерен ехать в Покровское, пока не вышлете Вы мне псаря Парамошку с повинною; а будет моя воля наказать его или помиловать, а я терпеть шутки от ваших холопьев не намерен, да и от Вас их не стерплю, потому что я не шут, а старинный дворянин.

За сим остаюсь покорным ко услугам.

Андрей Дубровский».

У Пушкина стоит дальше:

«По нынешним понятиям об этикете письмо сие было бы весьма неприличным, но оно рассердило Кирилла Петровича не странным слогом и расположением, но только своею сущностью. «Как, — загремел Троекуров, вскочив с постели босой, — высылать к ему моих людей с повинной, он волен их миловать, наказывать! Да что он в самом деле задумал; да знает ли он, с кем связывается!»

И началась вражда...

Еще пример: письмо Лизы Германну — второе ее письмо, в котором она назначает ему час и место свидания в доме старой графини:

«...за ширмами увидите две маленькие двери: справа в кабинет, куда графиня никогда не входит; слева в коридор, и тут же узенькая витая лестница: она ведет в мою комнату».

И следующий абзац пушкинского текста:

«Германн трепетал, как тигр, ожидая назначенного времени. В десять часов вечера он уже стоял перед домом графини».

Иными словами: сразу же за письмом следует первая из сюжетных кульминаций: объяснение Германна со старухой-графиней и ее смерть.

Пример последний — из «Капитанской дочки». Это письмо Марьи Ивановны Мироновой Гриневу с мольбой о помощи: она находится у Пугачева, Швабрин принуждает ее выйти за него замуж. «Батюшка Петр Андреевич! (пишет она) вы один у меня покровитель; заступитесь за меня бедную».

«Прочитав это письмо, я чуть с ума не сошел», — находим в следующем же абзаце. Письмо вызывает решение Гринева ехать в пугачевский стан — тоже один из кульминационных поворотов сюжетной линии.

*

И третья группа писем — письма, только иллюстрирующие сюжетное движение. К самому движению сюжета, к смене эпизодов они отношения не имеют — их можно выпустить без всякого ущерба для сюжетного развития. Вот, например, два письма из первой пушкинской вещи в прозе «Арап Петра Великого» (1827-28). Одно из них — в главе второй, другое — в третьей. В этих главах рассказывается, как арап Ибрагим, которого Петр посылал в Париж учиться, должен теперь возвращаться снова в Россию. Перед отъездом он пишет письмо графине, своей любовнице. По замыслу автора, письмо, видимо, должно было раскрывать душевное состояние Ибрагима, быть задушевным и искренним. Но, может быть, Пушкин не был уж так уверен в постоянстве своего героя — выражение чувств в письме не звучало убедительно. Графиня в своем ответе Ибрагиму «нежно ему жаловалась, упрекая его в притворстве и недоверчивости».

В обоих письмах много риторики и салонно-литературных оборотов. Вот из письма Ибрагима, например:

«Легкомысленный свет беспощадно гонит на самом деле то, что позволяет в теории: его холодная насмешливость, рано или поздно, победила бы тебя, смирила бы твою пламенную душу и ты наконец устыдилась бы своей страсти... Что было бы тогда со мной? Нет! лучше умереть, лучше оставить тебя прежде ужасной этой минуты...

...Зачем силиться соединить судьбу столь нежного, столь прекрасного создания с бедственной судьбою негра, жалкого творения, едва удостоенного названия человека»... и так далее.

А вот из письма графини к Ибрагиму. Стиль тот же:

«...будь уверен, что, несмотря на мою любовь, я умела бы ею пожертвовать твоему благополучию и тому, что почитаешь ты своим долгом».

Оба письма были написаны по-французски. Отсюда — галлицизмы в русском их переложении. «Не имею ни отечества, ни близких»... — пишет, например, в своем письме Ибрагим.

Конечно же, письма этого рода могут быть гораздо значительнее со стороны творческого их назначения. Могут, например, независимо от отношения к сюжету, выполнять задачу психологической характеристики персонажа. С этой точки зрения наиболее знаменательными шедеврами оказываются опять-таки два письма из «Евгения Онегина», о которых была уже выше речь.

Но и для многих других характерны содержащиеся в них черты психологической портретности авторов писем. Сравним, например, два письма Лизы к Германну. Первое писано в возмущении: как осмелился Германн вложить ей в руку письмо с объяснением в любви. Стиль этого первого послания Лизы — книжный, холодный. Это формулы, которых требует приличие. Лиза пишет:

«Я уверена, что вы имеете честные намерения и что вы не хотели оскорбить меня необдуманными поступками, но знакомство наше не должно бы начаться таким образом. Возвращаю вам письмо ваше и надеюсь, что не буду впредь иметь причины жаловаться на незаслуженное неуважение».

Второе письмо звучит совершенно иначе. Теперь, как пишет Пушкин, Лиза «... уже не думала их (то есть письма Германна) отсылать: она упивалась ими». Второе письмо написано уже языком любящей — короткие, разговорного стиля фразы передают взволнованность, нетерпение. Само назначение свидания у себя, в своей комнате, открывает все:

«... Вот вам случай увидеть меня наедине. Как скоро графиня уедет, ее люди, вероятно, разойдутся, в сенях останется швейцар, но и он обыкновенно уходит в свою каморку. Приходите в половине двенадцатого. Ступайте прямо на лестницу. Коли вы найдете кого в передней, то вы спросите, дома ли графиня. Вам скажут нет, — и делать нечего. Вы должны будете воротиться Но, вероятно, вы не встретите никого. Девушки сидят у себя, все в одной комнате. Из передней ступайте налево, идите все прямо до графининой спальни. В спальне за ширмами увидите две маленькие двери: справа в кабинет, куда графиня никогда не входит; слева в коридор, и тут же узенькая витая лестница: она ведет в мою комнату».

Близко по стилю и языку — немного более народному — письмо капитанской дочки Маши Мироновой Гриневу. В этом письме тоже отчетлива душевная экспрессия тревоги и любви:

«... Палаша слышала также от Максимыча, что вас он часто издали видит на вылазках и что вы совсем себя не бережете и не думаете о тех, которые за вас со слезами Бога молят.

... Я живу в нашем доме под караулом. Алексей Иванович принуждает меня выйти за него замуж ... А мне легче было бы умереть, нежели сделаться женою такого человека, каков Алексей Иванович ... Батюшка Петр Андреевич! вы один у меня покорвитель; заступитесь за меня бедную ...»

Письма представляют собой индивидуальную речь персонажа, и внутренний облик этого персонажа раскрывается самим характером их стиля и языка: какие слова отбирает он, какие выражения. В теории литературы это называется речевой характеристикой персо-

нажей — и в свете этой речевой характеристики тоже интересно рассмотреть письма в произведениях Пушкина.

Вот, например, письмо Гринева-отца к сыну в ответ на просьбу дать благословение на брак с Машей Мироновой. Властный нрав старика обнаруживается в том, как сквозь нейтральный, книжно-эпистолярный стиль письма пробиваются более живые бытовые словечки и, как стоит у Пушкина, «жестокие выражения»:

«Сын мой Петр! Письмо твое, в котором ты просишь нас о родительском благословении и согласии на брак с Марьей Ивановной дочерью Мироновой, мы получили 15-го сего месяца, и не только ни моего благословения ни моего согласия дать я тебе не намерен, но еще и собираюсь до тебя добраться да за проказы твои проучить тебя путем, как мальчишку, несмотря на твой офицерский чин: ибо ты доказал, что шпагу носить еще не достоин, которая пожалована тебе на защиту отечества, а не для дуелей с такими же сорванцами, каков ты сам».

Еще резче выступают черты барина-самодура из письма Гринева-отца к слуге своего сына, Савельичу. Здесь барин не стесняется в словоупотреблении:

«Стыдно тебе, старый пес, что ты, невзирая на мои строгие приказания, мне не донес о сыне моем Петре Андреевиче... Так ли исполняешь ты свою должность и господскую волю? Я тебя, старого пса! пошлю свиней пасти за утайку правды и потворство к молодому человеку...»

В таком же примерно стиле выдержано письмо барина к старосте Трифону из неоконченной повести «История села Горюхина». Письмо относится по времени ко второй половине XVIII века. В нем, как и в письме-предисловии к «Повестям Белкина», интересно смешение стилей — официально-канцелярского и бытового.

Особенно обыгрывается такое стилевое смешение в одном эпизоде: молодой Гринев приехал в Оренбург на службу, является к генералу из немцев, своему новому начальнику. Он передает ему письмо от своего отца, с которым генерал был когда-то дружен. Образ этого генерала, добродушного, вероятно, служаки, выступает из реплик при чтении этого письма. Вот отрывок:

«Он распечатал письмо и стал читать его вполголоса, делая свои замечания. «Милостивый государь Андрей Карлович, надеюсь, что ваше превосходительство»... Это что за церемонии? Фуй, как ему не софестно! Конечно: дисциплина перво дело, но так ли пишут к старому камрад?.. «ваше превосходительство не забыло... К вам моего повесу»... гм... «держать в ежовых рукавицах»... Что такое ешовы рукавиц? Это, должно быть, русска поговорк... Что такое «дершать в ешовых рукавицах»? — повторил он, обращаясь ко мне.

— Это значит, — отвечал я с видом как можно более невинным, — обходиться ласково, не слишком строго, давать побольше воли, держать в ежовых рукавицах.

— Гм, понимаю... «и не давать ему воли»... нет, видно ешовы рукавицы значит не то... «Позволишь без чинов обнять тебя и... старым товарищем и другом» — а! наконец догадался... и прочая и прочая»...

Вернемся к тому письму Гринева-отца, которое он послал Савельичу. Савельич на это письмо ответил письмом в свою очередь. Оно отражает преданный, но вместе и твердый характер старого слуги. Он и покорен барину, но он любит своего барчука и позволяет себе дать собственную оценку его поведению, не сходную с господской:

«...А Петр Андреич ранен был под правое плечо, в грудь под самую косточку, в глубину на полтора вершка... и лечил его здешний цирульник Степан Парамонов; и теперь Петр Андреевич, слава Богу, здоров и про него кроме хорошего нечего и писать. Командиры, слышно, им довольны; а у Василисы Егоровны он как родной сын. А что с ним случилась такая оказия, то быль молодцу не укора: конь и о четырех ногах, да спотыкается. А изволите вы писать, что сошлете меня свиней пасти, и на то ваша боярская воля. За сим кланяюсь рабски.

Верный холоп ваш
Архип Савельев».

Надо отметить здесь, конечно, и народность стиля — целых две поговорки вставил в письмо старик!

Довольно близко по стилю к этому письму — письмо няньки Дубровского. Здесь то же выражение доброты и преданности, та же поговорочность речи:

«Государь ты наш, Владимир Андреевич, — я твоя старая нянька, решилась тебе доложить о здоровье папенькином. Он очень плох, иногда заговаривается, и весь день сидит, как дитя глупое, а в животе и смерти Бог волен».

Простодушие и наивность сказываются и в забавном смешении самого существа сообщаемого. Чеховский Ванька Жуков несомненно обязан этому письму своим рождением.

Лежнев в своей книге «Проза Пушкина», касаясь просторечия у Пушкина, пишет, что для него характерно «стремление к соразмерности, применение каждый раз минимума средств, упор на средний регистр выразительности. * Такое удивительное чувство меры — и в приведенных выше примерах.

Отражен в некоторых письмах и стиль тогдашних административных сообщений: «учинил», вместо «сделал»; «смертное убийство», вместо «убийство» и т. п. Вот письмо генерала коменданту Белогорской крепости:

«Сим извещаю вас, что убежавший из-под караула донской казак и раскольник Емельян Пугачев, учиня непростительную дерзость приня-

* А. Лежнев. Проза Пушкина. Опыт стилевого исследования. Изд. 2-е, М., 1966, стр. 118.

тием на себя имени покойного императора Петра III, собрал злодейскую шайку, произвел возмущение в яицких селениях и уже взял и разорил несколько крепостей, производя везде грабежи и смертные убийства» ...

Интересно, может быть, отметить некоторое сходство этого послания с царским указом по поводу бегства Григория Отрепьева в трагедии Пушкина «Борис Годунов». Указ этот, правда, древнее и в нем несравненно больше церковнославянских слов:

«Чудова монастыря недостойный чернец Григорий, из роду Отрепьевых, впал в ересь и дерзнул, наученный диаволом, возмущать святую братию всякими соблазнами и беззакониями» ... и т. д.

К письмам официального стиля относится и еще одно, тоже из «Капитанской дочки», — письмо того же оренбургского генерала о поведении Гринева, оглашенное на суде (глава 14-я).

Черты речевой характеристики мало выражены в тех письмах из неоконченных вещей Пушкина, в которых переписываются светские, главным образом, люди. В письме Вольской к Минскому из отрывка «Гости съезжались на дачу» так же, как в письмах из «Арапа Петра Великого», бросаются в глаза галлицизмы: «Я не умела высказать все, что имею на сердце» ... — начинается письмо.

Три письма в отрывке «Марья Шонинг» живее и, по существу, представляют собой «повествование в форме письма» скорее, чем отдельный компонент целого.

*

В заключение — о тех письмах, о которых обычно не упоминают, но которыми вряд ли можно пренебречь, разбирая произведение. Это письма, написанные или полученные кем-либо из персонажей, но в тексте лишь упомянутые, а не приведенные, — «неоглашенные», как можно было бы их назвать.

Среди них тоже можно отметить такие, которые непосредственно мотивируют движение сюжета, и другие, которые главным образом содержат психологическую характеристику персонажа, иллюстрируя его решения или эмоции.

Вот, например, первый рассказ цикла «Повестей Белкина» — «Выстрел». Герой его, Сильвио, был когда-то оскорблен одним молодым офицером, графом, которому Пушкин имени не дает. Они дрались на дуэли, но свой выстрел Сильвио оставил за собой. Он ждет часа, когда наступит ему пора отомстить графу. И вот, — говорит Сильвио рассказчику: —

«Ныне час мой настал ...

Сильвио вынул из кармана утром полученное письмо и дал мне его читать. Кто-то (казалось, его доверенный по делам) писал ему из Москвы, что известная особа скоро должна вступить в законный брак с молодой и красивой девушкой.

— Вы догадываетесь, — сказал Сильвио, — кто эта известная особа. Еду в Москву...»

Письмо, таким образом, определяет новый поворот сюжетной линии.

Письмо, которое получает от Германна Лизавета Ивановна, воспитанница старой графини, интересно с точки зрения характеристики обоих персонажей. Лизавета Ивановна —

«...побежала в свою комнату, вынула из-за перчатки письмо: оно было не запечатано... Письмо содержало в себе признание в любви: оно было нежно, почтительно и слово в слово взято из немецкого романа. Но Елизавета Ивановна по-немецки не умела и была очень им довольна».

«Неоглашенные письма» могут содержать подтекст. Вот, например, среди пугачевцев, которые атакуют Белогорскую крепость, один казак держит в руке письмо, содержащее, очевидно, призыв переходить на сторону бунтовщиков. Защитники крепости стреляют и убивают его — он падает. Когда атака отбита —

«Комендант подозвал капрала и велел ему взять лист из руки убитого казака... Иван Кузьмич прочел его про себя и разорвал потом в клочки».

В другом месте той же повести говорится о письме-воззвании Пугачева, которое было составлено «в грубых но сильных выражениях», но текст которого не приводится.

Среди других неоглашенных писем: письмо, которое получает героиня рассказа «Метель» от своего жениха, не попавшего из-за метели в церковь. Письмо содержало совершенно неожиданный ответ на согласие родителей на брак: «...полусумасшедшее письмо! Он объявлял им, что нога его не будет никогда в их доме, и просил забыть о несчастном, для которого смерть остается единою надеждою».

Письмо Маши Троекуровой, которое она написала князю Верейскому с просьбой отказаться от ее руки. «Тот прочел его наедине и нимало не был тронут откровеностью своей невесты. Напротив... почел нужным показать письмо будущему тестю»...

Эти «неоглашенные письма» исследователю тоже нельзя обойти, как и — в целом — тему о разнообразных функциях письма-компонента художественного произведения, лишь частично затронутую в данном очерке.

Г. КРУГОВОЙ

Норманская юридическая формула в древнерусской литературе

Как это ни странно, русский героический эпос, в дошедшей до нас форме былин, сохранил очень скудные следы скандинавских исторических контактов. Это не значит, конечно, что норманы, игравшие в русской политической и военной истории IX и X вв. большую роль, не оставили никаких следов в жизни раннесредневекового русского общества. Однако следы эти надо искать не столько в архаических пластах русской героической *народной поэзии*, сколько в литературных памятниках того времени.

Так, в «Повести временных лет» содержится формула бесспорно норманского происхождения. Эта формула известна не только по древнерусским текстам, но и по англо-норманской оксфордской рукописи старофранцузской «Песни о Роланде». Она читается: «Я не могу воскресить его или их» — «мне не кресити».

В « Повести временных лет» эта формула упоминается дважды. Оба текста сообщают о восстаниях славян против насилий варягов и описывают яростную реакцию княгини Ольги и Ярослава на эти восстания.

Первый текст под годом 6453 (945) сообщает о грабительском походе князя Игоря и его дружины в землю древлян с целью повторного взимания дани, о попытке Игоря получить дань и в третий раз и о его убийстве древлянами, возмущенными насилиями и вымогательствами князя. Убив Игоря и его дружинников, древляне решают воспользоваться своей удачей и политически закрепить ее путем брака древлянского князя Мала с овдовевшей княгиней Ольгой:

Русский сокращенный и несколько видоизмененный текст статьи "A Norman Legal Formula in Russian Chronicles and 'Slovo o polku Igoreve'", опубликованной в "Canadian Slavonic Papers", vol. XI, No. 4, 1969.

«Се князя убихомъ руского; поимемъ жену его Вольгу за князь свой Мал и Святослава, и створимъ ему, яко же хощемъ».

Ольга приветливо встречает древлянских послов и внешне готова идти на примирение:

«Рече же им Ольга: «Люба ми есть речь ваша, уже мне мужа своего не кресити (разбивка моя. Г. К.); но хочю вы почтити наутрия предъ людьми своими, а ныне идьте в лодью свою и лязите в лодьи величающеся, и азъ утро послю по вы...» [1]

Однако на другой день Ольга приказывает ввергнуть ничего не подозревающих послов древлян в выкопанную перед ее теремом яму и закопать их живыми.

Второй текст:

«Въ лѣто 6523 (1015)... Святополкъ же окаянный нача княжити Кыевѣ. Созвав люди, нача даяти овѣмъ корзна, а другымъ кунами, и раздая множьство. Ярославу же не вѣдущу отьнѣ смерти, варязи бяху мнози у Ярослава, и насилье твороуху новгородцемъ и женамъ ихъ. Вставше новгородци, избиша варягы во дворѣ Поромни. И разгнѣвася Ярославъ, и шедъ на Рокомъ, сѣде въ дворѣ. Послав къ новгородцемъ, рече: «Уже мнѣ сихъ не крѣсити». И позва к собѣ нарочитыѣ мужи, иже бяху иссѣкли варягы и обльстивъ я исѣче. Въ ту же нощь приде ему вѣсть исъ Кыева отъ сестры его Предъславы си: «Отець ти умерлъ, а Святополкъ сѣдить ти Кыевѣ, убивъ Бориса, а на Глѣба посла, а блюдися его повелику». Се слышавъ, печаленъ бысть о отци, и о браттьи, и о дружинѣ. [2]

Среди современных славистов на Западе формулу «мне не кресити» пытался расшифровать Д. Чижевский:

«Имеются рассказы о мести князя Ярослава новгородцам, которые перебили его варяжскую личную охрану, и о мести Ольги древлянам. В обоих случаях мстители сначала произносят загадочную фразу: «Уже мнѣ сихъ (мужа) не крѣсити». По всей вероятности эта фраза означала объявление кровной мести, которая отвергала все моральные стандарты, включая законы гостеприимства (в обоих рассказах князья убили своих гостей). Очевидно, что в обоих случаях славяне не поняли варяжской формулы объявления кровной мести. Такие рассказы естественно могли возникнуть среди варягов». [3]

Эта гипотеза большого ученого кажется еще более вероятной, если мы обратимся к свидетельству двух других литературных памятников XII века — древнерусского «Слова о полку Игореве» и старофранцузской «Песни о Роланде». В обоих эпических памятни-

[1] «Повесть временных лет». Литературные памятники. АН СССР. М.-Л. 1950, т. I, стр. 40-41.

[2] Там же, т. I, стр. 95-6.

[3] D. Cizevskij. "History of Russian literature". Meuton & Co. The Hague, 1960, pp. 15-16.

ках формула — «нам не воскресить . . .» — сопровождается либо призывом к мести, либо настоящим возмездием.

Так в «Слове о полку Игореве» поражение Игоря суммировано в следующих строках:

«О, далече зайде сокол, птиц бья, — к морю!
А Игорева храбраго плъку не крѣсити!»

После краткого описания бедствий Русской земли в результате братоубийственных междоусобиц князей вообще и поражения Игоря в частности, следует «злато слово» Святослава с последующим призывом автора к князьям объединиться и отомстить врагу и за раны Игоря, и за бедствия Руси. В согласии с правилами риторики того времени, читаем троекратный призыв к мести:

«За землю Рускую,
За раны Игоревы,
буего Святъславича!»

В «Песне о Роланде» наша формула появляется дважды в заключительной части поэмы. Уничтожив мавританские полчища и захватив Сарагоссу, Карл Великий возвращается в Аахен и созывает совет баронов, чтобы судить изменника Ганелона, ответственного за ронсевальское несчастье.

Просьба Ганелона к совету оправдать его и тем самым спасти ему жизнь, к успеху не привела. Тогда Ганелон, в качестве последнего средства, обратился к своим могущественным родственникам и заручился поддержкой тридцати из них, во главе с могучим и устрашающим Пинабелем. Страх мести со стороны рода Ганелона вызывает среди членов совета колебания и побуждает их вынести решение в пользу обвиняемого. Здесь формула встречается в «Песне» в первый раз:

"Morz est Rollant, ja mais nel revereiz,
Nert recuvret por or ne por aveir". (3802-03). [4]

Она повторяется ниже, как бы подводя черту под рекомендацией баронов Карлу оправдать Ганелона и вновь принять его к себе на службу:

"Ne por aveir ja nel recuverum" (3813). [5]

Формула в «Песне о Роланде» несколько отличается от формулы в древнерусских текстах: в последней не говорится ни о «золоте», ни о «серебре». Но значение формулы одинаково: «Никакими человеческими усилиями или средствми нельзя его воскресить». Эта формула, сопровождающая рекомендацию судей, обладает свя-

---

[4] «Погиб Роланд и не придет обратно.
Не воскресить его сребром иль златом» (3802-03).
«Песнь о Роланде». Литературные памятники. АН СССР. М.-Л., 1964.

[5] «Златой казной его не воскресить». (3813).
Там же.

зывающей решения Карла юридической силой, и Ганелон получает шанс выиграть процесс и сохранить свою жизнь. Положение меняется, однако, когда один из баронов-судей, Тьери, отвергает решение суда и апеллирует к «Божьему суду», вступая в поединок с Пинабелем. В продолжительном и жестоком бою Тьерри в конце концов наносит Пинабелю смертельный удар мечом. Бог вынес свой приговор — и Ганелон вместе с тридцатью заложниками из его рода предается казни.

В обоих этих средневековых текстах, русском и французском, норманская формула так или иначе представляется связанной с идеей возмездия. Вместе с тем именно французский текст позволяет оправдывать обратное предположение: формула «*вне моих или наших сил воскресить его или их*» — не является зашифрованным призывом к мести. Иными словами, эта формула буквально означает отказ от кровной мести и согласие на примирение. Анализ текста делает этот вывод еще более убедительным.

Обращенные к Карлу просьба и совет баронов простить Ганелона и вернуть ему милость императора не оставляют никакого сомнения в намерениях судей, употребляющих эту формулу дважды. Конечно, строки „Pur Pinabel se cuntienent plus quei" (3797) [6] и „Mult sereit fols ki..... se cumbatreit" (3804) [7] указывают, что решение судей вызвано не подлинными соображениями справедливости или побуждениями милосердия, а страхом мести со стороны родственников Ганелона. Король видит подоплеку поступка баронов, их трусость и негодует: „Ço dist li reis: „Vos estes mi felun". (3814). [8]

Но юридически Карл бессилен отменить решение судей, и это вызывает у него отчаяние:

"Quant Carles veit que tuz li sunt faillid,
Mult l'enbrunchit e la chere e le vis,
Al doel qu'il ad si se cleimet caitifs" (3815-17). [9]

Разумеется, решение баронов, мотивированное шаткими соображениями земной целесообразности, может быть отменено высшим, Божьим судом — это мы и видим в поэме. Поэтому исход поединка между Пинабелем и Тьерри и последующая казнь Ганелона и его родственников-заложников не обязательно вытекают из предполагаемого другого значения норманской формулы, если ее понимать как призыв к мести. В то же время исход этот не опровергает и юридической действенности формулы, рассматриваемой как отказ от кровной мести. Победа Тьери со всеми ее последствиями просто

6 «Жестокий страх им Пинабель внушает» (3795). Там же.
7 «От поединка проку будет мало» (3804). Там же.
8 «Король ответил: «Все вы подлецы!» (3814). Там же.
9 «Увидел Карл — оставлен всеми он,
Нахмурил брови и поник челом,
Стал от тоски и горя сам не свой». (3815-17). Там же.

подтверждает самоочевидную для средневекового религиозного сознания мысль, что истинное суждение Бога превосходит несовершенную человеческую «справедливость». «Торжество справедливости» в «Песне о Роланде» для средневековой аудитории не заключало в себе иронического подтекста. Оно было естественным проявлением Правды Божьей и таким образом органически и функционально реализовало богоустановленный универсальный правопорядок. Именно поэтому юридическая формула германского варварского права могла быть использована для целей художественного замысла и возвышена до уровня эстетического объекта.

В «Песне о Роланде» юридическая формула, санкционирующая оправдание предателя, контрастируется с мотивом вмешательства божественной справедливости. Это создает, в рамках развития фабулы, конфликт или напряжение, которые не только обостряют драматическую развязку сюжета и тем самым повышают эстетическое восприятие последнего, но и отражают основные религиозные и социальные ценности раннесредневековой Европы.

**
*

Вопрос однако остается открытым: если подобная интерпретация нашей юридической формулы верна, чем же тогда объясняется тот факт, что в приведенных выше древнерусских текстах заверения о примирения и мире неизменно сопровождаются беспощадным и хладнокровно расчитанным убийством или призывом к мести? Чтобы разрешить это кажущееся противоречие, необходимо рассмотреть каждый случай отдельно, учитывая весь комплекс конкретных исторических обстоятельств, обычаев и культурных ценностей, которые определяли мотивировку и поступки главных участников конфликта.

Оба сообщения летописи говорят о грубом вероломстве, а в рассказе о мести Ольги древлянам и о своеобразной утонченной жестокости. А так как и Ольга и Ярослав историей значительно идеализированы, их поведение может показаться противоречащим и сложившимся о них традиционным представлениям, и кодексу чести военно-аристократического класса, к которому они принадлежали.

Но дело в том, что Ольга, совершая акты коварства и убийства, не поступает бесчестно. Больше того, ее действия имеют целью восстановление личной чести и чести рода. Конечно, надо постоянно помнить, что тут перед нами еще дохристианская германская концепция чести, не знавшая моральных ценостей, которые мы слишком легко приписываем ей, исходя из нашей культурной традиции. Иначе говоря, honos и honestum еще не были слиты: слия-

ние их произошло в рыцарские времена, то есть в высокое и позднее средневековье. Впрочем даже и тогда дохристианское понятие чести в значительной степени оставалось действительным. Об этом исключительно важном культурно-историческом факте [10] нам говорит не только яростно воинственная «Песнь о Роланде», но и романтическая придворная история о «Тристане и Изольде».

Понятие о чести во времена Ольги и ее еще языческого окружения означало прежде всего признание подобающего личного и социального положения в иерархическом раннесредневековом феодальном обществе, со всеми связанными с этим признанием преимуществами сословного и личного престижа и политической власти. И угроза признанному личному и общественному статусу, в виде оскорблений или иных действий против семьи, тягчайшей формой которых было убийство члена рода, воспринималась как оскорбление чести и требовала возмездия. Убийство члена рода допускало кровную месть.

Правда, юридическая система варварского права пыталась сократить число актов насилия, вводя денежную компенсацию за правонарушения, направленные против чести, жизни и имущества отдельных лиц и их родственников. Тщательно разработанная система штрафов — «вир», должна была сделать мирное разрешение конфликтов приемлемым и обязательным для всех тяжущихся сторон. Юридическая формула — «мне невозможно воскресить . . .» — по-видимому имела значение отказа от права мести и выражала готовность к мирному урегулированию конфликта.

Именно в этом значении понятия чести Ольга употребляет слова «почтити» и «честь». Правда, в ее устах эти слова, обращенные к послам древлян, исполнены зловещей иронией. Она говорит «хочю вы почтити», уже решив нарушить клятву примирения, и позже спрашивает древлян, уже брошенных живыми в могилу: «Добра ли вы честь?»

Вместе с тем нарушение клятвы Ольгу не обесчестило: в особых ситуациях преступления против чести в сознании оскорбленного лица, рода или общественной группы оправдывали акты мести, совершенные самыми коварными и беспощадными средствами, включая клятвопреступление и нарушение законов гостеприимства. А в приведенном тексте мы читаем о двух тяжелых преступлениях против чести Ольги и рода Рюрика.

Первым преступлением, конечно, было убийство ее мужа Игоря. Мы не можем ожидать, чтобы Ольга и ее варяжское окружение разделяли наши морализирующие взгляды и считали, что хищный

[10] См. Friedrich Maurer. „Leid". A. Francke Verlag Bern und Leo Lehnen Verlag München, 1951; George F. Jones. "The Ethos of the Song of Roland". John Hopkins Press. Baltimore, 1963.

предводитель осевших на Руси викингов заслужил такой конец. Помимо личной утраты для Ольги, убийство Игоря племенем славянских данников создало большую опасность судьбе правящего дома. Особенно в случае выхода Ольги замуж за князя Мала: в таком случае ее малолетний сын Святослав отдавался на милость окружения Мала, в последующей борьбе за власть. Шансы Святослава выжить в этом случае были незначительны: «Поимем ... и Святослава, и створим ему, яко же хощем». Кроме того, убийство Игоря угрожало привилегированному положению в древнерусском государстве того времени норманской военной группы. Насколько близко стояли варяги к трону киевских князей в середине X века показывают скандинавские имена воспитателя Святослава Асмуда (обычай приглашать скандинавских воспитателей к сыновьям киевских князей сохранялся еще в первой половине XI века) и воеводы княгини Ольги Свенельда. По их взглядам поступок древлян представлял открытый бунт, а в те далекие от интеллектуальной рефлексии времена подавление бунта могло допускать коварство, вероломство и клятвопреступление без того, чтобы они считались нарушением воинского кодекса этики или понятия чести.

Вторым оскорблением было предложение древлян Ольге выйти замуж за князя Мала. Древляне этим хотели как бы компенсировать Ольгу за утрату мужа и свое предложение не считали унизительным. Но для Ольги, по кодексу чести того времени, их предложение брака было не менее оскорбительным, чем убийство Игоря. 35 лет спустя Рогнеда, дочь полоцкого князя Рогволода, тоже норманского властителя, отвергла предложение брака со стороны княжившего тогда в Новгороде Владимира, как обесчещивающее — потому что Владимир был сыном ключницы Ольги Малуши. Того, что отцом Владимира был прославленный и благородный Святослав, не было достаточно, чтобы смыть пятно его низкого происхождения по материнской линии. Владимир, оскорбленный и разъяренный этим унижением, разгромил Полоцк, убил на глазах Рогнеды, предварительно публично ее обесчестив, Рогволода и его сыновей и затем взял ее силой в жены, отмстив таким образом за нанесенное ему оскорбление.

Защита и отмщение чести, при определенных условиях, оправдывали вероломство. Языческий германо-скандинавский кодекс этики проявлял полное понимание подобных ситуаций, даже не всегда чистосердечно оправдывая нарушителей. А нарушение Ольгой формулы примирения «мне мужа уже не кресити» — относится к действиям, имеющим целью отмщение поруганной чести.

Интересную литературную параллель, бросающую дополнительный свет на занимающую нас проблему, мы видим в немецкой поэме XII века «Песнь о нибелунгах». Как убедительно показал Фрид-

рих Маурер,[11] германский этос чести и мести достигает в этой поэме высоты трагизма, непревзойденного ни в каком другом памятнике героического эпоса. Зигфрид, муж Кримгильды, был предательски убит ее же родственниками, затем она была выдана замуж за короля гуннов Этцеля (Аттилу). Чтобы отомстить за смерть мужа и тем самым восстановить свою честь, Кримгильда пригласила бургундов, во главе со своим братом Гунтером, ко двору Этцеля на дружеский пир. За внешне дружелюбным приглашением Кримгильды скрывалось жестокое вероломство. Страшно мстя за смерть Зигфрида, она привела к гибели не только бургундов, но и гуннов, Этцеля, своего сына и саму себя.

Аналогичное вероломное приглашение древлян Ольгой, нарушение ею формулы примирения и жестокая месть — тоже одно из выражений языческого германского принципа отмщения личной чести в эпизоде нормано-славянских отношений на Руси X века.

Приведенные выше соображения не совсем применимы к событиям, описанным в другом тексте, сообщающем об убийстве новгородцев по приказу Ярослава. Это событие произошло через 70 лет после мести Ольги древлянам. Во времена Ярослава Русь уже приняла христианство, в качестве своей официальной религии, и хотя многие пережитки язычества и дохристианского варварского права были еще очень сильны, новая вера значительно смягчила языческий обычай кровной мести. У нас нет никаких оснований сомневаться в искренности религиозных верований Ярослава. Его современники тоже не испытывали сомнений на этот счет. Ярослав прославился своими блестящими достижениями в распространении веры, образования и культуры на Руси. Незадолго до смерти в 1054 году он увещевал своих сыновей жить в братской любви под покровительством Бога и сохранять политическое единство Русской земли.

Сыновья не последовали завету отца. После его смерти начался период междоусобных войн и постепенный распад Киевского государства. Но в той мере, в какой можно говорить о политическом завещании Ярослава, оно отражает не только жизненные мудрость и опыт искушенного воина и государственного деятеля, но и образ мышления средневекового христианского князя.

Вместе с тем нельзя забывать, что самый выдающийся строитель могущественного древнерусского государства в Европе XI века начал свое политическое восхождение как феодальный бунтарь против центральной власти своего сюзерена и отца князя Владимира. В 1014 году Ярослав, правивший тогда в Новгороде, отказался платить Киеву назначенную ему годовую дань, и Владимир отдал при-

[11] Friedrich Maurer. „Leid", SS. 20, 23, 30, 32-33.

каз готовиться к военному походу против упрямого и непокорного вассала и сына.

«Въ лѣто 6523 (1015). Хотящю Володимеру ити на Ярослава, Ярославъ же, пославъ за море, приведе варягы, бояся отца своего; но Бог не вдасть дьяволу радости. Володимеру бо разболѣвшюся... Умре же на Берестовѣмъ».

Летопись ясно указывает на причины, побудившие Ярослава пригласить наемников, и это позволяет нам лучше понять обстоятельства, при которых Ярослав счел необходимым перебить ряд видных новгородцев (перед тем новгородцы уничтожили ряд воинов-варягов), вероломно пригласив их на пир и нарушив произнесенную им формулу примирения. Летописный текст проливает свет на некоторые важные детали. Варяги, перебитые новгородцами, были не воинами из личной охраны Ярослава, а просто наемниками, нанятыми им для исполнения временного конкретного военного задания: отразить ожидаемое нападение Владимира. Если у Ярослава и была в Новгороде постоянная варяжская дружина, — такая была у него позже в Киеве, — то она скорее всего входила в ту тысячу норманов, которые после смерти Владимира вместе с новгородцами выступили против Святополка.

Русские летописи сохранили сообщение о возмутительном поведении варяжских наемников и о методах, которыми пользовались русские, чтобы освободиться от них, когда надобность в их службе миновала. И можно с уверенностью предположить, что при нормальных условиях Ярослав не прибегнул бы к таким яростным и беспощадным средствам подавления народного недовольства поведением варягов. Весьма вероятно, учитывая исторические прецеденты, что Ярослав даже сам принял бы меры против бесчинствующих наемников.

Но условия не были нормальными. Ярослав ожидал вооруженного нападения со стороны Владимира, который, как верховный сеньер Новгорода, мог расчитывать на некоторую приверженность и симпатии среди местного населения. При таких обстоятельствах варяги могли составлять в распоряжении Ярослава самую надежную воинскую силу, — следовательно, убийство скандинавских наемников легко было истолковать, как часть заговора новгородцев против Ярослава, в пользу Владимира. Заговор этот надо было немедленно раздавить, в самом зародыше, прежде чем события вышли из-под контроля Ярослава. Тем более, что Ярослав имел основания рассматривать действия новгородцев, как акт нарушения вассальной верности и тем самым измены: в Европе того периода вассал вассала был обязан феодальной верностью своему непосредственному господину, а не его сеньеру.

Большая вероятность такого объяснения подкрепляется и другой деталью текста. Перебитые по приказу Ярослава новгородцы названы в летописи — «нарочитые мужи». Нужно отметить, что древнерусское слово «муж» означало не только лицо высокого социального положения, но прежде всего члена военного сословия — дружинника.

То, что это в данном случае было именно так, подтверждает термин «дружина», который Ярослав употребляет, когда он говорит об убитых новгородцах.

Следовательно убитые новгородцы были членами славянской дружины Ярослава. Поэтому они могли стать вдвойне опасными для него, в случае перехода на сторону Владимира, чем и объясняется поспешная и беспощадная реакция Ярослава. Но в силу этих же соображений представляется в высшей степени невероятным, чтобы славянские воины с высоким общественным положением, которые поддерживали постоянные профессиональные и коммерческие контакты с соседней Скандинавией, были незнакомы с норманскими правовыми обычаями и формулами мести.

Среди советских ученых, которые тоже интерпретируют фразу «уже мне сих не кресити» — как древнюю дофеодальную юридическую формулу отказа от кровной мести, можно назвать Д. С. Лихачева. В дополнение к древнерусским текстам, рассмотренным в этом очерке, он приводит еще два, где данная формула употребляется либо в смысле отказа от мести, либо как выражение утешения, я бы сказал, утешающей резиньяции. [12]

***

Теперь можно ответить на вопрос, почему в двух эпических памятниках средневековой европейской литературы — во французской «Песне о Роланде» и в русском «Слове о полку Игореве» — формула примирения сопровождается или рассказом о мести или призывом к ней. Именно в силу своего примирительного значения эта формула могла быть использована для целей художественного контраста.

Сама по себе эта норманская юридическая формула эстетически нейтральна. Но возвышенная до уровня эстетического объекта, она, в силу приобретенного ею нового качества, эмоционально оказывалась более действенной и могла служить для выражения и «внелитературных» идей, которые напоминали слушателям или читателям об определенных ценностях или обязанностях.

[12] Д. Лихачев. Комментарий исторический и географический. «Слово о полку Игореве». Литературные памятники. АН СССР. М.-Л., 1950, стр. 419-20.

Выше было показано, как литературный прием контраста был использован в «Песне о Роланде». Лживая и трусливая человеческая «справедливость» была поставлена в конфликтную ситуацию с истинной справедливостью и посрамлена нелицеприятным Божьим судом. Аналогично, хотя и в ином историческом контексте и служа другому замыслу, этот же прием контраста применен в «Слове о полку Игореве». Здесь индивидуалистическое понятие личной чести, наследие варварской эпохи, и эгоистические устремления феодальных властителей противопоставляются идеям национального единства и коллективного долга обороны христианской Руси от хищнических вторжений язычников. Норманская юридическая формула — «уже мне сих не кресити» — теперь, в художественном виде, использована очень эффективно для передачи современникам именно этого политического «послания» автора.

При более внимательном исследовании текста «Слова о полку Игореве» становится очевидным, что призыв к отмщению поражения Игоря непосредственно с нашей формулой не связан и из нее не вытекает. Фраза — «А Игорева храбраго плъку не кресити», встречается в «Слове о полку Игореве» дважды. В обоих случаях ее место в тексте определяется композиционной структурой соответствующих частей литературного памятника. В обоих случаях наша юридическая формула сохраняет свое первоначальное примирительное значение. Но в рамках художественного замысла «Слова» она употребляется в каждом отдельном случае для выражения различных состояний душевного настроения, от безнадежной резиньяции до иронического замечания, которое отвергает убеждение в непобедимости половцев и внушает веру в возможность окончательной победы.

В первый раз наша формула появляется после описания поражения игорева войска и захвата в плен князей. И этот отрывок и следующие непосредственно за ним скомпанованы таким образом, чтобы добиться максимального художественного эффекта, с помощью усиления нагнетания ощущения совершающейся катастрофы.

Отрывок начинается описанием исхода сражения. Читатель или слушатели уже подготовлены эмоционально к сообщению о разразившейся катастрофе предыдущими строками о князе Олеге Гориславиче, который, активно участвуя в междоусобных бранях князей, был первым, как мы знаем, кто пригласил половцев в качестве союзников вторгнуться в пределы Русской земли. В великолепных поэтических образах, почерпнутых в значительной степени из народной поэзии, автор рисует горестную картину Руси, разорванной на части и опустошенной княжескими усобицами. Затем он возвращается к описанию заключительной фазы битвы, которая, не-

смотря на доблесть и мужество Игоря и Всеволода и их дружины, завершается гибелью войска.

«Бишася день,
бишася другый;
третьяго дня к полудню падоша стязи Игоревы.
Ту ся брата разлучиста на брезѣ быстрой Каялы;
ту кровавого вина не доста;
ту пиръ докончаша храбрии русичи:
сваты попоиша, а сами полегоша
за землю Рускую.
Ничить трава жалощами,
а древо с тугою к земли преклонилось».

В этом месте настроение и атмосфера катастрофы не просто поддерживаются образностью предыдущего отрывка и метафорическими образами оплакивающей павших воинов природы. Они интенсивируются употреблением мифологического образа «девы обиды», которая, сойдя на «землю Трояню», «упуди жирна времена». Мифологические образы здесь и несколько ниже придают универсальную значимость второстепенному и собственно местному событию в русско-половецких отношениях второй половины XII века. Это позволяет автору поставить поражение Игоря в целостную перспективу русской истории того времени. Именно здесь настроение безысходности и катастрофы достигает своей кульминации и вызывает чувство неотразимой неизбежности, как бы неумолимой судьбы, поскольку братоубийственые войны русских князей делают сопротивление языческим кочевникам нереалистическим и невозможным.

«Усобица княземъ на поганые погыбе,
рекоста бо братъ брату:
«се мое, а то мое же».
И начяша князи про малое
«се великое» млъвити,
а сами на себѣ крамолу ковати.
А погании съ всѣхъ странъ прихождаху съ побѣдами
на землю Рускую».

Игорь — доблестный воин. Он — смелый «сокол». Но он герой-одиночка, который в условиях национального разобщения, действуя только своими силами и думая прежде всего о личной воинской чести и славе, не может ни победить, ни быть достойно отмщенным. В соединении с нашей формулой, его героизм и его поражение находят не только безупречное художественное выражение, но и придают образу Игоря глубинное измерение неизбежности трагической судьбы эпического героя.

«О, далече зайде соколъ, птиць бья, — къ морю!
А Игорева храбраго плъку не крѣсити!»

Эти строки дают как бы разрядку кульминационному напряжению предшествующих строк, так как юридическая формула дополняется здесь новым значением трагической резиньяции, почти отказом от воли продолжать борьбу. Атмосфера катастрофы все еще тяготеет в непосредственно следующем за кульминационной разрядкой отрывком. Но теперь эмоциональное напряжение в плачах русских жен о погибших в битве мужьях и в описании бедствий русских городов постепенно спадает и затихает в слегка видоизмененном повторении предыдущих строк:

«А князи сами на себе крамолу коваху,
а погании сами,
побѣдами нарищуще на Рускую землю,
емляху дань по бѣлѣ от двора».

Это повторение, конкретизируя результаты поражения Игоря и княжеских междоусобиц, как бы затухающим аккордом еще более оттеняет чувство безнадежности, достигающее высшего напряжения в кульминационной части.

Однако сразу же после этих строк, пронизанных чувством безысходности и катастрофы, после части «Слова», где наша формула подчеркивала убеждение в невозможности продолжать борьбу, происходит решительный поворот. Дальше следуют строки, в которых автор, используя прием контраста, утверждает, что поражения совсем не неизбежны. Сначала он ссылается на недавние победы киевского князя Святослава над половцами, затем приводит «злато слово» самого Святослава. Святослав упрекает Игоря и Всеволода в грехе гордости эпических героев — hybris, в грехе, который не принес им чести, так как в погоне за личной славой они пренебрегли общими интересами всей Русской земли.

«О моя сыновчя, Игорю и Всеволоде!
Рано еста начала Половецкую землю
мечи цвѣлити,
а себѣ славы искати,
Нъ нечестно одолѣсте,
нечестно бо кровь поганую пролиясте.
. . . . . .
Нъ рекосте: «Мужаимься сами:
переднюю славу сами похитимъ,
а заднюю си сами подѣлимъ».

В этих строках видна уже важная тенденция к переоценке старого варварского кодекса чести в средневековом героическом эпосе.

Индивидуалистическое стремление к славе и чести, все еще очень сильное и в «Слове о полку Игореве», и в «Песне о Роланде», получает окончательное и высшее оправдание тогда, когда оно служит целям и интересам христианского общества в целом. Эта тенденция есть и в «Песне о Роланде», в эпизоде ронсевальской битвы, где Оливье упрекает Роланда за мотивированный личной гордостью отказ последнего призвать на помощь армию Карла Великого.

Только после ободряющего введения, отрицающего веру в непобедимость половцев, автор «Слова» переходит к призыву к русским князьям объединиться против общего врага и коллективно отомстить за поражение Игоря. Идея этой части вполне ясна: чувство безнадежности и неверие в свои силы ложны и неоправданы. Здесь наша юридическая формула употребляется во второй раз. Но опять-таки, в соответствии с художественным замыслом и политической идеей автора, эта формула вызывает теперь иное настроение. Восславив мощь волынских князей Романа и Мстислава, автор снова вспоминает об Игоре:

«Нъ уже, княже Игорю,
Утръпѣ солнцю свѣтъ,
а древо не бологом листвие сронu:
по Рси и по Сули гради подѣлиша.
А Игорева храбраго плъку не крѣсити!
Донъ ти, княже, кличетъ
и зоветъ князи на побѣду.
Олговичи, храбрые князи, доспѣли на брань...»

То, что половцы в поисках добычи поделили между собой русские города, не дает права на отказ от борьбы и утрату мужества. Наша формула в этом отрывке не говорит ни о желании идти на компромисс с врагом, ни о покорности несчастью. Здесь она звучит скорее иронически. Русь достаточно сильна и ей незачем примиряться с бедой. Игорь и Всеволод первыми вступили в битву и были побеждены. Но Дон по-прежнему призывает русских князей к победе над врагом. Поэтому последующие строки, обращенные к луцким князьм Ингвару и Всеволоду, завершаются снова призывом:

«Загородите полю ворота
своими острыми стрѣлами
за землю Рускую,
за раны Игоревы,
буего Святъставлича!

Бегство Игоря из плена в известном смысле предуказывает будущую победу и завершает «Слово о полку Игореве» в общем на оптимистической ноте.

Поразительно, с каким суверенным мастерством поэт XII века сумел использовать юридическую формулу варварского права и, придав ей новую эстетическую функцию, заставил ее служить целям художественного замысла и патриотического призыва к современникам. И в «Песне о Роланде», и в «Слове о полку Игореве» юридическая формула примирения и отказа от кровной мести приобрела художественные качества, которые пробуждали в средневековой аудитории сознание высокого долга, религиозных и патриотических ценностей и повышали эстетическое воздействие поэм.

БОРИС ФИЛИППОВ

Разговоры обо всем понемногу

Весна 1966 года. Брожу по Лувру. С фотоаппаратами через плечо, растерявшись от непомерности и бесчисленности зал, перебегают от статуи к саркофагу, от картины к статуе средовеки в мешковатых костюмах.

Пора вам знать, я тоже современник,
Я человек эпохи Москвошвея,
Смотрите, как на мне топорщится пиджак...

— Петька! Сыми вот эту статую: больно титьки хороши...
— Не. Не буду. У ней голова отломана...

Это — экскурсия. Может статься, — инженерно-технические работники, — может, — колхозные агрономы, учителя, — кто их знает? Из СССР.

Советское варварство (об этом пишется немало), резкий упадок общей культуры? Да, очевидно. Но была ли она когда-нибудь — не у верхов культурной элиты, не для единиц, а так, скажем, для более или менее средней интеллигенции — достаточно высока и — это главное — насущно необходима?

Разве далеко, скажем, к 1913 году, ушли чеховские времена, когда «штабс-капитан Полянский стал уверять Варю, что Пушкин в самом деле психолог, и в доказательство привел два стиха из Лермонтова; поручик Гернет сказал, что если бы Пушкин не был психологом, то ему не поставили бы в Москве памятника».

Разве далеко от этого ушел возглавитель может быть самой культурной по своему составу политической партии — партии кадетов — Милюков, в своей истории русской культуры меньше уделивший места Достоевскому, чем, скажем, какому-нибудь Надсону или Помяловскому? К слову сказать, далеко ли ушел и рафинированный Сирин-Набоков, трактующий того же Достоевского как невысокого таланта автора детективных романов? Дело не во вкусах, не в незыблемой «табели о рангах», а в отсутствии трудно определяемого шестого чувства — чувства культуры.

В общем, это порождение того же безвкусия, какое заставляет, скажем, Академию наук СССР, в 1968 году, писать о Владимире Соловьеве, например:

«Прославляя религиозную философию В. Соловьева, современные обскуранты видят в этом один из способов популяризировать обветшалый реакционный тезис о врожденной религиозности 'русской души'...» («История философии в СССР», т. 3, стр. 391).

Ну, а обращаясь опять с Востока на Запад, не того же ли порядка мысли о религии в последней книге Н. Берберовой? Дело не в религиозности или атеизме, а хотя бы в элементарной грамотности и вкусе. Правда, и тут требуется культура. Даже для богоборца. «Не всяк глаголай 'Господи, Господи' внидет в царство небесное». Не всяк, пишущий — даже иной раз успешно — прозу или стихи, внидет в царство культуры — или даже может обнять то неуловимое, что делает то или иное явление культурой.

Но может ли быть вообще культура хоть сколько-нибудь массовой? Да и вообще — можем ли мы говорить о какой-то единой культуре? Культура — это прежде всего своеобразие, — свидетельствует Константин Леонтьев. Была, по крайней мере, в свое время, русская самобытная крестьянская культура. Была культура самобытного купечества и мещанства — и отчасти примыкающая к ней культура купеческая — культура, как правило, порождается устойчивыми социально-культурными группами. Пыталась народиться особая русская интеллигентская культура — с ее подчеркнутым социально-политическим этицизмом, религиозно-философским нигилизмом и явной нетерпимостью к инакомыслящим. Не народилась эта интеллигентская культура хотя бы уже потому, что оригинальности в ней не было ни на грош, питалась она брошюрками демократов Запада, а всякую самобытность третировала как шовинизм и отсталость. Может статься, единственно оригинальным в этом культурном гомункулусе было непрерывное стремление к покаянию: кающиеся перед крестьянством дворяне, кающиеся перед пролетариатом интеллигенты из буржуев, кающиеся перед народом поэты, хотя бы раз осмелившиеся бряцать на лире рукою вдохновенной вместо того, чтобы выть на Волгу у утеса Стеньки Разина или у барского парадного подъезда — все о горюшке народном:

Поэтом можешь ты не быть,
Но гражданином быть обязан.

Ведь вот никто — даже из среды социал-интеллигентов — не возглашал, что, мол:

Портным ты можешь и не быть,
Но гражданином быть обязан.

Всякий понимал, что гражданин ты или не гражданин — это для других дело десятое, а вот дело свое ты, если хочешь быть полезным другим гражданам, должен знать прежде всего профес-

сионально. Быть мастером. Не обязан распевать к месту и не к месту «Смело товарищи, в ногу», но обязан сшить такие сапоги, чтобы не набивались мозоли, сшить такую рубаху, чтобы она не делала заказчика горбатым и кривобоким. И только по отношению к культуре профессиональное уменье считалось — и считается еще не только на шестой части света — необязательным: *поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан...* Но скажите, почему именно *обязан?* А если меня не интересует эта самая гражданственность, да еще понимаемая явно кривобоко: будь обязательно демократом, социалистом, атеистом, коллективистом — и так далее. А если я не согласен? Если не хочу? Нет, обязан. Орден интеллигенции был не менее, а более нетерпим, чем иезуиты, скажем. Вот и не состоялась общероссийская культура, как социально-историческое явление. Вслед за гениями в литературе, музыке, театре у нас шла такая беспросветная серость, такая безнадежная бездарь, что диву даешься — как такое могло существовать на хотя и не упорядоченной, но обильной и богатой русской земле. На Западе были и Бах — и Иоганн Штраус, и Шекспир — и Шерлок Холмс Конан-Дойля, и высокая драма — и вполне добропорядочный театральный ширпотреб. У нас вслед за Достоевским и Лесковым шли Муйжейли и Серафимовичи, за Мусоргскими и Римскими-Корсаковыми — Рябовы и Вильбушевичи. И именно эта серость и одолела после Октября: долой писателей-индивидуалистов! Долой сверхчеловеков, — крикнул Ленин. Искусство, культура — должны быть общедоступны и всем понятны. А главное —

Поэтом можешь ты не быть,
Но коммунистом быть обязан.

Новая песня? Нет, очень старая. А сейчас она, увы, поется и на Западе: в Америке появляются «кающиеся рабовладельцы» — притом из числа потомков тех людей, которые и в Америку-то приехали после освобождения негров. Появляются и другие покаянные течения — и в Америке, и на Западе вообще. Недаром даже сексуальные темы, весьма при том откровенно подаваемые, не могут отставать от общей генеральной линии — и наименовали себя «сексуальной революцией». Правда, и тут уже все так приелось, что даже откровеный показ совокупления на сцене или на экране возбуждает лишь пожатие плечами:

— Ну, и что?! — и приходится прибегать к более острым темам:

Артистом можешь ты не быть,
Но педерастом быть обязан.

Или — вариант: «Но ты садистом быть обязан».

Ново? О, нет. Социалистическо-сексуальные (с общностью жен) коммуны знала уже нигилистическая Россия 1860-х годов. Это потом, утвердившись и закрепляясь, коммунизм начинает люто преследовать за поцелуй до брака — по крайней мере, в «массовой»

литературе... Ну, а во всех шведских и прочих откровенно сексуальных фильмах герои и героини попутно проповедуют коммунизм. Ничто не ново под луною. Хиппи — повторение русских предреволюционных «огарков», только с более яркой (время-то идет вперед!) социалистической окраской. Даже немытость — повторение интеллигентской нигилистической культуры России 1860-70 годов:

Грязны, неучи, бесстыдны,
Самомнительны и едки,
Эти люди, очевидно,
Норовят в свои же предки. ...
...От скотов нас Дарвин хочет
До людей довесть средины —
Нигилисты же хлопочут,
Чтоб мы сделались скотины.

И вовсе недаром — вместо западного слова «интеллектуалы» в Европе и Америке начинает все более и более входить в употребление пришедшее из России словечко «интеллигенция». И если раньше можно было завидовать культуре Запада — ее социальной широте: от Баха — до добротнейшего Легара, от Данте — до все-таки ловко и профессионально работавшего романиста Бенуа, — то ныне беспросветная провинциальность и мертвечина советской псевдокультуры никак не компенсируется «массовой» культурой Запада. Ибо массовая культура теперь, более, чем когда бы то ни было, к культуре отношения никакого не имеет. Да и иметь не может.

Культура порождалась всегда единицами, творилась единицами — и потребителями ее, в ее высших проявлениях особенно, были очень ограниченные и чаще всего замкнутые, весьма численно небольшие группы населения. Даже меценаты часто не были подлинными ценителями культуры, а лишь рассматривали свое материальное покровительство культуре как некую социальную привилегию и некоторое самоутверждение себя, как общественной силы. Келья монастыря, замкнутый кабинет ученого, студия живописца и скульптора, зодчего или поэта — вот те узкие родники, которые питали культуру. И ученики были, в сущности, подмастерьями, все обучение было строго индивидуализированным — преемство культуры было органическим, никак не обезличенным.

Никто не говорит: начальное обучение, особенно при теперешнем уровне техники, *обязательно* должно быть обязательным. Но зачем делать почти что обязательным для всех среднее — и таким широко распространенным высшее образование? Ведь при такой *массовости* оно невольно делается обезличенным и обезличивающим. Кто не знает, что, скажем, изучение литературы в средней школе — сплошной умственый разврат, притом надолго, если не

навсегда отучающий прошедших среднюю школу читать проходивших в ней писателей: сколько людей после школы навеки закрывают для себя Пушкина и Лермонтова, Гоголя, набивших оскомину на школьной скамье! А какая школа фразерства, пустопорожней болтовни о том, чего до пути не понимают ни ученики, ни огромное количество их учителей! Ну, что может, кроме совершенно нестерпимой пошлости, написать сам средний, рядовой преподаватель средней школы на тему «Евгений Онегин, как общественный тип» или «Характеристика девушек Тургенева». А ученикам эти темы задают... Вот и приучаются и учителя и ученики к пошлейшему словоизвержению, к набившим оскомину штампам. А кончив школу человек редко-редко сам обратится к тому же Онегину или «Дворянскому гнезду» — так они навязли у него в зубах. Зато — вместе, скажем, с профессией бухгалтера или врача, инженера или биолога — человек, окончив среднюю и высшую школу, совершенно задаром, палец о палец не ударив, приобретает (в виде прибавочной стоимости, как издевался в свое время Михаил Левидов) добавочное звание интеллигента и культурного человека. А приучился он только выталкивать из себя: «Евгений Онегин и Печорин — как типы лишних людей», путая при этом, скажем, пушкинского Онегина и либретто оперы Чайковского (один искренний — и то похвально! — чудак в парижском «Возрождении» с год назад даже написал при этом, насколько «Пиковая дама» Чайковских — Петра и Модеста — глубже и трагичнее пушкинской повести). Вот и получаются в результате люди, не стесняющиеся писать о Владимире Соловьеве и религии на уровне советской истории философии или книги Берберовой: общедоступная брошюра их оплодотворила...

Разницы, в сущности, никакой: в 1910-х годах:

«Прочитали Метерлинка?»
— «Да. Спасибо, прочитал...»
— «О, какая красота!»
И хозяйкина ботинка
Взволновалась, словно в шквал.
Лжет ботинка, лгут уста...

Через почти что шестьдесят лет:

«Прочитали 'Кэнди', 'Аду'?»
— «Да. Спасибо, прочитал...»
— «Ведь следить за новым надо,
И какая красота!»
И хозяйки босоножка
Взволновалась, словно в шквал...
А читала-то немножко
Лгут румяные уста...

Нет, пока школа будет выпускать не просто *мастеров*-специалистов, а и — добавочно и задарма — давать звание интеллигентов и культурных людей, — будет все больше и больше проваливаться в небытие культура: широкое распространение общего образования и массовое производство «интеллигентов» с высшим образованием обратно пропорционально развитию культуры. Ведь любого может обескуражить такое — нередкое ныне — суждение (его я слышал от одного русского зарубежного романиста):

— Ну, к чему это ходить в картинные галереи... При теперешней технике цветной фотографии...

Было бы совершенно справедливо, если бы этот субъект говорил это про советскую официальную живопись социалистического реализма, но речь-то шла о Рембрандте и Веласкезе, Дега и Сезанне...

В опере:

— Проклятая музыка — *слушать* мешает...

Но это, так сказать, честные примитивы. А сколько нечестных суждений, слепо следующих последнему крику моды: примеров столько, что лень их приводить...

И какое количество нравственных и умственных калек плодит эта система выпуска «культурных сил» по массовому конвейеру! Ни таланта, ни подлинных знаний, ни способностей, а притязания растут непомерно, а способность к выбрасыванию готовых, заштампованных суждений приобретена и закреплена наглухо. А были бы просто хорошими специалистами — и им было бы впрок, и другим на пользу. И создавалась бы своя, посильная и в меру способностей и кругозора, но подлинная культура: ведь культура-то — понятие весьма иерархическое: нельзя говорить о единой культуре Пикассо — и Герасимова, Заболоцкого — и какого-нибудь Шолохова, Шостаковича — и Хренникова. И если бы, скажем, тот же Хренников не был сопричислен к «композиторам», а был, скажем, скромным военным капельмейстером и сочинителем песенок для эстрадных провинциальных концертов, — насколько было бы лучше и для культуры, и для самого Хренникова: ведь и зарабатывал бы больше, и себя бы уважал: хорошо делает, мол, свое дело...

Аристократизм и известная замкнутость, численная ограниченность культуры ничего общего не имеет с «сословностью» и «классовой ограниченностью». В культурном отношении и прирожденный аристократ может быть «не избранным», принадлежать к цивилизованному плебсу, и малограмотный крестьянин может принадлежать к творческой элите. Да так всегда и было. Крестьянин Клюев принадлежит к изысканнейшим творцам поэзии для немногих, сапожники Яков Беме и Ганс Закс принадлежат к вершинам немецкой мысли и поэзии, а граф Салиас и княгиня Бебутова — любимое чтение классных дам и горничных. Недаром от них ото-

шел и благороднейший человек, но плохой поэт — Великий князь Константин Константинович: его читатели тоже не выше бебутовских. И все-таки мы так привыкли к демократическим штампам «всеобщего обучения» и «культуры для народа — и всенародной», что совершенно не отдаем себе отчета в том, что Прокруст был, по сравнению с нами, просто кустарем и даже праведником: он лишь вытягивал или обрубал прохожим (а много ли их было на пустынных дорогах греческого захолустья!) слишком короткие для его кровати или слишком длинные ноги. А мы вытягиваем, обрубаем, калечим души миллионов и десятков миллионов, приноравливая их к убогому ложу наших домодельных догм и предубеждений, убивая непосредственность, самобытность, способность видеть все своими глазами.

А потом говорим об упадке культуры.

Нет, тот мешковатый пиджачек, что категорически отказался «сымать» безголовую Афродиту в Лувре, не взирая на ее красивые груди, был все-таки, по сути, культурнее ставящих в путеводителе птичку: видел такую-то статую. Пятого века. — И равнодушно проходящего дальше, чтобы навеки эту статую забыть.

— Не. У нее головы нет. Сымать не буду.

Это, по крайней мере, свое, не навязанное механически. Непосредственное. Значит, более культурно, чем:

— «Евгений Онегин, как тип лишнего человека».

**
*

И опять возвращусь к моему пиджачнику: ну, не лучше ли отказать в правах на *цельное* искусство безголовой Афродите, чем талдычить вечно о том, что в искусстве для нас ценна только *деталь*, а на *целое* наплевать с высокого дерева? А ведь так, лишь с некоторым смягчением выражений, толкуют наши современники софистикейного и полуснобистского склада. Понимаю профессионалов-художников: они всегда пристально приглядывались —
как вставлен глазок у Веласкеза;
понимаю профессионала-поэта, большого мастера —
он имеет право из всего Пастернака обратить внимание только на:
(Сейчас там ночь). За душный твой затылок.

Но мы-то, мы-то все, те, кто подходит к искусству, к культуре, к *жизни* — не *технологически*, не с точки зрения того «как сделана 'Шинель' Гоголя», — почему все мы утратили чувство, поддонное, исконное, присущее всякой живой душе чувство *целого*, стремление к *целостности* жизни, любви, веры, культуры, образа?!

Отчасти, психологически, исторически, это еще можно понять: век восемнадцатый и начало девятнадцатого, да, пожалуй, и середина прошлого века — были эпохой деспотического *монизма:* мониз-

ма философского, будь то догма материализма, спиритуализма, идеализма или критицизма; «нет Бога кроме Бога ... — и

> единой субстанцией всего и вся является *материя;*
> единой субстанцией всего и вся является *дух;*
> во всем и вся единой миродержавной силой является *идея;*
> все и вся дано лишь в моем акте *познавания*».

Монизма социально-политического с его верой во единого бога: *прогресс* и *разум,* во имя коих и должно быть построяемо *общество будущего.*

Монизма эстетического, приведшего к созданию новых эстетических *единств:* взамен прежним классическим «единству места, времени и действия» — единству *мотивации:*

> Чеховское ружье: если оно висит на стене в начале действия, то *должно* обязательно выстрелить в финале;

единству *сюжета* и единству *основного героя:* основной сюжет и основной «сквозной» герой *обязаны* быть тем вертелом, на который, как баранина, лук, помидоры и зеленый перец, нанизаны второстепенные персонажи, второстепенные сюжетные ситуации, описания природы и чувств, событий и природной или павильонной бутафории. *Роман,* как прежде *верховное* искусство прозы, *поэма,* как прежде вершинное психообразование поэзии, *большое* полотно маслом, обычно на исторический, мифологический или социально-жанровый сюжет, как владычествующее в живописи, пятиактная высокая *трагедия* и *комедия* с центральным *героем,* — все это, вместе с гегемонией философского монизма, диктаторской верой в прогресс и разум, с тиранией обязательного монизма *психологической мотивации,* ушло в небытие: остается действительным и действенным лишь в мертворожденных культурах тоталитарных государств, особенно коммунистических. Во всем остальном мире автор склонен, вслед за Мандельштамом, возглашать:

> Уничтожайте рукопись, но сохраняйте то, что вы начертали сбоку от скуки, от неуменья и как бы во сне. Эти второстепенные и мимовольные создания вашей фантазии не пропадут в мире, но тотчас же рассядутся за теневые пюпитры, как третьи скрипки Мариинской оперы, и в благодарность своему творцу тут же заварят увертюру к Леноре или Эгмонту Бетховена.

Верно, верно стократно! Уже Достоевский начисто уничтожил всякую *рассудочность* и всякую логику рациональности в построении искусства, в мотивизации поведения: никакой телеологии! Уже он уничтожил и *обязательные* единства!

Но ведь мы страстно хотим какой-то новой *увертюры* — к какому-то новому *единству.* Единству не тоталитарно-монистическому, единству *свободному* и отнюдь не рационалистическому, но — един-

ству. Мы устали и от периода дробности и распада: и мы ждем новой *оперы* — вослед за чаемой нами *увертюрой:*

— Не, она без головы: сымать не буду.

На смену Богу высокого Средневековья пришла более деспотическая, чем религия Бога, — религия Разума и Науки: стремление все и вся свести к одной формуле. На смену все-таки целостной религии Разума и Науки пришла в наши дни эпоха анархического плюрализма и *методоложества:* мы уже боимся говорить о *вещах,* — мы говорим лишь о *методологии* подхода к ним: вместо *что* только *как* («какизм» — заместо монизма прошлых лет). Даже к любви, кажется, начинают подходить методоложески.

Умер Великий Пан. Умерла — как двигатель и Идея культуры — религия Бога Живаго. Умерла и религия Разума и Науки. Мы живем в эпоху великого разброда мысли, раздробленности сознания, механизации души.

Нужна великая идея, Идея. Кое-что указывает на то, что прав был Н. Ф. Федоров: идея бессмертия и воскрешения отцов и пращуров наших перестает в наши дни казаться чистой фантастикой. Нужна какая-то новая *живая вера.* Показательны и те процессы, какие происходят, например, в католицизме наших дней. Придем ли мы к новой животворной для жизни и культуры, для жизни и искусства Великой Идее (она психологически должна быть только религиозной, ибо любая иная — социально-политическая, социально-экономическая, монистически-философская — обязательно приводит к тоталитаризму в той или иной степени, да и слишком тоща, плоска и неплодоносяща для жизни и культуры), — трудно сказать. Но пока нет *целостности* в нашем духе и в нашей душе, мы будем только вздыхать о целостности в культуре, в искусстве. Будем мечтать хотя бы об увертюре. К чему? Дай Боже, чтобы хотя бы к *сочувствию Неба* к нашей богооставленности:

Нам не дано предугадать,
Как слово наше отзовется, —
И нам сочувствие дается,
Как нам дается благодать...

ВЯЧ. ЗАВАЛИШИН

К спору о «СЛОВЕ»

В этом году исполняется 170 лет со дня опубликования «Слова о полку Игореве». И почти все эти годы вокруг него продолжается спор о подлинности или неподлинности, о том, действительно ли «Слово» — уникальное произведение древнерусской литературы, или это хотя бы и гениальная, но все же подделка, относящаяся всего лишь к XVIII веку. Сторонников одного и другого мнения было много, есть они и в наши дни и конца этому спору не видно.

Обзор дискуссии о «Слове», до двадцатых годов нашего столетия, содержится в труде профессора М. И. Успенского — «Происхождение Слова о полку Игореве и Тмутараканского камня».[1] Труд этот, написанный еще в 1925 году, из-за советских цензурных условий сорок лет оставался в рукописи и был мало кому знаком; только в 1965 году, в Париже, его опубликовали, с параллельным французским текстом и комментариями, ныне уже покойный известный французский славист Андре Мазон и Мишель Лоран. Успенский, отметив, что рукопись «Слова» никому не была известна, кроме Мусина-Пушкина и его окружения, писал:

«Относительно Слова о полку Игореве существует такая богатая литература, что сказать о нем что-либо новое в настоящее время чрезвычайно трудно, если только возможно, и автор настоящего очерка не претендует сказать новое, но имеет в виду лишь дать новую постановку вопроса о происхождении «Слова», осветив политические и общественные условия, при которых оно появилось в XVIII веке ... Большая часть этой литературы посвящена толкованию «Слова» и догадкам о первоначальном его тексте, вопрос же о подлинности остается до сих пор невыясненным».[2]

---

[1] См. „Queques donneés historiques sur le Slovo à Igor et Tmutorakan". Paris, 1965. Предисловие к работе Успенского, на французском языке, написал проф. А. Мазон.

[2] Эти слова М. И. Успенского приведены в рецензии А. Л. Дмитриева на вышедшую в Париже книгу, в журнале «Русская литература», 1966, № 2, стр. 241.

Таким положение пребывает и до сих пор: в истекшие десятилетия никто из спорящих к ответу не приблизился. И очевидно целиком справедливым остается давно уже высказанное мнение, что только нахождение нового списка «Слова о полку Игореве», независимо от его датировки, могло бы дать убедительный материал для окончательного и неоспоримого решения.

Это обстоятельство, естественно, сильно ограничивает возможности исследований как сторонников, так и скептиков подлинности «Слова». Но остается еще достаточное поле для выяснения и уточнения многих деталей ведущейся дискуссии — на некоторых из них я и хочу остановиться в этом моем очерке. В споре о «Слове» многое привлекает внимание, в том числе и потому, что и советские, и некоторые иностранные ученые по тем или иным причинам предпочитают не касаться отдельных сторон вопроса, хотя они, при тщательном исследовании, возможно, расширили бы наши знания о «Слове».

Профессор Андре Мазон, талантливый французский ученый, очень много сделавший для обогащения этих знаний, принадлежал как известно к числу наиболее упорных скептиков, из наших современников. Он считал «Слово» творением не раньше последней четверти XVIII века. Не случайно он придавал такое большое значении и труду Успенского, видя в нем одного из своих предшественников и единомышленников. Кроме того, труд этот как бы опровергал мнение о том, что скептики весьма продолжительное время находились в состоянии анабиоза.

Как и другим скептикам, проф. Мазону не удалось привести таких доказательств создания «Слова» в XVIII веке, которые противники скептиков не могли бы поколебать или опровергнуть. При этом он тоже уклонялся от рассмотрения тех доводов противников, которые не подходили его взглядам и разрушали построенные им схемы. Так, косвенным доказательством подлинности «Слова» может служить сравнение его с памятниками древнерусского зодчества, со старинными иконами, а также с дошедшими до нас древнейшими образцами художественных ремесел.[3] В 30-х годах, когда я был студентом и учился у академика А. С. Орлова, однажды он роздал нам для семинарских занятий перевод одной статьи Андре Мазона, позднее, в переработанном виде, ставшей главой его книги. В статье Мазон писал, из каких элементов создано «Слово»:

«Сюжет идет от Летописей, по крайней мере Лаврентьевской, и, без сомнения, через И с т о р и ю Татищева — от редакции типа Ипатьевской. З а д о н щ и н а в позднем изводе послужила автору основным об-

[3] Эта тема затронута в исследовании С. Воронова: «Слово о полку Игореве и древнерусское искусство». См. сборник «Слово о полку Игореве — памятник XII века». Изд. Академии наук СССР, М.-Л., 1962 г.

разцом для трактовки сюжета; некоторые детали были ему предоставлены древнерусскими Дигенисом и, может быть, Акиром Премудрым, которые оба находились в том же сборнике, что и «Слово», может быть также и с другими старинными текстами. Первая часть произведения обязана этим рукописным источникам известной верностью выражения и наиболее яркими из своих достоинств.

Затем в рамки исторического рассказа неуклюже включились «массовые добавления», пристройки, которые искусственно продолжают его развертывание вместо существенного пополнения; вторая часть не имеет другого содержания.

Яркий контраст существует между тем, что идет от образца, и тем, что оказалось прибавленным — между чужим добром, слабо измененным, и тем, на что автор был способен, будучи предоставлен своим силам. Начало произведения может местами вызвать иллюзию, несмотря на свои модернизмы и темноты (неясности), обязанные неловкости подражателя выражаться древним языком (старыми словесы). Но начиная с того момента, когда автор не имел более образца, чтобы опереться, его текст не что иное, как риторика, несвязность и потемки, и читатель чистосердечно отказывается принять его всерьез».[4]

Внимательно разобрав это место статьи Мазона, включая то, что он считал добавлениями, я пришел к заключению, что, несмотря на обладание острым, наблюдательным глазом, ему не только не удалось отвести «Слово» в XVIII век — он, наоборот, еще больше приблизил его к XII столетию. И вот почему: если обратиться к известным памятникам древнерусской архитектуры, XII века, то мы убедимся, что почти все они состоят из ряда пристроек («добавлений»), сращенных друг с другом. Таков Софийский собор в Киеве, таков и Софийский собор в Новгороде, как и Троицкий собор в Пскове; таким по-видимому был и Боголюбовский дворец; даже поразительный по чистоте и стройности архитектурных линий храм Покрова на Нерли — и он состоит из пристроек, гармонически соединенных вместе. По такому же в сущности принципу построено и «Слово о полку Игореве». Если угодно, это именно созвездие «пристроек», соединенных друг с другом необыкновенно смело и с большим совершенством, выдающим в авторе древнерусского литературного памятника бесподобного зодчего образа и слова. Притом методы, с помощью которых автор «Слова» соединяет словесные пристройки в единое целое, во многом сходны с тем, как строители древнерусских храмов соединяли в единое свои каменные пристройки. То же самое, вероятно, относилось и к деревянному зодчеству той поры, от которого до наших дней ничего не дошло. Если же

[4] А. С. Орлов. «Слово о полку Игореве». Изд. Академии наук СССР, М.-Л., 1946, стр. 210-211.

обратиться к зодчеству более поздних эпох, то там найдем уже иные способы сооружения храмов.

Тогда же я высказал мысль, которую целиком поддержал академик Орлов, что литератор XVIII века никак не мог бы повторять зодчих XII века хотя бы потому, что первозданный облик ряда древнерусских храмов XI-XII вв. был восстановлен учеными гораздо позже, в XIX-XX столетиях. Автор же «Слова» потому и повторял древних зодчих, что он сам творил в ту же эпоху. Конечно, это лишь косвенное указание на подлинность «Слова о полку Игореве», но оно имеет существенное значение и его, по-моему, игнорировать невозможно. Андре Мазон знал о нем, но оно не соответствовало его построению и поэтому он прошел мимо этого указания, как, впрочем, и некоторые другие скептики — и в их числе может быть наиболее энергичный из них, из наших современников: советский историк профессор А. А. Зимин.

Андре Мазон еще испытывал некоторые сомнения и колебания в вопросе, кого считать главным автором «Слова»? У Зимина колебаний нет: он твердо уверен, что «Слово о полку Игореве» написано архимандритом, проповедником и богословом Иоилем Быковским и использовано Мусиным-Пушкиным для мистификаторских целей (позднее Зимин стал обнаруживать соавторов Быковского). Зимин проделал огромную работу по изучению малоизвестной или совсем неизвестной русской литературы XVIII века; он исследовал и то, что несколько десятилетий, после революции, оставалось в тени или даже под запретом: проповедь и писания богословов того времени. И именно сопоставление «Слова» с этими проповедями и писаниями привело Зимина к твердому убеждению, что «Слово о полку Игореве» — их вершина и, следовательно, оно было создано во второй половине, скорей всего, в последней четверти XVIII века, что Зимин считает наиболее вероятным.

Результаты своих исследований А. А. Зимин изложил в обстоятельном труде, который однако пока остается ненапечатанным: очевидно, власти предержащие считают его политически невыгодным, во всяком случае таким, на который тратить бумагу не следует. Но, по слухам, труд этот был размножен в небольшом количестве экземпляров на мимеографе, — очевидно по нему были сделаны потом более или менее подробные конспекты, с одним из которых я имел возможность ознакомиться года два назад здесь, за рубежом. Зимин человек не только с очень большими познаниями, способный мыслить смело и независимо: он еще и необыкновенно энергичный и напористый ученый, благодаря чему он не раз выступал с защитой своих взглядов. В 1964 году Институт истории Академии наук провел обсуждение концепции Зимина о позднейшем происхождении «Слова», — в нем приняло участие больше тридцати наиболее видных специалистов. В 1966 году он выступил со статьей о «Сло-

ве» в журнале «Русская литература»; в 1967 году напечатал еще статью на ту же тему в журнале «Вопросы литературы». Наконец, в 1968 году — в журнале «Вопросы истории». И во всех случаях его теории встретили решительное осуждение со стороны крупных специалистов; «за», полностью или частично, высказалось лишь несколько человек. Зимин, конечно, последнего своего слова не сказал и, полагаю, он выступит еще не раз, защищая свою точку зрения о позднем происхождении «Слова о полку Игореве».

Зимин — историк. Вполне естественно поэтому, что в дискуссиях со сторонниками раннего происхождения «Слова» он чаще всего оперирует данными исторического порядка, где в ряде случаев превосходит своих противников и познаниями, и смелостью обобщений. И многие специалисты нашли в Зимине опасного и серьезного противника именно как в историке. Однако горячность и азарт Зимина заставляют его время от времени попадать впросак как раз в истории — и такие ученые, как археолог Арциховский, историки Рыбаков, Лихачев, Кузмин и другие в подобных случаях всякий раз опровергали Зимина.

Приведу один пример, — по-моему, в печати он опубликован не был, я же слышал его от югославских литературоведов, рассказывавших об одной из дискуссий о «Слове» в Москве. Зимин выразил удивление тем, что Ярославна печалится о судьбе плененного половцами мужа, тогда как горевать она должна была бы о судьбе сына. Это представлялось Зимину нелепостью, оплошностью автора, — он говорил, что Иоиль Быковский, монах и поэтому бездетный, просто не догадался, что Ярославна должна была помнить прежде всего о сыне. Этим утверждением Зимин поставил себя под большой удар. Ему возразил Л. Н. Гумилев, глубокий знаток ориенталистики. Он разъяснил, что половцы, как и некоторые другие кочевые народы, жизнью плененных княжеских сыновей дорожили больше, чем жизнью их отцов. Княжича можно опутать красной девицей, — князь вряд ли попадет в такие сети. С княжичем можно договориться, выговорить у него выгодные для себя условия, — князь на сговор если и пойдет, то с превеликим трудом. Так в сущности и получилось в «Слове о полку Игореве»: князь бежал из плена, — а его сына женили на ханской дочери. Ярославна, естественно, знала половецкие нравы — и она тужила о соколе, понимая, что соколенок в меньшей опасности.

Как и Мазон, Зимин тоже склонен не замечать ранее проделанных исследований, не согласующихся с его мнениями. Так, он обходит стороной крайне важное исследование К. Н. Бестужева-Рюмина о составе русских летописей до конца XIV века, опубликованное в IV выпуске «Летописи занятий Археографической комиссии» за 1868 год. Бестужев-Рюмин выразил уверенность в том, что автор «Слова» был отлично знаком с документами и материалами то-

го времени. Историю он знал не только по отечественным, но и по византийским и, возможно, по варяжским источникам. Но для того, чтобы воспеть неудачный поход Игоря, автор «Слова», по мнению Бестужева-Рюмина, не нуждался в современных ему летописных описаниях этого похода. Вероятнее всего, он пользовался сведениями или непосредственых участников похода, или же тех своих современников, которые беседовали с участниками и много знали от них досконально.

Вот к таким соображениям Зимин обращается крайне неохотно — и понятно, почему: если признать, что у автора «Слова» был контакт с участниками событий, то все так тщательно возведенное построение Зимина рушится. Это увидели такие его противники как Б. А. Рыбаков и Д. С. Лихачев: они упорно и настойчиво разбивали доводы Зимина, реставрировав взгляды Бестужева-Рюмина и приведя их в соответствие с новейшими археологическими изысканиями. И в результате то, что Зимин считает ошибками и неточностями в «Слове о полку Игореве», на деле оказывается сведениями очевидцев и участников похода.

Без большой охоты упоминает А. А. Зимин и о взглядах на «Слово о полку Игореве» профессора И. П. Еремина, — они историка тоже никак не устраивают. И. П. Еремин рассматривал «Слово» как скорее памятник древнерусского красноречия, находя, что оно представляет собой как бы сплав проповеди с речью воеводы или князя, обращенной к дружинникам, причем речь эта должна была звучать предостережением. Еремин очень тщательно сопоставлял «Слово» с древнерусской проповедью XI-XIII веков, убедительно показывая их духовное и формально-эстетическое сходство. А подлинность этих проповедей вне сомнения. [5]

Зимин считает чудовищной натяжкой, гомерическим преувеличением мнение, что в «Слове» содержится протест против раздробления Руси на удельные княжества и междоусобиц: он думает, что тоска по единению Руси для отпора общему врагу не так уж в «Слове» сильна. Еремин был диаметрально противоположного мнения: голос автора «Слова», слившего воедино проповедь и предостережение военачальника, он уподоблял могущественному звуку боевого рога, не умолкавшего двести лет, до битвы на поле Куликовом. Автор «Слова», считал Еремин, видел, что Киевская Русь сыграла свою роль и ему было больно, что новый центр русских земель переместится вглубь России, — Еремин находил, что призыв к единению, ради которого было написано «Слово», опередил русскую историю на двести лет. Именно поэтому авторы древнерусских про-

[5] И. П. Еремин. «История древнерусской литературы». Курс лекций. Изд. Ленингр. университета, 1967, глава о «Слове».

изведений Куликовского цикла и восприняли «Слово о полку Игореве» как предтечу, исполненного пророческой силой.

Многие противники скептиков считают, что Зимин бессилен разбить эти положения профессора Еремина и поэтому неохотно обращается к ним.

Взгляды профессора Еремина, несмотря на их обоснованность, все же остаются тоже только гипотезой, к тому же содержащей, по-моему, большие преувеличения. Так, сплав проповеди с предостережением воеводы составляет лишь часть «Слова», хотя бы и значительную. Но если преувеличения устранить, это еще более выявит необоснованность суждения Зимина о том, что в «Слове» нет большого и серьезного протеста против раздробления русской земли. И можно вполне разделять утверждение Еремина, что автор «Слова» на два столетия опередил свою эпоху. Все то, что Еремин называет «красноречием», «проповедью», пронизано провидческой убежденностью в том, что рано или поздно Русь осуществит идею единения, так как это для нее историческая необходимость. В этом и надо видеть историософский смысл «Слова о полку Игореве», в этом философия истории в понимании и провидческих озарениях автора «Слова».

Повторяю, Зимин склонен замалчивать неподходящие ему гипотезы и взгляды. Доказывая например, что архимандрит Иоиль Быковский — подлинный автор «Слова о полку Игореве», он исходит из признания Мусина-Пушкина, что Быковский продал ему сборник, в состав которого входило «Слово». При этом он игнорирует тот факт, что еще Полевой предполагал, что Мусин-Пушкин приобрел сборник со «Словом» не у Быковского, а в небольшом монастыре на реке Черехе, Псковской губернии. Наблюдение Н. М. Каринского, убежденного в псковском происхождении сборника, в той или иной форме связано с этим же предположением. [6]

Почему же Мусин-Пушкин мог дать неверное указание, откуда он добыл сборник со «Словом»? Однако известно, что многие собиратели старинных рукописей утаивали истинные источники приобретения, чтобы не навести своих соперников на верный след. Мусин-Пушкин в этом смысле мог не составлять исключения. Могло сыграть роль и то, что Мусин-Пушкин считал, что памятники древнерусской письменности должны быть доступны ученым для свободного изучения и не лежали бы мертвым грузом в монастырских или церковных хранилищах. Известно, что из-за этого у Мусина-Пушкина не раз были конфликты с высшим духовенством. И нет ничего невозможного в том, что он назвал Быковского, а не мона-

[6] См. Л. Творогов, «Новое доказательство псковского происхождения непосредственного оригинала мусин-пушкинского текста Слова о полку Игореве». Псковиздат, 1949.

стырь на реке Черехе потому, что не хотел обострять эти конфликты.

Но Зимин обходит предположение Полевого стороной, ибо это сразу же ставит под удар его гипотезу об архимандрите Иоиле как настоящем авторе «Слова».

Полного единодушия в том, когда и где было написано «Слово», нет ни среди сторонников его подлинности, ни среди скептиков. Правда, большинство скептиков считает, что «Слово» было написано в последней четверти XVIII века и, по всей вероятности, в белокаменной Москве, которая и в петербургский период русской истории осталась сокровищницей древнерусской культуры. Только отдельные скептики отодвигали «Слово» в XVII столетие.

Из сторонников подлинности «Слова» многие признавали, что «Слово о полку Игореве» — памятник XII века. Но и они не сомневались в том, что Мусин-Пушкин, Бантыш-Каменский и Малиновский имели в своем распоряжении рукопись XVI столетия. При этом одни полагали, что эта рукопись — южнорусского происхождения, другие — что сборник с последним изводом «Слова» составлялся в Пскове. Такого мнения придерживался Н. М. Каринский. Наконец третьи считали, что сборник переписывался в Новгороде, — в этом, в частности, был убежден академик С. П. Обнорский. [7]

Обращает на себя внимание, что в дискуссии по этому вопросу, в последнее время, почему-то почти не упоминается мнение профессора А. С. Мадуева, из Ленинградского университета, — в его семинаре по истории русского языка я занимался в 30-х годах. А мнение его представляется значительным. А. С. Мадуев предполагал, что «Слово» в сборнике XVI века состояло из трех временных слоев и в этом смысле напоминало старинную, почитаемую икону, которая в течение ряда столетий не раз подновлялась изографами. Древнейший слой «Слова», считал Мадуев, относится к XII веку, затем оно было переписано, по-видимому, все же в Новгороде, о чем свидетельствует его второй слой, относящийся скорее всего к XIV веку, на который, между прочим, обращал пристальное внимание академик Обнорский. Наконец псковский переписчик, возможно, создал третий слой «Слова», обнаруженный и исследованный Н. М. Каринским.

Профессор Мадуев говорил, что если бы современные исследователи имели сборник, которым пользовались Мусин-Пушкин и его «дружина», то время и место происхождения «Слова» можно было бы установить более или менее точно. Таких рукописей с временными наслоениями текста имеется довольно много. Вся беда, говорил Мадуев, в том, что печатное издание «Слова о полку Игореве»,

---

[7] С. П. Обнорский. «Очерки по истории русского языка старшего периода», см. заключительную главу. Изд. Академии наук СССР, 1946.

как и екатерининская копия, осложнены соскальзыванием в орфографию XVIII столетия, — именно эти соскальзывания и вдохновляют скептиков. И отсутствие сборника не дает исследователю возможности отделить три слоя подлинной старины от таких соскальзываний.

Вопрос еще больше осложняется особенностью развития русской письменности и литературы в XVIII столетии. Все мы знаем, что это была эпоха европеизации русского языка и литературы. Но рядом существовал и церковно-славянский язык, доведенный богословами и проповедниками до полного отличия и от складывавшегося литературного, и от живого разговорного языков. Были же иерархи, стремившиеся к тому, чтобы церковно-славянский язык в православной церкви был уподоблен латинскому языку в церкви католической.

Но во второй половине XVIII века создался и третий путь: путь сохранения и обновления древнерусской литературы. На этом пути возникали большие возможности для всяческого рода реставраций, стилизаций, преображений. Этот третий путь развития русского языка и русской литературы в XVIII веке остался недостаточно исследованным, — профессор Зимин и входит в число тех немногих ученых, которым принадлежит честь устранения многих белых пятен на карте русской культуры того времени. К уверенности в том, что «Слово о полку Игореве» написано в XVIII столетии, Зимин пришел именно в результате изучения неизвестного или малоизвестного материала, относящегося к русской литературе и языку той эпохи. Но, как уже говорилось, его доводы встретили такие веские возражения со стороны других ученых, что силу доказательства они не приобрели.

Приведу, в виде отдельного примера, один из фактов, ярко показывающий шаткость гипотез как Мазона, так и Зимина, — приписку к псковскому «Апостолу» XIV века, сделанную безвестным писцом Диомидом. На последнем листе пергаментного «Апостола», писанного полууставом начала XIV века, есть краткие заметки Диомида, — в них содержится и текст, почти дословно повторяющий одно место в «Слове о полку Игореве», примененный Диомидом для других целей. Эти приписки были обнаружены еще в 1813 году ученым К. В. Калайдовичем и убедили его в подлинности «Слова». То, что псковский пергаментный «Апостол» памятник XIV века — бесспорно. Значит, «Слово» было известно в самом начале XIV века — и попытки Зимина опровергнуть или поколебать этот факт были признаны несерьезными. [8]

[8] Анализ псковского «Апостола» 1307 года можно найти в работе В. Адриановой-Перетц: «Было ли известно Слово о полку Игореве в начале XIV века». «Русская литература», 1965, № 2, стр. 149-153.

Эта приписка к «Апостолу» напоминает нам о мнении Мадуева, считавшего сборник со «Словом» новгородским изводом, относящимся к XIV столетию. Но, повторяю, мнение Мадуева почему-то остается без внимания.

Хочу остановиться на мнении еще одного скептика, тоже нашего современника, — профессора Всеволода Николаева, который, до своего ухода из Болгарии, был директором Института истории болгарской Академии наук. По поводу происхождения «Слова о полку Игореве» им написан большой труд, но он еще не опубликован. Однако о его теориях можно судить по курсу лекций, прочитанных проф. Николаевым в созданном им эмигрантском Институте славяноведения.

В этих лекциях В. Николаев подробно останавливался на той вакханалии подделок и мистификаций, которая, по почину Макферсона, захватила в XVIII веке Европу, не миновав и славянские страны, включая Россию. В России процветали такие мистификаторы и палеографические «фальшивомонетчики», как Сулакадзев, Бардин и другие. В бумагах Мусина-Пушкина был даже обнаружен поддельный список «Слова о полку Игореве», всученный ему или его сотрудникам Бардиным. Говорил Николаев и о чешском мистификаторе Вячеславе Ганке, блестяще подделавшем краледворскую рукопись и выдавшем фальшивку за старинный письменный памятник. Любопытно, что проф. Сенковский, одним из первых разоблачивший Ганку, тогда же стал сомневаться и в подлинности «Слова»: ведь не напрасно, считал он, Ганка так энергично защищал эту подлинность.

По мнению Николаева, «Слово о полку Игореве» — апофеоз славянских мистификаций и подделок. Он считает его действительно гениальным произведением, которому честь и место в великой русской литературе, — но он относит его не к XII, а к самому концу XVIII века.

Это произведение, говорит проф. Николаев, — великолепная мозаика, составленная с редким совершенством литературно одаренным и всесторонне образованным человеком, либо даже группой людей. Составлена она из многогранного материала, но так, что отдельные ее части гармонично подогнаны друг к другу. Тут и отрывки из летописей, из былинного эпоса, из русских исторических песен, — тут же и отрывки из «Песни о Роланде», из «Оссиановых песен» Макферсона (один мистификатор учится на опыте другого), и из других памятников средневековой литературы. Влиянию литератур Запада на «Слово» проф. Николаев уделяет исключительное внимание.

Кто же мог быть таким мистификатором? Николаев считает: только Н. М. Карамзин и никто больше. Только он, сочетавший незаурядное литературное дарование с огромными историческими по-

знаниями и знанием западной средневековой литературы, мог оказаться подлинным автором «Слова о полку Игореве». Карамзину, по мнению Николаева, помогали Бантыш-Каменский и Малиновский. Николаев даже составил подробную карту поездок Карамзина по европейским городам с их книгохранилищами, в которых Карамзин мог работать, делая поэтические заимствования для своей бесподобной мозаики, именуемой «Словом о полку Игореве».

Я подробнее коснулся мнения проф. Николаева потому, что оно в России мало известно. Надо, конечно, подчеркнуть, что и оно остается гипотезой, поддающейся опровержению. Может быть наибольший камень преткновения для его исследований — скандинавская, варяжская теория, о которой я еще буду писать в конце. [9]

Пока же я хочу коснуться еще некоторых моментов в дискуссии о «Слове». Один из них вытекает из того, что сопоставление этого произведения со смежными видами древнерусского искусства вплотную подводит к проблеме двоеверия в «Слове». Перед нами две религии: христианская и предшествовавшая ей языческая. Советские ученые накопили некоторый дополнительный материал и о язычестве дохристианской Руси, и о раннем ее христианстве. Но дискуссия о «Слове» как раз и обнаруживает, что обе стороны как бы стесняются или боятся использовать этот материал. Объясняется это, возможно, тем, что среди исследователей «Слова», выдвинутых новыми поколениями, есть высококвалифицированные, выдающиеся литературоведы, искусствоведы, историки, но нет ни хорошо подготовленных объективных историков религии, ни религиозных мыслителей. И поэтому проблема двоеверия в «Слове» остается разработанной неполно и односторонне. [10]

В свое время и в Советском Союзе, и на Западе ученые с большим интересом отнеслись к редкому открытию археолога Седова, обнаружившего местонахождение капища Перуна у озера Ильмень и истоков Волхова, примерно в пяти километрах от Новгорода. Ученому удалось даже проследить, каким путем тащили Перуна,

---

[9] Обстоятельная работа проф. В. А. Николаева по-видимому все же встревожила советских литературоведов. Так, Л. А. Дмитриев дважды выступал со статьями об отношении Н. М. Карамзина к «Слову о полку Игореве», — см. «Труды отдела древнерусской литературы». ИРЛИ АН СССР, том XVIII, 1962, стр. 36-49; затем статью в сборнике «Слово о полку Игореве — памятник XII века». Не называя В. А. Николаева, Дмитриев энергично опровергает предположения, что Н. М. Карамзин мог быть если не автором, то хотя бы соавтором «Слова». В его статьях также чувствуется опасение возможности защиты им варяжской теории.

[10] Едва ли не единственное исключение — объективная статья проф. В. Л. Комаровича «Культ рода и культ земли в княжеской среде XI-XIII вв.» в книге «Очерки истории СССР. Период феодализма IX-XV вв.» Том I, издание Академии наук СССР, 1953.

чтобы сбросить в воду. Как установил Седов, капище Перуна имело форму цветка.

Языческие божества в «Слове о полку Игореве» теснейшим образом связаны с природой, они ее неотъемлемая часть. Послушайте, в русском переводе:

«Див кричит на вершине дерева, велит прислушаться земле неведомой, Волге и Поморью и Посурью, и Суражу, и Корсуню, и тебе, тьмутараканский идол... Поднялась обида в силах даждь Божьего внука, ступила девою на землю Троянову, восплескала лебедиными крыльями на Синем море, у Дона, плеская, прогнала времена обилия...» [11]

Кажется, что автор «Слова» глядит на русскую природу из языческих капищ, которые всем своим внешним видом повторяли природу, как бы перевоплощались в ее формы.

Советский ученый Юрий Лотман говорил, что наши представления о пантеоне языческих божеств дохристианской Руси несколько изменились в связи с археологическими находками последнего времени. И в свете этих изменений трудно, пожалуй даже невозможно поверить, что в XVIII веке можно было верно постичь языческую стихию «Слова». [12]

Его относят к XII веку, а Русь приняла христианство в IX веке — всего на триста лет раньше. Срок небольшой и корни языческой религии в русском народном сердце были еще очень крепки. И если автор «Слова» — высокообразованный для того времени художник, то его отношение к природе все же выдает в нем человека, который не может порвать с глубоко укорененной в нем языческой стихией, оказывающей большое воздействие на его поэтическое миросозерцание. Временами ему даже кажется, что языческие божества мстят Руси за то, что она не только отвернулась от них, но еще и осквернила их. И тем не менее автор — с христианством, с его человечностью, с его спасительной, жизнеохраняющией силой, которой языческая стихия лишена. Может даже создаваться впечатление, что автор «Слова» как бы сопоставляет обе религии, сталкивает между собой их достоинства и недостатки. Во всяком случае само сопоставление языческой стихии с христианством характерно для человека, для которого христианство еще сохраняет свою изначальную новизну, как явление еще не установившееся, но со всем правом победоносно утверждающее себя.

Можно ли назвать это действительно двоеверием? По-моему, если это двоеверие, то двоеверие христианина, ощущающего обре-

---

[11] А. С. Орлов. «Слово о полку Игореве». Изд. Академии наук СССР, М.-Л., 1946, стр. 79 и 80-81.

[12] Ю. М. Лотман. «Слово о полку Игореве и литературная традиция XVIII — начала XIX в.» в сборнике «Слово о полку Игореве — памятник XII в.», М.-Л., 1962.

ченность язычества, от привязанности к которому и от преклонения перед которым он еще не может освободиться. И вот советские ученые не решаются говорить об изначальной новизне христианских мотивов в «Слове», тогда как именно это могло бы существенно помочь решению вопроса о его происхождении.

Даже в ритмической структуре «Слова» видно соревнование языческих и христианских элементов, хотя с абсолютной точностью установить ритмическую структуру этого произведения невозможно. Но и попытки в этом направлении приносят несомненную пользу. Известна, например, ценная, хотя частично и спорная работа Корша. Менее известна попытка М. Северского, исполнителя и аранжировщика народных песен, одно время выступавшего вместе с Ольгой Ковалевой. Его предположения интересны тем, что они опять-таки выявляют изначальную новизну христианских мотивов в «Слове». Когда фольклорист и историк древнерусской литературы А. И. Никифоров подготовлял докторскую диссертацию о «Слове», которое он чуть ли не целиком относил к фольклору, находя, что оно почти все построено на одноопорном речитативе, Северский в собеседовании специалистов с Никифоровым нашел его подход крайне односторонним. По мнению Северского одноопорный речитатив, восходящий к фольклорной ритмике, это только один из элементов сложной ритмической структуры «Слова» и не видеть другие элементы ее значит обеднять ритмику памятника и умалять его формально-эстетические достоинства. Северский доказывал, что в «Слове» есть мотивы, близкие к более древнейшим, чем самые из архаических вариантов знаменного распева.

Северский утверждал, что «Слово» содержит гораздо более древние звучания, чем соответствующие дошедшим до нас крюковым нотам XVI столетия. Но и эта исконно церковная стихия составляет лишь один из мелодических элементов «Слова», упущенных из виду профессором А. И. Никифоровым. Северский соглашался, что в «Слово» входят мотивы дружинных, воинских песен, причитаний, заклинаний и, по-видимому, древнейших лирических песен, до нас не дошедших. Несохранившиеся протографы различных вариантов знаменного распева, использованные, по мнение Северского, в XII веке автором «Слова», как бы облагораживают фольклор. В этом смысле автор «Слова» может быть уподоблен ювелиру, который превращает крупный алмаз в драгоценный бриллиант.

Точку зрения Северского оспаривали — и прежде всего оспаривал ее тот же Никифоров. Он считал немыслимым, чтобы древнейшие стили знаменного распева, то есть церковные мотивы, могли переноситься на светскую почву, с еще невыветренными языческими запахами. Северский, возражая, напомнил, что человек, молившийся в храме XII столетия, иначе воспринимал церковную музыку, чем православный христианин позднейших веков. Для него цер-

ковная музыка еще не была чем-то извечным, занимающим господствующее положение. Для его слуха она еще была новой и свежей и именно поэтому он мог сопоставлять ее и даже контаминировать с языческой музыкальной стихией.

По-своему отстаивая подлинность «Слова», Северский предложил эксперимент, показавшийся одним дерзновенным, другим фантастическим: что он сам исполнит «Слово» под аккомпанемент старинных гуслей, — Северский великолепно играл на старинных вымерших или вымирающих инструментах. С исполнением «Слова» он выступил несколько раз; одно его выступление, правда, не полностью, было передано по Всесоюзному радио. Я лично слушал Северского трижды. Допускаю, что это был крайне оригинальный и может быть слишком экстравагантный, даже фантастический подход к исполнению «Слова», но впечатление осталось незабываемым: казалось, что Северский совершал какое-то странное богослужение, которое во второй части неожиданно переходило в фанатичную проповедь. И именно сочетание знаменного распева с фольклорными мотивами вызывало особое чувство, заставлявшее слушавших решать: такое нельзя создать в новые времена, это можно обнаружить лишь в глубине веков как драгоценный клад.

Остановимся немного еще на проблеме взаимодействия фольклорных и литературных элементов в «Слове», которую современные советские и скептики, и сторонники подлинности решают упрощенно и односторонне. Это относится в той или иной мере ко всей древнерусской литературе. Академик Орлов говорил:

«Дико у нас получается: все, что хорошо, что идеально — это фольклор; все, что витиевато, выспренне, все, в чем чувствуется книжная риторика — это древняя литература. Вот и выходит, что сказитель, народный певец, рапсод — это художник, роль же литератора сводится к роли не то переписчика, не то чинуши, который видит смысл творчества в риторическом плетении словес. Против этого решительно возражаю: древнерусская литература, даже если ее рассматривать в отрыве от фольклора, имеет свою систему образов, свой ритм, свою поэтику. Автор «Слова» был гениален; авторы «Задонщины» и сказаний Куликовского цикла находятся где-то посередине между талантом и переимчивой посредственностью».

Кроме Орлова, проблему взаимодействия литературных и фольклорных элементов в «Слове о полку Игореве» глубоко и интересно решает в своих зарубежных исследованиях Р. О. Якобсон. [13]

Каков бы ни был удельный вес в «Слове» фольклорных элементов, они в нем всегда подчинены элементам собственно литературным и следовательно находятся под контролем древнерусской поэтики. Советские исследователи однако часто раздувают роль

[13] R. Jakobson. Selected writings IV Slavic epic Studies the Haque. Paris, 1966.

фольклорных элементов в «Слове», преувеличивают их значение, в то же время принижая и дискредитируя собственно литературные элементы, что лишает возможности проводить всестороннее исследование «Слова», путем помещения его в один ряд с другими памятниками древней литературы.

Притом и защитники подлинности «Слова», и скептики в Советском Союзе злоупотребляют пресловутым принципом «коллективного творчества» в отношении к фольклору и отчасти к древнерусской литературе. В свете этого принципа, разнообразные формы фольклора создавались не одним творцом, а поколениями, если можно так сказать, сосказителей. Что же касается древнерусской литературы, то первоначальные варианты ее самых значительных памятников обрастали совариантами.

Я еще застал те времена, когда фольклорист Ончуков находил в себе мужество называть принцип коллективного творчества фикцией, абсурдом. По мнению Ончукова, надо учитывать: 1. Обязательную и непременную индивидуальность первичного созидания, — скажем, каждая былина имела свой архетип, свой исконный вариант, который создавался определенным лицом. Иначе говоря: почти все формы фольклора в незапамятные времена были индивидуальными художественными произведениями, имевшими своих творцов. 2. Ни в коем случае нельзя ставить знак равенства, что было бы грубейшей ошибкой, между коллективным хранением и коллективным творчеством. Все многообразие форм русского фольклора в течение столетий хранилось и оберегалось поколениями сказителей, — это был именно процесс коллективного хранения, но не коллективного творчества. 3. В процессе коллективного хранения допускалась индивидуальность исполнения, то есть сказители, воспринимая исконное, устойчивое, добавляли к нему что-то новое, свое, хотя и далеко не все. Но индивидуализация исполнения никому не может дать права отрицать существование архетипа.

Ончуков вовремя напал на принцип коллективного творчества: тогда, в конце 20-х и в начале 30-х годов, он готов был целиком восторжествовать и вульгарные социологи уже доказывали, например, что сказки Пушкина — это коллективное творчество самого поэта и няни Арины Родионовны с ее безвестными предтечами. Тогда же началось и стремление распространять принцип коллективного творчества на древнерусскую литературу. Против этого решительно выступали А. С. Орлов, И. П. Еремин, С. П. Обнорский, А. С. Мадуев и другие, — благодаря их усилиям «принцип» этот был несколько ослаблен и решающего влияния на изучение древнерусской литературы тогда не оказал.

Однако получилось так, что в дискуссии о «Слове» скептики применяли его, — а сторонники подлинности «Слова» возражали им недостаточно энергично, по-видимому из боязни, что это могло

бы вызвать нежелательный политический резонанс. И боязнь их была очень обоснованной: ведь совсем недавно, всего несколько лет назад, К. Чистов на международном съезде славистов в Софии заявил, что принцип коллективного творчества в Советском Союзе остается главным для изучения фольклора и древнерусской литературы. Но если так, то вопрос о подлинности «Слова» еще более осложняется, потому что в таком случае оказывается второстепенным, кто именно создал это необыкновенное произведение. Сторонники подлинности говорят, что оно создано высоко одаренным человеком и что именно его неповторимая индивидуальность придала «Слову» целостный характер. Если даже принять мнение, что «Слово» было несколько раз переписано, — в XIV веке в Новгороде, затем в XVI веке в Пскове, — все равно чувствуется, что переписчики не нарушили эту цельность, хотя бы и внося своей работой некоторые изменения в архетип. Обнорский, например, говорил, что автора «Слова» можно узнать по его творческой манере так же, как иконы Рублева и его школы мы, по этому же признаку, сразу отличаем от сотен других. В дискуссии же о «Слове» эта целостность затушевывается, смазывается — и отнюдь не в последней степени из-за попытки утверждения принципа коллективного творчества.

Коснемся еще одного вопроса — о международных связях древнерусской литературы, который в споре советских ученых о «Слове» тоже ставится как-то неясно, приглушенно и односторонне, главным образом все из-за той же оглядки на «генеральную линию». Еще Андре Мазон предположил, что Оссианов цикл Макферсона оказал на «Слово о полку Игореве» значительное воздействие, — проф. В. Николаев развил и сильно дополнил это мнение Мазона, основав его, казалось бы, на солидном фундаменте. Но построенное им здание колеблется и рассыпается, как от мощных подземных толчков, под влиянием трех перекрещивающихся линий: ведь в «Слове», помимо его национальной стихии, с несомненной очевидностью обнаруживается еще византийское, варяжское и половецкое влияния.[14] Советские ориенталисты, и среди них Л. Н. Гумилев, высказали ряд основательных замечаний о влиянии на «Слово» половецкого фольклора; о воздействии на «Слово» византинизма, в частности старинных византийских хроник, не раз писал академик Орлов, уделивший этому вопросу много внимания. Наконец об использовании автором «Слова» варяжского или скандинавского фольклора в свое время много говорили Орест Миллер и Федор Буслаев. Позже их установки не без основания были объявлены устарелыми и подлежащими пересмотру, — в 20-х годах еще раздавались голоса,

[14] В 20-х годах, в первом издании его работы о «Слове о полку Игореве», акад. А. С. Орлов не оспаривал наличие варяжского влияния на «Слово». Во втором издании той же работы ему пришлось это место исключить.

что в варяжской теории далеко не все лишено правдивости и смысла. К сожалению, надлежащей разработки вопрос о варяжском влиянии в «Слове» в дальнейшем не получил. Во всяком случае, если в этом направлении что-то все же делалось, то в печати эти попытки отражения не нашли.

В свое время у меня был разговор на эту тему со старейшим исследователем «Слова» В. А. Келтуялой. Он говорил о необходимости пересмотра и переоценки варяжской теории в свете новых открытий и установок, сделанных исследователями древнейших периодов скандинавских литератур. Келтуялу поддерживал фольклорист и знаток древнерусского искусства Ончуков. В дальнейшем, из контакта с финскими, шведскими и норвежскими литературоведами, мне удалось ознакомиться с довольно распространенной у них точкой зрения. Они считали, что для выяснения вопроса о необходимом пересмотре и переоценке, надо провести ряд дополнительных исследований по нескольким основным темам:

1. Среди скандинавских саг есть такие, где драматическое действие перерастает в поэтическую историческую хронику, в которой трагедийность исторической судьбы становится как бы фоном, на котором развертывается все повествование. Не исключена возможность, что такого рода скандинавские саги окажутся ближе к «Слову», чем византийские исторические хроники.

2. Пантеистический метафоризм скандинавских саг может иметь в «Слове» свои параллели. Правда, вопрос тут осложняется тем, что в «Слове» помимо стихийно-русского и варяжского метафоризма встречается еще метафоризм ориентальный — половецкий. Тщательное исследование и должно провести здесь разграничение и новую классификацию.

3. Сторонники подлинности «Слова» полагают, хотя и не все, что автор его был выходцем из Южной Руси, который много путешествовал и, возможно, не раз ходил и плавал по «великому пути из варяг в греки». Он много ездил по Руси, верхом и водными путями, как и ходил пешком — иначе откуда он так хорошо знает половецкую степь? Он пишет о событиях так, словно сам был их участником или слышал о них от первых лиц, вскоре после совершения этих событий. Между прочим, в этой особенности «Слова» скептики усматривали наличие своего рода гипнотической силы у создавшего это произведение, по их мнению, мистификатора последней четверти XVIII века. Скептики заявляли: автор «Слова» потому и создает иллюзию архаичности, что сам-то он в древние времена не жил.

Утверждение это может быть проверено путем сравнения «Слова» со скандинавскими сагами. У варягов тоже были скальды, ходившие по великому пути из варяг в греки, были и скальды, которые вместе с викингами отправлялись в походы и странствия. Но

были и скальды, остававшиеся у себя дома, обладавшие способностью воспроизводить услышанное от вернувшихся на родину непосредственных участников походов. Рядом поколений скальдов эта способность была доведена до такого совершенства, что во многих сагах, созданных со слов участников событий, их авторы целиком сливались с этими участниками. Не перенял ли эту способность варяжских скальдов и автор «Слова о полку Игореве», имевший, возможно, и русских предтеч, творения которых до нас не дошли?

4. Для скандинавских саг, особенно в XII веке, тоже характерно явление, которое исследователи «Слова» обозначают как двоеверие. Должно быть и там было сложное столкновение языческой и христианской стихий, — изучение этого обстоятельства, возможно, помогло бы и раскрытию тайн «Слова».

Я отметил лишь главные, — по моему мнению, — темы, связанные с необходимостью пересмотра варяжской теории. В действительности таких тем, говорящих о необходимости пересмотра ее в свете открытий, сделанных в последние десятилетия исследователями древнейших периодов скандинавских литератур, значительно больше.

И в отношении вообще полемики о «Слове» я затронул лишь малую часть проблем, — я и тут руководствовался только своим «вкусом», говорил о том, что ближе моему сердцу, — иначе пришлось бы не ограничиваться этим в сущности поверхностным обзором, отрывочными попутными «заметками на полях».

Закончу я их, вспомнив, как прав был академик Александр Сергеевич Орлов, никого не желавший предавать анафеме, ни скептиков, ни их противников. Он говорил, что необходимость сопротивления скептикам приводит сторонников подлинности «Слова» к таким открытиям и находкам, которые вряд ли были бы сделаны, если бы сопротивления не было вовсе. Иначе говоря — не бывать бы счастью, да несчастье помогло, — условное несчастье. Ибо необходимо признать, что спор о «Слове» принес большую пользу изучению древнерусской литературы и современному литературоведению — и заслуга эта принадлежит обеим спорящим сторонам.

ГЕРМАН ЕРМОЛАЕВ

Политическая правка «Тихого Дона»

За сорок лет своего существования «Тихий Дон» неоднократно подвергался значительным текстуальным изменениям, которые можно разделить на четыре вида: фактические, сюжетные, стилистические, политические. Первые служат уточнению исторического фона романа — подлинных событий, дат, названий, имен. В самом раннем, журнальном тексте романа казаки узнавали о начале мировой войны 12 июля ст. ст., в отдельном издании 1928 года эта дата заменена 19 июля (I, 287).[1] В 1953 году уточняется дата избрания генерала Назарова войсковым атаманом и возраст подлежащих мобилизации казаков (II, 301), вместо красногвардейцев летом 1918 года действуют красноармейцы (III, 87, 88). В издании 1956 года хутор Митькин становится Митякиным (II, 116), слобода Чистяковка не называется больше Чистяковом (III, 227, 228) и офицеров из мятежного 28-го полка уводит Филиппов, не Наумов (III, 111). Еще раньше, с издания 1929 года, уезжающего из Могилева царя сопровождает Фредерикс, не Дитерихс (II, 105) и из списка подтелковцев вычеркнут Михаил Лукин (II, 383). С 1933 года дается в исправленном виде фамилия подтелковца Лысикова, вместо политотдела 14-й армии говорится о политотделе 14-й дивизии (III, 319) и батареец Иван Томилин направляется в летние лагеря не в хутор Сетраков, а под Новочеркасск, в Персиановку (I, 36), где находился артиллерийский полигон. Поэтому в разговоре со Степаном Астаховым в Сетракове Ивана заменяет его брат, введенный в роман исключительно ради этого эпизода (I, 56-58). По меньшей мере семь лет автор и корректоры предоставляли генералу Романовскому возможность смотреть из здания ставки в Могилеве «на дымчатые поля Молдавии»

[1] Здесь и в дальнейшем таким образом даются ссылки на «Собрание сочинений в восьми томах» Михаила Шолохова, выпущенное в Москве Госиздатом Художественной литературы в 1956-1960 гг. Римская цифра означает книгу «Тихого Дона», арабская — страницу. Обозначения относятся и к тексту, который не вошел в данное издание. В таких случаях указывается место, где исключенный текст находился в более ранних изданиях.

(II, 152). Эта «Молдавия» еще есть в издании 1936 года и, возможно, была исключена не ранее 1941 года. Столько же просуществовал и другой ляпсус: «волосатые широкие ладони» Бунчука (II, 227). В восемнадцатой главе пятой части романа в 1953 году появилось впервые примечание о том, что с 14 февраля 1918 года даты в романе даются по новому стилю. И хотя в нескольких местах была произведена соответствующая замена, в ряде исторических дат старый стиль остается в сохранности по сегодняшний день. Это особенно заметно там, где речь идет о деятельности Круга спасения Дона с 28 апреля (11 мая) по 5(18) мая 1918 года (III, 10, 17, 19) и о поездке генерала Краснова на фронт (III, 120, 121). В издании 1956 года проявилась тенденция избегать точных дат в тех случаях, где они трудноустановимы или несущественны. Таким образом исчезли даты приказа Краснова о встрече делегации союзников, сдачи Сердобского полка, прибытия к повстанцам офицеров связи (III, 103, 340, 346). Издания 1957-1969 годов придерживаются в датировке событий издания 1956 года, за исключением восстановления или добавления единичных дат в изданиях 1962-1969 годов в описании боев за Ростов (II, 302). Кое-какие поправки оказались неверны. Правильное сообщение о том, что генерал Краснов был выбран войсковым атаманом ста семью голосами против тринадцати при десяти воздержавшихся,[2] было вольно или невольно изменено в первом же отдельном издании 1933 года, где вместо «тринадцати» появилось «тридцать», уцелевшее до сих пор (III, 17). По неизвестной причине время прибытия второй союзнической миссии в Новочеркасск обозначается с 1953 года не 28-м, а 26-м декабря ст. ст. (III, 108).[3]

Некоторое количество ошибочных или сомнительных фактических данных безнаказанно прошло все проверки. В восемнадцатой главе пятой части все еще красуется 11 марта как дата сосредоточения Добровольческой армии в станице Ольгинской после ее выступления из Ростова 9(22) февраля 1918 года (II, 306). Этот грубый просчет, на месяц, основан, может быть, на неверном датировании Ледяного похода в книге Н. Какурина.[4] Столь же ошибочно указывает Шолохов и на 13 марта как день прибытия в Ольгинскую атамана Попова для переговоров с Корниловым (II, 306). Не соот-

[2] «Октябрь», 1929, № 1, стр. 69 и П. Н. Краснов, «Всевеликое Войско Донское», «Архив русской революции», т. V, Берлин, 1922, стр. 193; В. В. Добрынин, «Вооруженная борьба Дона с большевиками», «Донская летопись» № 1, Вена, 1923, стр. 102.

[3] В указ. соч. Краснова (стр. 293), из которого Шолохов почерпнул много материала для «Тихого Дона», дата прибытия второй миссии — 28 декабря. Та же дата и у генерала Полякова, описывающего прием союзников по материалам газеты «Донские ведомости» от 29 декабря 1918 г. См. А. И. Поляков, «Донские казаки в борьбе с большевиками», Мюнхен, 1962. стр. 354.

[4] «Как сражалась революция», т. I, под ред. Н. Н. Попова, Москва, Госиздат, 1925, стр. 200 и надпись на карте в приложении.

ветствует действительности заявление о том, что в начале мировой войны 11-я кавалерийская дивизия продвигалась *левее* 12-й кавалерийской дивизии, шедшей перед фронтом 8-й армии Брусилова (I, 302). Дело обстояло как раз наоборот, ибо армия Брусилова действовала южнее 3-й армии Рузского, в которую входила 11-я дивизия. Сомнительно заявление, что 9(22) февраля «в Ростов вошел отряд капитана Чернова» (II, 302). В сочинении, из которого Шолохов мог позаимствовать этот эпизод, речь идет об отряде генерала Черепова.[5] Противоречивые сведения даются на одной и той же странице о 14-м Донском полке, когда одновременно утверждается, что полк и вернулся на Дон, и задержался в Петрограде (II, 206). Гундоровский георгиевский полк при перечислении сил ударной группы Донской армии превращен в два полка: Гундоровский и Георгиевский (III, 365). Сцена смотра Гундоровскому полку, в которой Краснов перецеловался почти с половиной его состава (III, 121), приурочена Шолоховым ко второй поездке Краснова с союзниками на фронт 6(19) января 1919 года, тогда как смотр гундоровцам имел место при первом посещении фронта атаманом и иностранцами 28 ноября (11 декабря) 1918 года.[6] Безусловно, автор художественного произведения имеет известное право на вольное обращение с историческими фактами, но Шолохов стремился к предельной точности в воспроизведении исторических событий и дат и гордился тем, что «ни один военный специалист не нашел у меня каких-либо ошибок или неточностей».[7]

Сюжетные поправки касаются персонажей и их действий, в изображении которых главную роль играет творческая фантазия автора, его оформление и распределение материала таким образом, чтобы читатель воспринимал описываемое как настоящую жизнь. В ранних изданиях третьей книги Петр Мелехов погибал со всеми спрыгнувшими с ним в яр казаками, среди которых был и Антипка Брехович (III, 218). Позабыв о смерти Антипки, Шолохов опять ввел его в роман и даже заставил принять видное участие в расправе над Иваном Алексеевичем (III, 363). Недосмотр был исправлен в 1936 году, когда было прибавлено сообщение о том, что Антипка спрятался в яру, и его громкий выкрик был передан Федоту Бодовскову, иначе Мишка Кошевой мог узнать Антипку по голосу и заставить его выйти из оврага. До 1937 года Григорий Мелехов наступал на лицо пьяной Дарьи с такой силой, что у нее хрустела переносица и ползла щека (III, 365). Едва ли щеголиха Дарья простила бы Григорию последствия такого поступка, отношения между

---

[5] Генерал А. И. Деникин, «Очерки русской смуты», т. II, изд. Я. Поволоцкого, Париж [1922], тип. Зинабург и Ко., Берлин, стр. 218, 222.

[6] См. Краснов, ук. соч., стр. 276, 298.

[7] См. В. Кетлинская, «Михаил Шолохов», «Комсомольская правда», 17 августа 1934 г.

ними нужно было бы прервать, а это, очевидно, не входило в расчеты Шолохова, начавшего в 1937 году публикацию четвертой книги романа. Дарьин нос был пощажен. В десятке ранних изданий первой книги немецкий офицер, пронзенный пикой Кузьмы Крючкова, кричал «Мейн Муттер!», безбожно коверкая родной язык, и только в 1933 году перешел на «Мейн готт» и много позже — на «Майн готт» (I, 299). В 1933 году исправлено имя Емельяна Атепина-Цацы, который в одном месте был окрещен Виктором (II, 69). Через несколько лет грек Михалидзе превратился в Михалиди (II, 214), и в 1956 году в довоенном дневнике студента-казака вместо «кинематографа» появился «синематограф» (I, 310). В том же году Шолохов устранил в отношениях героев некоторые детали, которые могли бы показаться искусственными. Дед Гришака не является больше однополчанином Прокофия Мелехова, а генерал Листницкий не помнит года, когда Пантелей Прокофьевич получил первый приз за джигитовку на императорском смотру (I, 93, 224).

Однако не все изменения вносят ясность в сюжет. В отрывке из девятнадцатой главы третьей книги, напечатанном в журнале «Красная нива» от 10 июня 1930 года, говорилось, что жена Фомина приняла подарки Петра Мелехова «и даже порозовела от радости». В следующей редакции романа Петро Мелехов ухитряется добиться своего без подношения подарка.[8] В первом же отдельном издании третьей книги в 1933 году и во всех последующих о судьбе подарка вообще ничего не сказано.

Новую и бóльшую путаницу внесли в сюжет поправки, сделанные в датах извещения командира сотни о смерти Григория и письма Петра, сообщающего о том, что Григорий жив. В журнальном тексте 1928 года командир сотни в извещении от 19 августа 1914 года ст. ст. писал, что Григорий убит в ночь на 17 августа (I, 354)). Это не увязывалось с датами и содержанием двенадцатой, тринадцатой и двадцатой глав, из которых следует, что Григорий был ранен под местечком Каменка-Струмилова (у Шолохова: Каменка-Струмилово) 16 августа в полдень, вернулся в полк примерно 19 августа и спустя двое суток был вторично ранен и отправлен в Москву. При первой же возможности день смерти Григория в извещении командира сотни был перенесен на 16 августа (хотя слова «в ночь на» остались), а дата написания извещения изменена на 18-е. При подготовке издания 1953 года было, наверно, обнаружено, что Григорий не мог быть ранен ни 16-го, ни 21-го августа, потому что в одиннадцатой главе сообщается, что он, до своих ранений, нашел у убитого казака-добровольца дневник, обрывающийся на записи от 5 сентября. Чтобы отправить автора дневника на фронт как можно скорее и убить его еще до первого ранения Григория, пришлось бы

[8] «Октябрь», 1932, № 1, стр. 23.

основательно переработать содержание и датировку дневника, занимающего в романе двадцать пять страниц. Шолохов избрал более легкий путь. Он передвинул вперед на месяц даты в извещении командира сотни, так что с 1953 года извещение датируется 18 сентября и сотенный пишет, что Григорий был убит под Каменкой-Струмиловой в ночь на 16 сентября. Ровно на месяц вперед была передвинута и дата письма Петра, сообщавшего о ранении Григория. Но заставив командира сотни выдумать бой под Каменкой-Струмиловой в то время, когда она уже была глубоким тылом, Шолохов не сделал никаких поправок в своем повествовании о боях у этого местечка и о ранении Григория. По всей вероятности, Шолохов не рискнул нарушить историческую правду от своего имени, ибо действительно в середине августа под Каменкой-Струмиловой происходили бои с участием 12-го Донского казачьего полка, в который попал Григорий. Автор, однако, мог бы перенести ранение Григория в новую местность и на месяц вперед и таким образом избежать явных противоречий. Шолоховская поправка не вяжется также с оставшимся в тексте заявлением, что в Москве, при прибытии туда раненого Григория, «чувствовалась осень» (I, 377). Наступление осени в Москве было приурочено к ранению Григория 21 августа ст. ст., а не месяц спустя.

Любопытную неурядицу создали исправления в одежде персонажей. В ранних изданиях романа Шолохов нередко наряжал их в сюртуки, не считаясь с национальностью, возрастом и общественным положением. Даже мальчишка-поляк и босой казачонок-пастух носили сюртуки, а куртка на Мишке Кошевом, в которой тот ездил на рыбную ловлю, называлась одновременно и ватным пиджаком и сюртуком (II, 329, 337). При подготовке к печати четвертой книги романа Шолохов, вероятно, решил пояснить, что донцы не делают различия между сюртуками, куртками, пиджаками. Поэтому во второй главе седьмой части Григорий и его отец называют сюртуком то, что в авторской речи зовется ватной курткой.[9] С этого времени количество «сюртуков» в авторской речи резко снижается, а половина лиц, ранее носивших их, довольствуется в издании 1941 года пиджаками и куртками. В 1953 году происходит поголовная смена сюртуков на пиджаки и только генералу Секретеву удается сохранить свой «защитный сюртук». В 1965 году персонажи сбрасывают только что надетые пиджаки и облачаются в куртки, а большевику Абрамсону возвращается его прежний сюртук. С осени 1962 года сюртуки опять входят в моду в одежде казаков, хотя не во всех случаях, а через два года Абрамсон вторично надевает пиджак. В изданиях 1965-1969 годов популярность сюртуков чуть-чуть падает. Это видно из того, что из авторской речи исключено

[9] «Новый мир», 1937, № 11, стр. 25.

введенное в нее в 1962 году слово «сюртук» в том месте, где автор и герои по-разному называли одну и ту же вещь. В числе неисправленных сюжетных неточностей можно указать на то обстоятельство, что Мишка Кошевой почему-то дважды ошибается в чинах Григория, называя его один раз младшим урядником (I, 357), а в другой — подъесаулом (III, 183), тогда как Григорий был соответственно приказным и хорунжим. Точно так же сам автор величает в одном месте подъесаула Полковникова сотником (I, 370). В нескольких главах третьей книги необходимо изменить датировку действий персонажей накануне и во время Верхнедонского восстания. Хронологическая неразбериха возникла здесь оттого, что Шолохов, переменив в 1956 году дату схода в Татарском с 19 февраля на 4 марта 1919 года (III, 177), сохранил старый стиль в последующих датах.

Стилистических поправок в «Тихом Доне» больше двух тысяч. Разбирать их в настоящей статье невозможно. Приходится ограничиться замечанием, что в некоторых случаях грань между стилистическими и политическими исправлениями стирается. Так называемые натуралистические описания таких вещей, как запах потных тел в церкви (I, 197), употребление лакеем пищи, которую выплевывает его хозяин (I, 184), или зелень в ушах большевика (II, 330), могли быть удалены автором и по эстетическим соображениям, и под давлением официального пуризма и политических норм изображения героев.

Публикация «Тихого Дона» на фоне политического воздействия на него выглядит так: первые три книги романа, то есть шесть частей, были напечатаны в журнале «Октябрь» за 1928-1929, 1932 годы после больших затруднений. Первая книга была вначале забракована Гослитиздатом и редакцией «Октября» из-за «идеализации» казачьего быта и обязана своим выходом в свет хлопотам почетного редактора «Октября» А. С. Серафимовича. Печатание третьей книги было прервано в 1929 году из-за правдивого изображения в ней большевистского террора, вызвавшего Верхнедонское восстание. Заступничество Серафимовича и Горького оказалось на этот раз тщетным. Третья книга «Тихого Дона», как и первая книга «Поднятой целины», была напечатана благодаря вмешательству Сталина.[10] Однако в публикации четвертой книги Сталин сыграл, очевидно, отрицательную роль. По устному сообщению профессора М. А. Полторацкой, преподававшей в 30-е годы в Ростовском университете, член отдела пропаганды ростовского обкома партии

[10] См. «Речь доблестного патриота. Писатель Михаил Шолохов на собрании Новочеркасского избирательного округа», «Комсомольская правда», 1 декабря 1937 г. и И. Лежнев, «Путь Шолохова», Москва, Советский писатель, 1958, стр. 251.

Петр Еремеев утверждал в частном разговоре, что выпуск четвертой книги был задержан на два с лишним года из-за требования Сталина сделать Григория Мелехова красным. Общая атмосфера чисток также не могла содействовать быстрому завершению романа, тем более, что ростовское НКВД, действуя, может быть, по указанию Ежова, пыталось обвинить Шолохова в контрреволюционной деятельности, и только спешная поездка писателя в Москву к Сталину спасла ему жизнь. [11] Четвертая книга (части седьмая и восьмая) появилась в «Новом мире» в 1937-1938, 1940 годах. С 1928 года до начала войны «Тихий Дон» издавался и переиздавался каждый год. Первая крупная политическая правка романа произошла в 1932-1933 годах и отразила растущую боязнь исторической правды и острых вопросов. В соответствии с требованиями советского пуризма, из редакции 1935 года было изъято большинство крепких ругательств. В последующие довоенные годы исчезли имена попавших во «враги народа». На первом послевоенном издании 1945 года сказывается новая официальная интерпретация опричнины и чрезмерный патриотизм. Ежегодные издания 1946-1949 годов копируют редакцию 1945 года. В самую глухую пору советской литературы Шолохов тратит четыре года на основательную переработку своих романов, и в «Тихий Дон» в 1953 году вливаются мутные струи примитивнейшей пропаганды. К чести автора нужно сказать, что почти весь этот мусор был выброшен при первой же возможности — в редакции 1956 года. С этого времени серьезные политические изменения в роман не вносились.

Количество политических поправок в «Тихом Доне» превышает две сотни. Бóльшая часть из них предназначена для выставления в наивыгоднейшем свете большевиков, что выражается в удалении из романа мест, компрометирующих их деятельность, политику, армию, поведение, внутренние и внешние качества. Начнем с вождей. В ранних редакциях на слова офицера-монархиста Листницкого о долге «каждого, которого вскормила эта земля, защищать свою родину от порабощения», следовал ответ большевика Бунчука: «Рабочие не имеют отечества ... В этих словах Маркса — глубочайшая правда. Нет и не было у нас отечества! Дышите вы патриотизмом. Проклятая земля эта вас вспоила и вскормила, а мы ... бурьяном, полынью росли на пустырях ... Нам не в одно время с вами цвесть ...» (II, 12). Ни в первом послевоенном издании 1945 года, ни в последующих слов Листницкого о долге и ответа Бунчука

[11] См. Л. Якименко, «Творчество М. А. Шолохова», Москва, Советский писатель, 1964, стр. 146-150 и редакционное сообщение в журн. «Огонек» № 47, ноябрь 1964 г., стр. 27.

нет.[12] Еще раньше, в 1933 году, на полторы страницы была укорочена выдержка из статьи Ленина «Положение и задачи социалистического интернационала» (1914), на которую опирается Бунчук в своих антипатриотических взглядах. Изменение здесь могло быть обусловлено и стилистическим сокращением длиннот, и желанием смягчить ответственность большевиков за разжигание междоусобной бойни, так как в исключенном отрывке Ленин с особенной яростью ратует за превращение мировой войны в гражданскую. Последнее предположение можно подкрепить тем, что в том же 1933 году даже из мыслей и высказываний белых казаков удалены отзывы о гражданской войне как дурацкой. «Верно в песне поется: Ленин, Троцкий, Дудаков нас стравили дураков», — говорил Петр Мелехов Григорию в журнальном тексте 1929 года (III, 26). И сам Григорий, даже в период своего крайнего ожесточения против большевиков, называл войну «дурацкой» (III, 88). Возможно, что молодой Шолохов в какой-то мере разделял взгляды своих героев.

Между 1936 и 1941 годами исчезло восемь строк, рассказывающих о «сладостно-болезненном» чувстве Бунчука, которое овладело им при взгляде на «июньскую голубизну белков» Анны Погудко и которое он испытывал в значительные моменты жизни, например, перед атакой, при любовании закатом или «слушая чуть картавую речь Ленина, чувствуя как приземляет, жжет его разум водителя и гения» (II, 218). Причина изъятия этого места заключается, очевидно, не столько в деромантизации отношений между Бунчуком и Анной, о чем речь впереди, сколько в несоразмерности сопоставления эротически-эстетических переживаний героя с тем священным чувством, которое, по советским представлениям, должно обуять его при виде Ленина.

Интересна судьба Троцкого. В третьей книге, где он показан больше всего, Троцкий пробыл на легальном положении всего около полугода. Уже в первом отдельном издании 1933 года отсутствует описание его прибытия на повстанческий фронт, хотя при этом он был изображен с явной иронией, краснобаем и трусом (III, 368). В высказываниях командующего повстанческими силами Кудинова Троцкий в одном случае превращается в главкома, а в другом исчезает (III, 374, 420), как и во фразе атамана Каледина (II, 245). Однако из шестьдесят четвертой главы третьей книги никогда не исключался текст «Приказа по экспедиционным войскам» от 25 мая 1919 года, и вплоть до 1937 года автором приказа обозначался пред-

[12] Не исключена возможность, что все это было снято в единственном издании военного времени, выпущенном в Ростове-на-Дону незначительным для «Тихого Дона» тиражом в 10 000. Книги I и II вышли во второй половине 1941 года, а III и IV — в 1943 г. Таким образом, при ссылках на издание 1945 г. следует иметь в виду, что неопределенное количество поправок могло быть сделано немного раньше. Ростовское издание достать не удалось.

седатель Революционного военного совета республики, то есть Троцкий. Приказ этот — не только исторический документ, но и действенное орудие пропаганды в красноармейской среде. Он воодушевляет главного героя из красных казаков Мишку Кошевого на беспощадную борьбу с белыми. Почему не был удален приказ Троцкого? Опасалась ли цензура того, что изъятие приказа обратит на себя нежелательное внимание, в то время как удаление официального звания Троцкого проскользнет незамеченным и надежно замаскирует его авторство от новых поколений читателей, не имеющих доступа к сочинениям этого «заклятого врага народа»? Возможно, что это было так, но что касается Шолохова, то он, по-видимому, был в душе против изъятия приказа, потому что замалчивание роли Троцкого в гражданской войне означало бы попрание исторической правды. Очевидно по этой же причине Троцкий незримо присутствовал и присутствует в другом важном месте романа, где Кудинов, Григорий и Богатырев оживленно обсуждают найденную на убитом красном курсанте статью «Восстание в тылу» из газеты «В пути». Статья, текст которой приводится полностью, производит большое впечатление на Григория и заставляет его поразмыслить над своим положением (III, 374-377). Шолохов не обмолвился ни одним словом о том, что «Восстание в тылу» принадлежит перу Троцкого, а «В пути» — бюллетень, издававшийся в поезде предреввоенсовета республики в 1918-1920 годах.[13] Персонажи только говорят о приезде «главкома» (в изд. 1932 г. — Троцкого) на фронт, о чем стало известно из трофейной газеты, но главкомом, то есть главнокомандующим, в то время был И. Вацетис.

Если в 1932 году ради исторической правды Шолохов не побоялся ввести в «Тихий Дон» высланного за границу Троцкого, то в 1938 году он вынужден был оклеветать его во впервые опубликованной седьмой части романа. В угоду Сталину Шолохов пошел на заведомую ложь, утверждая, что летом 1919 года Троцкий составил «пораженческий план» разгрома белых на Южном фронте путем наступления через Донскую область, населенную враждебными советской власти казаками, которые ожесточенным сопротивлением остановили красные войска (IV, 201, 203). Спасителем положения выступает впервые появившийся в романе Сталин. В «исторической записке» Ленину он критикует директиву «главкома» (С. Каменева, о чем не говорится) о наступлении через Донскую область, предлагает план движения через Донбасс и отправляется на Южный фронт, где «с момента» его прибытия обстановка «резко изменилась» (IV, 226). На самом деле план нанесения удара через Донскую об-

[13] «Восстание в тылу» («В пути» от 12 мая 1919 г.) и приказ по экспедиционным войскам от 25 мая 1919 г. можно найти в книге Л. Троцкого «Как вооружалась революция» т. II, кн. 1, Москва, Высший военный редакционный совет, 1924, стр. 174, 186.

ласть был составлен новым главнокомандующим С. Каменевым и утвержден всеми членами Политбюро, в том числе Лениным и Сталиным. Троцкий не только голосовал против плана Каменева, но в знак протеста подал прошение о снятии его с поста предреввоенсовета республики и о выводе его из Политбюро. Прошение Троцкого было отклонено. Шолохов не мог не знать настоящего положения вещей, хотя бы потому, что он был прекрасно знаком с книгой Н. Какурина «Как сражалась революция», в которой дается правдивое освещение планов Вацетиса (наступление через Донбасс) и Каменева. [14]

«Историческая записка» Сталина, втиснутая в роман в виде примечания, превратилась в издании 1953 года в «историческое письмо» и вошла в основной текст. Одновременно были добавлены похвалы «стратегическому плану» Сталина, одобренному на этот раз Лениным. Роль Ленина и Сталина в редакции 1953 года значительно увеличилась благодаря новым вставкам. Московское Государственное совещание, созванное Временным правительством в августе 1917 года, получило определенную политическую оценку по цитируемым изречениям обоих вождей, в глазах которых совещание являлось контрреволюционным империалистическим заговором, подкрепленным иностранным капиталом (II, 130, 136). В связи с революцией на Дону в роман были введены такие вещи, как объявление Ленина о действиях казачьей делегации в Петрограде, встреча казаков съездом Советов во главе со Свердловым (II, 238), текст поздравительных телеграмм Ленина и Сталина Южному фронту, приказ Ленина взять Ростов (II, 302). Все эти приписки или состояли из цитат, или были выдержаны в шаблонном стиле передовиц «Правды». Чего, например, стоил такой перл:

«... Корнилов — знамя восстановления старой, буржуазно-помещичьей России. И под это черное знамя отовсюду стекалась оголтелая контрреволюция, обуреваемая стремлением зажать в железные клещи ведомый Лениным и Сталиным революционный рабочий класс, обезглавить и задушить силы революции» (II, 130). [15]

Употреблением казенного стиля Шолохов, по всей вероятности, хотел подчеркнуть неуместность политической трескотни в художественном произведении. И через три года, не взирая на лица, он очистил «Тихий Дон» от всех вышеперечисленных вставок, а заодно прихватил и Сталина с его «исторической запиской», и Троцкого с «пораженческим планом». Только с 1964 года, под влиянием

[14] См. «Как сражалась революция», т. II, под ред. Р. П. Эйдемана, Москва, Госиздат, 1926, стр. 51; Л. Троцкий, ук. соч., стр. 301-303 и Leon Trotsky, "Stalin", 2nd edition, ed. and tr. by Charles Malamouth, New York and London, Harper and Brothers [1964], pp. 314-315.

[15] «Тихий Дон», т. II, издание исправленное, Москва, Гос. изд. Художественной литературы, 1953, стр. 115.

все растущего поклонения Ленину, был восстановлен его приказ о взятии Ростова. Таким образом, на сегодняшний день в романе — только Ленин, от Сталина не осталось и следа, а Троцкий существует невидимкой.

Если Шолохову удалось избавиться от всего лишнего и ложного в изображении вождей, то с меньшей величиной, председателем совнаркома Донской республики Федором Подтелковым, дело обстояло иначе. Внешность, образ мыслей, поведение Подтелкова были выведены в романе в соответствии с тем, что автор читал о нем в авторитетных советских и белых источниках и слышал от людей, лично знавших его. В этом революционере еще сильно заявлял о себе традиционный казачий взгляд на иногородних. Поэтому в романе Подтелков наотрез отказывался делиться с «мужиками» землей, отобранной у помещиков, и снабжать шахтеров оружием (II, 205, 258).[16] По утверждению одного из советских авторов, Подтелков «еще не получил той революционной выучки и пролетарского чутья», которые могли бы удержать его от сдачи своего отряда белым,[17] — поступка, названного Бунчуком предательством (II, 373).

Сталину, однако, Подтелков представлялся иным человеком. 9 июля 1929 года Сталин писал Феликсу Кону:

«Знаменитый писатель нашего времени тов. Шолохов допустил в своем 'Тихом Доне' ряд грубейших ошибок и прямо неверных сведений насчет Сырцова, Подтелкова, Кривошлыкова и др».[18]

После опубликования письма Сталина в 1949 году фальсификация образа Подтелкова стала неизбежной. Из редакции 1953 года были выброшены отказ Подтелкова наделить мужиков землей и обвинительные слова Бунчука. Что касается оружия, то в нем отказывает шахтерам не Подтелков, а безличный «ревкомовец». Эти изменения остаются в романе по сей день. Власть имущим необходим, видно, миф о политически полнокровном вожде из казаков. Ради этого с 1953 года в роман введена речь Подтелкова на митинге в Каменской. Суть речи сводится к подчеркиванию единства политических стремлений большевиков и оратора, хотя последний и не принадлежит формально к большевистской партии (II, 238). Речь эта с незначительнейшими изменениями переписана из книги М. Корчина «Борьба за Советы на Дону», вышедшей в 1947 году.

---

[16] См. об этом у В. А. Антонова-Овсеенко, «Записки о гражданской войне», т. I, Москва, Высший военный редакционный совет, 1924, стр. 200-201 и Н. Какурина, ук. соч., т. I, стр. 176.

[17] См. Дан Делерт, «Дон в огне», Ростов-на-Дону, Севкавкнига, 1927, стр. 49. Эта небольшая книга, полностью посвященная революционной деятельности Подтелкова и Кривошлыкова, основана на материалах, опубликованных участником подтелковской экспедиции политработником А. Френкелем в его сообщении «Гибель экспедиции Подтелкова», «Известия ЦИК Донской Советской республики и Царицинского штаба Красной Армии» № 5, 8 июня 1918 г. и в книге «Орлы революции», Ростов-на-Дону, 1920.

[18] И. Сталин, «Сочинения», т. XII, Москва, 1949, стр. 112.

Содержание речи совпадает с изложением ее в книге Делерта, но чрезмерно книжный слог ее резко отличается от просторечья Подтелкова в других местах романа. Суть же дела в том, что речь Подтелкова напоминает собой вырванную из контекста цитату. У Шолохова не говорится, что своей речью приверженец традиций Подтелков старался добиться благословения стариков на революционную борьбу,[19] а главное — что Подтелков и Кривошлыков никогда не именовали себя коммунистами, а под конец называли себя левыми эсерами.[20] В 1956 году Шолохов ограничился только изъятием политической характеристики подтелковской речи, содержавшей якобы призыв «сплотиться вокруг большевистской партии и советской власти».

В 1953 году Шолохову пришлось отказаться от своего первоначального изображения убийства пленного Чернецова Подтелковым. Об этом убийстве существуют разные версии, и у Шолохова были, наверно, веские основания показать его как бессудную расправу. В редакции 1953 года убийство изображалось, как и в книге Делерта, актом самозащиты, ибо Чернецов выхватывал спрятанный револьвер, который дал осечку. К глубокому огорчению официальной критики, прежний текст был восстановлен в 1956 году, за исключением ругательства Подтелкова и замечания, что он рубнул «уже лежачего» Чернецова (II, 268). Попутно отметим, что в другом месте не менее крепкое ругательство Подтелкова, устраненное в 1953 году, опять вошло в роман через три года (II, 384). Вообще процесс искоренения грубых выражений в «Тихом Доне» отличается непоследовательностью, подоплека его главным образом пуристская, и он распространяется на речь всех персонажей, хотя бранные слова скорее будут оставлены в речи белого героя, чем красного. Зато облагораживание внешнего вида — целиком прерогатива лиц советского лагеря. Так с 1953 года исчезли и не восстановлены «черная» улыбка Подтелкова и «мертвячье» упорство его глаз (II, 267, 203), но Шолохов вернул в роман указание на сходство атамана Каледина с главой Донской республики: «У него с Подтелковым было много тождественного» (II, 243). В 1953 году такое сравнение считалось неприемлемым для Подтелкова.

Образ Подтелкова был также подвергнут переработке в так называемом культурно-бытовом отношении, где его поведение не всегда отвечало высоким нормам большевистской нравственности. Так, отправляясь в экспедицию в северные районы Дона, Подтелков

---

[19] См. Делерт, ук. соч., стр. 33-36; Н. Янчевский, «Гражданская борьба на Северном Кавказе», т. I, Ростов-на-Дону, Севкавкнига, 1927, стр. 169-170; и [А.] Мандельштам, «Север в борьбе с Калединщиной», «Пролетарская революция на Дону», сб. 4, Москва-Ленинград, Госиздат, 1924, стр. 156.

[20] Янчевский, указ. соч., стр. 170 с ссылкой на книгу Френкеля «Орлы революции», стр. 33. См. также Какурин, ук. соч. т. II, стр. 299.

прихватил с собой «шмару» Зинку, «белесую полногрудую девку». Зинка и Кривошлыков терпеть не могли друг друга, и Кривошлыков в резкой форме требовал от Подтелкова ее удаления. В 1953 году просьба Кривошлыкова была удовлетворена, и с тех пор Подтелков движется с экспедицией без всяких признаков бытового разложения (II, 361). Манеры его тоже изменились к лучшему. Он перестал нюхать «провонявшие портянки» (II, 384), хотя опять взялся за старую привычку вытирать рукавом усы, от чего его заботливо отучила государственная няня в 1953 году (II, 245).

Такого чуткого отношения не испытали на себе крупные большевистские деятели В. Антонов-Овсеенко и С. Сырцов. В период чисток конца 30-х годов они были уничтожены физически и имена их вычеркнуты из романа. Сырцов, однако, как и Троцкий, остался в романе на анонимном положении. Став просто «делегатом от шахтеров», он продолжает произносить «горячую, прожженную страстью речь», которая с чрезвычайным успехом настраивает сердца казаков на большевистский лад (II, 233). Как бы в награду за его революционные заслуги, в описании наружности делегата от шахтеров с 1953 года опущено слово «толстогубый». Одновременно с именами Антонова-Овсеенко и Сырцова были устранены семь подписей членов Донского ревкома под телеграммой Антонову-Овсеенко, что вряд ли могло случиться вне связи с нарушением принципов социалистической законности (II, 290). Все же роман не мог угнаться за жизнью, и красный полководец Шорин попал в четвертую книгу как раз в год своей гибели (1938) и остался в ней. В 1953 году в «Тихом Доне» было похерено около двадцати упоминаний о красном военачальнике Ф. Миронове, бывшем войсковом старшине из казаков, расстрелянном в 1921 году по обвинению в организации восстания на Дону. Это мироновская — теперь «красная» — конница, состоявшая из казаков, сражалась как равная с конницей белых. Осталось только упоминание о том, что мятежный мироновский корпус сложил оружие, будучи окружен конницей Буденного (IV, 397). [21]

Жертвой чисток оказалось в 1937 году и длинное примечание автора, в котором он оспаривал данные о размерах Верхнедонского восстания, приведенные в книге Н. Какурина «Как сражалась ре-

[21] Речь идет о выступлении Миронова в августе 1919 года против Деникина и большевиков. Последние оттолкнули его своим отношением к крестьянству и казачеству. Плененный Буденным, Миронов был приговорен к расстрелу, но помилован. В 1920 году он командовал 2-й Конной армией в боях с Врангелем и был отмечен высшей наградой того времени — Почетным революционным оружием. В последнее время Миронов реабилитирован и его выступление против большевиков истолковывается как самовольный уход на фронт (см. В. В. Душенькин, «Вторая Конная», Москва, Воениздат, 1967, стр. 102). См. также Троцкий, ук. соч., стр. 292-298, 457-458 и С. М. Буденный, «Пройденный путь», Москва, Воениздат, 1959, стр. 235-242.

волюция» (III, 367). Этот «очень обстоятельный и ценный», по словам Шолохова, труд не мог сосуществовать с переписанной по сталинской указке историей гражданской войны.

Из вымышленных персонажей от идеологической правки больше всего пострадали Бунчук и Анна. Ощущение восторженности, которое овладевало двадцатидевятилетним Бунчуком при взгляде на девушку, показалось, вероятно, автору излишней сентиментальной романтикой. Уже в первом отдельном издании второй книги он отказывается от предложения, говорившего об Анне: «Волнующая созвучием гармония покоилась в каждой черте, в любом движении», и придает восхищению Бунчука шутливый оттенок (II, 218). В 1933 году снимаются соседние строки:

«Простая, как сказка, стояла перед ним девушка, в белых, серебряной чистоты, зубах держала шпильки, дрожала тугой бровью — и, казалось, вот-вот растает, как звук в сосновом бору на заре».

В другом месте зачеркивается описание возникновения у Анны любви к Бунчуку «в грозовой год, на девятнадцатой весне ее коротенькой, как сон, девичьей жизни» (II, 298).

Параллельно с деромантизацией происходит удаление деталей противоположного свойства. Нагляднее всего это можно показать на отрывке из первоначального описания ночного прихода Анны к Бунчуку. Устраненные фразы выделены курсивом, дата изъятия в скобках:

«Легла рядом. *Горячие ноги ее дрожали в коленях. Опираясь на локоть, привстала, палящим шелестом ему на ухо:*

— Я пришла к тебе, только тише... тише... мама спит... (1933).

Она нетерпеливо отвела со лба тяжелую, как кисть винограда, прядь волос, блеснула дымящимся синеватым огоньком глаз, грубовато, вымученно прошептала:

— *Глупо хранить какую-то девственность, когда* (1929) не сегодня — завтра я могу лишиться тебя... Я хочу тебя любить со всей силой, — и *жутко* (1956) содрогнулась от собственной решимости: — Ну, скорей!

Бунчук целовал ее *поникшие непочато-тугие прохладные груди, гладил податливое тело* (1933) и с ужасом, с великим, захлестнувшим все его сознание стыдом, чувствовал, что он бессилен.

Стискивая ладонями его щеки, ища дрожащими губами его губы, она притягивала его к себе, бесстыдно просила:

— Скорей!.. Скорей же... милый!..

Бунчук медленно, как срезанный выстрелом, валился с нее (1929). У него тряслась голова, мучительно пылали щеки. Высвободившись, Анна гневно оттолкнула его, *руки ее вились на груди,* (1929) *оправляя рубашку...* (1933)».[22]

Безусловно, какую-то роль в удалении «натуралистических» деталей сыграл насаждаемый сверху пуризм, в свете которого поведение большевички Анны вряд ли можно назвать примерным. Скорее всего, очищение отношений Бунчука и Анны от романтики

[22] »Октябрь», 1928, № 8, стр. 116.

и от либидо преследовало цель сосредоточения возможно большего внимания на Бунчуке-политике. Этой цели не соответствовали и две трети двадцать пятой главы, где Бунчук и Анна были показаны в домашней обстановке. Ожидавшей ребенка Анне Бунчук рисовал послевоенную картину их семейного счастья, со здоровым сыном, геранью, без всяких амбиций. Рассуждения Бунчука о будущем подаются так, что их можно принять и за шутку, и за чистую монету. С 1933 года двадцать пятая глава целиком изъята из романа. Помимо рассуждений Бунчука, в ней изображался загаженный при большевиках Ростов. Удаление главы создало сюжетную неувязку: стало неясно, как Бунчук с Анной попали в отряд Подтелкова.

Стремлением повысить авторитет Бунчука-большевика были обусловлены сокращения, относящиеся к его поведению при ранении и после смерти Анны. В 1933 году была отброшена фраза о том, что Бунчук «с жадностью целовал» умирающую Анну, «будил любимейшую, грубо тормошил, пытался вернуть к жизни...» (II, 357). Одновременно были исключены описания охватившего его чувства горя и прострации, которые превратили Бунчука в подобие животного, лишили его разума и воли. Наглядным изображением такого состояния Шолохов старался показать, что любовь — в конечном счете источник продолжения жизни — заложена в человеке извечной природой и перед абсолютным проявлением ее, в торжестве или в горе, бессильны самые крепкие натуры, независимо от их идеологической закалки. Тема преобладания бесконечной жизни природы и человека как части ее над взаимоистреблением людей в идеологической бойне с особой силой звучит в конце второй книги в изображении могилы Валета. Эта концовка вызвала суровые осуждения со стороны советской критики, как утверждение торжества биологического начала над социальным. Шолохов не только не изменил ни слова в этом изображении, но даже развил тему приоритета природы в последующих книгах «Тихого Дона». Но от показа победы извечного на примере одного из самых твердокаменных большевиков романа Шолохову пришлось отказаться. Бунчука нужно было обесчеловечить в его горе, как и в его любви и любовных отношениях к Анне. И не случайно, что все главные сокращения по этим линиям были произведены в одном и том же издании.

В то же издание не была включена почти половина главы, раскрывавшая мечты Анны о социалистическом будущем. Вот они:

«— И потом вообще, как гадко и жалко выглядит сейчас всякая забота о создании своего индивидуального маленького счастьица. Что значит оно в сравнении с тем необъемлемым людским счастьем, которого добивается революцией исстрадавшееся человечество? Не правда ли? Нужно раствориться вот в этом порыве к освобождению, нужно... нужно слиться с коллективом и забыть про себя, как про обособленную частицу. — Она тихо, как ребенок во сне, улыбнулась одними углами нежного и мужественного рта; на верхней губе от улыбки легла колеблющаяся тень. — Знаешь, Илья, будущую жизнь я ощущаю как дале-

кую-далекую, сказочно-прекрасную музыку. Ну, вот, как во сне иногда слышишь... Ты слышишь музыку во сне? Это не отдельная, тончайшая мелодия, а могущественный и согласный, нарастающий аккордами гимн. Кто же не любит красоту? Я люблю ее во всех, даже мельчайших проявлениях... А разве не красива будет жизнь при социализме? Ни войн, ни нищеты, ни угнетения, ни национальных перегородок — ничего! Как намусорили, нагадили люди на земле... Сколько человеческого горя пролито!.. — Она рванулась к Бунчуку, искала его руки. — Ну скажи: разве не сладко умереть за это? Ну, скажи же! А? Во что же верить, как не в это? Из-за чего же жить?.. Мне кажется, если я умру в бою... — Она прижала руку Бунчука к груди, так что он слышал приглушенный бой ее сердца, и, глядя на него снизу вверх потемневшим глубоким взглядом, зашептала: — и если смерть не будет мгновенна, то последнее, что я буду ощущать, — это торжественный, потрясающе-красивый гимн будущего».[23]

На первый взгляд в таких мечтаниях нет ничего предосудительного. Сам Ленин в «Что делать?» (1902) призывал участников социал-демократического движения мечтать о будущих результатах своей деятельности. На этом призыве зиждется революционный романтизм — неотъемлемая часть социалистического реализма. Почему же пришлись не ко двору мечты Анны? Профессор Д. Стюарт объясняет это глубоким разочарованием Шолохова в советской действительности 30-х годов.[24] В этом есть доля правды, хотя Стюарт ошибочно относит изъятие мечтаний Анны к 1935-1937 годам. Но и в 1933 году советская действительность являла собою гротескную пародию на воображаемый Анной социализм. Не только у Шолохова, но и у любого советского гражданина, читавшего о мечтаниях Анны, не могло не возникнуть сравнение желаемого с сущим, а это не входило в интересы правящей партии.

Другой причиной удаления мечтаний Анны могло служить наличие в них мотива жертвенности. Образ мыслей, выдвигающий на передний план самопожертвование, а не концентрацию воли для достижения победы, расценивался партийной критикой как упадочнический, свойственный мелкобуржуазной интеллигенции, но не настоящим большевикам. Возможно, что по этой причине Шолохов отбросил характеристику поступка Анны, вызвавшего ее смерть, как «красивого, но бесполезного жеста» (II, 356), чем и посодействовал обольшевиченью героини.

С 1953 года исчезли следующие политически нежелательные вещи из высказываний Бунчука: призыв к казакам «защищать Временное правительство» от Корнилова и слова из ответа Дугину после убийства Калмыкова: «Пленных нету... Война на истребление» (II, 158, 171). Однако оправдание Бунчуком собственноручного расстрела «гадов» и «клещей», опущенное в редакции 1953 года, вернулось в 1956 году (II, 319).

---

[23] «Октябрь», 1928, № 8, стр. 98-99.

[24] David H. Stewart, "The Textual Evolution of The Silent Don", "The American Slavic and East European Review", April 1959, pp. 232-233.

Затушевывание большевистской жестокости началось еще при печатании третьей книги в «Октябре». Редакция этого журнала была настолько напугана показом красного террора на Дону, что не рискнула опубликовать всю двадцать третью главу с описанием поездки Петра за телом расстрелянного Мирона Григорьевича, половину главы с изображением горя Мелеховых, после расстрела Петра, и лирическими размышлениями автора о его смерти (III, 222-223), рассказ казака-старовера о кровавых бесчинствах комиссара Малкина (III, 254-256). Так как эти куски и некоторые другие, пропущенные в «Октябре» по техническим причинам, появились в первом отдельном и других изданиях третьей книги, то она представляет собой единственный случай, когда книжный текст целого тома «Тихого Дона» по сегодняшний день остается полнее журнального, несмотря на политические купюры в промежуточных изданиях. Ряд изменений, внесенных в журнальное и первое отдельное издание третьей книги, остается в силе. Таковы изменения в девятнадцатой главе, отрывок из которой был напечатан в журнале «Красная нива» летом 1930 года. В конце пространного изображения круглогодовой жизни степи, в котором жизнь озимой ржи аллегорически уподоблялась жизни казаков, говорилось, что вставшая весною рожь будет жить «до поры, пока не придет хозяин и не пустит чекакающие ножи косилки резать, умерщвлять никлый отживший стебель.[25] В общем плане здесь утверждается вечность жизни: из зерен скошенной ржи вырастет новая. Относительно же конкретных событий имеются веские основания утверждать, что Шолохов имел здесь в виду вспыхнувшее весной 1919 года Верхнедонское восстание и террор Чека до и после восстания. Что хозяин с *чекакающими* ножами и есть Чека, вытекает, во-первых, из того, что в следующем абзаце речь идет о «чрезвычайных комиссиях и трибуналах», которые «вершат суды короткие и неправые над казаками, служившими у белых» (III, 148). Во-вторых, в сочинениях Шолохова слово «чекакать» в комбинации с «ножами» находится только в приведенной фразе и встречается в других сочетаниях всего каких-нибудь три раза. Шолохов явно предпочитает ему сходную ономатопею «чечекать», и именно этот глагол сочетается с «ножами косилок» в двух случаях.[26] В-третьих, в приведенной фразе «чекакающие ножи» опущены во всех редакциях романа, включая журнальную, в которой вся выдержка появилась в переработанном виде. Таким образом, все предложение утратило свою первоначальную иносказательность и приобрело нейтральное в политическом смысле звучание. Этому содействовало и устранение из текста «Ок-

[25] «Красная нива», 10 июня 1930 г., № 16, стр. 12.

[26] В рассказе «Батраки» (1926) и в семнадцатой главе первой части «Тихого Дона».

тября» выделенного нами сравнения жизни казаков перед приходом красных с жизнью заснеженной степи: «Все Обдонье, *как степь зимой*, жило потаенной, придавленной жизнью», и добавление ответа фронтовиков на слухи о большевистском терроре: «Брехня! Офицерские сказочки! Кадеты давно нас Красной Армией пужают!» (III, 148).

Как проливающий свет на причины Верхнедонского восстания, напечатанный в «Красной ниве» кусок девятнадцатой главы был особенно важен для Шолохова, и он решился опубликовать его в то время, когда «Октябрь» отказался продолжать печатание третьей книги, хотя рукопись ее содержала далеко не полную картину причин восстания. [27]

Смягчение индивидуальной жестокости проявилось в изъятии в 1933 году слов Мишки Кошевого, обращенных к Петру Мелехову перед расстрелом: «Мы вас, гадов, врагов, без слез наворачиваем!» (III, 219), а также в удалении в 1943 или 1945 году отзыва Пантелея Прокофьевича о Мишке: «Полхутора спалил, немощных стариков расстреливал» (IV, 69). С другой стороны, идеализация Кошевого обнаружилась еще в журнальном тексте в сцене разговора раненого Мишки со своей матерью (III, 194). В ранней редакции мать отказывалась прятать разыскиваемого белыми Мишку, невзирая на его слезные мольбы. [28] В редакции 1953 года в целях внушения большего уважения к его особе Мишка именуется Михаилом или Кошевым.

В поведении красных героев затушевывается политическая отсталость, малодушие, неловкость или чувство вины перед лицом врага, непривлекательная внешность, дурные манеры. С 1933 года не сообщается о трудностях политического перевоспитания Ивана Алексеевича (II, 142) и о том, что большевик Штокман при аресте «закусил нижнюю губу» (I, 244). С 1953 года не пишется о том, что красногвардеец и Донской ревком «бежали» (II, 223, 289), что на

---

[27] «Не сгущая красок, я нарисовал суровую действительность, предшествовавшую восстанию; причем сознательно упустил такие факты, служившие непосредственной причиной восстания, как бессудный расстрел в Мигулинской ст[ани]це 62 казаков-стариков, или расстрелы в ст[ани]цах Казанской и Шумилинской, где количество расстрелянных казаков (б. выборные хуторские атаманы, георгиевские кавалеры, вахмистры, почетные станичные судьи, попечители школ и проч. буржуазия и контрреволюция хуторского масштаба) в течение 6 дней достигло солидной цифры 400 с лишним человек». Из письма Шолохова Горькому от 6 июня 1931 г., «Литературное наследство», т. 70, Москва, Академия наук СССР, 1963, стр. 696. Вероятно, это до сих пор единственная публикация письма Шолохова с включением вышеприведенных цифр. В этом же письме Шолохов, в подтверждение своих взглядов на причины восстания, цитирует несколько строк из статьи Троцкого «Восстание в тылу», называя ее приказом Реввоенсовета.

[28] Эта сцена входила в отрывок, опубликованный в ростовском журнале «На подъеме», 1930, № 6. См. Якименко, ук. соч., стр. 124.

сборе в Татарском председатель местного ревкома «заерзал на стуле, ровно волк, ущемленный капканом», и вскоре «улизнул» (II, 341), что Давидка «виновато» улыбался после допроса (I, 245), что «серое лицо» жены арестованного Штокмана «вытерлось от слез, будто давнишняя хожалая монета, и желтело оно мутное и жалкое...» (I, 248), что красногвардеец Крутогоров называл своих партийных товарищей «звероподобными» (II, 217), что борода Штокмана была «нечистой» (III, 262). В редакции 1953 года Валет не покидает самовольно красную часть, не «харкает залпом», «ручонка» его превращается в «руку», «ежиная мордочка» — в «лицо», Григорий не называет его «гаденышем», «паршивой соплей» (II, 330, 333). В 1956 году в отношении Валета восторжествовал первоначальный текст, хотя удаление «немытых, с зеленью внутри» ушей было признано уважительным.

Ряд сокращений и изменений был внесен в замечания героев и авторское повествование о советской власти и большевиках в тех случаях, когда отзывы о них выглядели политически нежелательными или непочтительными по тону. По крайней мере с 1945 года автор не называет большевистские идеи «пагубным ядом», а с 1953 года — «личиной недовольства» (I, 393, 164). Редакторы «Октября» побоялись напечатать несколько критических замечаний Григория о неравенстве при советской власти и его мнение: «Что коммунисты, что генералы — одно ярмо» (III, 161). В 1933 году эти вещи были опубликованы, но с 1937 года исчезло возражение Григория Ивану Алексеевичу по поводу советской власти: «И ты ее хвалишь, как мамаша: 'Хучь сопливенький, да наш'». Очевидно в 1945 году был изъят отзыв солдата о политике коммунистов по отношению к крестьянству как о «людоедстве» (III, 324). В некоторых местах Шолохов смотрел на большевистское вторжение в Донскую область скорее глазами белого казака, чем коммуниста. Неудивительно, что с 1953 года отсутствуют строки, характеризовавшие положение на Дону при приближении красных: «Жухлые надвигались на область дни. Гиблое подходило время» (II, 207). В 1953 году было переделано, а затем удалено предложение: «Смыкалась и захлестывала горло области большевистская петля» (II, 302). Особенно обидными для советской власти должны были быть авторские высказывания об отвоеванной белыми донской земле как об «очищенной» или «освобожденной от большевиков» (III, 9, 20; IV, 225). Точно так же говорит генерал Краснов (III, 43). В издании 1945 года авторские высказывания на эту тему находятся уже в переработанном виде.

С этого же времени наблюдается тенденция заменять в романе слово «большевик». Отчасти это было сделано, вероятно, потому, что этим термином широко и критически пользовались русские противники советско-большевистского режима. Чтобы не придавать этому термину излишней одиозности, говорится о «красных»,

«красноармейцах», а не «большевиках» (II, 353; III, 87) или появляется клише о «переходе власти в руки рабочих и крестьян», вместо «большевиков», как было до 1953 года (II, 190). Слово «большевик» снимается или обессмысливается там, где пожалованные этим званием лица были впоследствии признаны недостойными его. Из «ярых большевиков» солдаты в издании 1953 года становятся «фронтовиками», а сын священника, как установлено в 1956 году, не «был ярым большевиком», а только «слыл» таковым (II, 351, 395).

В 1933 году из впечатления, произведенного Красновым на делегатов Круга спасения Дона, выброшена характеристика империи как «ныне распятой, оплеванной подсолнечной лузгой» (III, 17). С 1953 года более презентабельный вид принимают в авторской речи такие выражения, как «совдеп», «обсовеченная Россия», «вверх ногами летели советы» (II, 191, 205, 327). Вместо «Октябрьского переворота» цензоры поставили «Октябрьскую социалистическую революцию», но через три года Шолохов вернулся к прежнему обозначению (II, 200).

Поправки, касающиеся красных войск, направлены преимущественно на устранение вещей, позорящих моральный облик армии. Большинство изменений приходится, вероятнее всего, на издание 1945 года. В него не вошел рассказ Богатырева об изнасиловании красными молодой казачки (III, 374), кличка «поджигатели», брошенная белым казаком красноармейцам (IV, 224), и реплика красноармейца, поверившего, что у Натальи тиф: «Ну, счастье ее! Была бы здорова, мы бы ее распатронили...» (IV, 40). Редакторы «Октября» опустили пререкания красноармейца Александра с Дарьей из-за деревянной ложки и его приказ Ильиничне отведать щей первой, чтобы убедиться, что они не отравлены (III, 131). Редакторы «Нового мира» урезали четырнадцать строк из рассказа о бессмысленном убийстве деда Сашки красноармейцами (IV, 50). Оба эти куска были помещены в первых отдельных изданиях третьей и четвертой книги и с тех пор не вычеркиваются. В 1953 году было значительно смягчено описание бесчинств красногвардейцев в хуторе Сетракове и удалены все указания на интернациональный состав красногвардейского отряда. В 1956 году Шолохов восстановил прежний текст, кроме фразы, что это были красногвардейцы, «на треть разбавленные китайцами, латышами и прочими иноземцами» (II, 326). Также не восстановленным осталось в другом месте замечание пастуха, что среди зарубленных красногвардейцев «все больше китайцы» (II, 354). Это свидетельствует о стремлении скрыть размеры участия иноплеменников в гражданской войне на стороне большевиков.

Усиливавшаяся во время войны тенденция оправдывать террор Сталина путем доказывания исторической необходимости жестоких мер Ивана Грозного привела к изъятию из редакции 1945 года по-

вествования о возмущении есаула Листницкого, когда он, по прибытии в Петроград в июле 1917 года, обнаружил в отведенном для казаков помещении эмблему опричнины, выцарапанную на стене рабочими (II, 101). В 1953 году в предложении «безвестный автор ... издевался ... и над самим казачеством, нанявшимся к монархам в опричники» место последнего слова заняли «охранители престола» (I, 161). По иронии судьбы речь идет о книге, которой пользуется Штокман для революционной пропаганды среди казаков. В 1956 году «опричники» были возвращены в обоих случаях.

С 1953 по 1956 год в романе отсутствовало мимолетное упоминание о генерале А. Брусилове (III, 371). Это объясняется тем, что в 1948 году в Русском заграничном архиве в Праге было найдено продолжение книги Брусилова «Мои воспоминания», носившее явно антисоветский характер. Автором продолжения Сталин считал самого Брусилова, тогда как нынешние советские историки указывают на жену генерала. [29]

Изображение белого лагеря в последних изданиях «Тихого Дона» не отличается существенно от изображения его в ранних изданиях благодаря тому, что в 1956 году автор отказался от большинства исправлений, сделанных в этой области в 1953 году. К таким отвергнутым исправлениям принадлежало грубое пропагандное очернение белого движения и его вождей в политическом и личном отношении. В качестве примеров можно назвать: добавления, имевшие целью представить борьбу Корнилова как контрреволюционный поход международной реакции, что, как известно, подкреплялось цитатами из Ленина и Сталина (II, 130-131, 136); появление определения «белогвардейские» перед «добровольческими частями» (II, 207); лишение Корнилова элементарных человеческих черт путем удаления описания того, как он ловил бабочку и затем рассказывал свой сон Романовскому (II, 151-152); умолчание о том, что Корнилов «стройный, подтянутый» генерал (II, 133), а Краснов — «блестяще образованный» (III, 15); дополнительный отзыв о Чернецове как карателе (III, 45); прибавление разносных политических примечаний об атамане Дутове, чехословацком мятеже, а также об Украинской раде и батьке Махно.

В числе уцелевших поправок 1953 года находится пропуск сведений о том, что Корнилов предлагал применение смертной казни исключительно «за ряд тягчайших преступлений, преимущественно военных», и что он требовал установления ответственности перед законом для комитетов в воинских частях (II, 108). В других местах «белые» заменили «добровольцев» (II, 355), Мария Петровна Каледина стала «женой Каледина», а атаман Богаевский лишил-

[29] См. предисловие В. В. Мавродина к «Моим воспоминаниям» А. А. Брусилова, Москва, Воениздат, 1963, стр. 14.

ся отчества (II, 293, 291). По поводу связи Аксиньи с Листницким больше не утверждается, что она «за годы» выросла в «прочный союз» (III, 58). Шолохов, видимо, решил ослабить привязанность самой любимой из своих героинь к непримиримому врагу советской власти. [30]

Из более ранних и сохранившихся изменений можно упомянуть те, которые были внесены редакцией «Октября» в знакомый отрывок, опубликованный в «Красной ниве» в июне 1930 года. Глава окружного ревкома Яков Фомин, впоследствии восставший против советской власти, перестал быть в «Октябре» «скромным от природы казаком», а антибольшевистское настроение казаков было понижено снятием слова «все» в отзыве Фомина о них: «Собаки все ... Все предатели!» (III, 153). С 1933 года не называются «честными» «заслуженный» генерал из первой войны и «мужественные» офицеры, гибнущие в гражданскую войну в боях и от тифа (III, 88, 45). Однако введение офицерского звания в Красной армии и связанное с этим и с войной 1941-1945 годов более терпимое отношение к старому русскому офицерству привели, вероятно, к тому, что ни в редакцию 1945 года, ни в последующие издания не вошло выделенное нами сравнение из предложения: «Ростов и Новочеркасск, являющиеся тылом Добровольческой армии, *как падаль червями*, кишели офицерами» (III, 45).

Из издания 1933 года было выброшено и в дальнейшем не восстановлено замечание о том, что «Деникин, 'без лести преданный' союзникам, не мог простить Краснову немецкой 'ориентации'» (III, 43). По другим причинам то же было сделано и с авторским высказыванием об «обманутых кулачьем и офицерством» казаках-подростках, призванных в повстанческие ряды (III, 291). Помимо чисто плакатного звучания, процитированное утверждение расходилось с авторским изображением Верхнедонского восстания как дружного подъема широких слоев казачьего населения. В 1933 году Шолохов еще мог в некоторых случаях жертвовать агитацией ради правды. Тогда же из припадочных выкриков Григория были удалены слова: «Кровных рубил!.. Своих!» (III, 282). Зарубленные красные матросы, к которым относятся эти слова, не были настолько близки Григорию, чтоб он мог так отзываться о них.

Последний разряд поправок касается национальностей. На отношении автора к ним в известной степени отразилась его любовь к родному краю и казакам. Показательна поправка в лирическом отступлении о донской степи, которое первоначально заканчива-

[30] Поскольку Шолохов назвал Аксинью самой любимой из своих героинь в конце 1958 г., он имел в виду всех своих героинь, включая Варю из второй книги «Поднятой целины». См. Василий Ильин, «Наши добрые советчики», Москва, «Московский рабочий», 1966, стр. 58.

лось так: «Низко кланяюсь и по-сыновьи целую твою пресную землю, донская, казачья, не ржавеющая, кровью политая степь!» Во втором отдельном издании 1933 года автор еще больше «оказачил» степь: «... донская, казачьей не ржавеющей кровью политая степь!» (III, 64). Слитность Шолохова с казачьей средой побуждала его воспринимать события если не по содержанию, то по крайней мере по форме с точки зрения казака. В довоенных изданиях первое предложение третьей книги кончалось заявлением о том, что казаки гнали красногвардейцев к границам области, «с боями освобождая каждую пядь родной земли», а чуть ниже знакомым тоном сообщалось, что «Дон на две трети был очищен от большевиков». В 1933 году исчезает авторское определение плети как «символа казачьего правосудия» (III, 345). Может быть, Шолохов счел эти слова оскорбительными для казаков, а, может быть, он убрал их как лишние, ибо часто упоминаемая в контексте плеть Богатырева сама по себе приобретает символическое значение. Во всяком случае, Шолохов никогда не пользуется названием «нагайка» и возражает против его применения словами своего персонажа — автора дневника (I, 311).

Полурусский, полуукраинец, Шолохов в ранних изданиях романа почти неизменно называл украинцев по-казачьи — «хохлами». В 1933 году это название было заменено в авторском повествовании «украинцами». Не больше почета было оказано поначалу и русским. Вот как выглядели и те и другие в соседстве с казаками: «... в драках лилась на землю донская голубая казачья кровь хозяев и алая — воронежских пришельцев-москалей и хохлов». В 1933 году отношение к иногородним улучшилось: «... в драках лилась на землю кровь хозяев и воронежских пришельцев — русских и украинцев», а с 1953 года вычеркнуто «воронежских» и вместо «хозяев» стоит «казаков» (I, 147). В том же году чувствительность к национальностям заострилась до того, что даже из сказки было удалено слово «москали» (I, 286), а старик казак Прохор Зыков и Григорий Мелехов перестали кое-где пользоваться словом «хохол» (III, 348; IV, 364, 377). Эти необоснованные новшества в речи персонажей просуществовали только до 1956 года.

С 1933 года ослаблена сила идей о казачьей самостийности: удалено несколько строк о том, что при сопоставлении идей сепаратиста Изварина и большевика Гаранжи Григорий склонялся на сторону Изварина, «подсознательно воспринимал новую веру» (II, 200). В 1953 году в авторском пересказе мыслей Изварина вместо «до порабощения казачества Великороссией» появилось «до того, как царизм наложил на него свою руку», а с 1956 года — «до порабощения казачества самодержавием» (II, 198). С 1953 года Григорий, обвиняя Подтелкова в измене казачеству, зовет его председателем не Московского, а Донского совнаркома (II, 392).

Если не в 1943, то в 1945 году ультрапатриотизм военного времени обусловил изъятие двух весьма нелестных отзывов о русских и России. В первом казачка Ильинична называла красноармейцев «Русью вонючей» (III, 137), а во втором белый поручик-переводчик так сравнивал Англию с Россией:

«Я говорю об Англии с такой же завистью, с какой говорит уличный мальчишка, имеющий мать потаскуху с проломленным носом, о приличной барыне — матери своего случайного друга-барчука» (IV, 197).

Довольно пеструю картину представляют собой поправки, относящиеся к евреям. В речи простых казаков до 1932 года употреблялось исключительно слово «жид». В 1932 году, при возобновлении печатания третьей книги, редакторы «Октября» выбросили это слово из речи персонажей, кроме одного случая, который они, очевидно, просмотрели (III, 207). Не прошло и года, как в отдельном издании третьей книги слово «жид» было восстановлено, и до 1953 года никаких изменений в связи с евреями сделано не было, если не считать устраненного в 1933 году вопроса Бунчука: «Погром или ссылка?», который он мысленно задавал себе при взгляде на клок седины у Абрамсона (II, 214).

При подготовке издания 1953 года слово «жид» было снято или заменено почти везде. Возможно, что это отражало общую тенденцию уменьшить в романе количество пренебрежительных названий национальностей, возможно также, что это являлось выражением протеста автора против антисемитизма, усилившегося в последние годы жизни Сталина. Пренебрежительное название было, как правило, оставлено в нейтральных или одобрительных отзывавх о евреях: «Жид с ними один... Люблю жидов!», «Жид, а ловкий!» (III, 138, 140).

В издании 1956 года слово «жид» было восстановлено там, где оно было убрано три года тому назад, кроме трех случаев: «...одного с контрабандой», «Беги, а то заколю!..», «Там у шинкаря...» (I, 239, 269, 293). То обстоятельство, что все уцелевшие поправки приходятся на первую книгу романа, наводит на мысль о том, что в отношении Шолохова к евреям в процессе переработки романа могла произойти перемена, вследствие которой слово «жид» оказалось восстановленным в наиболее враждебных высказываниях о евреях, особенно в третьей книге. Трудно судить, руководствовался ли автор соображениями реализма или антисемитизма, или просто был непоследовательным.

Три поправки коснулись поляков. В 1940 году, после полюбовного раздела Польши между Советским Союзом и Германией, Прохор Зыков в первой главе восьмой части давал такую оценку боевым качествам поляков: «Ну, пришли мы на эту Украйну, пощупали полячишков. Так себе вояки, жидковаты хребтиной. Гордости в них напхато, как в кормленой свинье дерьма, а бегают шибко, ког-

да нажмешь».[31] Война с Германией и прекрасная возможность образовать братское польское государство заставили Прохора взять свои слова назад если не в 1943, то в 1945 году. В то же время в одном месте — и в 1956 году в другом — поляки, с которыми Прохор воевал в 1920 году, превратились в «белых-поляков» (IV, 366, 362).

Самая крупная купюра на национальной почве была продиктована разочарованием в германском пролетариате, который одинаково сражался против и капиталистических стран, и первой в мире социалистической. В 1941 или 1945 году были выброшены две страницы, рисующие братание Валета с немецким рабочим (II, 38-40). Эта сцена вернулась в роман в 1953 году, когда страсти немного улеглись и пора было опять платить дань теории классовой солидарности.

Политические поправки принесли «Тихому Дону» значительный вред, притупили его жизненную и художественную правдивость. В большинстве случаев в этом повинен не сам автор, о чем свидетельствует быстрая ликвидация многих поправок 1953 года. Исправления в «Тихом Доне» состоят главным образом из сокращений, которые менее пагубны для художественного произведения, чем пропагандные добавления, сделавшие неузнаваемыми вещи более уступчивых писателей. При всей партийной гнусности своих вещаний о Синявском, Даниэле, Солженицыне, Шолохов все же в первую очередь писатель, а не политик, и он знает, что он вошел в мировую литературу только благодаря «Тихому Дону». Поэтому защита этого романа от агитационного опошления является его кровным интересом. И учитывая обстоятельства, следует признать, что временами он справляется с этой задачей довольно успешно.[32]

---

[31] «Новый мир», 1940, № 2-3, стр. 9.

[32] Эта статья была уже сверстана, когда автор ее ознакомился с двумя ранее недоступными изданиями второй книги «Тихого Дона», что позволяет уточнить следующие факты: волосяной покров с ладоней Бунчука был удален в позднем издании 1936 г., с иллюстрациями С. Г. Королькова; «дымчатые поля Молдавии» и «сладостно-болезненное» чувство, испытываемое Бунчуком при взгляде на Анну или при слушании речи Ленина исключены в 1941 г. Имя Сырцова исчезло в том же издании 1936 г., но имена Антонова-Овсеенко и членов Донревкома остались до 1941 г. Они есть в ростовском издании 1939 г., хотя Антонов-Овсеенко был уничтожен в 1938 г.

Попутно автор снимает свое утверждение о том, что во втором отдельном издании третьей книги Шолохов еще больше «оказачил» степь. Здесь речь должна идти о восстановлении рукописного текста: «...донская, казачья нержавеющей кровью политая степь!», который вошел с опечатками в предыдущие издания.

А. Л. ТОЛСТАЯ

Правда о Толстом

ПО ПОВОДУ КНИГИ АНРИ ТРУАЙЯ «ТОЛСТОЙ»

Когда близкие друзья мои и племянники сказали мне про книгу Труайя о моем отце, Льве Толстом, у меня некоторое время не хватало смелости ее прочесть. Позже я заставила себя не только прочесть, но и внимательно изучить ее и, пользуясь другими биографиями, различными источниками и собственной памятью, выяснить, насколько факты, изложеные в книге, соответствуют действительности. И прочитав книгу я убедилась, что моя обязанность как секретаря и живого свидетеля последних лет жизни отца, как исполнительницы его последней воли — сделать заявление по поводу работы Труайя.

Читая эту книгу, я спрашивала себя: что это, биография, роман? В заглавии Труайя не называет свою книгу биографией, но по построению и по форме это биография — и издателями, и публикой, и критикой она так и рассматривается, как биография.

Но в чем сущность биографии? По моему разумению, в основу биографии должна быть положена серьезная исследовательская работа — изучение произведений писателя и материалов о нем его современников, сотрудников и членов его семьи. Она должна заключать в себе исторические факты, должна отражать истинное лицо, характер описываемого человека. Невольно возникает вопрос: может ли биограф пользоваться своим собственным воображением и

Эта статья первоначально была написана на английском языке и издана в Нью-Йорке, США, отдельной брошюрой, как отклик на вышедшую там же, тоже на английском, книгу: Henry Troyat: "Tolstoy". Doubleday, New York, 1968. Затем она была переведена Б. Бровцыным на русский и, с разрешения А. Л. Толстой, напечатана в нью-йоркской газете «Новое русское слово» (3, 4, 5 и 7 апреля 1969 г.) Считая, что все написанное о Толстом его близкими должно быть сохранено, мы обратились к А. Л. Толстой с просьбой просмотреть помещенный в газете текст и разрешить нам его перепечатать. Это мы и делаем, печатая просмотренный автором текст. Редакция.

давать неправдоподобные объяснения в ущерб правде? Может ли он искажать факты и события с целью произвести сенсацию своей книгой?

В журнале «Харпер», издаваемом Юстином Капланом, в отзыве о книге Труайя написано:

«Блестящая биография, которая полностью, с эпической точностью рисует раздвоенную жизнь Толстого и доказывает, что биография может быть одновременно литературным произведением, в котором автор пользуется собственным в о о б р а ж е н и е м» (разрядка моя. А. Т.).

Но если допустить, что биограф может уклоняться от действительности, то где же предел, до которого он может доходить? И может ли такая биография считаться достоверной? Я прочла большинство лучших биографий Толстого. Биографы могут невольно делать фактические ошибки, но большинство их не пытается плести узоры собственного воображения, нанизывая одни ошибки на другие.

Иначе обстоит дело с Труайя. В книге «Толстой» он широко пользуется своим воображением. Он думает за Толстого, искажает его мысли; придумывая и изображая события и сцены, которые никогда не имели места, он искажает жизнь и характер Толстого и его семьи.

К сожалению, дневник моей матери был главным источником сведений для Труайя, особенно в его описании интимной жизни Льва Толстого, которой он придает большое значение. Именно это, быть может, и способствовало до некоторой степени "Succes'de scandale" его книги.

Мне тяжело касаться дневника моей матери, на который ссылается Труайя, тяжело говорить о том, что дневник этот не является достоверным источником, но я вынуждена это сделать ради истины.

Незадолго до смерти моей сестры Марии, она, будучи очень близка моему отцу, позвала меня в свою комнату.

«Я должна сообщить тебе кое-что очень важное, — сказала она. — Ты самая младшая, быть может ты проживешь дольше меня, и ты должна знать... Наша мать боится, что ее будут обвинять в том, что она не понимала отца, что она ссорилась с ним, что она не следовала его убеждениям и желаниям, одним словом она боится, что ее назовут Ксантиппой. И теперь она пишет дневник, постфактум, по старым дневникам отца, пытаясь представить и объяснить события по-своему...»

И из этого дневника Труайя черпает свои сенсационные сведения.

Импровизации Труайя начинаются с первых же страниц. Так, в главе «Внешний мир» (стр. 25) Труайя блестяще описывает отъезд семьи Толстых в Москву, когда отец Льва Николаевича решил, что детям, — сыновьям и дочери, — надо было начинать образование. Труайя пишет:

«10 января 1837 года пятеро детей Толстого, графская приживалка Дуняшка, воспитатели и, наконец, тридцать человек прислуги, заполнили возки и тарантасы... Несколько человек прислуги, с красными от холода носами, увязывали багаж в повозках...» И дальше (стр. 26): «Высокая бабушкина карета на больших колесах была впереди... замерзшие на ветру ливрейные лакеи, стоя по обе стороны на подножках, цеплялись за кузов экипажа. Процессия была внушительная...»

Красочное, живописное описание отъезда продолжается дальше. Но все это лишь воображение автора. Как уроженец России он должен был бы знать, что школы начинаются с осени и что экипажи, особенно огромные кареты, не могут передвигаться по глубокому январскому снегу. Если отъезд был приурочен к началу занятий в школах, то это было осенью, а не в январе и тогда не могло быть ни саней, ни прислуги с красными носами, ни замерзавших ливрейных лакеев, прицепившихся на подножках экипажей! В действительности не в январе, а осенью Николай Толстой повез свою семью в Москву. Но г. Труайя пишет с таким апломбом и самоуверенностью, что не знающие примут его утверждения за правду.

Приведу еще несколько фактических ошибок в книге Труайя. Например: Татьяна Андреевна Кузминская, урожденная Берс, или, как ее все называли, тетя Таня, имела много общих черт с главной героиней «Войны и мира» — Наташей Ростовой. Тем не менее Труайя пишет, что у нее контральто, тогда как у тети Тани было меццо-сопрано. Он утверждает, что у Толстого был «кривой нос». Достаточно посмотреть на многочисленные портреты Толстого, чтобы убедиться, что у него был широкий нос, но не кривой.

Почему Труайя решил, что у Льва Толстого были «огрубевшие руки»? У отца всегда были чистые и аккуратные руки и он требовал, чтобы и у нас, детей, были чистые руки и ногти.

Как бы я ни старалась, не могу себе представить отца «с пристальным мистическим взглядом».

Мелкие ошибки в книге Труайя невозможно перечислить, их слишком много. К ним относятся и ошибки в описании толстовской усадьбы Ясная Поляна.

Моя мать, согласно описанию Труайя, в свой первый приезд после свадьбы в Ясную Поляну, любовалась вырезанными фигурами на перилах крыльца, ведущего на балкон. Но этого не могло быть, потому что и балкона в то время еще не существовало, он был построен много лет спустя. В нашем пруду не было карпов, как пишет Труайя. Воду не приносили в дом из реки. Отцовская лошадь Делир была мерином, а не кобылой, а его друг Иван Иванович Раевский не был хирургом (стр. 495). Многочисленые ошибки Труайя, быть может, и не так значительны сами по себе, но они вызывают сомнение в правдивости всего его повествования.

Труайя описывает посетителей, приходивших говорить с моим отцом. Обычно преданный отцу служащий Илья Сидорков (а не Иван, как пишет Труайя на стр. 629), его секретарь или я докладывали отцу о посетителях и он принимал их в библиотеке, или в своем кабинете. Иногда они оставались ночевать в комнате для гостей. Труайя пишет о том, как многие оскорбляли, ругали отца. Таких посетителей было немного, они приезжали в Ясную Поляну два-три раза в год и «обличали» отца. Никто не «совал нос в наши домашние дела», — как пишет Труайя (стр. 604). Моя мать никогда не допустила бы этого в нашем доме, где всегда был большой порядок. Никто, кроме самых близких друзей, не оставался на несколько дней и, разумеется, утверждение Труайя, что кто-то спал «в шкафу в комнате для прислуги» (стр. 470) — чистейший вздор.

Никогда слуга не сопровождал моего отца, когда он ездил верхом. Ездили с ним его друг и последователь Маковицкий или же я.

Труайя пишет: «Под липами играл духовой оркестр» — во время празднования семидесятипятилетия моего отца (стр. 615). На моей памяти в Ясной Поляне не было духового оркестра. Быть может, Труайя подумал о духовом оркестре из крепостных, который играл деду Толстого, старому князю Волконскому, описанному в «Войне и мире»?

В главе «Возвращение Черткова» (стр. 646) Труайя опять не только предается своему неудержимому воображению, но и отклоняется от истины, старается унизить Толстого и последователя его Черткова. В этой главе (на стр. 647) Труайя заявляет, что с одной стороны Толстой «преподавал добродетель, а с другой, предавался греху». Преподавал ли Толстой добродетель в молодости, до женитьбы, когда, по понятиям Труайя, он предавался «пороку»? Труайя как будто подразумевает, что Толстой, проповедуя добродетель, вел развратный образ жизни после женитьбы. Я бы сказала, что Труайя употребляет слишком сильные и далеко несправедливые выражения.

Описывая Черткова, в некоторых отношениях Труайя прав. Чертков был упрямо настойчив и старался навязывать свои мысли и волю другим. Я не была в числе его поклонников. Однажды я с ним даже серьезно поссорилась, когда он старался подчинить отца своей воле, но я никогда не наблюдала, чтобы Чертков негодовал «против некоторых строчек, обвиняя Толстого в антитолстовской ереси» (стр. 648). Чертков, в качестве редактора, делал некоторые замечания по поводу отцовских писаний, но, конечно, прежде чем что-либо в них менять, он сперва советовался с отцом. Никогда не было, чтобы Чертков, — как пишет Труайя, — «указывал через плечо старику», требуя от отца «изменений в его писании». Никто не присутствовал в кабинете отца, когда он работал, никто не мог слы-

шать того, что там говорилось. Эти утверждения Труайя являются чистейшей фантазией автора.

В последние годы жизни отца, когда не было никого, кто разделял бы его взгляды, я была слишком молода, чтобы высказывать ему полное понимание, поддерживать его в его тяжелых испытаниях и понимать его философию. Я знаю, что отец был благодарен Черткову за его преданность и помощь.

Каким абсурдом является утверждение Труайя, что Толстой, идя в гости к своему ближайшему другу, редактору и издателю Черткову, был так счастлив, что его сердце «билось» (стр. 625) и что он находился в «возбужденном» состоянии!

Дальше Труайя уже окончательно предается своему безграничному воображению, в описании дома Чертковых. Разве Труайя не знает, что отец и все его последователи были вегетарианцами и ничего, кроме растительной пищи не ели? Это относилось решительно ко всем. Больная Анна Константиновна, жена Черткова, ела только легкую овощную пищу. Только когда мать Черткова, фрейлина императрицы Марии Федоровны, раз в год приезжала к сыну, еда ей готовилась отдельно. Никогда «свиные отбивные и мясные котлеты или рагу» (стр. 620) не подавались домашним или членам семьи.

Ошибки в биографии Труайя не особенно приятны потомкам Толстого. Но, к сожалению, Труайя решительно отказался воспользоваться сведениями, предложенными ему членами семьи Толстого.

Вот еще несколько примеров. Софья Философова (стр. 490), на которой женился мой брат Илья Толстой, совсем не была «бедной девицей», как утверждает Труайя. Она принадлежала к родовитому дворянству. Ее семья была вполне состоятельной. Ее отец, Николай Алексеевич Философов, был директором известного всей России Московского училища живописи и ваяния. Софья была хорошей женой и матерью и вся семья Толстых любила и уважала ее. Илья, окончив гимназию, служил в армии и затем женился на Софье. «После неудачного пребывания в университете» . . . — пишет Труайя о брате (стр. 467). В действительности Илья никогда не поступал в университет. «Сергей жил в грехе», — согласно Труайя. В каком грехе? Сергей был самым лучшим из всех нас: честный, высокоморальный, настоящий джентльмен . . . Но у Труайя находятся только дурные слова для всей нашей семьи. Какое право имеет Труайя писать, что мужья моих сестер были «слабоумные»? (Стр. 555). Как раз наоборот: Сухотин был исключительно даровитым и образованным человеком; Оболенский был человеком с университетским образованием и несомненно выше среднего уровня. Подумал ли Труайя, прежде чем писать, как эти ложные утверждения относительно нашей семьи отзовутся на родных — внуках и внучках Толстого?

Несколько раз Труайя касается личности Тимофея, незаконного сына отца (стр. 623). Отец, до женитьбы, был связан с очень привлекательной молодой крестьянкой. Их сын Тимофей, высокий блондин с серыми глазами, широким носом и приятным голосом, был очень похож на отца.

Он жил в деревне со своей матерью, крестьянствовал и все его соседи уважали и любили его. Когда мой брат Андрей женился на Ольге Дитрихс (а не на графине Дитрихс, как пишет Труайя) и купил имение, Тимофей нанялся к нему кучером и заведовал конным заводом. Он был настоящим другом Андрея, давал ему полезные советы и оберегал его.

«Он (Тимофей), — пишет Труайя (стр. 492), — был кучером в именьи», — подразумевая отцовское имение Ясную Поляну, в которой Тимофей никогда не работал. Начав с этого неверного утверждения, Труайя, по обыкновению, дает волю своему богатому воображению, угадывая даже сокровенные мысли Толстого (стр. 492):

«Толстой страдал иногда от угрызений совести за свою буйную молодость. Но в конце концов, — заключает Труайя, — ведь это же было п р а в и л о м (разрядка моя. А. Т.): знатные дворяне должны были оставлять в поместье нескольких незаконнорожденных детей, в доказательство своей прошлой мужественности».

Позже Толстой, как это было с ним *всегда,* раскаивался в своем грехе и своей виновности перед Тимофеем. Но тут Труайя снова дает волю воображению:

«Когда Тимофей чистил лошадей или садился на козлы, разбирая вожжи, и спрашивал: куда прикажете везти вас, барин? — Тимофей всегда был живым укором Толстому» (стр. 623).

Но слуги обращались обычно к моему отцу по имени — «Лев Николаевич», он не позволял им называть себя ни «ваше сиятельство», как это было принято, ни «барином». И снова Труайя делает свои собственные заключения, «угадывая» мысли других (стр. 623):

«А как же законные дети, которые все знали? Что они могли подумать о своем отце? Прелюбодей, свинья, дьявол!»

«В литературном произведении, — говорил Толстой, — автор всегда должен оставаться в тени. Пусть читатель сам делает свои собственные заключения». Но Труайя все предрешает, сам думает за родных, за друзей Толстого, за него самого. Он видимо считает, что знает их настолько близко, что может называть уменьшительными именами — Соня, Таня, Маша, Саша, вместо того, чтобы употреблять их полные имена.

И это неестественно. У нас в России и в нашей семье только родные и очень близкие друзья называли нас уменьшительными именами.

Наиболее красочное из вымышленных описаний жизни Ясной Поляны в книге Труайя — это его фантастическое изображение завтрака в доме Толстых (стр. 603).

«В два часа колокол звонил к завтраку», — пишет Труайя и дальше описывает стол, лакеев, одетых в ливреи и белые перчатки, хрусталь на столе. В действительности лакеи никогда в нашем доме не были одеты в ливреи. Ливрею и цилиндр надевали только, когда сопровождали господ на бал, в театр или в концерт в городе. Лакеи обычно сидели на козлах рядом с кучером. Дома они носили простые пиджаки. Труайя продолжает фантазировать:

«Когда барин входил, все вставали и разговоры прекращались. Присутствует около тридцати человек: друзья, приезжие иностранцы, соседи, учителя и гувернантки... В дни, когда Толстой был в плохом настроении, когда он был удручен окружавшим его материальным комфортом, он метал убийственные взгляды на прислугу и на хрусталь...» (У нас никогда не было хрусталя, только простое стекло. А. Т.) «Перескакивая с одной темы на другую, он высказывал свои взгляды на все простым, красочным языком, но впадал в ярость при малейших признаках несогласия, доводя свои утверждения до абсурда...»

Так проходил завтрак, по описанию Труайя. Что же было в действительности? В полдень наша семья и гости, когда они бывали, дети со своими воспитателями и воспитательницами собирались в столовой. Моя мать садилась около кипящего самовара и пила кофе с куском хлеба с маслом и сыром. В этом заключался ее завтрак. Лакей в простой одежде приносил блюдо с макаронами, рисом или котлетами с картофельным пюре, салат, ставил на стол и уходил. Мы обслуживали себя сами и когда кончали завтракать, тот же человек приходил и убирал со стола.

Отец с нами никогда не завтракал. Он работал над своими рукописями до половины второго или до двух. Затем он один приходил в столовую и служащий приносил ему завтрак, всегда один и тот же: одно или два яйца в смятку и овсянку-геркулес.

Несколько раз в своей книге Труайя пишет, что у моего отца были удары (стр. 605, 614). У отца никогда ударов не было. У него очень редко (не более четырех-пяти раз) за последние годы бывали обмороки от нервного потрясения, как это было в Харькове во время поездки в Крым и потом в Москве, когда его приветствовала тысячная толпа. Потеря памяти проходила, не оставляя никаких следов ни в его умственном, ни в физическом состоянии. Доктора, лечившие Толстого (самые лучшие в России), никогда не ставили диагноза, что эти обмороки отца были легкими ударами. После чтения книги Труайя я спрашивала здешних врачей и они подтверждали правильность диагноза врачей Толстого. Труайя умышленно старается изобразить Толстого дряхлым стариком, умственно ослабев-

шим после нескольких ударов, что совсем не сответствует действительности.

Вместо того, чтобы подчеркнуть, что Толстой всю свою жизнь делал нечеловеческие усилия, чтобы побороть свои страсти, и сам себя распиная за грехи, старался исправиться, Труайя предпочел не замечать этого. Он не понимает усилий Толстого, не понимает и пренебрегает его духовной жизнью. Он пишет о ней в вульгарных и циничных выражениях (стр. 112):

«На бивуаках, в своей палатке, в сараях, он продолжал писать обвинительный акт себе за свои грехи, с тем же болезненным наслаждением, с которым он выдавливает прыщи на своем лице».

Толстой записал в дневнике: «Мой выбор сделан давно — литература, искусство, образование, семья». Приведя эту запись, Труайя снова вводит читателя в заблуждение своими самоуверенными и ложными утверждениями. Он пишет:

«Вопреки тому, что заявляет Толстой, он не посвятил образованию ни единой мысли...»

На каком же основании заявляет это Труайя?

В противоречии со своим собственным утверждением, Труайя дальше утверждает, что в 1868 году, вскоре после того, как Толстой закончил свой самый большой роман — «Войну и мир», он опять заинтересовался педагогическими вопросами. И действительно, в 1871 и 1872 годах Толстой посвятил все свое время и энергию работе над составлением четырех учебников и испытанию нового метода обучения азбуке и чтению в устроенной им домашней школе.

Толстой любил крестьянских детей. Он всегда чувствовал свою вину перед крестьянином — перед терпеливым, религиозным народом, живущим в бедности, тяжело работающим, без образования, который даже помог Толстому найти путь к Богу, к религии, и он хотел дать крестьянским детям образование. Но Труайя придерживается другого мнения. Он пишет (стр. 378):

«Эти люди, крестьяне, терпят голод, бедность, жестокое обращение, болезни, страдания... они черпают мужество в самой примитивной слепой вере, проповедуемой попом в маленькой деревенской церкви под куполами с тусклой позолотой». (Почему тусклой? Церкви в России всегда были опрятными, а купола блестели. А. Т.) «Такую веру, как у них, можно было только принимать без вопросов и возражений. Бог, как водка, должен был проглатываться залпом, без размышлений...» (Типичное для Труайя сравнение!)

В состоянии ли Труайя, который делает такие заявления, понять величие толстовской пьесы — «Власть тьмы»? Невольно возникает и другой вопрос: в состоянии ли Труайя понять величие души Акима, в образ которого Толстой вложил лучшие черты русского крестьянина: смирение, веру в Бога, любовь к правде и потребность в

раскаянии. В пьесе сын Акима, Никита, был большим грешником, совершившим прелюбодеяние, убийство. Невзирая на полицию и на то, что Никите грозила пожизненная тюрьма или каторга, Аким думал только об одном, — чтобы Никита сознался, сказал всю правду, покаялся, перед Богом и перед людьми.

Духовная красота этой пьесы и облика старого крестьянина Акима раскрывается в последней сцене, когда Аким, отстраняя урядника, который пытается арестовать Никиту, говорит:

«Дай Божье дело отойдет, значит, тогда, значит, ты и тае, справляй, значит... (и обращаясь к Никите, в восторге): Говори, дитятко, все говори, легче будет. Кайся Богу, не бойся людей. Бог-то, Бог-то! Он во!..»

А вот как описывает ту же сцену Труайя (стр. 463): Никита, встав на колени посреди толпы, рассказывает всю историю, понуждаемый своим *заикающимся* отцом, который вопит: «Бог! Да! Их Бог!»

Книга Труайя получила блестящие отзывы в журналах и газетах США и Франции. Некоторые журналисты называли книгу Труайя «очаровательной», другие — «великим произведением», третьи сравнивали ее с классическими романами. И я не изумляюсь, когда некоторые журналисты, основываясь на книге Труайя, задают вопросы и делают такие заключения, как например в журнале «Парад», где Карен Гари из Бронксвила спрашивал: «Был ли Лев Толстой одержим в половом отношении?» — Обозреватель журнала на это ответил:

«Он не мог совладать с собой, чтобы не попытаться соблазнить каждую женщину, с которой он встречался».

«Отец тринадцати незаконнорожденных детей», * — говорилось в объявлении издательства Даблдей о книге Труайя, помещенном 3 декабря 1967 года в литературном обозрении газеты «Нью-Йорк Таймс». Нас, детей, действительно было тринадцать, но, слава Богу, мы все были законными.

Я не удивляюсь, что подобные вопросы могут возникать после чтения биографии Труайя, в которой подчеркнуто и с вымыслом описываются наиболее интимные стороны человеческой жизни, вместо того, чтобы, пользуясь выдержками и давая объяснение к ним, придавать больше веса духовной жизни. Даже когда Труайя пишет об усилиях Толстого по самосовершенствованию, он сравнивает их с выдавливанием прыщей на лице!

Неужели Труайя думает, что людей интересует, что у Толстого была отрыжка или «сухость во рту» и у него «хорошо работал желудок»? И почему автор стремится посеять сомнение в искренности Толстого, старается умалить его нравственные усилия?

* В самой книге Труайя я такого утверждения не нашла.

Говоря о религиозных взглядах Толстого, Труайя приводит следующую выдержку из его дневника (стр. 395):

«Я, и все мы живем как животные, и умрем мы так же, как они, но, чтобы спасти нас от этого мучительного состояния, Христос дал нам выход... Для меня основа его учения в том, что для спасения необходимо каждый день и каждый час каждого дня думать о Боге, о собственной душе и любовь к ближнему ставить выше простого животного существования».

Еще раньше, на стр. 369, обсуждая «Исповедь» Толстого, Труайя снисходительно отдал дань честности Толстого:

«Надо признать, что желание быть честным — достойно похвалы».

Но после всего этого, после такого великодушного заявления, Труайя написал (стр. 396):

«Вы все время чувствуете, что автор зарывается в свою навозную кучу со слишком очевидным смакованием. Вычурность его языка вызывает сомнение в благородстве его намерения. В конце книги невольно возникает вопрос: не является ли это христианское смирение чем-то показным, каким-то чванством, самобичеванием, вызывающим самоодурманивание, и возможно... способом обратить на себя внимание».

Дальше Труайя продолжает подозревать Толстого в неискренности:

«В другом месте он называет себя низким и преступным человеком, паразитом — показное красноречие в сочных красках!.. Он идет с важным видом в своих лохмотьях, барахтается в притворном смирении и в то же время, больше чем когда-либо, унижаясь, себя обожает...»

Можно не соглашаться со взглядами другого, но нужно их уважать, особенно взгляды великого писателя, человека известного и почитаемого во всем мире. Труайя же пишет в тоне непререкаемого авторитета, превосходства и самоуверенности, стараясь унизить и оклеветать Толстого, сомневаясь даже в его искренности, его честности, по-своему толкуя слова Толстого. Так, Труайя заявляет (стр. 424):

«Он так хотел пострадать за свою веру!.. Мученья, кровь, изумленные толпы... Да, как сладко было воображать собственные пытки, сидя в теплом кабинете в Ясной Поляне, покрытый пледом, в мягких туфлях».

В жизни часто бывают самые трудные обстоятельства. Как должен был поступить Толстой? Должен ли он был уйти из дома, отказаться от роскоши, которую он не любил и не хотел, от жизни в Ясной Поляне, где охрана арестовывала крестьян, когда они подбирали сухое бревно в большом помещичьем лесу, и начать жизнь в природе, среди крестьян, друзей — жизнь, о которой он мечтал? Или же он должен был оставаться со своей нервнобольной женой, в окружении, которое он ненавидел и страдать от осуждения людей?

Труайя предпочитает не видеть трагедии, не замечать, как глубоко страдал Толстой. Он утверждает, что Толстой воображал свои «пытки», наслаждаясь своими «теплым кабинетом», «пледом», «туфлями» (я никогда, кстати, не видела, чтобы он носил предполагаемые Труайя туфли).

Но Труайя не в силах унизить Толстого. Разве Труайя может понять, что признание Толстым своих грехов перед миром составляет его величие?

Ни один человек не может жить без греха, но далеко не все сознают, что только в постоянной борьбе с соблазнами в повседневной жизни — когда человек падает и снова поднимается, обдумывая, анализируя свои ошибки, как это делал Толстой, он может ближе подойти к Богу. Однажды отец говорил мне:

«Я хотел бы, если бы мог, записывать все свои мысли, как они мелькают каждую минуту в моем сознании. Ты думаешь, что ты свободен от мелких эгоистических мыслей. Иногда ты погружен в глубокие философские размышления и вдруг мелькает мысль: как бы кто не съел мой апельсин».

Толстой был человечен и никогда не претендовал на святость. Почему Толстой писал дневник? Безусловно не для таких людей, как Труайя, который читая его дневник, извратил в нем самые сокровенные мысли Толстого, чтобы придать сенсационность своей книге.

Дневник Толстой писал для своего собственного руководства. Когда он был молод, он каждый день строго осуждал свое недостойное поведение и дневник помогал ему исправляться. Когда он стал старше, он записывал в нем философские размышления. Иногда он бегло набрасывал их в свою маленькую записную книжку во время верховой езды или в постели, потом переписывал в дневник. Он считал, что дневник помогает людям в их нравственном усовершенствовании. Он советовал и мне вести дневник, что я временами и делала. В дальнейшем дневник стал источником материалов для моих двух книг об отце.

Толстой никогда не был лицемерен, как пытается его изобразить Труайя, он был щепетильно честен сам с собой и с другими. И может быть именно то, что в нем сочетался грех с сильным стремлением нравственного совершенствования, помогло ему понимать людей — и это было одной из причин, почему он стал великим писателем. Он сживался со своими героями, жил с ними, страдал и радовался вместе с ними: с Пьером, Андреем Болконским, Наташей, Николаем Ростовым, с Акимом во «Власти тьмы», с Анной Карениной.

Тетя Таня Кузминская однажды сказала Толстому:

«Я понимаю, что ты можешь описать чувства и мысли генерала, помещика, крестьянина, но как ты можешь описать чувства влюбленной

девушки или рождающей ребенка матери, — этого я никогда не пойму».

И Толстой безусловно никогда не создал бы таких восхитительных героев, если бы он не был частью их самих, а они — частью его самого.

Именно поэтому мы их любим! Потому что проницательный ум Толстого светится в Андрее Болконском, который понимает величие бесконечного неба; в Пьере Безухове, в его поисках истины; в Левине в «Анне Карениной», который так поражен простыми словами мудрого крестьянина:

«Один человек только для нужды своей живет... только брюхо набивает... а другой — он для души живет, Бога помнит».

И не важно, как часто Толстой падал, он вновь поднимался и шел дальше, стараясь следовать тому совету, который приводит к пониманию смысла жизни и веры в Бога. И именно этого нет в биографии его, написанной Труайя. Во всех своих дневниках Толстой осуждает себя за недостойную жизнь, которую вел до 34 лет, до своей женитьбы, когда у него было много любовных встреч с женщинами, когда он играл и пил. Но за 48 лет своей семейной жизни мои родители были верны друг другу.

Здесь опять Труайя набрасывает грязную тень на Толстого, подозревая его в гомосексуальных чувствах. Источником ему служит дневник моей больной матери, написанный ею постфактум, во время болезни и который не может поэтому служить подлинным материалом.

Труайя удостоился великолепных отзывов во всех газетах и журналах. Его книга названа «блестящей», «значительной»; сказано, что он дал новое понимание Толстого. И, конечно, его книга для читателя — интересное произведение, оно читается как роман с сенсациями, полный любовных приключений, на которые теперь большой спрос. Читатели, как и критики, не имеют сведений из первоисточников, которые только и могли бы вызвать сомнения в правдивости утверждений Труайя. Как они могут знать, что — вымысел, а что действительность? Но я все же должна сказать, что просмотрев многие отзывы о книге Труайя, я нашла, что в них, почти во всех, главное внимание обращено на Толстого как на писателя и подчеркнуты положительные стороны его жизни. И ошибки в отзывах происходят лишь из-за неверных объяснений, данных в книге Труайя.

Когда роман «Война и мир» несколько лет тому назад был подготовлен для экрана, я была представлена публике словами: «Перед вами Александра Толстая, дочь Льва Толстого, автора «Войны и мира», который даже Холливуд не мог испортить». Я склонна теперь сказать: «Толстой — философ и писатель, образ которого даже Труайя в своей биографии испортить не мог».

Как лицо, могущее дать сведения из первых рук, я считала своей обязанностью исправить ошибки, допущенные в книге Труайя, которые создают ложное впечатление о Толстом, его семье и его друзьях. Толстой не нуждается в оправдании: он сам себя осуждал больше, чем мог бы сделать это кто-либо другой. Но я боюсь, что ошибки в книге Труайя могут быть повторены другими, в работах о Толстом.

Это уже происходит. В недавно изданной работе «Лев Толстой» Мишеля Ростислава Гофмана, * появившейся во Франции, автор приводит сведения о Черткове, его отношении к Толстому и описание дома Черткова, повторяя те же ошибочные утверждения, которые мы находим в книге Труайя, относительно мяса и другой еды, будто бы подававшейся обитателям чертковского дома. Очевидно Мишель Гофман заимствовал сведения из книги Труайя, или из подобного же, незаслуживающего доверия источника.

Я написала эту критику, в частности, для людей молодого поколения, учащихся в колледжах и университетах, где они изучают Толстого, как одного из великих классиков литературы. Они заслуживают того, чтобы иметь верные и правдивые сведения о великих писателях и философах, которые позволили бы им сделать свои собственные заключения, свободные от влияния искажающих истину утверждений заблуждающихся писателей.

Многие студенты находятся под большим влиянием толстовской философии, его борьбы за совершенствование, его усилий найти веру в Бога. После чтения книги Труайя, в их сознании могут возникнуть сомнения в искренности Толстого.

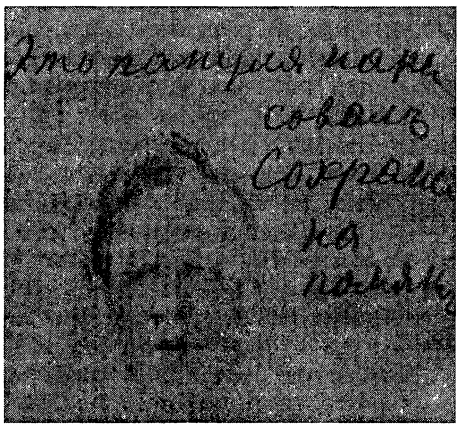
Утверждая свою собственную, не допускающую возражений, точку зрения на Толстого, Труайя лишает читателя права составить свое собственное мнение.

Почему Толстой стал великим писателем? Он стал им благодаря его жизни во Христе, его поискам правды, его защите обездоленных. Наконец, он стал им, пройдя через заблуждения, страсти и грехи.

*Leon Tolstoy. Michel Rostislav Hofman (serie: Vis et Visages).

Д. ШУВАЛОВА-ШАЛЯПИНА

СКАЗКИ ШАЛЯПИНА



Время моей жизни — детство и первая юность — которое я прожила с отцом, а он со мной, навсегда осталось сказкой. Не той сказкой, которой иногда называют жизнь, точнее, оставшиеся в памяти чудесные неповторимые годы. Моя сказка другая. Она слишком часто бывала страшной сказкой, фантастическим миром, который я не понимала, как не понимал и отец, как не знал и не понимал никто. Никто из нас не знал, из каких глубин подсознания поднимались эти фантастические существа, о которых рассказывал отец, когда приходил ко мне в детскую, садился на постель и начинал *свою* сказку. Мгновенно проваливалась действительность, в комнату входила фантазия и начинала в ней жить.

Появлялась очаровательная Дези, Бебешка-Сюсюсюшка и какая-то таинственная штучка — получеловек-полуживотное. Она жила, суетилась, бегала, пряталась, что-то делала, но что? — никто не знал. Не знал, наверно, и сам отец. Впрочем, как я могла разобраться в этом причудливом мире, раз Сюсюсюшка была то сказочным существом, то совершенно реальным, превращаясь или в меня или в мою куклу. То же самое происходило и с Дези: иногда она выходила из сказочного мира и становилась моей матерью.

Я никогда точно не знала, о ком именно идет речь. Для взрослого воображения это может быть было нормально: отец создавал пре-

---

Этот очерк дочери Шаляпина приготовлен к печати К. Померанцевым. Все рисунки исполнены Ф. И. Шаляпиным. Перепечатка воспрещается. Copyright by autor.

красные фантастические образы и порой отожествлял с ними мать и меня. Но в мой детский мир — с его детской логикой и его детскими законами — такие отожествления вмещались с трудом. Я терялась, мне становилось непонятно: как это может быть, что один день Сюсюсюшка была сказкой и жила в сказке, на другой становилась куклой, а на третий вдруг превращалась в меня и волей отца была его «ненаглядной дочуркой». Но она всегда оставалась доброй и хорошей и, кажется, была единственной, которую я не боялась. Я боялась потерять себя и самой стать частью создаваемого отцом сказочного мира.

Отец, конечно, ничего не подозревал. Он был гениальным артистом и замечательным рассказчиком. Он не был виноват, что произносимые им слова оживали, становились предметами, животными, людьми. Он сам жил в двух мирах, перевоплощался в каждом своем новом выступлении, перевоплощая все, что его окружало. Так, наверно, случалось и с его сказками.

К Бебешке-Сюсюсюшке откуда-то приходил огромный Северный Колдун, очень страшный и очень злой, и почему-то всегда воевал с Колдуном Южным, тоже нехорошим, но не таким нехорошим и злым, как Северный. И вот в это царство, становившееся постепенно моим реальным миром, вдруг входил ОН — самый главный, Андраши-Кудряш. Он был замечательно красив и бесконечно добр: красив потому, что добр. Так хотел отец. У Кудряша всегда была большая и тяжелая сабля: ею он защищал сказочный мир от всего нехорошего и злого. Но я боялась и его: он ведь тоже был частью отцовской фантазии, в которой все больше и больше запутывалась я.



Теперь от всего этого в памяти осталось лишь одно смутное, но назойливо живущее пятно: вторая реальность моего детства, вернее, та единственная, в которую годами сливались для меня повседневный и сказочный мир тех лет.

Так, каждый вечер, когда отец оставался дома, он приходил ко мне и продолжал рассказывать неоконченную

накануне сказку. Сказка длилась, длилась, но конец так и не наступал, хотя рассказы продолжались годами. Впрочем, разве бывает конец фантазии? Вот я до сих пор и не знаю, что тогда было реальностью, а что фантазией. Наверно и то, и другое.

Когда же отец уезжал на гастроли, он писал мне письма и сказка возобновлялась потому, что он продолжал ее в письмах и часто сам их иллюстрировал.



«Сегодня видел дворец прекрасного витязя Кудряша-Андраши, — но самого его здесь нет. Он ускакал на Лихом коне Григе в Бордосское королевство к старому Бордосскому королю просить у него руку и сердце (так говорят, когда хотят жениться) принцессы Дези. Кругом дворца стоят шестнадцать мохноногих. И стража. У стражи на лицах грусть. Наверное беспокоятся, как бы юные колдунята не наделали неприятностей молодому витязю Кудряшу-Андраши. Я сам тоже немного волнуюсь и все время спрашиваю, какие новости рассказывают во дворце... Но... пока все благополучно... Мохноногие весело хохочут».

В другом письме, жалуясь, что мать не подает ему кофе в постель «скоро и ловко», как это делала я, потому что — «ведь известно, что она *«копунья»*, он вдруг прибавляет:

«На днях видел 4-х Мохноногих. Они кричали кланяться принцессе нашей Дасе. Не знаю почему они считают тебя своей принцессой».

Я тоже не знала, и мне было страшно засыпать: я не хотела быть «принцессой Мохноногих», особенно таких, какими их изображал отец. В конце концов я стала одержима Мохноногими. Даже в поезде, стоя у окна вагона, чуть ли не за каждым проносившимся деревенским домиком, чуть ли не за каждым деревом мне чудились Мохноногие. А отец еще подбавлял: подходил, клал руку мне на голову, а другой показывал в окно:

— Видишь, видишь? Вон там за пень спрятался. Вон он за деревом. Смотри, сейчас выйдет. Вот, вот...

Я напрягала зрение, всматривалась и действительно начинала видеть. Стоило чему-нибудь двинуться, пройти человеку, пробе-

жать собаке — мне уже чудились Мохноногие. И почему-то они непременно смотрели на меня. Я смотрела на них, боясь проронить слово, завороженная гипнотизирующим шепотом отца и моим воображением. Так продолжалось даже в Сен-Жан-де-Люз, где отец купил землю и выстроил виллу, хотя мне было уже девять лет.

В Пиренеях есть совершенно особенная порода дубов. Впрочем, может быть и не такая уж особенная, только в других местах таких дубов я больше не видела: костлявые, узловатые, раскоряченные, покрытые снизу густым зелено-бурым мхом. Всякий раз, когда отец их видел, он, торжествуя, заявлял:

— Смотрите, вот они, Мохноногие!



Там, в Пиринеях, они уже не прятались за дома или деревья, они смело выступали перед нами, гордясь всем своим мохноногим уродством.

Я знала, что Андраши-Кудряш защищал Дези, заслонявшуюся в моем воображении матерью, и что у Дези — но не у матери — были свои Мохноногие, целая армия Мохноногих. Это были страшные, но в сущности хорошие существа. Они спа-

ли днем и просыпались ночью, чтобы охранять этот — тоже просыпающийся ночью — таинственный мир, от страшных колдунов и колдунят.

Хорошо, что отца часто не бывало дома и что он не всегда брал меня в свои концертные турне. Но приходили письма. Мне их читали, когда я не умела читать, потом, когда научилась, читала сама, и сказочный ночной мир оживал и вытеснял из моей детской головы реальный дневной.

«Дорогая!

Вчера я пошел вечером в огромный зал петь концерт. И что же я там увидел!!! (Следует описание и чертеж зала).

И вот, можешь себе представить, только я вошел в артистическую комнату, как вдруг был поражен удивительным зрелищем. На двух стенах этой огромной комнаты нарисованы две огромных картины. Одна из них представляет молодого юношу, сидящего на белой лошади с копьем в руках (сломанным) и у ног юноши лежит окровавленный зверище в виде крокодила. В глубине под бархатным балдахином стоит с распущенными волосами в белоснежном платье блондинка принцесса Дези и у ног ее стоит на коленях великолепный красавец принц Андраши-Кудряш, целует ей руку, а на троне сидит старый король Бордосский, и весь народ с шляпами бросаемыми в воздух, кричит: «Слава победителю!» На коне же с копьем в руках сидит принц Туся, глаза у него, как звезды горят так ярко, а крокодил высунул язык и видимо подыхает совсем.

Это одна картина, а на другой стороне на стене сидит старец на льдине, в руках у него что-то вроде магической палочки (должно быть заячий хвостик) и страшные рожи колдунов засыпанных снегом, они сидят в страшных неподвижных позах и с неописуемым ужасом в глазах — волоса их стояли, как щетина... Когда я это увидел, я сейчас же позвал Мамулю и Макса (аккомпаниатор отца, Макс Рабинович) и показал им это. Они прямо вскрикнули от удивления.

Что? — сказал я, — видите, что я рассказываю моей дочери правдивую сказку? А они разинули рты и начали бормотать: — Правда, правда, Господи! Да ведь действительно все это правда!

Как жаль, дорогая моя дочурка, что тебя здесь не было с нами. Вот ты была бы наверное так рада все это увидеть...»

Нет. Я не была бы рада. Я и так долго не могла заснуть в эту ночь. Меня пугали и колдуны, и крокодил. Мое детское воображение рисовало их в самых страшных позах и я не понимала, что все они делали и чего хотели. Я наверно пропустила без внимания, что отец описывал картины — им, конечно, придуманные, — но описывал так, как будто перед ним были живые существа и их видели Мамуля и Макс. Нормально, что их начинала видеть и я.

Были и другие сказки, но уже не такие страшные. В них жили и действовали животные: «Лошадка», «Киська», «Собачка». Как-то отец прислал мне три картонных вырезки лошади, собаки и кош-

ки. Я их давно потеряла и где он их взял, совсем не помню. Но посылая их, он сразу же сопроводил посылку сказкой:

«Посылаю тебе эти три картонные вырезки — лошадку, киську и собачку. Они такие славные, живут вместе и никогда не ссорятся, все у них хорошо. Один раз они все трое отправились гулять в темный большой лес. Киська залезла на дерево (хотела искать птичьи гнездышки), собачка побежала посмотреть зайчиков, а лошадка осталась пощипать травку и так хорошо фыркала носом. Вдруг откуда не взялся волк. Как бросится на лошадку, да и схватил ее зубами прямо за гриву (за шею). Лошадь не ожидала этого, страшно испугалась, встала на задние ноги, да как закричит изо всех сил. А волк все ее кусает да кусает — прямо хочет съесть. Киська как увидела это, да как замяучит, да как бросится с дерева прямо на спину волку, да как вопьется когтями ему в уши, да как начала царапать глаза, так сразу глаза волку и выцарапала. Собачка (ее звали Рахман бей) услышала, что лошадка кричит и киська орет — как побежит во весь мах (прямо летела, как по воздуху) — ррраз, два, тррри! — и тут как тут. Как увидел Рахманка, что волк на лошади, а киська на волке, да как начал хвост тянуть зубами, кожа-то у волка и лопнула, волк-то испугался и сам хочет бежать, а Рахманка-то держит шкуру за хвост. Волк начал ворочаться — шкура-то с него и слезла и осталась во рту у Рахманки. А волк голый с одним только мясом и, давай Бог ноги, удирать. Рахманка-то не понял — начал трепать шкуру, думал это сам волк, а волк-то поэтому только и удрал. Киська начала мяукать, лошадка фыркать — дескать — Что же ты, Рахманка, делаешь? — ведь это уже не сам волк, а только его шкура! Рахманка-то пришел в себя и понял, что в азарте волка-то самого отпустил.

Как залает, как зарычит со злости, и бросился волка догонять. А волк-то бежал, бежал, да охотнику и встретился. Охотник-то взял ружье — пиф-паф! — волк-то и упал — только ногами подрыгал. Лежит мертвый. Подошел охотник, смотрит. а шкуры-то у волка нет. Вдруг прибегает Рахманка, увидал охотника, увидал, что волк мертвый и начал хвостом вилять и потихоньку выть, да глазами показывать охотнику — дескать иди за мной. Охотник понял, пошел за собакой и пришел как раз где лошадка, а там смотрит — киська раны лошадкины зализывает, чтобы кровь у лошадки не шла. Но тут охотник взял лошадку, сел на нее, киську взял посадил себе на плечо, а Рахманку заставил нести в зубах волчью шкуру. И так, скоро-скорехонько приехали все в деревню.

Мужики собрались все. Увидели всех в добром здравии и устроили пир на весь мир. И я там был, мед вино пил, по усам текло, а в рот не попало. Вот тебе, дорогая, и сказочка от Папули».

И все это началось с трех картонных зверьков, которых нашел отец то ли на конфетной коробке, то ли на рекламе, вырезал и прислал мне! Сказка родилась сразу же, как только он увидел фигурки. В письме, как всегда, не было ни одной помарки!

Отец прожил исключительно интересную жизнь, знал чуть ли не всех сильных и славных мира сего и я даже не представляю — приняв во внимание его более, чем скромное социальное положение — с чьей судьбой можно было бы сравнить его воистину «дивную судьбу»? А как он умел держать себя в их, порой коронованной среде, где царем оказывался он, помазанник изначального Слова! Когда же он начинал петь, все проваливалось и оставался лишь один, им творимый, в процессе его пения, мир.

И вот теперь мне начинает казаться, что он должен был тяготиться своим окружением. Оно безусловно льстило его самолюбию, создавало ему «цену», не только, конечно, как певца, но и как человека, но в какой-то глубинной глубине его не удовлетворяло. Или даже не то, что не удовлетворяло, но требовало противовеса. И он находил противовес в любви ко мне и в тех сказках, которые он мне рассказывал или посылал в письмах — ведь он тоже в них жил, они тоже были частью его сложного внутреннего мира. На сцене и на приемах была игра, непрестанный контроль над собой, над каждым жестом, каждым словом. В сказках и в письмах жили чувства, его бесконечная отцовская нежность, пусть даже меня пугавшая, но зато бесконтрольно вырывавшаяся из самого его сердца.

Вот другое письмо. Оно прислано из Нью-Йорка и помечено 22 ноября, но год не стоит. Думаю, что мне было тогда лет пять-шесть, значит 1926-27 год, но с точностью сказать не могу. Сообщив, что он посылает мне «кое-какие маленькие штучки из Америки» и что к Рождеству найдет еще «что-нибудь», отец сразу же приступает к «делу»:

«Ну, а теперь папуля расскажет сказку своей дочурке Дасе. Слушай:

У Бебешки Сюсюсюшки оказалась маленькая, такая же как и она сама сестренка и звали ее Парлярлюшка. Вот один раз Парлярлюшка пошла в лес собирать грибы, как вдруг издали увидела Мишку-медведя. Он шел прямо к Парлярлюшке. Испугалась Парлярлюшка да и ну карабкаться на дерево. Залезла туда, как маленькая киська и сидит, спряталась в листочках. Молчит и боится, что Мишка-медведь ее увидит, залезет на дерево и скушает бедную Парлярлюшку. Медведи хорошо лазят по деревьям, а волки не могут.

Вот Мишка-медведь подошел к дереву и нюхает, носом поводит, а Парлярлюшка чуть жива. Господи, Господи! Не дай Бог, заметит. Однако Мишка что-то нюхал под деревом, да и ну лапами ковыряться, что-то разрывать. Посмотрела Парлярлюшка сверху и видит, что медведь копал землю и оттуда множество выползло муравьев, а Мишка только язык подставляет. А муравьи так и ползут ему в рот, а он их и глотает, да еще и причмокивает: вот так — мня-мня-мня. Ну, — думает Парлярлюшка, — слава Богу, Мишка не видит меня, я спасена. Как вдруг в это время, около дерева пробегает волк. Парлярлюшка еще больше ис-

пугалась, чуть с дерева не свалилась, и так сильно покачнулась на дереве, что хитрый волк ее увидел сию же минуту. Оскалил зубы, защелкал ими, да и говорит Мишке, — Слушай, Медведушка, я не умею лазить по деревьям-то, а уж ты так-такой мастерище. Полезай-ка кверху, да достань-ка там Карапузика-девочку. Мы с тобой закусим здесь сладко. Ты ножки ее покушаешь, а я — ручки да плечики».

А Мишка ест своих муравьев, да и говорит волку — Дурак ты, дурак, я тут сладких муравьев кушаю, а ты сдуру-то девчонку какую-то увидал. Нет тут девчонки, тут одни муравьи. А волк и говорит медведю — Ты сам болван, косматый дурень. Я тебе говорю дело, а ты рассуждаешь, как сюсюшкин осел.

Рассердился медведь на волчьи слова, да как начнет волка за шкуру драть, волк так и взвыл, — Батюшки мои, волченятушки, защитите, помогите, медведь живот мне раздирает! А Мишка еще пуще — так волку пузо разодрал, что у волка все кишки из живота вывалились.

Сделал свое дело Мишка, покрякал, да и пошел в лес, а волк лежит и сдвинуться с места не может. Плачет и говорит Парлярлюшке, — Слезай с дерева, да помоги мне встать. Парлярлюшка-то была дурешка, слезла да и хотела ему помогать. А волк-то схватил ее за платье, да не пускает, говорит, — Подойди-ка поближе, я только посмотрю, какие у тебя глазки.

Парлярлюшка поняла, что волк хочет ее покушать, да и ну кричать — 'Бойка! Бойка!' (а это собачку так у нее звали). Бойка спал дома крепким сном на кухне, и вдруг услыхал, да изо всех сил и припустился бежать в лес. Прибежал, смотрит, а волк Парлярлюшку за платье держит. Как набросится Авулька-Бойка на волка, да как схватит его за голову, да и ну грызть. Загрыз Бойка волка до полусмерти, а Парлярлюшка от всех страхов лишилась чувств и упала на траву. Тогда Авуля-Бойка подошел к Парлярлюшке и начал лизать ей нос, да так сильно, так здорово, что она пришла в себя.

Авуля помог ей подняться, посадил на себя верхом, да и ну что есть силы бежать домой. А дома Папуля и Мамуня давно беспокоились: куда девалась Парлярлюшка. Когда же увидели, что Авуля несет на спине их дочку, они собрали сейчас же всех на кухне — и лошадку, и ослика, и коровушку, и свинку, и котика, и петушка, и индюка, и гуся и Авульку и устроили пир на весь мир. И я там был, мед, вино пил. По усам текло в рот не попало».

ОЛЬГА КОЛБАСИНА-ЧЕРНОВА

О Марине Цветаевой

С Мариной Цветаевой я впервые встретилась в 1923 году в Праге, куда переехала из Берлина с дочерью Ариадной. Прага была центром русских ученых и писателей, приехавших из России, чешское правительство их поддерживало стипендиями и давало деньги на издание журналов. Я сотрудничала в одном из них.

Нам нашли комнату в предместьи Праги — на горе, в Смихове.

На второй день приезда, в дверь постучали.

Вошла молодая женщина, коричневые волосы челкой, матовая светло-коричневая кожа лица, светлые глаза. Стройная, даже как будто неестественно прямая — «стальная выправка хребта», как сказала она в своем стихотворении о князе Сергее Волконском — слова эти подходили именно к ней. Эта прямость, несгибаемость поражала, она придавала угловатость ее стремительным движениям, и некоторую неженственность. Мягкости не было.

Перетянутое кушаком коричневое платье, — всегда носила туго стянутый кожаный пояс на очень тонкой осиной талии; плечи широкие, костистые.

Беглый взблеск зеленых глаз, какая-то, я бы сказала, звериная роскось — в сторону: видит вас, но как будто смеясь, как будто прячась от вас — очень светлых и очень зеленых прозрачных глаз. Это ее повадка (звериная), обижавшая некоторых людей: не смотрит на вас, когда разговаривает. У меня такого впечатления не было ни сразу, ни потом, хотя я очень чувствительна к «не смотрящему прямо глазу». Я всегда чувствовала, что отводя глаза, она смотрит на вас с интересом, но слегка со стороны, отодвигаясь, или приглашает вас следовать за нею — и это даже устанавливало с нею не отчужденность, а какую-то общность. И еще в них выражалась

Ольга Елисеевна Колбасина-Чернова, известная журналистка, автор книги «Новые горизонты», скончалась в 1964 году. Этот очерк предоставлен редакции из ее архива.

ее неуловимость, которая всегда в ней чувствовалась. Она здесь, но вот уже там — и вот сейчас улетучится.

— Марина Цветаева-Эфрон, — протягивает руку; ее рука тоже поражает: сухая, крепкая, жилистая рабочая рука, старше ее возраста; массивный перстень на пальце. На руках широкие серебряные браслеты-запястья.

Она любила только серебро; золото — золотой телец, говорила она презрительно, для сытых, благополучных и самодовольных.

— А цвет солнца, воплощаемый в золоте, а Царица Савская? .. ведь она в золотых браслетах . . .

— Востоку пристало, не нам. Мы — серебро.

Но я отвлеклась.

— Мы соседи, познакомимся, пришла просить у вас вилок, ножей и ложек, у нас вечером гости — не хватает.

Я смущена: у меня нет ножей и вилок, мы только что приехали. Только две серебряные ложки уцелели, и обе с ущербом, а ножи заменяет корсиканский кинжал и складной тоже корсиканский нож — оба с вырезанной головой мавра в повязке, эмблема Корсики с одной стороны, а с другой надпись: vendetta corsa.

— Но это же чудесно: вместо кухонного ножа кинжал. Им вы крошите лук? И надпись: вендетта. И нет ни одной вилки, ни одной целой ложки! Серебряные, но временем изгрызенные, ущербленные, со старинными узорами! А где остальное из столового прибора — верно было?

— Да, было. Продала на Сухаревке за тяжелый круглый хлеб.

— Еще лучше, — она в восторге; глаза в смехе и блестят. — Сейчас утро. Я никогда, ни под каким предлогом не пропускаю утренних часов. Вечером гости, иду сейчас работать.

Исчезает.

Вскоре я узнала ее привычку писать с самого раннего утра. Никакие силы, никакие обязательства не могли заставить ее уклониться от этой работы. Когда приехала из пансиона ее дочь, десятилетняя Аля, Марина заставляла ее по утрам убирать комнату, подготовлять обед, а потом, через два года, нянчить новорожденного брата, из-за чего Аля не могла поступить в школу и систематически учиться. Впрочем это не помешало ей писать грамотно на двух языках и приобрести много знаний, и все это своими силами и способностями. Марина говорила: «Или я — моя жизнь, то есть мое творчество, или она, еще не проявившая себя, еще в будущем. А я уже *есмь* и стихами жертвовать не могу». Мне она говорила: «Пока не научитесь все устранять, через все препятствия шагать напролом, хотя бы и во вред другим, пока не научитесь абсолютному эгоизму в отстаивании своего права на писание — большой работы не дадите».

На другой день с утра приносит корсиканские ножи:

— Кинжалом пользовалась только я, Корсика родина моего Наполеона (в первый раз услышала я от нее слово «мой» — потом узнала: «мой Пушкин», «моя Москва» и так далее). — Как это прекрасно сходится; а ваше имя?

— Ольга Елисеевна.

— Неужели Елисеевна? Как в сказке царевич Елисей? А ваша дочь?

Она стояла тут же, еще девочка, четырнадцати лет.

— Ариадна.

— Мою дочь тоже зовут Ариадной. Почему вы так назвали?

Я смущена от такого резкого допроса и говорю бессвязно:

— Так, Ариаднина нить...

— Так я и думала. Значит нить и Тезей? Мы с вами сойдемся. А сейчас я за письменный стол.

Стол играл главную роль в ее жизни. Позже, в 1933 году, Марина Ивановна написала цикл стихов: «Мой письменный верный стол!»

После этих коротких встреч, начались длительные. «Самое упоительное в дружбе — узнавание». Я познакомилась с мужем Марины Цветаевой, обаятельным Сергеем Яковлевичем, и мы обе с Ариадной сдружились с ним. Их дочь Аля была тогда в пансионе в чешской провинции, кажется, в Тшебове. Началась быстрая, молниеносная дружба.

В этот период я и вся наша семья открыли Пастернака, — восторг и удивление Марины Ивановны, для нее Пастернак был: «Взрыв, обвал, удар». Она сразу почувствовала его величину и сказала: «Он сейчас больше всех, большинство из сущих были, некоторые есть, он один будет». Вдруг, в заброшенном Смихове, в маленькую комнату, где нет ни кресла, ни ножей, ни вилок — врывается ливень Пастернака. Мы перебивали друг друга, в три голоса говорили его строчки. — «И пахнет сырой резедой горизонт» — как это у него: «лиловые глаза в грозу?» — «Что в грозу лиловы глаза и газоны...» — поправляет Ариадна. Или: — «Топтался дождик у дверей — И пахло винной пробкой...» Марина Ивановна подхватывает: — «Так пахла пыль, Так пах бурьян...» И я: — «Так пахли прописи дворян — о равенстве и братстве...» — «Неужели вы и на эти прописи обратили внимание? — говорит Марина, — ведь в них начало революции — пахнет вином, опьянением революции».

Никогда не забуду этого проникновения поэта в самую сущность поэзии другого поэта, ее ослепительных эпитетов, ее толкования. То, что я схватывала иногда интуитивно, — она озаряла светом своего понимания, всегда безошибочно.

«Сестра моя жизнь» — это был незабываемый вечер, она говорила о Пастернаке и мы перекликались его строками.

Начался роман у нее со мной и с Ариадной — с каждой порознь. Ей она напишет на книге: «Моей полу-дочке, полу-сестре». А со мной прогулки в горы и беседы: ее разговоры с острыми, иногда спорными формулировками и противоречиями. И споры, после которых часто я чувствовала себя как после бега на гору. И конечно стихи «без конца и без краю».

— У меня к людям, — говорит она, — бывает или равнодушие — прохожу мимо, или встречаюсь по делу, или роман: с мужчинами, с женщинами, с вещами. С вами у меня роман. — И начались подарки: я ей подарила корсиканский, дорогой для меня по воспоминаниям, нож. Перед сном нахожу в постели под одеялом медную мельницу с резьбой, для турецкого кофе, который мы обе любим. В другой раз старинная серебряная ложечка, или книга стихов, или морские камушки из Коктебеля, собранные на берегу Черного моря, когда Марина жила у Макса Волошина — мы потом оправили их и сделали кольца. И еще трость (альпеншток) — посошек, как она говорила, для гулянья в горах, лежал под простыней. — Ну, оседлаем наших коней, — говорила она, когда мы отправлялись на дальнюю прогулку в горы. Мы дня не проводили врозь, по вечерам вместе ужинали, потом читали.

И вот, в один из первых вечеров, еще в рукописи Марина прочла свою поэму «Молодец». Для меня это было то же, что с нею, когда она открыла Пастернака: удар, взрыв. У меня намечена работа о Марине Цветаевой, о ее творчестве, я ее озаглавила: «Непобедимые ритмы» — эти слова взяты из стихотворения Максимилиана Волошина, посвященного ей. Оно попало ей в руки уже после его смерти.

«Тихо пою стих
В неосязаемые угодия
Ваших образов —
Ваши молитвы
Малиновые мелодии
И непобедимые ритмы».

В ее чтении поэмы «Молодец» мне прозвучали непобедимые ритмы и Марина встала во весь рост как поэт.

Вспоминаю ее слова из «Поэмы конца» — слова, вошедшие в наш обиход, мы часто их повторяли: «Преувеличенно — то есть во весь рост», иногда шутя. Когда Марина превозносила кого-нибудь, по своему обыкновению, без меры — до небес, я говорила ей: «Ну, это преувеличенно». Она отвечала: «Значит, во весь рост». «Но ростто у него карликовый». Марина возражала: «Зависит от расстояния, может быть, когда отойду, издалека и увижу, что карлик, а пока — нет».

Но слова Волошина: непобедимые ритмы — на каком угодно расстоянии во времени, не преувеличение. Прошли три, четыре десятилетия, но ритмы Цветаевой остались непобедимыми. Они жили в

ней, исходя из ее сущности. Нельзя сказать, как говорят обычно: «Она владеет ими мастерски» — они ее дыхание, которое прерывается с самой жизнью. Дыхание то трудное, то ускоренное, то головокружительное на высотах, задыхающееся в беге, или тихое и ровное дыхание человека в часы раздумий. Марина Ивановна говорит: «*Словотворчество это хождение по следу слуха народного и природного*. Хождение по слуху».

Эти слова объясняют ее творчество.

По ее собственному определению, стихия играет в нем главную роль. «Наитие стихий — это творчество поэта. Наитие все равно на кого, сегодня на Пушкина, завтра на нее, Марину Цветаеву».

Гений, по ее определению — высшая степень подверженности наитию, это первое. Управление этим наитием, второе. Высшая степень душевной разъятости и высшей собранности. Уйдя от стихии, поэт уходит от истоков творчества, он иссякает и гибнет.

Ее творчество, действительно, как она говорит, «наитие стихии», под напором которой она творит, выражая волю не свою, а волю стихии, свойственными ей ритмами. «Состояние творчества есть состояние наваждения». «Что-то, кто-то в тебя вселяется, твоя рука исполнитель — не тебя, а того, что через тебя хочет быть», — вот формула творчества Марины Цветаевой.

В жизни Марина Ивановна отчетливая, твердая, с ясным умом, с отточенными, часто сухими формулировками. На одержимую, в жизни, она не похожа, но ею она бывает, когда отдает себя во власть стихии творчества, правда, никогда не теряя управления над нею.

И еще она бывает одержима в своем творчестве жизни. Жизнь несовершенна, отсюда ее неприятие Мариной. Оно приводит ее к собственному «мифотворчеству». Она видит людей такими, какими ей хочется их видеть. Иногда, действительно, на время она превращает их в тех, какие представляются ее воображению. Но какая горечь остается, когда созданный мираж исчезает.

Марина часто строит односторонний роман, создает из встреченного ею человека — свой образ: рыцаря или героя, или даже еще не раскрывшегося, не нашедшего себя поэта и обращается к нему, как к найденному избраннику, не замечая, что он не разделяет, и не понимает даже ее чувств.

В реальной жизни она встречает своих героев только заочно: Райнер-Мария Рильке, или почти заочно: Пастернак — они ей по плечу, как она любит говорить. И вот ее пристрастие к Казанове — он меняет, он ищет в вечной тоске от ненахождения.

Вспоминаю один случай из жизни в Париже. Марина Ивановна приехала к нам на дачу. Было много гостей. Был, что называлось тогда — «Монпарнасс». Друзья приводили друзей, иногда даже незнакомых хозяевам, был большой сад, большой стол. Марина лукаво меня подталкивала: да это же гости из «Молодца» — «не зна-

мы, не ведомы». Марина Ивановна села рядом с одной финкой, работавшей по хозяйству в знакомой семье. Финка приехала случайно. По виду гувернантка, сухая, очень молчаливая, совсем не образованная, но воспитанная. Марина начала ей рассказывать о своих последних стихах, об искусстве, может быть о трагедии или вечности. Я видела непонимающие глаза финки и ее усилие не показать абсолютного непонимания, она только растерянно кивала головой, пила чай, капельки пота выступили у нее на лбу. Марина долго говорила с нею. И встав, обратилась ко мне: «Как эта женщина умеет слушать. Кто она?» Так она и не узнала, кто была эта финка.

Из бесед на Смихове, я помню наши споры об искусстве и художественном творчестве. Тут у нее бывали противоречия.

С одной стороны, она видит в искусстве добро: «Земля рождающая безответственна, а человек творящий ответствен. У земли произрастающей одна воля к произращению, у человека же должна быть воля к произращению доброго. Он знает, что такое добро. Произведение искусства — произведение природы, но долженствующее быть просвещенным светом разума и совести».

С другой стороны, Марина признает, что: художественное творчество в иных случаях — некая атрофия совести. Тот нравственный изъян, без которого ему, искусству, не быть. «Чтобы быть нравственным (не вводить в соблазн малых сих), искусству пришлось бы отказаться от доброй половины всего себя. Единственный способ искусству быть заведомо нравственным — не быть».

Марина отрицает в искусстве «аполлоническое начало», как и «золотое чувство меры». А французская литература, которую вы любите, — сказала я, — с ее точной мерой?

— Оставьте, Расин и тем более Корнель, какая же мера? С их преувеличением чувств? Всепоглощающим Молохом — долгом, ломающим жизни, как некий ледяной идол с огненным нутром поглощающий жертвы. Это ли мера?

Ее противоречия в оценке искусства вытекают из ее отношения к злу, она явно к нему влечется. Зла в ней нет. Она способна злиться — и еще как! — способна быть несправедливой, но зла как такового в ее природе нет. Но оно прельщает ее. Она часто говорит о своем детстве. Ей читали басни, которые она толковала по-своему. Она соглашалась с матерью, что ягненок кроткий, невинный страдалец. «Но и волк хороший», — прибавляет она к негодованию матери. Волк ей нравится потому, что он страшен и ест глупого ягненка.

Зла в ней не было, но ей было необходимо его присутствие. Марина любила, и как-то смаковала даже, — с азартом и вызовом рассказывать сказки, собранные Афанасьевым — страшные, потусторонние, бездушной жестокости. Мать ненавидит свою дочь и вредит ей. Приходит с того света разрушить покой и жизнь дочери.

Таковы упыри, обреченные на преступление. Зло обольщает, зло дает равновесие.

В поэзии Марины Цветаевой много циклов, много стихий ее вдохновения. «Все мои вещи (произведения) стихийны, то есть грешны. Когда я пишу своего «Молодца», любовь упыря к девушке и девушки к упырю, я никакому Богу не служу ... Я повинуюсь неизбежной необходимости. Кто меня звал? Я должна назвать, то есть создать того, кто меня звал. Как будто бы мои вещи выбирают меня сами, и я часто их писала против воли. России хотелось сказаться какими-то вещами, выбрали меня. И убедили, обольстили — чем? Моей собственной силой: только ты! Да, только я. И поддавшись — когда зряче, когда слепо — повиновалась, выискивая ухом какой-то заданный слуховой урок. И не я из ста слов выбирала сто первое, а она (вещь) на все сто эпитетов упиравшаяся: меня не так зовут».

Марина любила иногда слушать свои стихи «Переулочки» в чтении моей дочери и говорила: «Эта поэма написана мною как во сне. Ни одного слова из нее я не вычеркну — это именно те слова, но ни одного я не вспоминаю, как оно написано».

Марину захватывала волна то одной, то другой стихии.

Стихия Греции: ее эпос, трагедия — Рок. Мариной она выражена в Федре, Тезее, Сафо.

Греческий Рок — с ним не поспоришь. Марину, своевольную и непокорную, тема рока притягивала своей непреклонностью, она бросает вызов року, противопоставляя его извечной ледяной силе — силу и страсть огня и воли смертного. Это столкновение присутствует в некоторых ее поэмах. И везде, трагедия несовместимости бренного и вечного, непреложности и своей воли.

Марина не выносила атмосферы благополучия, ее стихией была трагедия — героизма, жертвенности, бедности и гордыни. Непревзойденной Мариниой гордыни: Я есмь — и я иду наперекор.

Н. БЕЛИНКОВА

Чуковский и «Чукокала»

Когда вы встречались с Корнеем Ивановичем Чуковским, то думали о нем словами, выбранными им самим для одной из последних его книг: «Живой как жизнь».

Входя к нему, вы как будто переступали не обыкновенный порог писательского дома, а как бы вступали в необычный театр — театр одного актера.

Этот актер то являлся в докторской мантии Оксфордского университета,* в которую он великолепно драпировался, и выбирая самые невероятные позы, однажды в увлечении чуть не вывалился из окна, то, веселясь, в уборе вождя индейского племени, прыгал через огонь на ежегодном костре, который устраивал для детей на своей даче, то многозначительно извлекал из старого шкафа рукописную книгу, называвшуюся сказочным птичьим словом «Чукокала».

Чуковский — всемирно известный детский писатель и ученый. Но одна из самых замечательных его книг написана не им. Началась эта книга еще до революции в Финляндии на его даче в поселке Куокала. Однажды гости Чуковского — молодые, но уже знаменитые в то время писатели в случайной тетради на столе хозяина дома оставили свои шутливые записи. Потом к записям прибавились рисунки, к рисункам новые записи. Название поселка и имя Чуковского соединились. Получилась — «Чукокала». Первые строчки в

Критические статьи по литературе Натальи Александровны Белинковой до 1968 года печатались в журналах «Новый мир», «Знамя»; кроме того, она работала старшим литературным редактором в журнале «Москва» и на центральном московском телевидении. Была знакома со многими видными писателями; помогала К. И. Чуковскому в его работе над комментарием к «Чукокале». В виде протеста против нового усиления зажима литературной деятельности в СССР, в 1968 году Н. А. Белинкова вместе с мужем (тяжело больной, А. В. Белинков умер в Нью-Хевене, США, 14 мая 1970 г.) покинула страну (Ред.)

* Второй случай, после Тургенева, присуждения honoris causa русскому писателю. Третий — присуждение этой степени Ахматовой.

«Чукокале» оставили Блок, Маяковский, Гумилев. Первые рисунки — Репин. Писали эту книгу лучшие писатели России и иллюстрировали прославленнейшие русские художники. И хотя в этой книге нет ни слова самого Корнея Ивановича, создатель ее — Чуковский.

Современники Корнея Ивановича в течение 55 лет оставляли в «Чукокале» свои записи. Многие этой чести добивались, но не каждый ее удостаивался. Чуковский придирчиво отбирал лучших людей эпохи: талантливых, мудрых, честных. Но время менялось, мельчали люди, записей делалось меньше, мысли мельче, шутки площе. Хороший советский писатель Казакевич занял место Блока, фельетонист Нариньяни — Гумилева. Первые годы книги были блистательными, но медленно и незаметно для ее составителя и режиссера «Чукокала» старела. Книга постепенно перерождалась. Смерть ее наступила в день кончины ее создателя в конце 60-х годов XX века.

Книга-альбом, книга-запись растянулась на многие годы. Время превратило ее в бесценный документ, в литературное произведение неведомого жанра. Это была история литературной атмосферы, литературных настроений, история той оборотной стороны медали, которая всегда бывает скрыта от глаз читателя, который и не подозревает о существовании этой второй стороны. Никто никогда не думал, что эту книгу можно будет опубликовать, потому что в ней писали правду как в письмах, как в дневниках, как в черновиках, потому и писали, что знали: опубликовано не будет. «Чукокала» началась как шутка и в ней много шутливых записей, пародий, карикатур, юмористических зарисовок, шаржей. Но жизнь была серьезной. Приходилось наступать на горло и собственной песне, и собственной шутке. Поэтому «Чукокала» — смешная и трагическая книга. Трагической ее сделало не ее содержание, а судьбы ее авторов.

Один за другим исчезали со страниц «Чукокалы» — Блок, незадолго до смерти написавший: «Слопала меня гунливая, глумливая матушка Русь, как чушка своего поросенка»; Гумилев, после расстрела которого будто бы пришла телеграмма от Ленина, чтобы не расстреливали; Гиппиус, Шаляпин, Репин, которые эмигрировали, Маяковский, который застрелился, Замятин, который в отчаянии написал Сталину письмо с просьбой об изгнании и которого изгнали, Булгаков, который в отчаянии написал Сталину письмо, и которого даже не изгнали, а оставили медленно умирать.

Корней Иванович читал из «Чукокалы», показывал, играл, плавно разводя красивыми длинными руками, задевая за стены, увешанные портретами его современников, иллюстрациями, фотографиями — как будто страницами «Чукокалы» был обклеен дом. И вы тоже становились современниками этих людей, слышали их го-

лоса, видели их жесты. Вы вместе с ними жили их напряженной, талантливой жизнью. Правду говоря, удивительный памятник литературы, «Чукокала» производила меньшее впечатление, когда вы ее читали сами. Тогда она была памятником. Когда ее вам читал Чуковский — она была жизнью. Живою книгу делали невероятный для 80 лет темперамент Чуковского, его актерский талант, сила его личности и устный комментарий писателя, его знаменитые рассказы-воспоминания. И вы влюблялись в человека, писателя, актера сразу.

Чуковский набрасывался на каждого нового человека как паук на свою жертву в его «Мухе-Цокотухе». Это льстило новичку, который чувствовал себя таким же значительным, как его собеседник. Жадно, с интересом, с любопытством расспрашивал, выведывал, выпытывал Чуковский и рассказывал и показывал сам. (Таким мастерством выспрашивания и заинтересованности обладает, кроме Чуковского, только А. И. Солженицын). Он как бы выпивал людей. Чем интереснее и значительнее был человек, тем дольше продолжалось знакомство. Пустые, жалкие, ничтожные люди не удостаивались чести быть с ним знакомыми долго. Или вовсе никогда не допускались в его дом. Они жили на соседних улицах, рядом. Они существовали как неизбежное зло, как кладбищенский ветер, как осенняя сырость. Но они как бы не были его современниками, хотя и жили в одно с ним время. Его современниками оставались раньше него умершие: Блок, Гумилев, Маяковский, Бабель, Булгаков. Они жили вместе с ним в его удивительной книге «Чукокале», в его рассказах, и Чуковский всю жизнь знакомил с ними своих новых друзей. Их духовное богатство, их художническую и интеллектуальную щедрость он хотел сделать достоянием всех людей, которым дорога русская культура. Ему это сделать помешали.

В песне о гибели и предательстве, которую написал Галич, поется:

Уходят, уходят, уходят друзья
Одни в никуда, а другие в князья . . .

Выбывали, уходили в неведомое, в никуда авторы «Чукокалы». Друг Чуковского Оксман уходил в тюрьму, а его бездарный ученик Лесючевский — в директоры издательства «Советский писатель». Известного ученого Пинского уводили под конвоем, а — его коллеге Эльсбергу предоставили пост заведующего сектором Института мировой литературы имени Горького; мученической смертью по дороге в Колыму умирал Мандельштам, а на заседаниях Союза Писателей СССР в Москве все чаще появлялся некто Михалков, говорят, баснописец. Он же автор текста гимна Союза ССР.

Список ушедших, покинувших книгу Чуковского длинен. Каждое исчезнувшее имя — живая связь, рана, боль. Один за другим

уходили друзья, а он оставался жить. И не годы старили его, а утраты.

Недалеко от дачи Чуковского были дачи Бабеля и Пастернака. Прогуливаясь по влажным улицам литературного поселка Переделкино, писатели заходили друг к другу, перекидывались двумя-тремя словами, жаловались на то, что не хватает времени для работы. Увлекаясь, простаивали, беседуя, по несколько часов. Потом шли к своим письменным столам писать строчки своих книг.

Однажды зеленым переделкинским утром подошел Чуковский к даче Бабеля. Не глядя, привычным жестом нащупал щеколду калитки. Шагнул за низенький заборчик, сразу же неслышно облился солнечными пятнами, проскользнувшими через дремлющие, еще не проснувшиеся листья деревьев. Увидел на террасе склоненную фигуру. В это солнечное тихое утро писатель создавал слова, строчки своей будущей книги. Он был в тени и солнце обливало белым светом только руку, за которой текла строка. Бабель пишет! Неслышно, неловко поднимая длинные ноги, Чуковский отступил к калитке, постарался не стукнуть. Удалось. Проскользнул. Ушел.

Он больше никогда его не увидел. Бабеля не стало, не стало и его будущих книг. И в «Чукокале» осталась незаписанной строка.

Исчезали люди. Могла исчезнуть и созданная ими удивительная книга. И тогда Чуковский похоронил ее сам. Тайком в ему одному известном месте закопал в землю. Через несколько лет выкопал. И она снова стала жить. Корней Иванович читал из нее отрывки и тени убитых, забытых, исчезнувших людей обступали вас.

Трудной, мучительной жизнью жили другие герои «Чукокалы», великие современники Чуковского. В Ленинграде голодала «салонная» поэтесса Анна Ахматова, медленно умирал, так и не дождавшись восхода солнца Зощенко, прямо с операционного стола шел по этапу еще никому неведомый Солженицын. А рядом процветали герои социалистического реализма. Расстраивался-перестраивался литературный поселок Переделкино. Росли дачи Ромашова, Погодина, Катаева. Дачи огораживались высокими заборами. А Софронов даже поставил две дачи: одну на одну. «Неясная поляна», «Авеню парвеню» — так в шутку стали называть теперь улицы, окружившие дачу Чуковского. По радио пели: «Нас вырастил Сталин. На верность народу, на труд и на подвиг нас вдохновил». Потом петь перестали. Только мычали. Стал гимн называться «песней без слов». Оказалось, что это очень просто — выбросить слово из песни.

Стало тише в стране. В тишине расслышали глухой топот этапов, стоны расстреливаемых и даже голос совести. В тишине, недалеко от дома Чуковского, раздался выстрел на даче Фадеева, когда-то молодым начинающим писателем оставившим строчку в «Чукокале», — потом ставшим секретарем СП СССР, членом ЦК, без подписи которого не был отправлен на смерть ни один из более

чем 600 писателей Союза ССР. (Мы знали, что его передергивало от встреч с людьми, возвратившимися «оттуда»). Партия, которой он служил, в некрологе сообщила, что он умер от белой горячки. Это была неправда. Последние месяцы перед смертью он не пил. Выстрел был негромким, через подушку. Фадеев оставил своей любимой партии письмо. Письмо прочитала и передала в надежные руки, в прошлом возлюбленная Блока, — Е. Ф. Книпович.

Страшная жизнь бесновалась вокруг, а Чуковский умел превращать ее в блестящий спектакль. Праздником победителя, заставившего считаться с собой даже их, было его отмеченное всей литературной Москвой 80-летие. Чествование состоялось в Большом зале Центрального дома литераторов. В тот день Корнея Ивановича поздравляли его многочисленные друзья и враги. Больше всех изощрялся Михалков, который вскоре после суда над Синявским и Даниелем в том же зале, с той же сцены взвизгнул: «Слава Богу, у нас еще есть органы государственной безопасности!» Закончив приветственную речь, он приветливо растопырил руки и шагнул к Чуковскому, чтобы облобызать юбиляра. Корней Иванович тоже встал и будто бы тоже шагнул и будто бы подставил щеку, но все выходило так, что когда Михалков хотел его поцеловать в правую, тот подставлял левую, а когда Михалков хотел поцеловать в левую, тот подставлял правую. Так долго топтались они на сцене перед огромной аудиторией, как будто один другому все хотел уступить место в дверях, а из того все получалось, что мешал один другому, все уступал и все никак не мог уступить. Каждому присутствовавшему было ясно, что Михалкову с Чуковским в одни двери не входить.

— Как поживаете?

— Fine, хорошо.

Так отвечают в Америке.

— Как поживаете?

— Как в сказке, чем дальше тем страшнее.

Так отвечают в России.

Страшно жить на земле, населенной Михалковыми, Софроновыми, Грибачевыми, Васильевыми, * Ермиловыми, Эльсбергами, Лесючевскими — фарисеями, доносчиками, бездарностями, предателями. Дремучий лес этих существ страшен и нескончаем. Иногда они устраивали маскарад: повязывали теплый домашний платок и из гиен и волков превращались в старых ласковых бабушек. Один такой матерый волк, первый секретарь правления Союза Писателей РСФСР, советский писатель Соболев — Сам! — торжественно и по-

* Как и З. Кедрина, активный участник расправы над Синявским и Даниелем, тоже выступавший на процессе в качестве общественного обвинителя.

домашнему, привез в Рязань членский билет Союза Писателей СССР и вручил его Солженицыну.

— «Бабушка, бабушка, почему у тебя такие острые зубки?»

— «Для того, чтобы тебя съесть!»

Чуковский — веселый, жизнерадостный, праздничный, такой, каким его видело большинство, мне казался маской. Если вы видели его в минуты, когда он думал, что остался один, то вы видели другого человека. Опускались резкие морщинки у рта, тусклыми и маленькими, как бы обращенными внутрь, делались глаза; плечи и локти длинных рук и колени длинных ног становились угловатыми, жалобно оттопыривалась на голове белая жалкая сосулька волос. Если вы видели его таким — у вас щемило сердце. Так мгновенно этот заражающий всех весельем, удивительно молодой, несмотря на свой возраст, человек, превращался в одинокого старика, оставшегося один на один с миром. И кто знает, когда он был самим собой? Когда, цепко держась за спину своего двадцатилетнего внука, с гиком проносился на красном мотоцикле мимо чопорных соцреалистических дач, или когда, указывая на рухнувшее дерево, отрешенно и провидяще произносил: «И я скоро . . .»

Как же, должно быть, осиротело Переделкино!

Он предчувствовал, что веселая полная шуток, пародий и эпиграмм трагическая «Чукокала» погибнет вместе с его смертью. В 1965 году Чуковский решил ее издать. И тут обнаружилось, что многое в этой книге современникам позднего Чуковского уже непонятно. Тогда он стал писать развернутый комментарий, которым хотел заменить свои рассказы о давно прошедших днях. Он хотел соединить начало и середину века, но время и обстоятельства изменились и не могли соединиться. Комментарии к «Чукокале» разрастались в мемуары, громоздились и не помещались в книгу, всю составленную из коротких записей. А время уходило. Особенно большим был комментарий к записям Гумилева. Он превратился в большую статью о поэте, но такую статью никто бы не напечатал. Надеялись, что как комментарий, она, может быть, и прошла бы в «Чукокале». Книга перегружалась как корабль.

Кроме запретных некогда имен в этой летописи человеческих судеб обнаружились не только никому не известные факты, но и никому не известные люди. Узнать о судьбе этих людей было невозможно. Кто они — Чуковский забыл. Но виноват был в этом не Корней Иванович, а старания органов Государственной безопасности.

Раскрываем «Чукокалу» (а это уже не одна толстая тетрадь, а несколько, они занимают половину книжной полки). Вот портрет работы какого-то Волина. «Кажется, был такой писатель», — говорит Чуковский. Кто же этот человек? Какова его судьба? Корней

Иванович не помнит. Смотрю в каталогах различных библиотек, смотрю в спецхране. * Издания книг ныне никому не известного Волина обрываются в 1937 году. Что же произошло в 1937? Смотрю литературу о писателе. Большая разносная статья. А после ни писатель, ни о писателе никто ничего не написал. Как будто его и не было вовсе. Старый испытанный прием умолчания. Дает хорошие результаты. Испытала на себе. Многое пришлось мне восстанавливать из истории моей литературы, моей страны. Иду в отдел творческих кадров Союза писателей СССР. Может быть там знают? Там мне доложили неожиданно быстро: «Еврейский писатель, арестован в 1937 году, реабилитирован в 1956, семье выдано вознаграждение в размере двухмесячного заработка». Оказывается, после 1956 года семьи погибших писателей так часто обращались в отдел творческих кадров СП СССР, что дела репрессированных выделили в отдельную рубрику. Каталог серьезный — более 600 карточек! С тех пор, работая над изданием «Чукокалы», я обращалась по этому адресу не один раз.

Надежды на издание «Чукокалы» было мало. Но книга жила. Корней Иванович открывал страницы книги как двери в прошлое. Реальность и воспоминания, судьбы друзей, истории собственных книг мешались, смешивались.

— Корней Иванович, а как вы написали «Муху—Цокотуху»?

— О, это очень интересно! Почему вы об этом спросили? Меня об этом еще никто не спрашивал. Как написал? Хм . . . Сейчас я вам покажу.

И он стал ходить невероятными длинными шагами и читать:

— Муха, муха, цокотуха.

Читал он так:

— Ммм у-тту ха тту-й-

— Ммм у — тту тту ха тту — туу — туха.

Так же шагая, в ритме шагов и жестов он говорил:

— Не знал я про муху,
не знал ни про какую,
мух не было.
Я ходил . . .

И у меня было чудесное настроение, и мне хотелось написать что-нибудь такое замечательное! (Чего я, конечно, никогда не написал). А потом движение, ритм, мммуха тту-ту ха, просто заменились словами. Вот послушайте:

«Мухха, мухха, цокотуха . . .»

Этот молодой и веселый старик, умевший быть таким прекрас-

* Отдел специального хранения. Существует при крупных библиотеках. В спецхране специалисты могут по особому пропуску читать книги по своей области, запрещенные для общего чтения.

ным актером, был строг и взыскателен. Так же строго, как отбирал он авторов своей «Чукокалы» и людей, с которыми встречался, отбирал он и слова для своих книг.

Автор большого и серьезного исследования о Чуковском М. Петровский признался мне однажды, что он боится разговаривать в присутствии Корнея Ивановича. Это было сразу же после выхода книги Чуковского, посвященной культуре русского языка. В ней Корней Иванович обрушился на то извращение русского языка, которое он назвал «канцеляритом» и которое выглядит так: большой дядя спрашивает маленькую девочку: «Ты по какому вопросу плачешь?», а уборщица говорит: «От энтих голубей одна грязь. Надо их отседа аннулировать». Книга (в которой Чуковский боролся за чистоту русского языка) называлась «Живой как жизнь».

Гроб Пастернака пронесли мимо дома Чуковского. Уплыла еще одна лучшая, любимая страница «Чукокалы». Корней Иванович хорошо помнил тот день, когда он пришел поздравить поэта с присуждением ему Нобелевской премии, тогда еще не скомпрометированной именем Шолохова. Фотография Чуковского, поздравляющего поэта, облетела все газеты мира.

В то же утро в курортном городе Ялта встретились на почте два очень известных писателя — Илья Сельвинский и Виктор Шкловский. Они оспаривали друг у друга почетное первенство отправить поздравительную телеграмму Пастернаку. На следующий день Сельвинский — лидер уничтоженного конструктивизма, и Шкловский — вождь разгромленного формализма, на митинге, созванном в редакции курортной газеты, оспаривали друг у друга позорное первенство осудить Пастернака.

Уходят, уходят, уходят друзья
Одни в никуда, а другие в князья...

«Чукокала» разделила судьбу многих русских книг. Она не была издана. Корней Иванович опоздал с решением издать книгу. В самом разгаре работы, когда в дело уже вмешались художники и технические редакторы, наступил предюбилейный год, год подготовки к празднованию Великой Октябрьской социалистической революции. Сомнительная книга «Чукокала» и до того не вызывала доверия у издательства «Искусство», где предполагалось ее издание. Прохождение рукописи было остановлено. Одновременно с «Чукокалой» было остановлено издание многих других книг, статей, исследований, рассказов, стихотворений. Редакторы извинялись перед авторами: «Что поделаешь, такой год!» И авторы и даже редакторы надеялись, что этот год пройдет и снова вернутся к тем счастливым временам, когда, хотя и топали ногами в Манеже, хотя и судили Бродского за тунеядство, хотя и ополчились на Дудинцева, хотя и не разрешили выставку Фалька, но все-таки...

С 1965 года, еще одного позорного года в истории моей страны, потихоньку сначала, а потом все сильнее и сильнее стали травить так называемых молодых критиков, на которых уже косо посматривали, на рукописях которых уже ложились косые строчки прямолинейных цензурных резолюций: «интонация!», «стиль!», «не слишком ли много иронии!» Летом 1965 года Чуковский написал о «блестящей плеяде молодых критиков — Сарнове, Туркове, Непомнящем, Синявском». Он спешил защитить тех, кто, как и он, сопротивлялся, боролся, утверждая право на самостоятельную мысль.

Августовский номер «Вопросов литературы» с этой статьей Чуковского поступил в продажу в сентябре. В том же месяце Синявский был арестован. Влиятельные секретари Союза Писателей СССР, эти князья социалистического реализма во главе с Константином Фединым (прозванным Казакевичем в «Чукокале» чучелом орла) тоже поспешили и изрекли свое: «распни его!»

В 1967 году, когда на книгу моего мужа «Сдача и гибель советского интеллигента. Юрий Олеша», готовились разгромные рецензии в ЦК и в «Литературной газете», Чуковский написал в высшей степени лестные статью и предисловие к ней, благодаря чему стала возможной журнальная публикация этой книги.

Помощь Чуковского была громкой, печатной — и тихой. И исключение великого русского писателя Солженицына из членов Союза Писателей СССР князьями и фарисеями режима не случайно, мне кажется, произошло после смерти Корнея Ивановича Чуковского.

Чуковский часто бывал на могиле Пастернака. Недалеко могила жены Корнея Ивановича. Он садился на скамеечку у поросшего травой холмика. Морщинки вокруг его рта опускались, выдавались острыми углами плечи, делались круглыми и маленькими глаза, оттопыривалась жалкая прядка белых волос. Может быть он вслушивался в строчки поэта:

Гул затих. Я вышел на подмостки.
Прислонясь к дверному косяку,
Я ловлю в далеком отголоске
Что случится на моем веку.

Потом он трогал палкой землю и говорил: «Тут мое место». Но он не верил в то, что говорил. Он ждал опровержения. И получал его. Мы глупо и громко кричали: «Ну, что вы, Корней Иванович!» Но это было как раз то, чего он ждал.

Нет, он не верил в свою смерть, хотя и боялся ее.

— Не могу представить, как это я умру, а все останется: и вот тот лес, и эта река . . . — говорил Чуковский после очередной вести о смерти, и смотрел в сторону кладбища, знаменитого переделкинского кладбища, как бы нарочно украшенного старинной церковью.

Но смотрел он как-то мимо, стараясь не задевать глазом за могильные холмики.

Когда надо расправиться с Пастернаком, Синявским, Солженицыным одних Кочетовых, Грибачевых, Кедриных, Шолоховых не хватает. Охотятся за порядочными. Чаще всего это удается. Еще до суда, забегая вперед, поддержал тогда еще неизвестно какой, но наверняка жестокий приговор Синявскому и Даниелю до того всеми уважаемый известный профессор-пушкинист Сергей Михайлович Бонди, проклял Пастернака поэт Слуцкий, сам неоднократно до тех пор страдавший от советской власти, пропели величальную родине и партии Евтушенко и Вознесенский. Важные чиновные люди покидали свои кресла и ехали к Чуковскому. Это мог быть реакционный начальник отдела культуры Управления пропаганды и агитации ЦК партии Поликарпов, или, что еще хуже, его либеральный помощник Черноуцан.

На меня наставлен сумрак ночи
Тысячью биноклей на оси.

Когда машина из ЦК подъезжала к дому Чуковского, ему снизу свистели. Он поспешно большим платком повязывал не то зуб, не то глаз. Приветливо звал почетных гостей. Встречал их больным, жалким, старым. На такого легко надавить. Остро торчали углы огромного платка. В белых подушках утопала голова любящей красную шапочку бабушки. Как все странно оборачивалось в этом мире . . .

— Бабушка, бабушка, почему у тебя такие большие зубки?

И всего-то надо было только подписать что-нибудь. Что ж, пожалуйста.

— Для того, чтобы тебя лучше поцеловать.

Но, ах, с бабушкой делался сердечный припадок, капались капли, терялся и находился носовой платок, немедленно требовался стакан воды, подкладывались подушки, терялись и не находились ручки, спрятанные заранее в самый далекий сарай на участке.

Если только можно, Авва Отче,
Чашу эту мимо пронеси.

Ласково и любезно прощался старый больной человек с гостями. Приглашал приходить еще. Великий, смелый актер! Это была самая трудная роль. Она отнимала радость, силы, жизнь. Годы не старили Чуковского. Его старили потери, смерть друзей, необходимость быть актером.

Я люблю твой замысел упрямый
И играть согласен эту роль.
Но сейчас идет другая драма,
И на этот раз меня уволь!

Обвисли морщинки вокруг рта, острыми сделались локти и колени, свисла желтая прядка волос, сузились, стали маленькими и закрылись глаза.

Реквиемом зазвучали слова Пастернака, любимого автора «Чукокалы»:

Но продуман распорядок действий
И неотвратим конец пути.
Я один, все тонет в фарисействе.
Жизнь прожить — не поле перейти.

Судьба авторов и героев «Чукокалы» не постигла Чуковского. Он умер, когда устал притворяться, когда перестал играть.

10 ноября 1969 г. Нью-Хевен.

ИОГАННЕС ФОН ГЮНТЕР

Под восточным ветром

...Я — в Петербурге. Куда ведет меня мой первый путь? Но куда же ему вести, как не к Александру Блоку?

Полярности: поэт Блок живет в казарме. Его отчим — полковник лейбгвардии гренадерского полка. И нежно хранимое имя Блока я должен был произнести мрачно взглянувшему постовому, указавшему мне квартиру господина полковника в первом этаже.

Меня ждали. Они жили в маленькой квартирке, отделенной от квартиры отчима.

Представлял ли я себе Блока таким? Да, именно таким. На нем широкая черная блуза с белым воротником. Он еще молод, ему 26, но в фигуре уже нет ничего юношеского. Он среднего роста, тонок — и чувствуется какая-то связанность, так что иногда он казался немного неловким. Темные волосы слегка волнисты, безбородое лицо, даже когда он весел, кажется странно сосредоточенным. Говорил он медленно. Светлые глаза можно было, пожалуй, назвать грустными; полные губы неестественно красны. На высоком овальном лбу — печать упрямства и мечтательности. Движения неторопливы, иногда неуклюжи. Он не был ни добрым, ни сердечным, но не любить его было нельзя. Так выглядеть мог только настоящий поэт.

А его жена? Любовь Дмитриевна, чуть меньше его ростом, русая

Иоганнес фон Гюнтер — немецкий писатель и поэт, автор целого ряда романов, пьес, сборников стихов, в начале века был тесно связан с русскими символистами и принимал участие в выпуске «Аполлона». Ему посвящали свои стихи Анненский, Белый, Блок, Брюсов, Городецкий, Гумилев, Вяч. Иванов, Кузмин, Маковский. Перевел много прозы и стихов на немецкий, чем значительно способствовал ознакомлению немецких читателей с русской литературой. В прошлом году в Мюнхене вышли его воспоминания: Johannes von Guenther — „Ein Leben im Ostwind. Zwischen Petersburg und München". Biederstein Verlag. С любезного разрешения автора мы помещаем из них несколько отрывков, с большими сокращениями, о его пребывании в России, которые для русского читателя, возможно, представляют интерес, главным образом, как «свидетельство со стороны». (Р е д.)

и тонкая, была очень хороша, но не современной красотой, а скорее XVIII века. Держалась она уверенно и была, несмотря на юность, очень зрелой. Она приветливее и жизнерадостнее Блока. Сразу было видно, что она очень умна, хотя и обладает обольстительной внешностью. Но она не была изысканной: руки чуть великоваты, великоват и мягкий, добрый рот.

Они были великолепной парой, созданной друг для друга. И я почувствовал себя у них как дома.

В тот же день я познакомился и с матерью Блока. Потом пришла ее сестра, госпожа Бекетова, которая позже так любовно писала о Блоке. Она принесла нам чай.

Блок чувствовал себя в этой атмосфере очень уютно, я заметил, что ему нравится быть в окружении женщин, которые его балуют и восхищаются им. В нем было что-то от маменькиного сынка.

В тот мой приход мы жили стихами. Из «Стихов о Прекрасной Даме» я перевел уже почти две трети и Блок, хорошо знавший немецкий, хотел слышать все переводы, которые я ему еще не успел послать. Мне было лестно читать в таком кругу . . .

Блок тоже прочел много новых стихов, которые однако отличались от магически-религиозных «Стихов о Прекрасной Даме». В новых стихах проступал некий демонический налет, как и веселая сюрреалистика, — матери Блока они не нравились, но жена его как раз эти, конечно, не для нее написанные стихи горячо защищала. Само собой разумеется, я встал на сторону Любови Дмитриевны. Поразительно, как они говорили друг о друге: не «мой муж» или «мой сын», а «Блок», «он», в крайнем случае — «Саша» . . .

Через несколько дней я опять был у них. На этот раз меня приняли несколько официально. Александр Александрович предложил сесть и сказал, что у него есть для меня сюрприз. И прочел прекрасное посвященное мне стихотворение. В нем развивалась тема, о которой мы говорили и спорили прошлый раз: облик Люцифера в земном воплощении падшего ангела. Я высказал подозрение, может быть слишком возбужденно, не считает ли Блок самого себя воплощением одного из ангелов в отряде военачальника Люцифера. Он ответил загадочно: с этим нельзя шутить, *наш* отряд еще очень мал.

Этим стихотворением, которое позже много обсуждалось, Блок и меня как бы вовлекал в свои ряды. Со смущенной улыбкой он передал мне его. Я был восхищен и ошеломлен. Это было вроде объясения в дружбе, но к чему она меня обязывала? Я ведь и так был его последователем.

Все это выглядело игрой, хотя и входило глубоко, в самую кровь. Но не игрой было то, что новая лирика Блока звучала как бы из иного пространства. Почти одновременно с посвященным мне стихотворением появилось и другое, с первыми очертаниями нового

женского образа, которому предстояло занять место «прекрасной дамы», столько лет воплощавшейся в Любови Дмитриевне. Вскоре после этого появилось и стихотворение о «Незнакомке», которое пожаром прошло по России и прославило имя Блока. С ним между тем что-то происходило. Как раз в середине университетских экзаменов он со своим другом писателем Чулковым стал пропадать вечерами и ночами на островах и в пригородах и пить.

Поэт вступал в новое духовное пространство . . .

Стихи, стихи и стихи! Потом — ужин. И снова русские разговоры, далеко за полночь. Тайны символизма. Тайны стихотворства . . . Мы все, собиравшиеся там, стояли уже на скрещении дорог, которые вели нас от нетерпимости духа к уступчивости плоти.

Мы тогда были нетерпимыми. В каком-то смысле Блок таким и остался: чем старше он становился, тем сильнее стремился защищать то, что давно должен был предать. Прекрасная дама превратилась в прекрасую тоже, но продажную Незнакомку, потом он оставил их обеих ради болезненного, страстного национализма, ради России, — вопрос однако в том, любил ли он Россию? Любил ли по-настоящему — настоящую Россию? С недоумением вспоминаю его апофеоз революционной большевистской России в «Двенадцати», в 1918 году изумившем всех. Тогда, очевидно, Блок не воспринимал как богохульство то, что заставил двенадцать фанатичных ни перед чем не останавливающихся бунтарей, вкупе с шелудивой собакой, маршировать за Иисусом Христом. Позже он сам удивленно качал головой.

В 1906 году Блок не знал, куда приведет его новый путь. Но даже если бы знал, он все равно шел бы по нему, отчасти по русской халатности — «ничего!» — отчасти тоже из чисто русского тяготения к принесению себя в жертву.

Он был захватывающим. Он так был уверен в себе, что приходилось ему верить. Этот новый Антиной тайно был так глубоко влюблен в себя, что приходилось его любить. Мы все любили его. Тысячи и тысячи любили его: вся русская мододежь жила стихами Блока. Его первые стихи появились в 1903 году, — в 1908 году он был уже божеством новой России . . .

У Блоков, к которым я зашел вскоре по приезде (во второй приезд в 1908 году. *Ред),* была новая, более обширная квартира. Блок обрадовался, увидев меня: он был один, Любовь Дмитриевна уехала с труппой Мейерхольда, который ее очень ценил. Блок ожидал ее в ближайшие дни. Под глазами у него были темные круги, след не совсем праведно проведенного одиночества; вокруг глаз наметились первые морщинки; мне уже говорили, что он часто бывал в злачных местах и слишком много пил.

Он радостно объявил о своей новой пьесе, которая должна мне понравиться. Говоря это, принес только что вышедший в издатель-

стве «Шиповник» сборник «Лирические драмы», сказал, что я пришел вовремя и размашисто написал мне посвящение. Он чувствовал себя одиноким и радовался скорому возвращению Любы. Собственно, говорил он, не совсем хорошо поступать в театр, не будучи одаренной артисткой, а Люба — не артистка. Он не хотел ее отговаривать, раз уж ей так хотелось, но... Было заметно, что театральные наклонности жены ему не нравились. Я был с ним согласен, но не знал, что сказать и уклонился от ответа, начав рассказывать, что тоже написал пьесу. Мой рассказ однако не заинтересовал его.

Тем радостнее откликнулся он на то, что я включил переводы его стихов в мою «Иностранную лирику», познакомив с ним Германию. Он любит Германию, — сказал Блок. Было заметно, что он больше, чем прежде, чувствовал себя писателем.

В тот день я долго пробыл у Блока. Никогда до этого не посвящавший меня в свои личные дела, он много говорил о жене. Наверно, ему нужно было перед кем-то высказаться.

Он рад Любе как ребенок; ему очень недостает ее; он постоянно тоскует по ней и несколько раз в день заходит в комнату жены, чтобы ближе чувствовать ее... Его попутно оброненные смущенные слова вызывали впечатление, что из них двух он был наиболее любящим, что однако, как гласила упорная молва, не отвечало истине. Блок был прямо-таки трогателен в своей горячей нежности к Любе, я же думаю, что он все-таки не отдавался этой любви целиком. Где-то у него оставался «укромный уголок», о котором говорил Гете. Могло это быть и игрой: Блок с удовольствием играл — для самого себя. То Гамлета, то Пьеро, а позже иногда даже и Жоржа Дандена. Может быть именно это оттолкнуло от него Белого?..

Пьесу, о которой говорил мне Блок, он прочел вскоре, еще до возвращения Любы, у своего приятеля Георгия Чулкова, у которого собралось человек тридцать. Чтение, с коротким перерывом, продолжалось с восьми до полуночи. Но уже вскоре после начала было заметно, что пьеса никому не нравится. В то время Блок, по непонятной мне причине, подружился с Леонидом Андреевым из горьковской социалистической группы; он тоже был на чтении. Андреев ощущался тут как инородное тело, что он сам чувствовал и потому вел себя подчеркнуто приветливо. Тогда он был наиболее знаменитым в России новым писателем, может быть уступая в славе только Горькому. Как раз тогда его неуклюжая аллегорическая «Жизнь Человека» шла в русских театрах с сенсационным успехом, — может быть поэтому он показался Блоку тем лицом, которое будет особенно восприимчивым к его романтически-символической поэме «Песня Судьбы». И отрицательное мнение Андреева, это было видно, огорчило Блока.

В заключительную картину Блок включил несколько отрывков из прекрасной фольклорной песни Некрасова о коробейниках, чуж-

до звучавших в этом искусственном построении. Все осудили эту неожиданную вставку, и резче всех Андреев, — тогда как Блок ею очень гордился. Начался возбужденный спор. То, что Кузмин и я высказались за нее, в этом изысканном кругу не помогло. Если не ошибаюсь, кажется высокомерный полубог критики Аким Волынский, намекая на нас, сказал, что заступничество «молодых декадентов» ясно показывает грубую ошибку Блока.

Блок был подавлен. Несмотря на это, мы с ним несколько дней подшучивали над бородатыми судьями.

Тогда же Блок попытался договориться со Станиславским, который, как обычно в это время года, приехал с Художественным театром на гастроли в Петербург. Блок прочел ему пьесу — и Станиславский начал свою любимую игру в пылкие полуобещания, которые спустя месяцы, а иногда и через год, в конце концов выливались в ясное «нет». Он дважды подвергал несчастного Блока этой пытке. Второй раз, с пьесой «Роза и Крест», истязание тянулось годы. Факт, что Блок все же терпел эту глупую игру, говорит о его большом упорстве, — как и о том, что Художественный театр считался высшей театральной инстанцией.

. . . . . .

Итак, в конце апреля 1908 года я опять был в Петербурге. Первым делом отправился к Вячеславу Иванову. Было позднее утро, но, как ни удивительно, Вячеслав Великолепный уже встал. В Петербурге, где ночь превращалась в день, вставали поздно — и позже всех Вячеслав, работавший обычно до утра.

Год тому назад скоропостижно скончалась Лидия Дмитриевна, его жена. Для семейной жизни в Башне это была почти катастрофа: дети еще очень малы, а хозяин — самый непрактичный человек, какого только можно себе представить. Теперь хозяйство вела Мария Михайловна Замятина, худая, энергичная, умная и быстрая дама неопределенного возраста. Злые языки говорили, что она — первая жена Вячеслава. В доме жила еще Анна Рудольфовна Минцлова, почитательница Рудольфа Штейнера; осенью того же года она утопилась в одном из тысячи финских озер. Потом была еще нежная, изящная блондинка Вера Константиновна Шварсалон, двадцатилетняя дочка Зиновьевой-Аннибал от первого (второго?) брака, — позже ей суждено было сыграть большую роль в русской духовной жизни. * Брат Костя готовился вступить в Петербургский кадетский корпус.

Вячеслав, теперь вдовец, был таким же, как и два года назад. Он всегда предпочитал темные костюмы и трудно было сказать, носит ли он траур. И он по-прежнему жил стихами.

---

* Будущая жена В. Иванова, «завещанная» ему перед кончиной Лидией Дмитриевной. (Р е д.)

Можно было удивиться и тому, что, как и два года назад, к завтраку явился очаровательный художник Константин Сомов. Пришел и Максимилиан Волошин, который всегда казался мне не русским. Он был велик, широкоплеч, одет элегантно и, только что из Парижа, со светскими манерами рассказывал об Анри де Ренье и еще больше о замечательном генеральном консуле Поле Клоделе. Когда Иванов узнал, что я тоже только что приехал в Петербург и пристанища у меня еще нет, он предложил поселиться у него. Он как раз снял еще две квартиры, прилегающие к его, одну для детей от первого брака; другая, меньшая, из трех комнат, оставалась пустой. Я с радостью согласился и провел тогда почти четыре месяца под одной крышей с Ивановым.

Без преувеличения можно утверждать, что он был одним из образованнейших людей той эпохи. Верующий христианин, он был полон остроумной иронии и иронизировал даже над христианством, но никогда не над самим собой. Блестящий собеседник, он легко находил самые смелые образы и самые дерзкие сравнения, которые он мог подкрепить любыми цитатами из мировой литературы. Поэты, философы, историки, древние и современные писатели на самых разных языках мира — он знал всех и в любой области духа был как у себя дома. Быть принятым в его обществе, как равный — для меня было наивысшей честью.

Но самая поразительная встреча была еще впереди. В «Весах» я прочел «Александрийские песни» нового русского поэта, они произвели на меня большое впечатление. И в первый же день я познакомился с ним.

У Михаила Кузмина, на одиннадцать лет старше меня, была незабываемая «греческая» голова, с линией лба, продолжавшей благородной формы нос. С маленькими ногами и красивыми руками, он был одет как денди; говорил он довольно быстро, переходя на глухое бормотание и часто заканчивая фразы вопросом: «Что? что? что?» — с лукавой улыбкой. Он был безгранично любезным и глубоко жизнерадостным человеком. Несмотря на его глубокие познания и широкую начитанность, в спорах он обычно был сдержанно вежлив. Кроме еще одного человека, он стал для меня самым близким человеком, моим лучшим другом. Язык Кузмина был проще, чем у других поэтов; казалось, с ним символизм нашел более простой путь к человеческой душе.

Стихи его были мелодичны, — Кузмин ведь вообще долгое время считал себя композитором, а не поэтом. Он учился у Римского-Корсакова и продолжал заниматься музыкой.

Жил он в одном доме с Ивановым: этажом ниже снимал две комнаты. И так как с Ивановым он был в дружеских отношениях, для Кузмина выходило почти обязательным, если он не работал, от завтрака до поздней ночи быть в ивановской Башне.

Кузмин писал и прозу, а также маленькие пьесы, сопровождая их часто музыкой. Под заголовком «Куранты любви», он собрал 24 своих музыкальных произведения о романтической смене времен года, — эти песни он нам и пел и играл в мой первый вечер в Петербурге. При всей их простоте, слова сливались в одно волшебное целое и было понятно, почему и в Москве, и в Петербурге так восхищались этим поэтом-композитором. Спустя некоторое время слова и ноты «Курантов любви», с рисунками пером и гравюрами Судейкина и Феофилактова вышли в роскошном оформлении в издательстве «Скорпион», — это было тогда одно из прекраснейших изданий на русском книжном рынке . . .

По средам, несмотря на летнее время, у Иванова регулярно собиралось не меньше двадцати человек. Некоторые были мне знакомы еще по первому пребыванию в Петербурге, с другими я знакомился теперь. Больше всех понравился мне племянник Кузмина — Сергей Абрамович Ауслендер, молодой человек моих лет, образованный, умный, изящный. Он писал театральные рецензии для газет и еще очаровательные новеллы, на исторические темы, охотнее всего — из времен Французской революции. Теперь он совершенно забыт, но я не сомневаюсь, что когда-нибудь его снова откроют.

Потом был Петр Потемкин, тоже моих лет, длинный костлявый сатирик. Он писал ловкие стихи для журналов левого направления, остроумных и иногда великолепно иллюстрированных. В России тогда было довольно много пользовавшихся успехом сатирических журналов в духе «Симплициссимуса», например «Сатирикон», «Шиповник», «Адская почта».

Встретился я и с Ремизовыми, но почувствовал, что Серафима Павловна держалась как-то холодно. Читал лекцию Белый, — он опять производил впечатление импульсивно-рассеянного человека, но казалось, что он стал еще более патетичным и вместе с тем чем-то подавленным . . .

Кто только не бывал у Иванова! Если не ошибаюсь, именно у него на одной из сред я познакомился с Луначарским, позже министром у Ленина. У нас с ним был однажды долгий разговор о лирике Конрада Мейера, которого он потом, очень деревянно, даже переводил.

Но самым удивительным был Хлебников. Как-то Иванов получил письмо от незнакомого молодого человека, попросившего разрешения прийти. И вот он пришел. Очень стройный, высокий, желтые волосы расчесаны на пробор, под высоким лбом пустые, водянисто голубые глаза лунатика. Сначала он показался бесцветным. Его попросили прочесть что-нибудь: он писал стихи. Хлебников вытащил из кармана несколько смятых бумажек и тихо прочел, — он вообще говорил тихо и запинаясь. Это было так необычно, что мы переглянулись. Никакой символики, но и никаких социалистиче-

ских откровений. Там были птицы, которым он дал свои особые имена, невероятные образы и главное — неудержимое словотворчество, как бы игра с корнями слов, которая сначала показалась очень своевольной. Молчаливая скромность Хлебникова могла вызывать беспокойство, временами казалось, что этот молодой человек не совсем нормален. В эту первую встречу нам и в голову не пришло, что мы имеем дело с природным гением.

Стихи Хлебникова нам не очень понравились, но они произвели такое сильное впечатление, что Иванов, этот подлинный творец знаменитостей, немедленно втянул его в горячую дискуссию о законах стихосложения. Мы с трудом могли следить за смелыми хлебниковскими операциями со словами. От одного корня он умел образовать десяток новых прилагательных и десять новых глаголов, — мы были изумлены. И когда Хлебников, поздно вечером, распрощался с нами, было совершенно ясно, что это необыкновенный человек и что путь его не будет легким.

Вечера в Башне Иванова часто сравнивали с собраниями у Малларме, но я думаю, что они были чем-то значительно большим. Малларме строил на богатом укрепленном столетиями культурном основании. В Петербурге же королевское здание культуры приходилось возводить из хаоса, так как последние десятилетия, когда преобладал политический радикализм, оттеснивший духовные ценности, были разрушительными. После 1850 года поэзия низверглась с прежней высоты, — такие исключения, как Фет или Случевский мало что меняют, — и новое поколение оказалось в тяжелом положении. Вечера на Башне были теперь культурно оплодотворяющим фактором и мне кажется, что значение их сказывается еще и теперь.

Из многих, с кем мне пришлось встречаться у Иванова, назову еще две знаменитости, разбудившие во мне дремавшую до тех пор театральную болезнь.

Лев Самойлович Бакст, уже за сорок, был известнейшим художником и графиком, страстно увлеченным театром. Остроумный, очень подвижной, подчеркивающий свою речь быстрыми, энергичными движениями маленьких пухлых рук, с налетом элегантности, Бакст был весьма интересен в обществе. Он знал все и всегда имел наготове запас добродушно-злых сплетен. В то время внимание его было привлечено одной чересчур тоненькой, невинно-дерзкой и очень богатой девицей, мечтавшей стать новой Дузе. Ида Рубинштейн, если не ошибаюсь, была из петербургских банковских кругов. Эта молодая и очень самоуверенная дама желала дебютировать в какой-либо сенсационной, специально для нее написанной пьесе, с декорациями Бакста, которую она хотела за свой счет показать в Париже. Кого только не привлекали к этому делу, но все без видимого успеха. Позже Гофмансталь намекал мне, что Дягилев и ему

писал о том же, однако и с ним ничего не вышло. Моя пьеса — «Очаровательная змея», заинтересовала Бакста, но после чтения она ему не понравилась. Позже Ида Рубинштейн все-таки нашла своего автора — Габриэля д'Аннунцио, искустного дельца, который почти навязал ей своего «Мученика Себастьяна».

С великим режиссером, Всеволодом Эмильевичем Мейерхольдом, я познакомился уже в конце моего пребывания в Петербурге. Он много знал и был очень откровенным, с сильной тенденцией к игре и абстрагированию. Каждый разговор и, понятно, каждую пьесу он умел сводить к одной упрощенной, но не всегда убедительной линии. Я думаю, что могу сейчас сделать то же самое и сказать, что он обладал воспаленной и страстной фантазией, без малейшей попытки понять реальность. Он жил — даже в личной жизни — в мире волшебных сталактитов, воздвигнутых его художническим упрямством, — они упорно воздвигались вновь после каждого разрушения, что случалось часто. Каждую пьесу, которую он ставил, он перерабатывал до основания, пока она превращалась в произведение Мейерхольда, а не Гоголя или Лермонтова — и все же она была гениально убедительной. Собственно, ему нужно было бы жить тогда, когда волшебный театр творился из ничего, — например, в Венеции во времена Гоцци. Я не видел человека, более богатого блестящими идеями и находками. Его большим недостатком было несгибаемое упрямство и частое неистовство, в которое он впадал вместо того, чтобы спокойно и твердо добиваться своего.

Не прошло и полчаса, как мы углубились в критический обзор мировой драматургии. Я все же смог указать этому исключительно начитанному человеку на ряд незнакомых ему авторов и произведений. Он записал все с трогательным старанием — и потом не прочел ни одного, не говоря уже о том, чтобы поставить.

Иванов и Кузмин удивлялись, как глубоко мы привязались друг к другу. «Это мой человек», — сказал Мейерхольд. Знаток человеческой души Кузмин, улыбаясь добавил: «Поэтому пьесы, которые Гюнтер вам рекомендует, вы вовсе не собираетесь читать». Все мило рассмеялись, хотя мне и не было очень уж приятно.

В последующие годы мы нередко встречались и иногда я даже помогал ему кое в чем. Лучшие часы, пожалуй, мы провели с ним в июле 1913 года на рижском взморье, когда, ночью при луне, глядя на спокойно шумящее море, мы со всеми подробностями создавали с ним вселенский театр, которому надлежало перевернуть мир. Не было только потребных для этого миллионов . . .

. . . . . .

И вот я третий раз в Петербурге. Меблированные комнаты «Рига», где я прожил многие месяцы, были в самом лучшем месте Невского проспекта, наискосок от Гостиного двора. Около двенадцати пошел к Кузмину, он жил теперь у Вячеслава Иванова, который

уступил ему две комнаты. Мне хотелось многое рассказать Кузмину о минувших пятнадцати месяцах, но немного огорчило то, что он рассказал о новом журнале.

К двум московским журналам — брюсовским «Весам», дышавшим на ладан, и «Золотому руну», которое с трудом держалось после того, как Рябушинский прекратил ему свою помощь, в Петербурге должен был присоединиться еще один, в котором уже работали все мои друзья, — а меня никто не пригласил. Журнал назывался «Аполлон», издавал его писатель, поэт и историк искусства Сергей Маковский, с которым я когда-то спорил о Дионисе и Аполлоне. Значит, Аполлон победил, но без меня. Видимо, в редакции места для меня не было, — отдел немецкой литературы был поручен поэту с немецкой фамилией: Виктору Гофману.

Но в тот же день Кузмин извлек меня из моей квартиры и повлек в редакцию, которая находилась в первом этаже старинного особняка XVIII столетия на живописной Мойке, недалеко от квартиры Пушкина, где он и умер. Маковский встретил приветливо и сразу же предложил вступить в «молодую редакцию Аполлона». — «А Виктор Гофман?» — «Что же Виктор Гофман? Он сам увидит, что вы самый подходящий для нас человек». И Гофман действительно не возражал. Так я оказался в «молодой редакции Аполлона», — «молодой», потому что в России редакторами толстых журналов обычно были седовласые и бородатые господа.

Уважение, почтение и любовь побуждают меня сначала вспомнить об одном из создателей «Аполлона» — Иннокентии Федоровиче Анненском. В долгих разговорах он убедил Маковского в необходимости журнала, который среди разброда различных течений утверждал бы постулаты вневременного и непреходящего искусства. Анненский, — тогда ему было уже за пятьдесят, — в лучшем смысле слова был душой нашей редакции. Мы все чувствовали себя его учениками.

Я имел счастье ему понравиться. Он прочел рукопись моей пьесы «Маг» и по его желанию она появилась уже в третьем номере «Аполлона» (декабрь 1909), в переводе Петра Потемкина. После этого, в начале 1910, она была поставлена в Киеве и потом много раз на любительских сценах. Насколько Анненский ценил моего «Мага», видно из его посвящения на сборнике стихов: «Магу мага». Лестное стихотворение, которое он мне посвятил, сохранилось, пожалуй, только в моем переводе.

Дружба наша была кратковременной. Я познакомился с ним в первых числах октября, — а уже 30 ноября у него случился разрыв сердца, в Петербурге на царскосельском вокзале, когда он собирался ехать домой. Его смерть была большой потерей для нас. Мы похоронили его в любимом им Царском Селе, священном городе муз юного Пушкина.

Был в редакции еще друг Маковского историк искусств барон Врангель, считавшийся соиздателем «Аполлона». Никто из нас в коротких отношениях с ним не был, хотя он и был очень предупредителен, очень умен и большой знаток искусства. А вот с секретарем редакции мы скоро подружились и даже перешли на «ты», что я делаю неохотно. Из русских друзей я был на «ты» еще только с Кузминым, Гумилевым и Ауслендером. Евгения Александровича Зноско-Боровского я знал, как давно уже знаменитого русского шахматиста, — но он был еще и большим знатоком театра, обладателем тонкого ума, всегда хорошего настроения и готовности каждому помочь, а так же уменьем принимать скорые и верные решения. Среди нас, помешанных, он был единственным, кто мыслил ясно и реально. Он ушел от нас в 1911 году, когда в Петербурге происходил большой шахматный турнир. Мы все об этом жалели и о Зноско, несмотря на все писательские интриги, никто не сказал дурного слова.

В первые месяцы мы каждый день собирались в редакции, где, конечно, было много болтовни. Но иногда это нужно: бывало, что в болтовне рождались большие мысли и в работу редакции вносились значительные вклады.

Мы считали себя символистами, мы принадлежали символизму, — но стихи второго поколения символистов представлялись нам уже скучными и ненужными. Символизм с его субъективными оценками весьма реальных понятий казался нам слишком педантичным — и не лишенным налета пафоса. Я не собираюсь тут возражать против символотворчества, которе лежит в основе всякой поэзии. Но во многие понятия вкладывалось уж слишком много значения — и из вполне ясных вещей часто поэтому получалось нечто вроде субъективной игры в прятки.

Подобные вопросы мы часто обсуждали с моим другом Михаилом Кузминым, — «аббат» был самым старшим в нашей молодой редакции, где заведовал отделом новой русской прозы и поэтому в теоретических спорах имел право решающего голоса. Наши с ним беседы позже нашли свое отражение в его статье «О прекрасной ясности», которая и сейчас, через 60 лет, не потеряла своего значения. Без его поэтической честности начавшийся уже тогда распад символизма и возникновение новой школы — акмеизма, были бы немыслимы. Теперь это охотно забывается. Но никому, кто ослеплен сегодня именами Гумилева, Анны Ахматовой, Мандельштама, не следовало бы забывать, что они были учениками Кузмина, одни открыто, другие завуалированно.

Энергичнее всех против символизма выступал Гумилев.

Я познакомился с ним в первый же день. Он был предводителем небольшой оппозиции против меня — и пожалуй первым, кто меня принял. В первое время мы были неразлучны. В «Аполлоне» он ру-

ководил отделом поэзии и должен был читать все присылаемые стихи, — это были лавины. У него было множество учеников и последователей — одним из первых был Осип Мандельштам. Великолепный учитель, в совершенстве знавший законы стихосложения, Гумилев оказывал на тогдашнее молодое поколение даже большее влияние, чем Блок. Анненским он восхищался. И почти постоянно был влюблен, пользовался большим успехом у женщин и девушек, хотя вовсе не был хорош собой.

Несмотря на сухость мысли, он был откровенным фантастом. Отсюда, вероятно, проистекала и его страсть к дальним, экзотическим странствиям, — однажды он довольно долго был в Африке, оба раза в опасных бездорожных районах, командуя толпой малонадежных черных носильщиков. Он был насмешником, — и убежденным монархистом. Мы часто спорили с ним; я мог еще верить, пожалуй, в просвещенный абсолютизм, но уж никак не в наследственную монархию. Гумилев же стоял за нее, но я и сегодня не мог бы сказать, действительно ли был он сторонником дома Романовых? Может быть скорее сторонником рюриковичей, им самим созданного дома Рюриковых. Он был совершенно не модный человек и несомненно чувствовал себя лучше где-нибудь в Эритрее на коне, чем в автомобиле в Париже или в трамвае в Петербурге. Он любил все необыкновенное, что не исключало для него возможности считать себя почти всегда настоящим реалистом. Он был храбрым солдатом и получил два Георгиевских креста за отвагу перед лицом врага. Не потому ли и был он расстрелян коммунистами в 21 году?

Мы с Гумилевым сошлись на отношении к стихам, у нас были одинаковые взгляды на хорошее и плохое в поэзии. Он тогда как раз перешел от не слишком удачного ученичества у Брюсова к какому-то очень подкупающему классицизму, напоминавшему мастерство французских парнассцев.

Из театральных людей в редакции постоянно бывали Мейерхольд и Евреинов. Два противника. Мейерхольд острил насчет Евреинова — Евреинов ненавидел Мейерхольда. Евреинов, тогда тридцатилетний, был бесспорно гениальным режиссером. — но, по-моему, режиссером интимного действия. Он выглядел как олицетворенное самомнение, маленький, злой, желчный, его голос, похожий на хриплое карканье, до сих пор засел в моих ушах. Иногда он меня поражал, — впрочем, как сторонник Мейерхольда, я не выносил его и поэтому и сейчас не могу быть к нему справедливым.

К театральным сотрудникам принадлежал еще симпатичный Андрей Яковлевич Левинсон, несомненно лучший знаток европейского балета. Мы с ним скоро сошлись в восторженном поклонении балерине Тамаре Карсавиной, которую мы обожали, тогда как над ее прославленной соперницей, знаменитой Анной Павловой, несправедливо и глупо подшучивали.

К тесному кругу сотрудников, хотя и не в «молодой редакции», принадлежал еще граф Алексей Николаевич Толстой, импозантный уже тогда расположенный к полноте мужчина. Всегда хорошо одетый, остроумный и увлекательный; его специальностью были завиральные истории, которые он с наслаждением рассказывал нам... Когда мы напечатали его «Хромого барина», написанного прекрасным языком, я понял, что появился значительный эпический писатель. Но он не совсем оправдал возлагавшиеся на него надежды, неустойчивый характер увлек его впоследствии на ложный путь. Свой большой роман, о политической жизни страны, он испортил тем, что одно из главных лиц в нем изобразил в виде непростительной карикатуры на Александра Блока. Он ненавидел Блока, который тоже не терпел его.

Само собой понятно, что в «Аполлоне» работали и другие поэты и прежде всего Вячеслав Иванов, как и Блок, который к этому времени, к сожалению, стал каким-то раздвоенным и ворчливым. У него осталось мало друзей: расположенных к нему людей он отталкивал. Жаль, что Блок все больше входил в роль некоего апостола истины, хотя им он все же не был.

Брюсов, наоборот, откачнулся от своего академического, проповедуемого с кафедры символизма — к новому художественному направлению. Белый, гениальный и сумасшедший как всегда, был достойным восхищения даже в его шутовстве. Присылал свои стихи и Константин Бальмонт, толстощекий парижский купидон; Федор Сологуб, с годами становившийся все более ворчливым, окаменелым, молчаливым и не терпящим возражений, продолжал писать свои отличные стихи; коротко — в «Аполлоне» собралось все, что теперь называют цветом серебряного века.

Упомяну еще, во второй раз, Волошина, — он всегда был деятелен, начинен новостями, которые привозил нам из Парижа, и оставался неподкупным другом чистого искусства. Для нашего историка искусств Маковского он был особенно ценен, так как тесно общался с французскими художниками, самыми новыми из новых. Он был вроде посла Франции при дворе бога «Аполлона».

И гениальный Хлебников искал дружбы с нами. Своей одержимой погруженностью в словотворчество он был нам, в сущности, вполне приемлем: мы ведь тоже признавали священный девиз: «В начале было слово». Кузмин и я были для него старые знакомые; с Гумилевым он не находил общего языка, может быть мешали политические убеждения, так как Хлебников склонялся влево и у него уже были столкновения с политической полицией. Жаль, что сближение с нами было недолгим: обоюдное самомнение, ибо тихий и кажущийся смиренным Хлебников тоже был одержим сумасшедшим духом высокомерия, непримиримо стояло между ним и моими друзьями. Я жалею об этом, но ясно вижу, что его путь через не-

сколько лет все равно увел бы его от нас. Притом его поэзия как раз подходила нашей «академии», основанной рядом с «Аполлоном» и в том же помещении. При деятельном участии Анненского и Вячеслава Иванова было создано «Общество ревнителей художественного слова», в которое входили все наши поэты. Я принимал в нем участие в качестве гостя, на заседаниях, на которых читались новые стихи.

В каждой книжке «Аполлона» на двух страницах печаталось объявление, в котором перечислялись все сотрудники. И вот я подумал: не звучало ли в нем мое имя — Ганс — несколько легкомысленно, недостаточно серьезно? Не лучше ли переменить его на мое настоящее — Иоганн? В тот же день, закончив для журнала свой обзор, Ганс и Иоганн вместе поужинали и после дессерта расстались весело и навсегда. По счету уплатил уже Иоганн. Это произошло в октябре 1909 года.

Крещение заслуживало бутылки редерера. Я отпраздновал его в «Бродячей собаке», ставшей позже отличительным местом художественного Петербурга.

На Невском проспекте, неподалеку от Михайловского театра, артист Борис Пронин нашел запущенный винный подвальчик, который он и превратил в художнический погребок. Две небольших комнаты, — в одной была крохотная сцена, в шесть квадратных метров, на которой однако нашлось место даже для пианино; другая вроде прихожей, служившая и гардеробной; была и большая кухня и темная кладовка, где хранился запас напитков.

Кто только не выступал на этой маленькой эстраде! Шаляпин, Собинов, Блок, Брюсов, Сологуб, Белый и многие другие русские поэты; Герман Банг, Эмиль Верхарн, Маринетти и другие заезжие, — это были незабываемые вечера искусства. Выступали потом и молодые: Ахматова, Мандельштам, Игорь Северянин; мне тоже пришлось прочесть до сотни стихов Стефана Георге, Гете, фон Моргенштерна, а также и свои.

Между прочим, открытие «Аполлона» было отпраздновано в знаменитом петербургском ресторане Кюба. Первую речь об «Аполлоне» и его верховном жреце Маковском произнес Анненский, за ним выступили два известных профессора, четвертым говорил наш милый Гумилев от имени молодых поэтов. Но так как перед этим мы опрокинули больше рюмок, чем следовало, его речь получилась немного бессвязной. После него я должен был приветствовать «Аполлон» от европейских поэтов. Из-за многих рюмок водки, перцовки, коньяка и прочего, я решил последовать примеру Эдуарда Шестого и составил одну замысловатую фразу, содержавшую все, что надо было сказать. Я без устали твердил ее про себя и таким образом вышел из положения почти без позора. Я еще помнил как подошел

к Маковскому с бокалом шампанского, чтобы чокнуться с ним — затем занавес опускается.

Очнулся я на минуту в маленькой комнате, где пили кофе, моя голова доверчиво лежала на плече Алексея Толстого, который, слегка окостенев, собирался умываться из бутылки с бенедиктином. Занавес.

Потом, в шикарном ресторане Донон, мы сидели в баре и, с Вячеславом Ивановым, тяжело погрузились в теологический спор. Конец этому не легкому дню пришел в моей «Риге», где утром Гумилев и я пили черный кофе и сельтерскую, принимая аспирин, чтобы хоть как-нибудь продрать глаза. Конечно, такие сцены были редки. Это был особый случай, когда вся молодая редакция была коллективно пьяна.

И мы в самом деле были коллективом. Мы часто действовали коллективно. Рукописи, в особенности стихи, зачастую читались коллективно и так же отклонялись. Критика тоже производилась коллективно. И тоже коллективно мы были влюблены в поэтессу Черубину де Габриак. Об этом необходимо рассказать подробнее — потому что, возможно, я один знаю ее подноготную, как непосредственный участник и таким образом могу разрешить загадку одной русской литературной истории.

Эта еще и сегодня не совсем забытая история некоторыми была нарисована недостаточно верно, в силу личных причин. Не совсем правильно передал ее в своих воспоминаниях и мой друг Маковский, может быть потому, что ему неприятно было тогдашнее увлечение. К тому же мне кажется, что эта любопытная история очень симптоматична для тех лет, хотя, конечно, такие водевили с переодеваниями, составленные из любви и честолюбия, могут случаться во всякое время. Но те времена, с их возбуждающей постоянной игрой и склонностью к духовному маскараду, создавали благодарную почву для произрастания особенных ядовитых орхидей.

Однажды Маковский получил письмо на элегантной бумаге с траурной каймой, посланное неизвестной дамой, подписавшейся «Черубина де Габриак», к письму были приложены стихи, которые были найдены хорошими. Адрес указан не был. Через некоторое время пришло еще письмо, с еще лучшими стихами, и опять без адреса. Третье письмо. Потом — звонок по телефону: низкий, влекущий женский голос, иногда слегка шепелявящий. И еще письма, телефонные звонки, разговоры — по телефону — по полчаса. Она — испанская аристократка, одинокая, чувствительная, жаждущая жизни, ее духовник — строгий иезуит; мать умерла давно... Маковский влюбился в нее по уши; барон Врангель, Зноско, Ауслендер тоже. Гумилев вздыхал по экзотической красавице и клялся, что покорит ее. Вся редакция горела желанием увидеть это сказоч-

ное существо. Ее голос был такой, что проникал прямо в кровь. Где собирались трое, речь заходила только о ней.

Все попытки связаться с ней кончались ничем: она отклоняла все предложения о встрече. Но факт, что она все-таки пользовалась телефоном, выдавал известное стремление высказаться. Все завидовали Маковскому. Были впрочем и противники, которые издевались над влюбленной редакцией. Коллективная страсть заразительна: скоро и я вошел в число рыцарей обожаемой Черубины.

Как-то раз после полудня я зашел к Вячеславу Иванову на Таврическую, где предстояло присутствовать на собрании дамского кружка. Там были Анастасия Николаевна Чеботаревская, жена Федора Сологуба, Любовь Дмитриевна Блок, затем очаровательная художница, писавшая и стихи, Лидия Павловна Брюллова, внучка великого классического художника Брюллова; была и поэтесса Елизавета Ивановна Димитриева, которая делала колкие замечания насчет Черубины де Габриак, говоря, что уж наверно она очень безобразна, иначе давно бы уже показалась ее тающим от восторга почитателям. Казалось, дамы с ней согласны и предложили мне, как аполлоновцу, сказать свое мнение. Но я трусливо уклонился.

Димитриева прочла несколько стихотворений, которые мне показались очень талантливыми. Я сказал ей об этом, а когда Любовь Дмитриевна к тому же сказала, что я хорошо перевел стихи ее мужа и уже много перевел русских стихов, она вдруг стала внимательной ко мне и прочла еще несколько хороших стихотворений. В них было что-то особенное и я спросил, почему она не пошлет их в «Аполлон». Она ответила, что ее хороший знакомый, господин Волошин, обещал об этом позаботиться. Вскоре я поднялся, чтобы уйти, — одновременно встала и Димитриева. По петербургскому обычаю, мне пришлось предложить себя в провожатые.

Она была среднего роста, скорее маленькая, довольно полная, но грациозная и хорошо сложена. Рот был слишком велик, зубы выступали вперед, но губы полные и красивые. Нет, она не была хороша собой, скорее — она была необыкновенной и флюиды, исходившие от нее, сегодня вероятно назвали бы «сексом».

Когда, перед ее домом, я помогал ей сойти с извозчика и хотел попрощаться, она вдруг сказала, что хотела бы немного пройтись. Ничего не оставалось, как согласиться, и мы пошли, куда глаза глядят. Получилась довольно долгая прогулка. Она рассказывала о себе, собственно не знаю, почему. Говорила, что была у Максимилиана Волошина в Коктебеле, в Крыму, долго жила в его уютном доме. Я немного пошутил над антропософической любовью Волошина к Рудольфу Штейнеру, который интересовался больше пожилыми дамами со средствами. Это ее не задело; она рассказала, что летом у Макса познакомилась с Гумилевым. Я насторожился. У нее, значит, было что-то и с Гумилевым, — любвеобильная особа! У меня

мелькнула мысль: «А, и теперь вы преследуете своим сарказмом Черубину де Габриак, потому что ваши друзья, Макс и Гумилев, влюбились в эту испанку?»

Она остановилась. Я с удивлением заметил, что она тяжело дышит. «Сказать вам?» Я молчал. Она схватила меня за руку. «Обещаете, что никому не скажете?» — спросила она, запинаясь. Помолчав, она, дрожа от возбуждения, снова сказала: «Я скажу вам, но вы должны об этом молчать. Обещаете?» — и опять замолчала.

Потом подняла голову. «Я должна вам рассказать... Вы единственный, кому я это говорю...» Она отступила на шаг, решительно подняла голову и почти выдавила: «Я — Черубина де Габриак!» Отпустила мою руку, посмотрела внимательно и повторила, теперь тихо и почти нежно: «Я — Черубина де Габриак».

Безразлично-любезная улыбка на моем лице застыла. Что она сказала? Что она — Черубина де Габриак, в которую влюблены все русские поэты? Она лжет, чтобы придать себе значительности! «Вы не верите? А если я докажу?» Я холодно улыбался. «Вы же знаете, что Черубина каждый день звонит в редакцию и говорит с Сергеем Константиновичем. Завтра я позвоню и спрошу о вас...» Защищаясь, я поднял руку: «Но ведь тогда я должен буду рассказать, что вы мне сейчас сказали...» Она вдруг совсем успокоилась и подумав ответила: «Нет, я спрошу о его иностранных сотрудниках и если он назовет ваше имя... тогда я опишу вас и спрошу, не тот ли это человек, с которым я познакомилась три года тому назад в Германии, в поезде, не сказав ему своего имени».

Я задумался. До чего же находчива! Но солгать стоило. «Лучше скажите, что два года назад, тогда я был в Мюнхене». «Хорошо, два года. Между Мюнхеном и...» «Между Мюнхеном и Штарнбергом». «И если я скажу это Маковскому, вы поверите, что я — Черубина де Габриак?» Она играла смелую игру. Но ведь могло быть, что это вовсе не игра. «Мне придется вам поверить». «И где мы потом встретимся? Я буду звонить, как всегда, после пяти». «Хорошо, приходите ко мне к семи...»

На другой день в пять часов в редакции зазвонил телефон. Маковский взволнованно взял трубку. Напряженно прислушиваясь, мы делали вид, что занимаемся своими делами. Потом мне послышалось, что Маковский перечисляет иностранных сотрудников. Значит, правда? Черубина де Габриак — Димитриева? Минут через десять Маковский позвал меня. «Вы никогда мне не говорили, что знакомы с Черубиной де Габриак!» Молодым не трудно лгать. Никогда ее не видел. В поезде между Мюнхеном и Штарнбергом? Ах, Господи, да половина Мюнхена ездит купаться в Штарнберг! Со многими приходилось разговаривать. Черубина де Габриак? Нет, наверное нет...

Когда, перед семью, я пришел домой, мне открыла горничная и сказала с лукавой улыбкой: «Барышня уже пришла». Ах, ты, Господи! Еще и это! Какие подозрения возникнут! Я и представить тогда себе не мог, каковы они будут, — потому что Елизавета Ивановна некоторое время посещала меня почти ежедневно. Она не могла наговориться о себе и о своих прелестных стихах, не могла насытиться их чтением... Вскоре я узнал, что все это литературное волшебство Черубины де Габриак выросло не только на ее грядке, что тут действовало целое поэтическое акционерное общество. Но кто же были акционеры?

В каком-то смысле я был обманутым обманщиком. Тем не менее, для двадцатитрехлетнего было несравненным наслаждением знать тайну, за разгадкой которой охотился весь Петербург...

. . . . . .

В октябре я снова был в Петербурге...

Гумилев вернулся из Абиссинии, по дороге заехал в Париж и на этот раз действительно женился — на подруге юности, как рассказывал Маковский. Он вернулся в Россию из Парижа в одном поезде с молодой парой и не очень был уверен в продолжительности этого брака.

Я встретился с Гумилевым в «Аполлоне». За ним стояла довольно большая группа молодых людей, которых можно было бы назвать его учениками. Самым гениальным из них несомненно был Осип Эмильевич Мандельштам, молодой еврей с исключительно безобразным лицом и крайне одухотворенной головой, которую он постоянно закидывал назад. Он громко и много смеялся и старался держаться подчеркнуто просто, но все равно он был — одна декламация, в особенности когда торжественно выпевал свои стихи, уставившись в неизвестную точку. Он радовался как ребенок, когда замечал, что стихи понравились. Я очень жалею, что, помешанный тогда на театре, не сблизился с Мандельштамом и другими учениками Гумилева.

Оказалось, что это новая школа. К учителю нового движения примкнул и Сергей Городецкий, который со своим фольклором, рожденным мифологией, не мог найти ничего общего с символизмом и стоял в стороне как неприкаянный. Новым поэтам нравился его магический реализм.

Гумилев и Городецкий нашли для своего нового поэтического вдохновения и новое определение — «акмеизм». Название было придумано не очень искустно и давало повод к насмешкам, но оно удержалось. Другое название — «Цех поэтов», было более удачно. То ремесленное, цеховое, что они подчеркнуто выдвигали на первый план, доказывало их серьезное отношение к поэзии и в этом смысле Гумилев был настоящим цеховым мастером. Иногда я по-

ражался, убеждаясь, как велико было его уменье, как глубоки познания об исходных точках каждого стихотворения, как он умел согласовывать форму и содержание. Друг мой Гумилев, не имевший большого образования, в стихах умел находить малейшие ошибки — и безжалостно выкорчевывал их.

Позже, из его учеников, наибольшее впечатление на меня произвел Георгий Иванов. Всегда подчеркнуто хорошо одетый, с головой как камея римского императора, он был воплощением протеста против всякого штукарства в стиле и форме. Его твердая линия в искусстве и склонность Мандельштама к французскому классицизму представлялись мне гарантией дальнейшего процветания русской поэзии.

Умный и ясный дух Кузмина победил, он и был признан всеми, как мастер; но он не был достаточно односторонним, чтобы стать вождем всех этих молодых людей. Это качество — неоценимый дар, если хочешь или должен кем-то повелевать. И оно даже не нужно: надо только уверенно и бескомпромиссно играть в односторонность. Гумилев это умел.

Днем мы спорили, проповедовали, провозглашали истины в редакции «Аполлона», — вечером то же продолжалось в «Бродячей собаке», в духе молодого, страстного служения искусству. «Собаку» можно считать местом рождения многих «измов». Сомневаюсь, чтобы в ней родился акмеизм, но без нее он не смог бы так скоро утвердиться. И во всяком случае футуризм и эгофутуризм здесь получили свое крещение.

Игорь Северянин, почти одних лет со мной, отец эгофутуризма. Собственно, он был Лотаревым, Северянин — псевдоним. Супруги Сологубы с большим треском ввели его в свет. Название его первого томика стихов — «Громокипящий кубок», взято из одного стихотворения Тютчева. Успех Северянина был беспримерный, притом стихи его были лишь смесью элегантного вздора с романтической экзотикой и иногда ужасающими неологизмами. Волна совершенно нерусской истерии несла его с эстрады на эстраду . . .

Здесь же, в «Бродячей собаке», я увидел Ахматову, когда она уже полгода была замужем за Гумилевым. Он знал, как талантлива была Анна Андреевна — и делал все, чтобы оставить ее в пустыне неизвестности. Вознесенный на высоту, он плохо отзывался о ее стихах, издевался над ними, обижал и оскорблял поэтессу.

Маковский, наш мудрый шеф, между тем тоже женился, хотя и не совсем по правилам. В Москве он познакомился с красивой женой одаренного поэта Ходасевича — и получилась трагедия. Марина ушла от своего поэта и после выполнения некоторых формальностей вышла замуж за нашего Сергея Константиновича.

Маковский переехал в Царское Село; Гумилев тоже жил там в родительском доме. Значит было неизбежно, чтобы молодая жена Гумилева подружилась с женой Маковского. Она показала ей свои стихи, — Марина показала их своему мужу. Он был восхищен и решил напечатать их в «Аполлоне». Анна Ахматова сначала протестовала, но Маковский сказал, что ответственность берет на себя. Так произошло открытие нового поэта — Анны Ахматовой . . .

Перевела с немецкого **Т. ПЕТРОВСКАЯ**

Г. ПОМЕРАНЦ

Человек без прилагательного

...И потому туман вдали
Роднее нам, чем род и племя,
И внятней голосов земли.

З. Миркина.

Мы живем на пороге нового Вавилона. И не можем не оглядываться назад, на старое доброе время. Но мы не можем вернуться назад.

Недавно одна девушка-фольклористка выходила замуж. Невеста и ее подружки исполняли вологодский свадебный обряд. Гости старались вжиться в свои архаические роли, тысяцкий (он, кстати сказать, был евреем) делал это довольно артистично. Но все было игрой. Старая вологодская деревня, в которой иначе справить свадьбу просто невозможно было подумать, и этот обряд, завещанный бабками, которые берегли его тысячу лет — стали такой же экзотикой, как Таити. Девушки-африканистки могли бы исполнять танцы с там-тамом, а студенты-индологи — танцы Радхи и Кришны. Все это одинаково легко входит в стены московской квартиры.

Но что было когда-то единственным, жизненно необходимым занятием, становится игрой, одной из многих игр, которую можно полюбить или отбросить. Австралийцы, бушмены, пигмеи живут тем, что собрали за день в лесу или в пустыне; мы ходим по грибы. Крестьяне вкладывают в землю всю свою жизнь; мы окапываем

«Мосты» выходят редко и поэтому воздерживаются от помещения рукописей, разными путями приходящих из Советского Союза: они всегда могут появиться раньше выхода «Мостов» в других изданиях. Но для статьи «Человек без прилагательного» мы делаем исключение, считая, что с ней полезно ознакомиться как можно большему числу читателей.

Г. Померанц — философ-индолог, был в концлагере; ряд его статей появился в Советском Союзе неофициально, в «самиздате». Две его статьи были напечатаны в журнале «Грани», выходящем во Франкфурте на Майне: в № 64 «Квадрильон» и в № 67 «Нравственный облик исторической личности».

Редакция.

яблони на десяти или тридцати сотках. Это хорошая игра. В ней часто больше творческого, чем в будничной умственной работе. Но можно ничего не собирать в лесу, кроме солнечных зайчиков, и это даже лучше. А грибы или яблоки продаются на базаре. Всерьез мы работаем головой за своим письменным столом. Всерьез мы живем в Вавилоне, а в Аркадию только играем.

Мы едим хлеб, сжатый и обмолоченный людьми, которых по привычке называем крестьянами, но мы не живем в крестьянском обществе, мы не окружены народом. Крестьянства становится слишком мало, чтобы окружать нас. В Соединенных Штатах сельским хозяйством занимается 7% населения. Больше не нужно, чтобы обеспечить остальные 93 процента хлебом, маслом и молоком. (300 литров на человека в год. В Индии — 6 литров. Сколько у нас — Бог весть). Даже остаются излишки, чтобы подкармливать крестьянскую Индию, где хлебопашествует 80 процентов населения.[1]

Фермеров в США меньше, чем студентов и профессоров университетов. Но главное то, что фермер — уже совсем не крестьянин. Это работник сельского хозяйства в научно-промышленном обществе. Он гораздо дальше от крестьянина, чем традиционный ремесленник (труженик города в обществе, костяком которого было крестьянство). Возьмем еще более крайний, еще более парадоксальный случай: в Израиле кибуцники, образцовые сельские хозяйства, у которых учатся агрономы Африки и Юго-Восточной Азии, создали лигу борьбы с религиозным принуждением. Это носители «городского» научного мировоззрения; а ремесленники, вывезенные в 1948 г. на самолетах из Йемена, бросают камни в автомобили, нарушающие день субботний.

Крестьяне и ремесленники вместе берегли, как зеницу ока, веру отцов, обряды отцов и составляли народ, с народными песнями, с народной вышивкой и народными предрассудками. А что поют колхозники? Да то же, что пролетарии. Какие-то остатки крестьянского наследства, какие-то мелодии, вбитые в школе, в армии, по радио.

Крестьянство исчезает. Оно оставило глубокий след в нравственном и эстетическом сознании человечества, оно было мостом между племенем и чем-то еще, что еще только складывается. Но оно исчезает.

Кажется, что этого не может быть. Что народ и общество неотделимые понятия, что народ с историей — близнецы-братья, и там,

[1] То, что у нас в деревне половина населения, — конечно, факт: но факт скорее вчерашний, чем сегодняшний. Нечто вроде заторможенного вчера. Нельзя считать прочной социальной действительностью то, что искусственно удерживается с помощью паспортной системы. Строить на этой «почве» — значит строить на песке.

где есть общество, история, непременно должен быть народ. Но где он, этот народ? Настоящий, народный, пляшущий народные пляски, сказывающий народные сказки, плетущий народные кружева? В нашей стране остались только следы народа, как следы снега весной, островки снега в глухих углах леса. Есть еще углы, где можно записать вологодский свадебный обряд, где доживает свой век старуха Матрена и реабилитированный Иван Денисович. Но народа как великой исторической силы, станового хребта культуры, как источника вдохновения для Пушкина и Гете — больше нет.

Пролетариат городской и сельский заменил народ в политической жизни, но не в духовной жизни общества. После всех попыток Пролеткульта, пролетарского искусства и великой пролетарской культурной революции в Китае, от рабочего ничего и не ждут в этой области. К нему обращаются только тогда, когда надо посечь очередного интеллигента. И тогда газеты печатают интервью: «Я не читал Пастернака, но...». Или бригады двоечников, срезавшихся на экзаменах, вводят в университет, чтобы бить студентов, — как в Варшаве.

Класс, вызванный к жизни первым промышленным переворотом, выросший, как на дрожжах, до 50 процентов населения, создал профсоюзы, советы, забастовки и т. п., без чего нельзя представить себе XX век, но решительно ничего, способного оставить прочный, долговечный, вековечный след. Нет никакого особого пролетарского нутра. То, что было названо пролетариатом, в духовном отношении ничем не отличается от остальной урбанизированной массы. Это просто нижний слой ее, без всяких провиденциальных перспектив.

Я помню, на лекции по фольклору профессор Соколов каялся, что в бытность свою буржуазным ученым занимался только крестьянским фольклором и недооценивал пролетарский. После этого перекованный Юрий Матвеевич посвятил целую лекцию, а может быть и две, фабричной частушке. Запомнилась одна, в которой он нашел богатые созвучья и главное — ярко выраженное пролетарское классовое сознание:

Инженеру Покатило
Рожу паром обварило,
Жалко, жалко нам, ребята,
Что всего не окатило!

В первые годы после революции пелись революционные песни, сложенные интеллигентами — народниками и марксистами. Потом пошла в ход блатная лагерная песня, песня вычеркнутых из списков «пролетарской» общественности. А сейчас началось время интеллигентского фольклора. Открылся «животворный родник», из которого хлынула песня, стихи, проза, философские эссе, абстракт-

ная и конкретная живопись. Герою Синявского мерещится, что весь Союз пишет, что в каждом окошке — графоман.

Родник бьет снизу — мимо официальных писательских организаций. Но это совсем не народные низы. Скорее это верхи в смысле образованности. Пишет очень широкий слой — от шофера такси О. до математика В., но явно преобладают верхи.

Появилась потребность осознать себя духовно, оставаясь ученым, интеллектуалом, не бросая своего НИИ. Это какой-то Ренессанс наизнанку. *Тогда* художники (оставаясь художниками) становились математиками. *Сейчас* математики (оставаясь математиками) становятся художниками и поэтами. Если правда, что нет народа без песен, то именно здесь складывается хребет нового народа — или, быть может, нового слоя, несущего в себе занародную правду и занародную песню. И так же, как народ заменил племя, новое что-то заменит народ. И так же, как неправ бушмен, для которого переход к крестьянскому труду святотатство, неправ и крестьянин, для которого уход от власти земли, крови родства, «веры отцов», — святотатство. Культура, как змея, просто сбрасывает кожу, и старая кожа, народ, лежит, потеряв свою жизнь, в пыли.

Любопытно, что наши менестрели — какой-то сброд космополитов: полугрузин-полуармянин, еврей, полукореец. Есть, конечно, и чистокровные русские, но все это горожане, горожане без почвенной основы, не дети, а внуки и правнуки крестьянского народа, стоптанного прогрессом в безликую слесарно-бухгалтерскую массу, в которой Сталин брал своих Абакумовых и Рюминых... Это новая элита, устоявшаяся над затихнувшей, переставшей колыхаться массой, как над снятым молоком... Можно, конечно, называть народом любую массу трудящихся: язык без костей. Тогда слесаря и бухгалтеры, ткачихи и следователи суть народ. Песни передаваемые по радио, — суть народные песни. А Окуджава, Галич, Ким, Высоцкий — гнилые интеллигенты, подвергшиеся растленному влиянию Запада (так это, кажется, звучит на языке супруга товарища Парамоновой). Но где парамоновские обряды и плачи, песни и пляски? Где парамоновская нравственность?

Мое замечание об исчезающем крестьянстве, высказанное впервые в полемике с М. А. Лифшицем, шокировало почвенников. Но что делать! Не я придумал (это сделала история), что крестьянские нации суть голодные нации, а нации, в которых крестьянство исчезло — это нации, в которых исчез голод. Я не виноват, что сейчас обществу выгоднее большую часть сил тратить на умственную работу, а совсем малую — на обработку земли.

Во-вторых, численно второстепенная группа не означает группы, без которой можно обойтись, от которой можно отвлечься. Мои оппоненты, видимо, стихийно исходят из архаической модели народа, в котором крестьянские общины, живущие натуральным хозяйством, могут веками обходиться без города, а город без них и году не проживет. Сейчас такое общество сохранилось только в джунглях. Сейчас все группы зависят друг от друга, и в этом едином обществе ни одна группа не в праве считать себя коренной. Вопрос можно поставить только так: какая группа, добившись того, чего она хочет, способна изменить к лучшему все общество? Крестьянство или интеллигенция?

На этот вопрос ответил опыт Польши и Чехословакии. В 1956 г. Гомулка распустил большинство колхозов и дал крестьянам окрепнуть. В результате, восстановлено было консервативное село, и на него сегодня опирается самая реакционная в Восточной Европе бюрократия. Напротив, в Чехословакии победила интеллигенция, добивавшаяся прежде всего свободы слова. Казалось, какое дело до этого рабочим и крестьянам? Но интеллигенция немедленно выдвинула идеологов, занявшихся положением других слоев общества, положением общества в целом, и вся страна пришла в движение. Там, где интеллигенция свободна, всем открыт доступ к свободе. Там, где интеллигенция в рабстве, все рабы. Поэтому и *только* поэтому я против чрезмерного акцента на важность деревенских проблем, трагедию крестьянства и т. д. Деревенские проблемы надо решать, но если не решена проблема интеллигенции, страна в целом останется во тьме.

Группа второстепенная с точки зрения социолога, может быть, однако, первостепенной для писателя (например, белые Юга США для Фолкнера), и писатель может раскрыть в жизни этой группы величайшие духовные ценности. Я горячий поклонник «Матренина двора». Но я против переноса в современность комплекса неполноценности, с которой русский либеральный барин прошлого века подходил к мужику (или птичнице), —

Чьи работают грубые руки,
Предоставив почтительно нам
Заниматься искусством, наукой...

Нельзя подходить к современному белому воротничку с мерками Некрасова и корить его легкой работой. Работа интеллигента (если говорить о миллионах учителей, врачей, инженеров) совсем не легкая, совершенно необходимая для общества (успевшего с XIX в. сильно измениться) и оплачивается в нашей стране из рук вон плохо. Поэтому я с некоторым удивлением читаю такие вещи, как «Письмо физику», в котором говорится, что ученый должен испытывать угрызения совести, когда ест яичницу, — так мало он рабо-

тает, сравнительно с птичницей, и так мало действительной пользы приносит людям его труд.

Я глубоко сочувствую попытке вызвать у проституируемой интеллигенции угрызения совести. Но почему перед птичницей? Почему не перед учительницей, слепнущей над тетрадками, не перед амбулаторным врачом? В подчеркивании ответственности перед птичницей (по некрасовскому шаблону) есть своя опасность (отсутствовавшая в некрасовские времена). Эта опасность в том, что поддерживается народный предрассудок, по-старому смешивающий всякий умственный труд с барством, и сталинская политическая традиция, основанная на этом предрассудке: 1) всякий человек с авторучкой называется интеллигентом; 2) народная ненависть, вызванная некоторыми людьми с авторучкой, поровну распределяется на всех; 3) в критические минуты некоторые люди с авторучкой тактично забывают, что сами они называли себя интеллигентами, и в качестве *слуг народа* науськивают массы на действительную интеллигенцию, ищущую чего-то лучшего.

Совершенно необходимо улучшить положение птичницы и скотницы, и тракториста, но не их одних.[2] Есть много других тяжелых и неприятных работ. Развитие науки, освободив мышцы, так перегрузило голову, нервы, что миллионы людей приходится брать на учет к психиатру. Я не думаю, что труд инженера-экономиста веселее косьбы. Не надо никого упускать из виду, не надо считать человека благополучным, потому что он работает под крышей. А то вместо сочувствия автору письма у меня рождается сарказм: если ученому нельзя есть яичницу без угрызений совести, то ведь, пожалуй, нельзя и на стульчак сесть без угрызений совести (перед ассенизаторами, например. Страшно подумать, во что превратился бы современный город без ассенизаторов. Легче было бы обойтись без романа «Поднятая целина»).

Птичник, который волнует сейчас писателей, отвратителен. Но ведь это ад не только для людей, но и для кур. Это очень плохой птичник. Наша страна импортирует битую птицу и яйца — своих не хватает. Как, впрочем, и хлеба в иные годы. Никакой всемирно-исторической необходимости в этом нет, просто порядок, заведенный в сельском хозяйстве, очень плох, и надо ввести какие-то другие порядки, проверенные опытом других стран (хотите — коллективные, как в израильских кибуцах, но во всяком случае сложившиеся снизу, а не сверху, не навязанные).

Мы еще не выполнили свой долг перед птичницей. Но, по крайней мере, известно, как это сделать. А как быть с младшим науч-

---

[2] Забота о птичнице безотлагательна, если птичница голодает. Но с этим хорошо справляется научно-технический прогресс. Разумное и благородное в Нью-Дели становится нелепым в Стокгольме.

ным сотрудником Акакием Акакиевичем, пожизненно осужденным готовить бумаги Значительному лицу? Этого никто не знает, и мы в потемках ищем ответа, одновременно с Европой и Америкой, которые, по крайней мере, о птичнице могут не думать. Потому что мы не только страна плохих, неэффективных колхозов, но и страна эффективных ракет. И наряду с провинциальными задачами, общими для слаборазвитых стран, мы вынуждены решать и задачи современные, «модернистские». И мне бы хотелось, чтобы мы не забыли об этой стороне дела, требующей больших усилий мозга (потому что это как раз сторона неразведанная).

Что бы ни творилось в деревне, как бы ее ни калечили, большинство сельских работ, по природе своей, здоровее и веселее, чем работа в горячем цеху или поиски ошибки в платежной ведомости. Толстой косил, ходил за плугом, но я не видел человека, который для собственного удовольствия шел бы делать из вонючей резины галоши или редактировать библиографический указатель. Примитивные формы труда основаны на живом внутреннем ритме или на прислушивании к ритму окружающей человека природы. Они сохраняют свою ценность и тогда, когда теряют экономический смысл. Мы не жалеем потратить целый день, чтобы поймать несколько рыбешек, выращиваем в комнате лимоны, печем в духовке пироги (хотя кондитерская за углом) и проч. К сожалению, основная наша работа совсем другая, механическая, опустошающая. Только очень небольшое меньшинство способно получать деньги за творческий труд. Я к этим счастливцам не отношусь, и то, что давало смысл моей жизни, делал бесплатно, а работал грузчиком умственного труда, почтовой лошадью. Уверяю вас, господа почвенники — это не синекура.

Что же делать? Один мой знакомый сказал, что из искусственного положения приходится искать искусственный выход. Такой выход — сервис, т. е. компенсация за потерянные нервы. Мышечную силу можно было нахлестывать кнутом, силу ума — только пряником. Начиная с парикмахерской, в которой три мастера ждут одного клиента, кончая музыкой, поэзией, живописью. Спешу оговориться, речь идет не об одной ученой элите. Это общий уровень человеческих отношений, на который вышли все северные страны (кроме нас) и к которому быстро приближаются страны, расположенные южнее (Италия, Япония, Израиль).

К сожалению, и этот уровень недостаточен. И на нем главная проблема остается нерешенной: проблема духовного вакуума.

Теплый хлев с холодильником, автоматической подачей корма и зелеными лугами по телевизору был бы совершенно достаточен для скотины, но человек, попавший в этот рай, не чувствует себя счастливым. Он работает, хорошо работает, он много производит и много

потребляет, но ему потихоньку становится тошно. И тогда он норовит поддать пинка роскошным автоматическим устройствам, на которые с такой завистью смотрят народы Азии, Африки и Латинской Америки. Народы, узнавшие из голливудских картин про сладкую жизнь, но не научившиеся еще организовывать жизнь по-американски и обвиняющие в своей бедности империалистов, сионистов и советских ревизионистов.

Северные страны решили экономическую проблему, создали пролетариям в синих и белых воротничках буржуазную жизнь, лечат пролетариев в хороших лечебницах, дают возможность провести отпуск на взморье, — одним словом, сделали все, на что способна хорошо развитая наука. Но наука не может научить пролетария чувствовать ритм облаков на заре и повторять его на свирели, как делал пастух в холщовых портах, никогда не видевший синего моря.

Наука знает очень много вещей и может узнать еще больше, но смысл жизни — это не вещь. Его нельзя ясно очертить, его нельзя «формализовать». Он дается, может быть, мудрости, но мы совсем забыли, что такое мудрость. Мы умеем готовить хороших ученых, но у нас нет посредственных мудрецов. Мы точно, научно, изящно решаем очередные проблемы — и стоим в тупике перед целым: голову вытащим — хвост увязнет. Хвост вытащим — голова увязнет.

Основных проблем, вставших перед человечеством, мы в нашей стране давно не сознаем.

Борьба с местными нелепостями провинциализировала наш дух: это видно даже по лучшим произведениям нашей литературы. Подобно Испании XVII века, мы боремся с трудностями, которые сами себе создаем, и постепенно изнемогаем в этой борьбе.

Мы все еще (как в XIX веке) считаем экономику первичной, строим домны, когда нужна химия, и большую химию, когда нужна эстетика, чтобы стимулировать серое вещество мозга. Мы загородились пограничниками от утечки мозгов и не замечаем, что мозги уходят во внутреннюю эмиграцию. Мы все время догоняем по заброшенной дороге, все время исходим из постулата, что история идет по прямой, а она кривая, она меняет направление.

Есть любопытные социологические законы, например, — закон постоянного упадка удельного веса труда, прямо связанного с удовлетворением элементарных потребностей, и выдвижением все более далеких от домоводства форм деятельности. Физиократы ошиблись, думая, что крестьянский труд навсегда сохранит доминирующее положение в обществе. Экономисты XIX века ошиблись, думая, что

такое положение сохранит промышленный труд. Сейчас на первое место выдвинулось производство научно-технической информации, но было бы наивно думать, что это конец, за которым невозможны никакие другие сдвиги. Они не только возможны, но прямо необходимы. Рост значения умственного труда вызывает новую задачу — производства творческого состояния, производства такого состояния мозга, при котором он решал бы свои задачи играя. Так же, как мощная промышленность удесятеряет силы земледельца, сфера, занятая производством творческого состояния, удесятеряет силы физика или математика и делает ненужным загонять в ученые половину населения. Это очень широкая сфера: спорт, туризм, искусство, обрядность, психотехника йоги или дзен. Можно вспомнить слова одного из образованнейших людей XX столетия О. Хаксли: заниматься мистическими упражнениями так же полезно, как чистить зубы.

Во-вторых, есть закон падения удельного веса доминирующей формы труда. Бушменский род целиком занят охотой и собиранием съедобных корешков. В крестьянских нациях 80—90 процентов населения заняты сельским хозяйством. Удельный вес пролетариата не превысил 50—55 процентов и в США начал падать (в настоящее время до 37 процентов самодеятельного населения). Маловероятно, чтобы количество ученых когда-нибудь достигло и трети населения. Старые занятия не исчезают. До сих пор есть профессиональные охотники, рыболовы. Никуда не денется, и только отодвинется в тень и земледельческий, и промышленный труд, и организация порядка, бюрократия (в веберовском, а не в ругательном смысле этого слова). Одновременно появляются новые и развиваются старые «занаученые» формы деятельности (т. е. еще более далекие от экономики). Общество становится все более плюралистическим, все более сложным. Ничего подобного старому монолитному народу впереди не маячит. И ни ученые, ни какая-либо другая группа производителей вакантного места народа не займет.

Производство вообще перестает быть главным человеческим делом. Даже производство формул. Мы стоим перед великим поворотом. Забота о пропитании в развитых странах отодвигается на второй план. И вместе с этим на второй план отодвигается борьба за власть над природой. С тех пор, как средний человек и при нынешней власти над природой не знает, что делать со своим досугом, и бунтует, как американский битник, не от голода (он сыт), а по каким-то другим, психологическим мотивам — дальнейшее расширение власти над природой теряет право первородства. Приходится напоминать, что никакая власть не дает счастья. В том числе и такая утонченная власть, как знание. Мы счастливы скорее тогда, когда все забываем. Никакая наука не научит нас, чем заполнить

свой досуг. «Цивилизация досуга», о которой сейчас много говорят и пишут, это не цивилизация науки.

Устойчивость всякой культуры и внутренняя устойчивость личности основаны на равновесии дела и праздника. В идеале они сливаются:

Непостижимо то, что Господом зовут.
Его покой в труде, в его покое труд.

Божество, каким его представлял себе Ангелус Силезиус, в каждый миг созерцания действует, и в каждый миг действия остается погруженным в праздное созерцание.

Но обычно дело и праздник выступают каждый сам по себе. Дело — функция ослабленной единицы (личности или группы людей). Праздник — подхваченность волной, в которой тонет, смывается все личное или узко-групповое, ясно очерченное, закрепленное рассудком.

Были эпохи, ценившие праздник выше дела. Самая близкая нам началась со слов Христа: «Марфа, Марфа, заботишься о многом . . .» Праздную Марию Иисус поставил выше деятельной Марфы. И в течение всех Средних веков люди жили под знаком этой притчи, не придавая большой ценности делу. Не сходить на праздник в церковь считалось гораздо большим грехом, чем плохо работать.

Однако Иисус сеял в вечности. Во времени Его семена падали на каменистую почву. Даже столпников надо чем-то кормить, а способы возделывать землю Христос не изменил. И по мере того, как равновесие праздников и будней, нарушенное при распаде племенных культов, было восстановлено, — дело снова поднялось в цене. По крайней мере в Европе, сохранившей закваску римских деловых людей. На рубеже XIV в. Мейстер Экхарт пересказывает притчу о Марфе и Марии на свой лад. Из глубины созерцания, — говорит Экхарт, — рождается новый порыв к действию. Этот порыв выше пассивного созерцания, Марфа выше Марии. Созерцание только ступень, на которой деятель освобождается от суеты, от себя, раскрывается перед Богом. Когда же Бог наполнит душу, наступает второй час действия, действия вдохновенного Богом (примерно так, как это описано в пушкинском «Пророке»).

Таким пророческим движением Макс Вебер считает европейский протестантизм (мистика которого, говорят, связана была с традицией Экхарта и других еретиков средневековья). А из него, по Веберу, выросло все Новое время . . . Может быть, на самом деле оно сложилось совсем не по Веберу. Но поворот к делу действительно наступил. Прошло несколько веков, и Гете поставил Дело взамен самого Слова Божьего. Фауст дерзко переводит «Логос» немецким «Тат» — дело, деяние, поступок.

Еще через сто лет это было пересказано прозой: «Философы только объясняли мир. Задача заключается в том, чтобы его переделать». [3]

... Оглядываясь назад, можно увидеть, что Новое время было только последней волной длинного процесса «рационализации» человеческих отношений к миру, начавшегося давным-давно, где-то в глубинах каменного века (и только пошедшего в Новое время скорее). По крайней мере, несколько тысяч лет, всю историю цивилизации человек учится работать. Он еще сейчас учится в слабо развитых странах. Но в Европе ученик исчерпал себя. Современный поэт не повторит слова Фауста: «Вначале было Дело!» Скорее он скажет вместе с О. Мандельштамом:

Есть блуд труда, и он у нас в крови ...

Говоря о терминах Маркса, мы слишком хорошо усвоили 11-й тезис и слишком мало думаем о другой, более глубокой мысли, изложенной в третьем томе «Капитала»: «Царство свободы начинается по ту сторону производства, диктуемого нуждой и материальной необходимостью ...».

Я праздник твой, воскресный отдых твой,
Твой день седьмой, твое седьмое небо! [4]

Но праздник есть только там, где есть благоговейная отдача себя чему-то высшему, чем дело. Праздник невозможен без, по крайней мере, *минуты* благоговения. Отнимите у Нового года — единственного праздника, который у нас остался, — минуту благоговения, какого-то мистического трепета перед стрелкой часов, подошедшей к двенадцати, и праздника не будет. Останется только пьянка. А иногда, перед пьянкой — официальная скука.

Все это относится к внутреннему празднику, к «празднику, который всегда с тобой», по выражению Хемингуэя. Если нет чувства святости природы, то что останется от вечерней зари? Время, в которое можно пройтись с похабной частушкой. Если нет отношения к женщине, как к святому причастию, то что останется от праздника любви?

Равновесие дела и праздника сохранилось в примитивных культурах, племенных и народных. В этом их неувядаемая прелесть. Но это обрядовое равновесие, тесно связанное с исчезнувшими и неисчезающими формами труда. То, что могло войти в городскую цивилизацию, уже вошло в церковную обрядность, и возвращать ее назад к язычеству невозможно. Достаточно прекратить травлю церкви, восстановить естественную роль ее в современной культуре, по примеру других цивилизованных стран. Но в современных услови-

[3] К. Маркс. 11-й тезис о Фейербахе.
[4] Марина Цветаева.

ях едва ли не важнее всего внутренний праздник, а его как раз народу не хватало. Созерцание природы, созерцание искусства, любовь — все это совершенно не народно. По крайней мере, в России. Есть, конечно, Япония, с ее любованием цветущей вишней и горой Фудзи, — но это экзотика. Любовь?.. За народностью любви пришлось бы ехать в тридесятое царство, в тридесятое государство, — к племени ансаритов в древней Аравии.

Я из рода бедных азра.
Полюбив, мы умираем... [5]

Трубадуры, миннезингеры — это штука шляхетная, рыцарская и по преимуществу европейская. У нас — одна из вольностей дворянских. Мужицкое отношение к любви недавно напомнил нам А. И. Солженицын: «женятся для щей, замуж выходят для мяса».

То, что было у нас в народе хорошего (правда—истина—справедливость) — в обломках. По народной же поговорке, на том месте, где была совесть, вырос ... (знатоки народности заполнят здесь пробел). Все тяжелое, тупое, темное может прочно опираться на народную массу, массу персонажей Галича, Высоцкого и Олешковского, массу, духовное состояние которой выражено в «советской пасхальной»:

...Давай закурим опиум народа,
А он покурит наших сигарет.

Заговорив о любви к дальнему, о любви к чужому, я вступаю на опасную дорогу. По правилам, установленным для варшавских студентов, можно любить только одну нацию. Так же, как можно болеть только за одну футбольную команду, одну балерину, одного тенора. Лучше всего — передавая эту простую однозначную привязанность по наследству. На худой конец — корпорация болельщиков может усыновить вас. Но ни в коем случае нельзя болеть за 2, 3, 5 команд сразу. Это космополитизм. *Идея* интернационализма останется вне спорта (о догмах не спорят), но *чувство* может быть только простым, однозначным. Или вы за Торпедо, или за Спартак. Если вы чувствуете своими одновременно Польшу и Израиль, то этого не может быть, потому что не может быть никогда, потому что этог не может быть, потому что не может быть никогда, потому что это противоречит психологии футбольного болельщика, а другой, более сложной психологии пан Гомункулус не понимает. Тот, кто привязан более чем к одной традиции, с его точки зрения, не любит ни одной.

---

[5] Г. Гейне.

И вообще, о чем говорить? Духовный кризис? Но классиков издают миллионными тиражами. Упадок культуры? Но литфонд, худфонд и прочие фонды выдают инженерам человеческих душ большие субсидии. Остается только развести руками и смолкнуть, как Достоевский, пересказав историю гоголевского поручика Пирогова. Тут простодушие, которое ставит в тупик. Никакого противоречия между научно-техническим и духовным развитием функционер не чувствует. Он твердо идет по намеченной колее, как И. В. Сталин, как паровоз, тянущий за собой целую кучу вагонов. Он просто не понимает, что все прямые дороги истории ведут в тупик, что железная воля кончается грудой железного лома. В этой тупости деятелей (отмеченной еще в «Записках из подполья») — секрет «чудодейственной воли» сталинистов, воспетой Горьким, воли, перед которой трепетали размагниченные интеллигенты, воли, по которой до сих пор тоскуют многие простые люди России. Есть только одно направление развития, одна колея. Техника в период реконструкции решает все. И нет таких крепостей, которых большевики не могли бы взять.

На строительство школ, техникумов, университетов расходуются миллиарды. Количество людей, получивших среднее и высшее образование, — растет. Интеллигенция имеет ясную и простую задачу — помогать развитию экономики, а также помогать функционерам крепить духовное единство (болеем за *нашу* футбольную команду, *наше* правительство, *наши* органы охраны порядка).

Других, непонятных невеждам, духовных потребностей нет, потому что народ этих потребностей не имеет (в этом пункте пан Гомункулус отчасти прав). Крики о духовном голоде — романтическая чушь, происки классового врага или беспокойство евреев, которые вовремя не уехали в Израиль и поэтому сами не могут по-человечески жить и других сбивают с толку. Мы дадим им паспорта — пусть едут в Израиль.

... А если я не хочу ехать? Если я кровью связан с этой страной, но не только с этой, а и с другими тоже? Если

Слаще пенья итальянской речи
Для меня родной язык,
Потому что в нем таинственно лепечет
Чужеземных арф родник ...[6]

Что же мне делать тогда, пан Гомункулус? Если правы вы, для меня нет места на земле. Если я прав — вы динозавр, и место ваше — в палеонтологическом музее.

---

[6] О. Мандельштам.

В марте 1968 г. в Польше (если судить о ней по прессе [7]) возникла прискорбная, но математически очень красивая ситуация (трагическое вообще красиво; см. любую эстетику). На одной стороне интеллигенция, томимая духовным голодом XX века. На другой — все остальные, для которых шляхтичи, неспособные примириться с хлопским руководством культурой, просто с жиру бесятся. Поражение интеллигентов можно было предсказать: духовные интересы никогда еще не побеждали в таком чистом виде, без смеси с чем-то вполне материальным, без союза с буржуазией, пролетариатом, крестьянством, бюрократией, технократией или кем-нибудь еще. Сами по себе Турбины могут только красиво погибнуть. Но зато в предельной ситуации (которой не дай нам Бог!) есть огромное теоретическое преимущество: видно, что собой представляет интеллигенция в чистом виде, без примесей, интеллигенция сама по себе.

Это часть образованного слоя общества, в которой совершается духовное развитие, в которой рушатся старые ценности и возникают новые, в которой делается очередной шаг от зверя к Богу. И если считать, что процесс гоминизации, очеловечения человечества еще не окончился и что это важнейший процесс истории, то интеллигенция это и есть то, что интеллигенция искала в других — в народе, в пролетариате и т. д.: фермент, движущий историю. Если ему удается вызвать брожение не только в себе.

Один из моих друзей заметил, что этого слоя теперь нет. Что если исчез народ, то интеллигенция тоже исчезла, что человек в обеих своих формах, любимых Монтэнем — и как философ, и как простой мужик — сейчас выводится, растворяется в массе. Однако масса — это только полуфабрикат, аморфное состояние между двумя кристаллическими структурами, между двумя воплощенными системами ценностей. Был век Перикла, потом наступил век отцов церкви, а между ними — римская масса. И нынешняя масса вполне может оструктуриться, если появится стержень, веточка, пусть хрупкая, вокруг которой начнут нарастать кристаллы. Вот эту роль веточки, опущенной в перенасыщенный раствор, я отвожу интеллигентной интеллигенции. Я не говорю, что интеллигенция вся есть эта веточка, этот стержень. Наоборот, нынешняя интеллигентская масса напоминает скорее кучу слизняков. Я просто верю, что она может измениться и потянуть за собой других. Я убежден, что другого выхода нет, что человеческая веточка скорее возродится как полноценный интеллигент, чем как оперный мужик. И масса может заново кристаллизоваться в народ только вокруг новой интеллигенции, создавшей в себе самой новый духовный стержень. Мне кажется, это подтверждает пример Чехии. Достаточно сравнить, чем она была в 1952, в 1956 и чем стала в 1968.

[7] На самом деле, говорят, положение было иным, более сложным.

С этой точки зрения, я охотно принимаю двусмысленность (и даже тресмысленность) слова «интеллигенция», обозначающего то более широкий слой, то более узкий. Какая-то часть работников умственного труда — первый пласт, способный кристаллизоваться вокруг хрупкой веточки «интеллигентной интеллигенции», вокруг тех нескольких десятков или сот людей, которые в самих себе нашли «почву», опору и перестали дрейфовать вместе «со всеми». Ничего другого моя ставка на интеллигенцию не означает. Нынешняя интеллигенция — ничто. Но она может стать всем, охватить своим влиянием все.

Отдельные настоящие люди складываются всюду. Их на каждом шагу можно встретить и среди рабочих, и среди крестьян. Но другого такого прогрессивного *слоя,* как интеллигенция, по-моему, нет. И я обращаюсь к ней не как к носителю сложившихся новых ценностей, а как к топливу, которое легче зажечь. Как к дровам, которые должны хорошенько разгореться, прежде чем начнет пылать каменный уголь.

Пока что в этих дровах слишком много сырых и гнилых поленьев. Пока что интеллигенция глубоко поражена комплексом неполноценности. Духовная незащищенность, отказ от привычных ориентиров во времени и в вечности, опора только на самого себя, на свою собственную глубину — от этого хочется бежать, как от чумы, от холеры, от сифилиса; вселиться в семипудовую купчиху и поверить во все, во что она верит. Добрая половина интеллигенции готова ухватиться за что угодно. Лишь бы был твердый человек, твердый принцип, твердая традиция. Гомункулизм, сталинизм и прочеее — все это частные случаи, отдельные нарывы, а болезнь крови — в неспособности обрести царство Божие, которое *внутри нас.*

Человек, потерявший ориентацию в линяющем мире, только очень редко схватывается за то, что само по себе вечно. Чаще он привязывается к руководству людей, знающих тайну, к церкви или еще какой-либо школе благоговенья и ищет прикосновения к вечности в обточенных веками обрядах. Еще чаще привязываются к примитивам, не порвавшим еще с целостностью жизни — к народам, племенам, животным.

Все это отчасти хорошо. Можно многому научиться у простых, не испорченных высшим образованием людей, у животных, у деревьев, у облаков. У моря — его широте; у деревьев — их осанке, их стремлению к свету. У птиц — их инстинктивной способности отвечать солнцу. У животных — безыскусственности крика и движения. У архаических племен и народностей — внеличной соборной мудрости . . .

Двигаясь по лестнице образованности, мы не только приобретаем (сложность, утонченность), но и теряем (простоту, цельность). Нель-

зя двигаться вперед непрерывно, потому что наше «вперед» условно, горизонтально, в нем нет верха, в нем забывается движение вверх — к абсолютной простоте. И если мы каждый день и ночь не возвращаемся к своему истоку, к абсолютно простому, если мы забываем о нем, то время от времени прогресс сменяется романтической реакцией, и вкус к классически развитому, рассчлененному сменяется вкусом к нерасчлененному, простому, примитивному. Это так же естественно, как движение маятника, и только М. А. Лифшиц способен объявить маятнику войну.

Но... тут есть некоторые «но». Страсть к примитивному имеет и свои патологические формы. Наиболее свободна от них любовь к природе, к животным. Друзья говорили мне, иногда в шутку, иногда всерьез, что собаки или кошки гораздо лучше людей. Но никто из знакомых мне кошатников или кошатниц не орал в марте, как кот, и никто из знакомых собачников не вырывал у соседей кость изо рта. Есть какой-то незримый порог, мешающий человеку встать на четвереньки. Как-то само собой получается, что у деревьев, у собак и кошек учатся тому, что обогащает нашу человечность, а не портит ее. Любовь к народу в этом смысле гораздо опаснее. Никакого порога, мешающего стать на четвереньки, здесь нет.

Тут опять-таки есть «но»: есть примитивизм, расширяющий сердце и примитивизм, сужающий сердце (как, помнится, Гейне говорил о патриотизме, французском и немецком). Вкус к примитивам не опасен, если вы любите всякие, а не только свои примитивы; тогда в самой своей любви к ним вы остаетесь на современном человеческом уровне, вы не проникаетесь чисто примитивной нелюбовью к чужим примитивным (и не примитивным) культурам. К сожалению, самая естественная из страстей, страсть к своему народу, легко становится злокачественной. К ней легко примешивается политический расчет, надежда опереться на толпу (которой вы льстите), чтобы кого-то вытеснить с теплого места. И тогда эта любовь к своему народу, к своей нации, к простым людям без всех этих интеллигентских штучек вызывает у меня тошноту.

Миф о народе был основательно разрушен в «Белой гвардии», в столкновении народа без интеллигенции с интеллигенцией без народа. В этой ситуации интеллигенция осталась симпатичной (Турбины), а о народе сказано: «Гетман мерзавец и Петлюра мерзавец, но Петлюра еще вдобавок погромщик». В «Собачьем сердце», если перевести гротеск на язык социологии, вносится разъяснение: народ хорош, пока он неподвижен, не втянут в историю, остается патриархальным Шариком. Взбаламученный, взбунтовавшийся народ теряет свою душу, становится массой, глиной в руках бесов. «Не приведи Бог увидеть русский бунт, бессмысленный и беспощад-

ный».[8] Рассчитывать на него в борьбе за свободу, прогресс и прочие цели интеллигенции — все равно, что скакать на тигре. Без необходимости лучше не пробовать.

И все же миф о народе пытаются возродить, вероятно по той же причине, по которой югославские партизаны ободряли себя частушкой:

Не боимся ваших авионов:
Нас и русских 200 миллионов!

Чувство единства с миллионами ободряет, как сто грамм перед атакой. Но что потом? Потом интеллигенты, облачившиеся в пролетариат, в народ и прочие сермяги, истребляли интеллигентность в себе и вокруг себя во имя своего фетиша.

Интеллигенция не может пройти мимо политических событий, затрагивающих ее нравственное чувство. Но погрузившись в политику с головой, она теряет себя, становится политической контрэлитой, бюрократией наизнанку.

Происходит это очень просто. Ситуация, рождающая трусов, рождает также героев. Герои, вступившие в спор с деспотизмом, приходят к убеждению, что им-то, в их святой борьбе, все позволено. Поэтому борцы за право сами себя привыкают считать выше права, выше обывательской нравственности. И придя к власти, они легко берут в руки топор палача и продолжают традиции, против которых восстали.

Что менялось? Знаки и возглавья?
Тот же ураган на всех путях.
В комиссарах — дух самодержавья,
Взрывы революции в царях...[9]

Так мы сами, своей пассивностью, своей трусостью, воспитываем сегодняшнего героя, завтрашнего диктатора и палача.

Выход в том, чтобы сдвинуться хоть на шаг ближе к свободе, но всем вместе. Ну, хотя бы начать говорить правду на собраниях. Ну, хотя бы в том случае, если вас прямо спросят, что вы думаете. Ну, хотя бы молчать, если не хватает сил высказать свое мнение, но по крайней мере не лгать.

Если бы мы могли уйти на Авентинскую гору, как плебеи древнего Рима. Если бы у нас хватило характера — отдать все свои лавровые венки, свои степени и звания и быть самими собой. Не подвывать. На это ведь надо так мало характера. Капельку. Чуточку. Немножко способности обходиться честным куском хлеба без икры.

---

[8] Пушкин. «Капитанская дочка».
[9] М. Волошин.

К сожалению, рядовой интеллигент ниже этого. И пока это так, бессмысленно ждать лучшего будущего. Если мы не станем людьми, то кто же ими будет?

Противопоставление неверующей и лишенной традиций интеллигенции народу — русский провинциализм. Народ сохранил, как умел, традиции века Марии и через все века, в которые мы почитали одну Марфу, передал их нам. Это так. Но этого больше нет. Народ больше ничего не хранит. Он и сам себя не сумел сохранить. На реках вавилонских сидим мы и плачем, вспоминая о народе...

Вавилон — не просто большой город. Это город, где смешались языки, где исчезают народы, — исчезают всячески — и как примитивы, и как нации, и как верованья отцов.

Мы живем в век вселенской диаспоры.[10] Правда, в этот же век еврейская диаспора восстановила свое ядро, опрокинув несколько теорий, по которым так не должно было быть. Но в результате диаспора не исчезла. Еврейская нация просто сравнялась с другими нациями диаспоры: армянской, ливанской, татарской, ирландской... Диаспора давно перестала быть чисто еврейской, исключительной чертой, она стала чертой всеобщей. В наш век чуть ли не каждая нация пустила облачко рассеяния. Есть диаспора китайская, в Юго-Восточной Азии; диаспора индийская в Азии и Африке; даже дагомейская — в Западной Африке; и уже были дагомейские погромы.

Давно пора создать новый термин — «антидиаспоризм». Психология китайского погрома в Индонезии, индийского в ЮАР и т. д. мало чем отличается от психологии кишиневского погрома. Замкнутые, слабо диаспоризированные крестьянские народы могут сочувственно относиться друг к другу, но народы закоренелой диаспоры они считают особыми, плохими народами, в целом плохими, хотя возможны отдельные исключения. Иван Денисович уважает эстонцев, но с оттенком неприязни думает о Цезаре Марковиче: не то еврей, не то цыган. Костоглотов хорошо относится к бывшим врагам, немцам и японцам, но встретив неплохого коменданта, высказывает свои впечатления по формуле: хороший человек, хотя и армянин. (Братские чувства «замкнутого» человека к другим народам всегда несколько напоминают ответ армянского радио о пролетарском интернационализме: «Это когда русские и евреи, армяне и татары

---

[10] Диаспора, буквально — рассеяние. Часть народа, живущая в эмиграции. Диаспора особенно чувствуется в мировых центрах. Напротив, малые страны чаще сохраняют патриархальный облик.

вместе идут бить грузин». Грузинское радио соответственно меняет порядок имен).

Как и все предрассудки, и этот предрассудок имеет под собой известные основания. Нации старой, закоренелой диаспоры меньше тяготеют к золотой середине, чем крестьянские нации: разброс добра и зла в них шире. Надо самому быть широким, как Марина Цветаева, чтобы вместить это:

...Вы кровью заплатили нам! Герои!
Предатели! Пророки! Торгаши!

Человек диаспоры либо изворачивается, как угорь, чтобы захватить чужое пространство, либо живет одним духом. Первых, естественно, больше, чем вторых. Иваны Денисовичи добросовестно ошибаются, принимая распространенное зло за норму, а добро — как отклонение от нормы. Так же думает и Русанов; и как частное лицо, и как заведующий отделом кадров. Здесь он вполне искренен и вполне народен... Только интеллигенция за некоторыми исключениями (из которых самое талантливое — Достоевский), имела мужество идти против народа, вместе с Мариной, с Н. Бердяевым («Христианство и антисемитизм») или с Н. Бухариным. При всем несходстве этих трех лиц, они были интеллигентными, т. е. в каком-то смысле сами принадлежали к диаспоре, не испытывали к ней отвращения.

Диаспора — очень широкое явление. Есть диаспора политическая (испанская, польская, русская), диаспора туристическая (влечение к чужому, дальнему) и особая интеллигентская, духовная диаспора. Духовно все современные интеллигенты принадлежат диаспоре. Все, открытыми глазами читающие английские книги, смотрящие японские фильмы. В старину, по Кормчей книге, за это полагалось проклятие.

Мы живем не в одном, а сразу в нескольких духовных мирах. Мы всюду не совсем чужие. Мы всюду не совсем свои. В нашем сознании европейская, суфийская, индийская, китайская мудрость лезут друг на друга, как торосы в Арктике. И один призыв к вере, к традиции, к народу анафематствует другой. Народы не знают дороги из этого хаоса. Они и в старину не знали дороги — их выводили пророки. Откуда же взяться пророкам сейчас? Разве что из нашей собственной духовной нищеты?

Интеллигентность — это, может быть, равновесие духовного богатства и духовной нищеты (первое без второго — книжник и фарисей, по-новому: интеллектуал, сноб; второе без первого — юродивый...).

Интеллигенция не может не сознавать свою незавершенность, свое место на полдороге. Сознавать или хоть смутно чувствовать. Если открытости нет, если есть закрытость, замкнутость на какой-то идее, догме — интеллигентность начинает исчезать, выветриваться. В конце концов все реки идейности текут в болото мещанства: одни — прямо и просто, другие — после порогов, водопадов, подвижничества и донкихотства. Идея, перестав быть рабочей гипотезой, становится кумиром, идолом. И человек приносится в жертву этому идолу.

Безродность, вырванность из племенной, народной традиции — непременная черта интеллигентов. Интеллигенция, как особый слой, в котором собственно интеллигентно маленькое ядро, образуется именно в обществе, утратившем народные ценности. В России — после Петра, в странах Азии — на наших глазах.

Вися в воздухе, часть интеллигенции ищет опоры в каких-то символах народности (романтики, славянофилы, негритюд). Но что стоит за этими символами после сталинской коллективизации, оставившей от народа только рожки да ножки? Что можно поставить за этими символами в Америке?

Есть счастливые исключения среди малых стран. Там процесс урбанизации шел иначе. Там сохранилась сплоченность, связывающая вместе все слои. Там нация — единый организм; там интеллигенты больше просвещали массы, чем возбуждали в них воинственность. Там символы национального единства не так легко становятся символами травли других, послабее. Там все иначе. Там народ — реальность, и бывают чудеса, когда весь народ действует, как один человек, против всемогущих тоталитарных машин.

К сожалению, в большинстве случаев народничество подыгрывает агрессивному национализму. Пример Германии достаточно свеж. Пример арабов перед глазами. Нужно ли нам дать человечеству еще один урок?

Уже негодня русская почвенная идея, не успев завоевать признания, вульгаризировалась, опошлилась. Пряничный национализм дает Солоухину и Глазунову, Кожанову и Палиевскому удобную позицию, с которой можно уклоняться от нравственного выбора, сохраняя обманчивую осанку порядочного человека, и делать независимые жесты без риска неприятностей. Ибо кому следует ясно, что это всего лишь неофициальная разведка очередного официального погрома.

Однако нация, стоящая в центре большой системы, не может удерживать этого места с помощью кокошников и сарафанов. Тут нужна идея, способная вызвать отклик во всяком сердце. Напротив, забота о кокошниках и сарафанах в центре вызывает аналогичные заботы на местах, и центробежные силы могут оказаться поболь-

ше центростремительных. Избрав удел духовной провинции, Россия становится на путь, ведущий и к политическому захолустью. Это тот путь, который прошла Испания в XVII-XVIII веках, и он широко открыт перед нами.

У сверхдержав прогрессивной национальной задачи нет. Идея их может быть только вселенской, космополитической. Интеллигенция здесь не имеет права на патриотизм. Она может опираться только на международную солидарность ученых, писателей, всех людей доброй воли (американцев, японцев, русских) через головы националистического мещанства.

Наше время часть людей превратило в людей как все, со своими почтовыми марками; но зато миллионы интеллигентов стали чем-то вроде неизраильских евреев, «людьми воздуха», потерявшими все корни в обыденном бытии.

Запутанность, заброшенность, тревога, страх, забота — весь этот быт человека гетто стал называться экзистенциализмом и переведен на все языки вместе с Францем Кафкой (Макс Брод считал его писателем специфически еврейским, но никто с ним не согласен). Теперь мы все равны в праве на страх, теперь каждый мыслящий человек сознает возможность термоядерного погрома, и остается только всем вместе выпутываться из этой общей для всех погромной ситуации.

К несчастью, сверхдержавам, которым Бог дал силы вязать и решать, он не дал разума. Интеллигенция здесь бессильна. Политика здесь в плену у машины всемирного господства, у идеи престижа. Единственная заслуга сверхдержав — то, что они уравновешивают друг друга. Самое лучшее, что они могут сделать на мировой арене — это ничего не делать. Их активность становится отвратительной, их попытки спасать человечество толкают его к гибели. Только некоторые малые страны сохранили возможность коллективной доброй воли, сдвига к чему-то лучшему, к выходу из всемирно-исторического тупика, в который мы зашли. Надо по крайней мере не мешать им . . .

В этих условиях интеллигенция сверхдержав может консолидироваться только как меньшинство, наподобие индейцев в Южной Африке. [11] Судьба интеллигенции глубоко схожа с судьбой действительных национальных меньшинств, и выход, который я вижу, — в блоке интеллигенции больших стран с народами малых.

В сем христианнейшем из миров
Поэты — жиды!

(М. Цветаева).

---

[11] Ганди начал свою борьбу в Африке и потом уже перенес методы ненасильственного сопротивления в Индию.

Интеллигент может пытаться ассимилироваться в массе, но масса никогда не признает его за своего и при первой возможности вытолкнет, — так, как были вытолкнуты организаторы РСДРП. Только сплотившись «вокруг самой себя», интеллигенция может чего-то добиться, и для себя самой, и для всех. В конечном счете, интеллигенция должна выйти за свои рамки, захватить, просветить массы. Но прежде чем посолить, надо стать солью. Прежде чем просвещать, надо стать светом, перестать быть человеком массы, перестать быть частицей тьмы.

Может ли меньшинство чего-то добиться? Не есть ли тактика заведомого меньшинства — тактика отчаяния? Не есть ли это крик одиночки, бессильного что-либо изменить?

. . . Отказываюсь жить
В бедламе нелюдей.
Отказываюсь выть
С волками площадей!

(М. Цветаева. Из стихов о Чехии).

Я думаю, что все великое началось с меньшинства и даже более того — с одиночки, отказавшегося выть.

На этого одиночку я и надеюсь. Я нахожу какие-то огоньки надежды то там, то сям. Мне кажется, что путешествие всемирной литературы на край ночи подходит к концу. На запретной полосе, перепаханной модерном, едва-едва поднялось несколько ростков жизни: «Маленький принц» Сент-Экзюпери, некоторые герои Сэлинджера. Принц попробовал жить на старой земле и не сумел. Но через несколько лет появились братья и сестры Гласс.[12] Первый, Сеймур, не выдержал, а остальные живут. Живут без всяких народных корней. Даже без надежд схватиться за народ как источник мудрости. Если они чувствуют потребность в примере, то прямо обращаются к Христу. И если Сэлинджер думает о своем читателе, то вместо туманного обращения к народу, просто говорит: *надо* писать так, чтобы тебя прочитало как можно больше старых библиотекарш. И рядом с новыми, замодернистскими, сэлинджеровскими мальчиками действительно оказываются лучшие старые люди, домодернистские, простые люди, — те, которые не приняли причастия буйвола, остались верными Агнцу. Сэлинджер и Белль стоят в сегодняшнем мире где-то рядом.

Вторая новая черта: чувство открытости, прозрачности к другим культурам. Это опять-таки очень бросается в глаза у Сэлинджера. Для его героев Индия и Китай — такие же близкие родственники, как для русского — Украина. Христианство Сэлинджера

---

[12] Из рассказов и повестей Д. Сэлинджера. См «Фрэнни и Зуи», «Выше стропила, плотники» и др.

действительно кафоличное, вселенское. Оно не мыслимо без прозрачности для всех других вселенских религий, выросших на другой почве. Оно отыскивает себя заново в Упанишадах, в дзэнских парадоксах, отталкивается от них и возвращается к себе, так же, как Мандельштам (и без того человек двойной национальности) тянется еще к немецкой и итальянской речи и находит в них новое богатство своей родной; как Рильке, в конце своей жизни, вдруг почувствовал исчерпанность немецкой речи и перешел на французский язык, и наполовину по-русски писал свою предсмертную записку.

Мне чудится в этих попытках что-то пророческое. Это, может быть, первые люди новых, проникающих друг в друга, незамкнутых общностей, общностей из башки Майтрейи (в которой каждая душа отражалась во всех других, и невозможно было непонимание).

Христос проповедовал рыбакам и блудницам. Но он никогда не проповедовал массам. Массы тогда, как и сейчас, предпочитали Варраву.

Он проповедовал людям, когда они не были массой, а от массы бежал «страха ради иудейска». Проповедовал избранным группам избранного народа, чтобы они стали ядром нового Адама, и потом, когда-нибудь, это ядро обросло плотью. Не в массовом, а в интимном общении, длящемся веками.

Потом, когда новый культ, выросший из проповеди апостолов, покорил заброшенных римских горожан, когда Константин навязал новую веру поганым («деревенщине»),[13] народы не в силах были вместить ее, и перекроили на свой лад, даже не ветхозаветный, а дозаветный лад. Народ никогда не был новозаветным. Когда явится новозаветный народ, наступит тысячелетнее царство праведных. Пока это немыслимо. Народы не в силах вместить ни космополитизм Нового Завета, ни его духовной глубины.

Не поняв царствия божия, которое внутри нас, и перестав верить в царствие божие на небе, народы разных стран, за последние века, если и верили во что-то, то разве только в лучшее будущее. Но в наш век и эта вера поколебалась. Сама идея лучшего будущего, помимо вероятности ее осуществления, встретила возражения и нападки. Будущее будет, нет ли, — говорят современные Иваны Карамазовы, — а настоящее слишком часто приносится ему в жертву. И стоит ли эта гармония сегодняшних, настоящих слез?

---

[13] Paganus — первоначально деревенщина, потом языческий (отсюда пропаганда).

Падая с неба, или с сияющих вершин, люди схватились за народность, — и попали в плен к ней. Будет ли, нет ли царствие небесное, или светлое будущее, но мысль о нем давала точку, с которой можно было взглянуть на свой народ, как с горы, и сказать: есть две нации в каждой нации. Есть Герцен — и есть Пуришкевич . . .[14] А с позиции народности все кошки серы.

У старых славянофилов была мерка, которой можно было мерить Россию, был Бог. У новых почвенников ничего нет, кроме любви к своим собственным детям больше, чем к чужим. Что же делать, если свое — скверное?

Бороться с отечественными пороками, стоя целиком на отечественной почве, так же просто, как вытащить себя из болота. Это задача для барона Мюнхгаузена и В. Солоухина. Или самоутешение для мещанина, который, в сущности, своими пороками совершенно доволен и никуда из своей миргородской лужи не хочет.

Миф о подлинном национальном характере, который надо только освободить от наносных черт, очень удобен для рассуждений, но при ближайшем подходе к предмету рассыпается. То, что наносилось семьсот лет, давно стало своим. Освобождаться надо от своей собственной, а не чужой мерзости. Второе вообще слишком легкое дело.

Единого национального характера нет, есть сложная структура, которую можно членить на несколько пар типов, черт. Есть русские черты, идущие от богатырских эпох или сторон русской истории — широта, удаль, беззаботность (я включаю сюда и беззаботность, хотя от нее было и будет много несчастий: в ней есть что-то для меня глубоко привлекательное). И есть русское холуйство, русское хамство. Есть черты, складывающиеся в церкви (женская кротость и всепрощение), и черты, складывающиеся на конюшне. Как все это соберется вместе?

У Достоевского в «Дневнике писателя» пересказывается газетная заметка о мужике, привыкшем засовывать голову своей безответной жены под половицу и сечь ее вожжами. Ни за что, так просто, чтобы себя показать, чтобы доказать, что он власть (со смутным сознанием, что без власти он ничто). Пока она не повесилась. С одной стороны — мужик Марей, а с другой — мужик-палач, мужик-погромщик. «Широк, слишком широк русский человек. Надо бы сузить» (Достоевский).

Один из лидеров сионизма, Жаботинский, в начале XX века произнес знаменитые слова: «Каждый народ вправе иметь своих мерзавцев». Как будто так оно и есть. Как будто бы верно: ни один народ от этого права никогда не отказывался. Но в старину пользова-

[14] См. В. И. Ленин. О национальной гордости великороссов.

лись своим правом как-то втихую, не провозглашая его как девиз, как принцип. Только потеряв веру в Бога и прогресс, можно было дойти до идеи *права* на мерзость. Это и есть идея национализма XX века.

Меня охватывает недоумение: а есть ли оно, это право? Может быть, это только привычка и пора ее несколько поурезать? [15] Особенно в наш атомный век, при чрезвычайном росте средств делать всенародные, всемирные мерзости? И если народа без прав на своих мерзавцев невозможно представить, то тогда — тем хуже для народов? И народ, обладающий атомной бомбой, это немыслимое сочетание терминов? И если нельзя отказаться от открытий, сделанных физикой XX века, то надо вылезать из старой народной шкуры?

И еще некоторые особые, местные вопросы приходят мне на ум. Англичане пишут курсивом слово «*интеллигенция*». Оно пришло для них из России, из русской культуры. И каждый раз, когда я встречаю эту «интеллигенсиа», я испытываю какое-то чувство наивной радости. Но есть еще одно литературное заимствование, тоже очень давнее: «погром». Последнее время оно довольно часто мелькает: «погром ибо в Нигерии», «дагомейский погром в Конго» ... И каждый раз меня охватывает дрожь стыда. А вам не стыдно, судари и сударыни? Вы думаете, что Россия может «взлететь белой лебедью», не возненавидев собственной скверны?

Невольно вспоминаю славянофила Хомякова:

В судах полна неправды черной,
И игом рабства клеймена,
Постыдной лести, лжи тлетворной,
И лени мертвой и позорной
И всякой мерзости полна.

Это старые стихи. И вы можете забыть их. Без них лучше спится. Только до тех пор, пока вы так думаете, пока вам снится, что вы летите, помахивая белыми крыльями, Россия по-прежнему будет ворочаться в канаве. Чтобы *в самом деле* подняться, надо *возненавидеть собственную скверну*. И полюбить что-нибудь получше: Бога, Идею ... Тогда народ действительно взлетает, и следами его остаются такие слова, как «осанна», «аминь», «София», — или, в атеистические времена: «интеллигенция», «прогресс», — а не «погром» и «... твою мать».

---

[15] Обошлись же чехи, в августе 1968 г., почти совсем без мерзавцев. Может быть, это и есть норма?

Из двух великих народов древности, заложивших основы нашей культуры, один осудил Сократа (за безнравственность), другой распял Христа... Как это получилось? Может быть потому, что оборотная сторона каждого народа — масса? И глас народа — глас Божий, а голос массы — голос осла?.. Какой пророк был доволен своим народом? Какой пророк не бичевал его? Не говорит ли довольство своим народом о глубоком духовном упадке, об утрате самого томления по духовной глубине? И если не будет этого томления, этого импульса, вытолкнувшего когда-то из древних евреев, от пророка к пророку — «учителя справедливости» кумранских отшельников, Иоанна Предтечу, Христа — что вам останется, кроме как сталкиваться лбами с другими народами, пока все, как бараны Панурга, не свалятся и не разобьются?

Подумайте над тем, что вы прочли. И прежде чем осуждать меня, поймите. То, что у нас обычно называют народом — совсем не народ, а мещанство. Это мещанство хочет, чтобы его принимали за народ, оно хочет называть себя народом, подчинить себе интеллигенцию, заставить ее относиться к себе, как к норме и образцу. Действительные поиски народности (африканской, океанической, примитивной) это мещанство не понимает и гонит. Действительную духовную традицию народов, в лучших ее порывах, это мещанство не понимает, не знает. Наследники этой традиции — мы, мы сами, и нам самим надо искать дорогу, не оглядываясь на большинство. Когда Орфей оглянулся, он второй раз потерял Эвридику... Потому даже с величайшей, глубочайшей точки зрения, на которую иногда становятся народники, нельзя проклинать бич Божий, истребляющий народы. Народы должны преобразиться. Ветхий Адам должен умереть, чтобы родился новый.

Пицунда.
Сентябрь 1967—октябрь 1968.

Н. ОТРАДИН

О национальных задачах и общественном идеале

ЗАМЕТКИ ПУБЛИЦИСТА

Разговор этот был давно, еще при Хрущеве, но мог бы состояться и в самое последнее время. В Москве, в небольшом обществе, довольно крупный западный делец, когда-то русский, не верящий в глобальные замыслы коммунизма, спросил видного работника Министерства иностранных дел о Германии. Почему советское правительство упорно препятствует ее объединению, — ведь не надеются же в Кремле, что нынешнее положение в центре Европы может длиться бесконечно? И почему бы не устранить этот источник опасного напряжения, тем более что западные страны, союзники по прошлой войне, охотно дадут надежные гарантии того, что объединенная Германия угрозы для России больше представлять не будет?

Чиновник внешних дел, бывший в благодушном настроении, ответил небольшой, но поучительной лекцией. Германия веками жила разделенной на ряд лоскутных государств, объединилась она всего около ста лет назад, — почему же она снова не может быть разделенной? Это заблуждение, иллюзия, созданная привычкой к определенному роду мышления, что ей необходимо соединить свои две части и что иначе она существовать не может, — отлично может. Если же допустить объединение — жди усиления никогда не исчезающего в ней до конца «дранг нах остен», а при нынешнем положении вещей она почти безопасна. Гарантии западных держав? Но история учит, что не всегда можно на них полагаться; в критические моменты договорные гарантии и обязательства легко превращаются в «клочки бумаги». Да и с кем их заключать, с прави-

тельствами, зависящими от сомнительной игры в парламентах множества подставных фигур, прикрывающих закулисную борьбу групповых интересов и частных амбиций? И при том неизменном условии, что Запад по отношению к России всегда был настроен если не враждебно, то по крайней мере недоброжелательно? Западные правительства — «калифы на час» и решающим по-прежнему остается реальное соотношение сил. Безопасность западных границ нашей сферы сейчас обеспечена, это позволяет нам успешнее работать в других областях, направлениях, и не видно никаких веских причин, которые понуждали бы нас от этих условий отказываться.

Не только эта «лекция», но и другие источники говорят, что большинство советских правительственных чиновников обладает примерно такими же взглядами. Эти взгляды нынешних Володиных, — помните дипломата из солженицынского «В круге первом»? — можно критиковать, но сейчас нас интересует не это. Подобные высказывания позволяют судить о побудительных мотивах деятельности довольно многочисленного слоя высших советских аппаратчиков, из которых только немногие принадлежат к узкому кругу стоящей над ними правящей партийной элиты. И прежде всего о двух главных: эти аппаратчики чувствуют себя участниками «большой политики», того важнее, активными участниками грандиозного процесса преобразования, идущего в мире, не последними рычагами машины, перекраивающей жизнь народов земли. Они — делают историю, принадлежат к ее творцам. И второй мотив: они считают, что служат родине, несмотря на подчинение ее коммунистической идеологии и необходимость выполнения вытекающих из нее заданий. Эта идеология для них — как бы лишь форма, обязательное пока облачение, нередко тягостное и досадное, а не сознательно принятая государственная доктрина, служение которой может быть целиком добровольным.

Насколько эти мотивы так сказать подлинны, отвечают искренним убеждениям и чувствам аппаратчиков, и насколько они навязаны и сформированы долголетним принуждением, давлением страха, пропаганды и других слагаемых советской действительности, определить, разумеется, нельзя. Но достаточно и констатации, чем довольствуются большей частью и сами аппаратчики, уже потому, что в условиях той же действительности основательное обсуждение этой темы для них исключается. Многие вероятно даже сознательно избегают размышлений на этот счет, из боязни саморазоблачения, в своих же собственных глазах, из опасения прийти к выводам не только отрицательным, но и отдающим какой-то скверной фантасмагорией, чертовщиной. В самом деле, не верить в идеи коммунизма, в их оправданность, осуществимость, и все-таки служить им, как если бы верил, — это ведь и есть служба призраку, фан-

тому. Что же тогда останется от чувства причастности к творению истории, — какой в таком случае истории? Нет, лучше не думать, чтобы не увеличивать раздвоение, хаос чувств — и довольствоваться хотя бы видимостью, подобием убеждения, что служишь родине. Тут и открывается широкое поле для самообмана и обмана со стороны правящей элиты.

Если бы советская правительственная машина, ее аппарат, действительно служили интересам родины, это означало бы, что они, плохо ли, хорошо ли, выполняют национальные задачи содружества народов, занимающих огромное пространство от Польши и Румынии до Тихого океана, которое мы называем Россией, а КПСС и многие представители этих народов туманным и не отвечающим положению вещей словосочетанием: «Союз Советских Социалистических Республик». Но не в названии в данном случае дело. Дело в том, что если советское правительство выполняет национальные задачи страны, то места для принципиальных несогласий не остается: тогда все свелось бы к различного характера и силы разногласиям, более или менее обычным в любой стране. Тогда уничтожился бы и смысл существования нашей эмиграции. Но достаточно поставить так вопрос, как обнаружится вся его нелепость, — ибо дело именно в принципиальном противостоянии, а не в частностях. Дело в том, что советское правительство — лишь инструмент политики партии, осуществляющей свои задачи, для которых национальные задачи страны имеют значение лишь в той мере, в какой они могут, — или не могут, — служить требованиям партии, ее власти, ее диктатуре.

Так было с самого начала воцарения ленинской диктатуры и устройства ею ширмы в виде «советской власти», которая никогда *советской* не была. За 50 лет менялись оттенки, ударения, но первоначальной сути они не меняли и изменить не могли. И с самого же начала возникло раздвоение, основное противоречие, от которого партия не может освободиться: противоречие между ее интересами, ее политикой, и интересами страны, политику которой должно было бы осуществлять именно советское правительство, выполняющее роль простого проводника политики партии. Это противоречие, в свою очередь, базируется на другом, для партии неизбежном: на противоречии между догмой «пролетарского интернационализма» и неустранимыми национальными нуждами, требованиями, интересами.

Догма «пролетарского интернационализма» обанкротилась в сущности сразу же после «победоносного Октября»: на Западе он поддержан не был, с немцами пришлось заключать «похабный мир», а в ходе и после гражданской войны собирать разваленную «Октябрем» империю прежними империалистическими методами. Империалистическим был и разбойный наскок на получившую неза-

висимость Польшу, в другом виде повторенный потом в союзе с Гитлером.

Образование после второй мировой войны стран «народных демократий» диктовалось теми же коммунистическими задачами, включая и догму «пролетарского интернационализма», однако созданы они были опять-таки империалистическими методами, а не мифическими пролетарскими. Сталин создал типичную империю, под флагом коммунизма, — его искусственное создание стало перерождаться и разваливаться сразу же после его смерти и теперь сохраняется в первую очередь из-за страха военных репрессий.

В виде «помощи освободительной борьбе народов» партия, за счет «базы», то есть главным образом России, тратит миллиарды, помогая коммунистам и разного рода своим попутчикам и союзникам действовать в интересах КПСС, ради, по ее мнению, «торжества коммунизма». Везде, где можно, она старается занимать место вытесняемых из бывших колониальных стран западных империй, переставших быть ими, тратя неисчислимые средства на постройку и содержание огромного военно-морского флота и сооружение портов и баз не только в Средиземном море, но и в Индийском океане, на Дальнем Востоке и в других местах.

В этой планетарного размаха деятельности, способной поражать воображение многих людей, знаменательно то, что она ведется не какими-либо новыми, изобретенными коммунистами в соответствии со своей верой, своей идеологией методами и средствами, а трижды скомпрометированными типично империалистическими. Старые империи вытесняются новыми, империями коммунизма — СССР, Китай, — уже теперь соперничающими между собой. Иначе говоря, если отбросить ветошь пропагандного облачения и некоторые особенности организации, обнаруживается, что будто бы самая революционная и прогрессивная партия, вооруженная такой же марксистско-ленинской идеологией, не смогла изобрести ничего действительно нового для продвижения к своему и ограниченному, в пределах одной или нескольких стран, и к полному, всемирному торжеству. Это еще раз показывает ее духовную несостоятельность, неспособность к созданию новых форм, новых ценностей. И если давно признано, что коммунизм может расширяться и укрепляться лишь за счет ошибок и попустительства противостоящих ему сил, то надо признать и другое: его политическое и социальное «строительство» сводится к нагромождению эрзацев, то есть форм, в несколько измененном виде повторяющих формы, существовавшие и до него. Вожди коммунизма могут пользоваться только бывшим до них, которое они обычно раздувают до уродливых, гротескных масштабов, — в результате формы эти, тем более в изменившихся

условиях, оказываются малопригодными или даже вообще непригодными для эффективной современной деятельности.

Надо добавить, что попытки расценивать коммунистическую активность как продолжение «русского империализма» или применения присущих якобы «вечно» России методов, тоже несостоятельны. Политика дореволюционной России принципиально не отличалась от политики других европейских стран, сходными были и применявшиеся ею методы, зависевшие главным образом от условий и требований времени. Над допетровской Русью довлели задачи прежде всего обороны от наседавших на нее с трех сторон врагов, освобождение от монгольской зависимости, собирание и укрепление Руси; в послепетровское время Россия, выйдя на Черное море и прогнав с его северных берегов степняков и турок, веками досаждавших ей, целиком вошла в «концерт» европейских держав. И империализм ее не был каким-то особым: как и у других стран, он был ограничен национальными задачами и влечениями и выше их целей себе не ставил. Так, Россия никогда не стремилась к господству над всем миром, а во внутренней политике никогда не подчиняла все свои действия какой-либо незыблемой, стоящей над жизнью страны, идеологии. Этого не дано верховным жрецам марксистско-ленинского идолопоклонства, обязанным тотально подчинять своим идолам все силы и помыслы огромной страны.

Размышляя о судьбах России, вновь и вновь приходится хотя бы бегло просматривать историю либо те или иные черты царящего в ней уже больше полвека режима, повторяясь и обращая внимание на широко известные факты. Однако последнее не совсем верно. И это подтверждает довольно обширная теперь неофициальная литература, распространяемая «самиздатом».

«Самиздат» — знаменательное и значительное явление в современной жизни России. После позорной травли Пастернака, затем Синявского, Даниэля и других представителей интеллигенции, настроения и мысли, вызванные смертью Сталина и его разоблачением, казалось, должны были снова скрыться на дне приведенных к молчанию отупевших душ. Но этого не случилось, нашлись и не отупевшие души — и 60-е годы стали годами постепенного возрождения общественной мысли, о чем и говорят нелегальные выпуски «самиздата», содержащие отдельные статьи или «хронику текущих событий», — материалы, которые в руководимой партией печати появиться не могут. Эти выпуски с исключающей сомнения достоверностью свидетельствуют о возникновении именно независимой общественной мысли, о независимом обсуждении судеб страны.

Факт этот и в нашей, эмигрантской, и в иностранной печати вызвал предположения, что «самиздат» в какой-то степени, или даже полностью, контролируется властью, ее «органами безопасности». Полувековой опыт подсказывает, что такую возможность категорически отрицать нельзя, хотя известно, что и самый неопровержимый опыт способен подводить. Но дело даже не в этом. Нынешнее положение в России отличается особой сложностью, сталинской прямолинейности в ней не так-то много, хотя бы она и была желательна диктатуре, которой приходится лавировать, применять разные, не только привычные ей, средства удержания в руках полноты власти. С помощью своих «наблюдателей» власть, влияя на некоторые самиздатовские выпуски, может стараться как-то дезинформировать общественные круги внутри страны и за границей, пытаясь увлечь их внимание на ложные пути, — вместе с тем самиздатовская литература может считаться властью и необходимым в нынешних условиях предохранительным клапаном, подобием отдушины, уничтожение которой ухудшило бы положение правящих, почему они и смотрят на «самиздат» сквозь пальцы. Так или иначе, материалы «самиздата» несомненно показывают настроения в обществе и работу мысли отдельных его представителей и групп.

Среди самиздатовских выпусков есть и материалы программного характера, — они-то и обнаруживают недостаточную осведомленность или продуманность истории коммунистического режима и отдельных его черт. Это относится в частности к материалам лиц и групп, занятых поисками некоего идеального марксизма-ленинизма, «подлинного», или «истинного», — но существует ли такой в природе? Какая-то сумма отдельных положений марксизма, предположительно выдержавших проверку истории, лихорадочно приспособленная Лениным для своей партии, при всех условиях неизбежно несет на себе печать своего времени — и неизбежно требует пересмотра, ревизии, хотя бы это слово, ревизия, и страшились произносить. А эта работа, в отношении «базы», марксизма, давно и основательно проделана австрийскими и немецкими социал-демократами и вряд ли к их трудам можно и стоит что-либо добавлять. Но на социал-демократах, особенно западных, висит ленинское проклятие: Ленин, готовый испепелить каждого несогласного с ним, обозвал их когда-то «социал-предателями» — и нетерпимый дух его проклятия остается еще действенным для продолжающих почитать это воплощение зла, партикулярным пиджачком и пролетарской кепкой замаскированное под невзрачного мещанина, одолеваемого манией величия.

Попытки найти и утвердить некий очищенный от скверны, идеальный марксизм-ленинизм явно окрашены в утопический тон, они

грешат одним из самых опасных в социально-политической практике грехом: грехом утопизма. Утопизм — наша давняя болезнь, порожденная стремлением к крайностям, к идеальному состоянию и нежеланием добиваться «золотой середины», довольствоваться ею, — под прикрытием этого стремления утописты-материалисты причинили на нашем веку России неисчислимый вред. Грех утопизма был одной из прямых причин этого вреда, неописуемых полувековых страданий, что само собой должно предостерегать от попыток снова предаваться ему.

Не свободны от утопической окраски и программные работы либерально-демократических групп. Они сильны прежде всего отталкиванием от насилия со стороны тоталитарного государства и в них, как правило, более полна часть, ограждающая права личности, неотъемлемые права человека. Но и эта часть нередко напоминает программы наших политических партий полувековой и больше давности — как будто после того не было такого ужасного и не могущего пройти бесследно опыта, еще раз доказывающего, что самые прекрасные намерения, записанные в программах и даже конституциях, могут оказаться бессильными оградить людей от тирании и произвола со стороны тех, кто захватил в руки дубинку власти.

Так, в программных документах редко встречаются упоминания о внешнеполитических задачах, а если они и есть, то ограничены общими и туманными выражениями. Это, кстати, тоже было характерно и для дореволюционных партий, внимание которых обращалось прежде всего на внутреннюю политику, не считая разве большевиков с их мифом «пролетарского интернационализма» и ставкой на «мировую революцию». Между тем важность определения внешнеполитических задач вытекает уже из того, что жесточайшее сталинское угнетение и кровопролитие объяснялось властью в первую очередь обманным тезисом о «капиталистическом окружении», что якобы оправдывало и внешнюю политику Сталина, в действительности подчиненную задаче продвижения именно к «мировой революции».

Наши левые политические партии, до революции, редко обладали тщательно разработанными программами, они довольствовались обычно политическими «платформами» или программными установками. Но они жили не программами, а скорее своего рода стойким миражем, давно усвоенным навязчивым представлением, оказавшимся чистейшей фантазией: стоит только свалить царя, покончить с монархией — остальное приложится. Наступит чуть ли не благорастворение воздухов. Чем объяснялось это странное заблуждение? Может быть, сравнительной простотой жизни полвека, сто и больше лет тому назад, когда легко было делать самые головокружительные прогнозы — и легко верить в них? Или тем, что

хотя ее и нещадно поносили, жизнь «при царе», в государстве многовековой монархии, была такой устоявшейся, крепкой и в конце концов обеспеченной, что и революционерам она могла тогда казаться как бы неизменяемой, внутреннюю добротность которой никакая революция не сможет поколебать?

Как бы там ни было, несомненно одно: подобных ощущений нам не дано, слишком тяжел был опыт. Он, говорят, ничему не учит, — но если и не учит, в истории, то нас обязывает. Предсказания, на многие десятилетия, делать теперь не приходится; с другой стороны, нет у нас и устоявшегося, крепкого государства: государство коммунистического режима прочно лишь своим насилием, — значит, прочность его всегда сомнительна.

Вместе с тем программное творчество необходимо, может быть, теперь оно даже необходимее, чем полвека и сто лет тому назад. Но оно, само собой разумеется, теперь не может основываться на предпосылках полувековой или вековой давности, во многом, слишком во многом не совпадающих с нынешним положением. И одно из таких несовпадений — это взгляд на государство и его задачи.

У дореволюционных партий, опять-таки, тут все обстояло более или менее просто: знаменитая тоже своего рода «трехххвостка», разделение властей: законодательная, исполнительная, судебная; у большевиков-коммунистов государство вообще «отмирало», у других считалось «слугой народа», — на деле оказалось наоборот. И возможно в большой мере потому, что преобладал в сущности потребительский взгляд на государство: оно если не «ночной сторож», как в теориях классического либерализма, то даже больше — оно должно тебя всячески охранять и опекать, почти ничего не требуя взамен. Но теперь и на Западе государство вынуждено налагать на своих граждан большие и обременительные обязанности.

Для изоляционизма давно уже нет места; уже давно никто, ни один сколько-нибудь большой народ не может жить замкнуто, ведя «натуральное хозяйство», не считаясь с другими народами и не имея с ними тесных связей. И тем более не могут жить замкнуто великие державы, — уже потому, что они именно велики и, следовательно, всегда будут «расплескивать», излучать из себя энергию, не поглощаемую полностью лишь внутренними делами и не удовлетворяющуюся одними ими. В прежние времена эта, не всегда обязательно избыточная, энергия питала внешнюю экспансию, она открывала — и покоряла, присоединяла — новые земли, неизвестные народы, создавала империи, навязывала свою власть, свои законы. Но теперь неоткрытых земель и народов нет, за всеми признано право на независимое существование, — куда будет направляться избыток энергии великих держав теперь?

Однако у них, тоже потому, что они велики, больше и обязанностей: с них больше спрос. Новому программному творчеству в России и предстоит уделить вопросам о внешнеполитических задачах, исходя из соображений именно об особых обязанностях и ответственности, внимания не меньше, чем вопросам обеспечения прав человека, — последние могут оказаться опять не обеспеченными, если, как в ленинско-сталинское и последующее время, силы народа будут тратиться на бессмысленные и вредные для всех народов утопические внешнеполитические замыслы.

Может показаться, что обжегшись на молоке, мы дуем на воду, излишне усложняя вопрос. Но программное творчество сейчас действительно необычайно сложно, уже из-за потери веры в универсальные ведущие идеи и необходимости продвигаться ощупью, без освещающего дорогу их огня. Так, программное творчество устремлено в будущее — и в этом устремлении в него почти неизбежно вторгается утопическая окраска, тон, зовущий вперед, к задачам, может быть превышающим наши возможности, но кажущимся наиболее привлекательными. Где кончается оправданность утопии, ее, возможно, спасительной магии, и где начинается ее губительное зло? Есть ли граница, отделяющая соблазн бессодержательной утопической мечты от законной веры, от благодетельной надежды, без которых никакое дело сдвинуть с места нельзя? Как, например, избежать, чтобы настоящее целиком приносилось в жертву будущему и, как у коммунистов, оправдывалось лишь будущим, если настоящего не только без прошлого, но и без будущего не может быть? Если потребность в нас трудиться не ради лишь нынешних насущных нужд, но и ради будущего неуничтожима? Опять-таки, где граница? И какой интуицией, каким шестым чувством надо ее определять?

Главные вехи, выработанные тысячелетиями, составляющие наш моральный кодекс, мы все-таки имеем, как ни старались их поколебать, свалить и уничтожить бесчисленные уничтожители. Они остаются и останутся неизменяемой душой социального бытия, несмотря на полеты на луну и любые иные головокружительные научные и технические достижения. Но окончательная проверка принадлежит истории, времени, — времени, в которое снова могут литься ненужные потоки слез и крови. Предвидеть однако заранее, с какой-либо достаточной долей точности, ничего нельзя и никакая футурология ничего достоверного нам не скажет, как не даст ответ и никакой чудодейственный компютер. Все разрешимо лишь в каких-то пределах, до какой-то степени, которую мы не знаем. Но все равно программы нужны и работать над ними абсолютно необходимо, соединяя предельную осторожность с такой же смелостью, без которой ни один город не может быть взят. А что без одоления это-

го «города» не обойтись, сомнений не может быть: работа над программами нужна для определения координат, для более глубокого осознания сложной обстановки, без чего невозможно распознать пути и задачи нации, а с ними и увидеть контуры современного наиболее реального общественного идеала.

Отрадно то, что работа эта представляется теперь вполне выполнимой, о чем говорит нам литература «самиздата», особенно в последнее время. Она показывает, что среди нынешней советской интеллигенции появляются все новые и новые лица, обладающие необходимым знанием и главное тем, без чего знание не помогает: как говорили в старину, «святым беспокойством» за общие дела, общую судьбу, чувством ответственности за них, живой совестью, отсутствие которых любую общественную деятельность переводит на холостой ход. Фомы неверные могут быть посрамлены: сколько бы ни говорилось об атомизации общества и в современной России, о безнадежном будто бы его затоплении там потоком мелкого делячества, цинизма, приспособленчества, в нем снова выходят на поверхность подлинно общественные деятели и, вооруженные лишь верой и словом, бесстрашно противостоят насилию и кривде. Безвестно погибли за полвека миллионы мучеников, многие безвестно погибают и сейчас, но есть теперь и мученики за идею, правду, свободу, которых знают, слышат, видят, — в их лице Россия, под прессом четырех букв, снова являет лучшее, что в ней было и есть. И хотя радоваться еще слишком рано, мы видим, что труднейшая работа по определению современного общественного идеала и национальных задач ее интеллигенции по плечу.

Наиболее убедительно говорит об этом работа академика А. Сахарова «Размышления о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе», появившаяся летом 1968 года, дополненная в марте нынешнего года письмом ее автора и ученых В. Турчина и Р. Медведева, а также и отклики на эти документы. Брошюра Сахарова, письмо и отклики — не программа, но они, в нынешних условиях, может быть даже больше, чем программа: они очерчивают широкий круг вопросов, основу, на которой может развиваться реальная современная деятельность, выводящая из создавшихся тупиков, решающая насущные текущие дела и устремленная в будущее. Это не статичная программа, а динамическое обоснование именно продвижения вперед, дающее направление для плодотворного применения и развития сил нации, на ее и всего мирового общежития наций благо. И замечательно в этих документах, проникнутых государственным сознанием, что в них, если не всегда выраженное буквально, то в подтексте, отражено понимание национальных и международных задач, как общих, нераздельных. В этом нам видится проявление не бесплодного марксистского «интер-

национализма», способного объединять, и то лишь временно, только коммунистических активистов, а чувства всечеловечности, противостоящего и шовинизму квасного патриотизма, и ложно классовому разъединению человечества на «чистых» и подлежащих истреблению.

Национализм отнюдь не умер и последнее явное доказательство этому дало появление после войны национал-коммунизма. Сталин старался придать своей империи подобие «содружества социалистических народов», но старания его в конце концов привели к тому, что образовался ряд самостоятельных коммунистических течений: югославское, китайское, албанское, румынское, итальянское, кубинское и другие, каждое на свой лад; попытки образовать «свой социализм» в Венгрии и Чехословакии пришлось раздавить танками. Но танки плохая защита негодной идеологии, прорех в марксизме-ленинизме они заштопать не могут, — они способны разве подтвердить лишь тот факт, что каждая нация «искажает» коммунистическое учение по-своему, придает ему свои особенности, в чем ничего удивительного нет. И это ничего не меняет в том, что в основе любой коммунистической деятельности на разные национальные лады лежит закваска марксизма и без этой закваски не было бы ни самой этой деятельности, ни ее «искажений», ее приспособлений на тот или иной национальный вкус. Это замечание о самоочевидной истине все-таки вероятно необходимо: слишком уж часто мы слышим сетования, здесь, на Западе, что в России марксизм (подразумевается очевидно «хороший марксизм») подвергся варварскому искажению, хотя искажается он всюду, где его только пытаются применять. Эти сетования стараются увести внимание от того факта, что в основе коммунистического варварства, в любых его «искажениях», сидит все тот же микроб марксизма и что если бы его не было, нечего было бы и искажать.

Национализм остается наиболее мощным положительным объединяющим народным чувством и пытаться игнорировать его было бы большой ошибкой. Преодоление же его крайностей, в виде шовинистического нацизма, включая и так называемый «советский патриотизм», надо искать не на путях космополитизма (подразумевая вообще космополитизм, а не советско-коммунистическое его толкование), склонного отрекаться от своей страны, от родины, обрывать связывающую с ней пуповину, а на путях чувства всечеловечности, которое всегда было сильно в России. Не отказ от национализма и не интернационализм, как он формулируется в коммунистической теории, а всечеловечность, не делящая и не отталкивающая людей и народы ни по расовому, ни по национальному, ни по имущественному и ни по какому иному признаку.

Иногда приходится слышать, что предложение академика Сахарова — это своего рода «спуск на тормозах», от диктатуры к демократии, от произвола к законности, от бесхозяйственности к рациональному ведению хозяйства, от бесчеловечия к человечности. Но «спуск на тормозах» подразумевает как бы возврат к чему-то бывшему, сходный с движением вспять, — здесь же не возврат, а продвижение к тому, что требуется нашим сознанием и совестью, основанное на восстановлении человечности и разумности. Тем самым здесь опять сочетание: «вечного», имеющегося, но находящегося в загоне, и текущего, открывающего пути вперед, а это значительно больше, чем только «спуск на тормозах».

Предложения Сахарова и дополнения к ним внешне не революционны, они предусматривают радикальную перестройку существующего режима эволюционным путем, даже с сохранением «руководящей роли партии» и без отказа от социализма, который должен приобрести «человеческое лицо». Некоторых, в особенности сохранение «руководящей роли», это отталкивает, других настораживает, однако искренне выдвигающих эти предложения, помнящих о связанных с ними тяжелом долге и огромной ответственности, вполне можно понять. Сложное внутреннее положение, грозящее, при новом революционном потрясении, может быть еще большими бедствиями, чем пережитые; воинственная враждебность китайских коммунистов, неуверенность в реакции со стороны Запада, — все это заставляет отдавать предпочтение эволюционному пути. И в данном случае никакой идеологической нетерпимости, которая была бы равна нетерпимости коммунистической, места не может быть: содержание здесь должно превалировать над формой. Важно, куда ведет этот путь, а так как цель его — раскрепощение, восстановление человечности и разумности, то эволюционный характер его на деле равен революции. Это действительно была бы бескровная революция. Но вот не пустая ли мечта, что правящие верхи партии могут добровольно согласиться на предлагаемую эволюцию, в недалеком будущем лишающую их диктаторской власти? Могут ли они не только понять, но и принять, что другого пути нет и что это не только единственный, но и по-видимому единственно спасительный для всех путь?

Есть и другие места в этих предложениях, вызывающие сомнения, на них указывалось и в откликах в России. Одно из таких мест — дух технократии, чрезмерное упование на научное обоснование и предвидение, что может вести к подчинению им всей деятельности, то есть к новому закрепощению. Дух этот — от нынешнего преклонения перед наукой и техникой, заключающего долгий цикл развития: просвещенство XVIII века с его рационализмом в следующем веке привело к «отмене» Бога во имя человека, к его обожествле-

нию; материалистические учения в соединении с быстрым техническим прогрессом «отменили» затем и человека, уже во имя науки: божеством, подчиняющим себе человека, стали наука и техника. Может быть, мы подходим теперь к новому этапу, к новому «отрицанию отрицания», восстанавливающему нарушенную иерархию ценностей?

Важное звено в предложении академика Сахарова — положение о конвергенции, постепенном сближении и в конце концов как бы уравнении двух противостоящих систем: капиталистической и так называемой социалистической, «коммунистического социализма», который, впрочем, многие считают госкапитализмом. Оппоненты Сахарова дополнили это положение предложением о «всемирной интеграции ученых», которые должны, по-видимому, всячески содействовать конвергенции. Подобные идеи, как говорится, «носятся в воздухе» и на Западе, но вот насколько они оправданы и насколько можно считать их реальными уже для нашего времени, это остается под большим вопросом. Не музыка ли они слишком еще далекого будущего, которая может быть пока разве лишь общим ориентиром, но не ясно очерченной целью? Здесь нужна очевидно большая трезвость, диктуемая в частности возможным «ответом» другой стороны. Пока общая реакция Запада на выдвинутые Сахаровым предложения, касающиеся не одной России, была довольно прохладной. То есть, на словах она была отчасти даже горячей, восторженной, но решительно ни к чему реальному, ни к одному практическому шагу она не привела. Западные ученые и другие представители интеллигенции ограничились выражением лишь сочувствия, — дальше ни воли, ни умения, ни желания у них не нашлось, чтобы попытаться более энергично поддержать далеко идущие и одобряемые ими положения своего собрата.

Многое тут зависит вероятно от различия подходов к основам современного кризиса: западный подход остается прагматическим, — наш можно назвать апокалипсическим, продиктованным катастрофическим сознанием, которому на Западе в наше время в сущности неоткуда было появиться. И именно этим различием объясняются многие наши разочарования во взаимоотношениях с западными правительствами и общественными кругами. Нельзя не учитывать и то, что западные правительства, по своей демократической природе, в мирное время настолько поглощены внутренними делами и необходимостью хотя бы частичного решения стоящих перед ними внешнеполитических задач, подвергаясь при этом постоянным атакам оппозиции и давлению со стороны даже сочувствующих сил, что они, обладая казалось бы огромными возможностями, во многих случаях оказываются почти бессильными и могут предпринимать лишь некоторые, далеко недостаточные меры и действия. Это

мы испытываем ни много, ни мало, как с самого 1917 года. Западные демократические правительства — мирные правительства и у них нет нашего опыта, наших переживаний, заставляющих нас не успокаиваться. А их отсутствие нашего опыта побуждает говорить, что «эти русские» и тем более «эти эмигранты» всегда все преувеличивают и мешают спокойно работать, — хотя стоит заметить, что, как свидетельствует история, настойчивые предупреждения русских национальных здравомыслящих сил, еще с 17-го года, оказывались целиком оправданными.

То же можно отнести и к западной интеллигенции, пресыщенной изобилием мысли, причудливые разветвления, спирали и зигзаги которой часто представляют собой якобы глубокую и полную значения, а на деле бессодержательную и расслабляющую интеллектуальную игру, позволяющую уходить от принятия необходимых решений. Нельзя сказать, что вся современная западная интеллигенция утратила «святое беспокойство», возможность различения добра и зла: она протестовала, например, против разгрома Венгерского восстания или оккупации Чехословакии, протестует она, правда, умереннее, в меньшем числе своих представителей, и против преследования властью советских писателей и общественных деятелей. И это приносит некоторые плоды, за что надо быть крайне благодарным протестующим: они влияют на мировое общественное мнение, с которым коммунистические правители в какой-то степени вынуждены считаться. Но этим пока и ограничивается — и на большее не приходится рассчитывать, на этот раз из-за природы интеллигенции. «Правой интеллигенции» вообще нет и не бывает; «интеллигенция центра», если прибегать к классическому определению сил, всегда пассивна или, по крайней мере, молчалива, — а ей, в случае выступления Сахарова, должна была бы принадлежать первая роль. Энергична и криклива лишь «левая интеллигенция» («левизной», впрочем, иногда грешит и «центр»), ее «актив», сливающийся с руководимыми обычно коммунистами протестантами разных видов; именно эта часть западной интеллигенции быстро и охотно подхватывает коммунистические пропагандные кампании.

Эта констатация однако вовсе не говорит о том, что на Западе нет сочувствующих и возможных друзей, которые готовы будут поддержать, может быть, не столько слова, сколько дела, когда увидят их, убедятся в них. И этих друзей, эти силы постоянно надо искать и привлекать. Но реальное наличное положение вещей видеть необходимо, чтобы не испытывать ненужных разочарований.

В свете именно этого положения особенно рельефно очерчивается огромность значения предложений академика Сахарова и поддерживающих его лиц. В нынешнем разноречивом хаосе, в невероятной и подчас визгливой разноголосице, в которой лишь как редчай-

шее исключение бывают слышны трезвые голоса, выдвигающие конкретные, реальные и осуществимые решения, предложения эти неоценимы. В ленивом современном всеядстве, при подмене в социально-политической области созидательной деятельности бюрократическим ловкачеством и крючкотворством, а в области духа изощренным трюкачеством, часто поразительным, но на проверку оказывающимся бесплодным, их можно уподобить порыву бури, оставляющей спокойным болото и будоражащей живые души, сохранившие способность добиваться лучшего не только лично для себя.

В решающей мере это вероятно разультат все-таки нашего опыта, пережитого нами, чего западным народам переживать не пришлось. Мы знаем, чувствуем, что необходимо, неотложно надо что-то делать, упорно искать пути и выходы, — на Западе об этом могут беспокоиться лишь «постольку-поскольку». Это и подсказывает мысль, которую никак не назовешь привлекательной: не получится ли так, что главная тяжесть работы по прокладке необходимых путей для выхода из кризиса ляжет на плечи России?

Как знать, история полна любых неожиданностей, — может быть, нельзя исключать и эту.

Письма И. А. Бунина к профессору С. Агреллу

Эти письма, связанные с получением Нобелевской премии, представляют несомненный интерес; в бунинский «юбилейный» (1870-1970) год — особенно. Они были приведены в материалах Ежегодника Славянского отдела Лундского университета вместе со статьей и комментариями доктора К. Дравинш и, с любезного разрешения руководителя отдела проф. К. Фалька, переданы редакции Л. Д. Ржевским. Подлинники писем написаны по старой орфографии.

1

15 янв. 1923 г.

I, rue Jacques Offenbach,
Paris XVI

Глубокоуважаемый Сигурд Васильевич, [1]

М. Ф. Хандамиров [2] сообщил мне Вашу просьбу прислать Вам все мои сочинения и критическ. статьи обо мне, дабы Вы могли дать обо мне Шведск. Академии свой отзыв. Глубоко тронутый вниманием Академии к русской литературе, сердечно благодарю и Вас за Ваше любезное обращение ко мне.

Я поспешил исполнить Вашу просьбу, но начал несколько неловко.

В письме своем ко мне М. Ф. Хандамиров дал мне Ваш адрес, но, сбитый с толку словом «Gyllenkroksgattan», [3] одинаковым для его и для Вашего адреса, я принял Ваш адрес за его — и отправил пять заказных пакетов на его имя, но по Вашему адресу. Надеюсь, что Ваша почта как-нибудь исправит это.

Пакеты эти таковы: заказное письмо к самому М. Ф. Хандамирову, три с книгами (для Вас) и один с критическ. статьями (тоже для Вас).

Из книг я отправил две французск., т. е. „Le Village" и „Monsier de S. Francisco", — в последней я очень обращаю Ваше внимание на мое

[1] Сигурд Агрелл (1881-1937) — профессор славянских языков в Лундском университете (Швеция).

[2] Михаил Федорович Хандамиров (1883-1960) — лектор русского языка в том же университете.

[3] Название улицы.

предисловие в виде «Письма к французскому издателю», сжато дающему очерк моей жизни и литературн. деятельности, — а кроме того четыре русских книги: «Деревня» и «Суходол», «Крым», «Господ. из С. Франциско» и «Чаша жизни». Сегодня посылаю Вам еще три: «Стихотв. 1903-1906 г.», «Иоанн Рыдалец» и «Мистерии Байрона» — и, может быть, если найду, «Песню о Гайавате» Лонгфелло: эти «Мистерии» и «Песня о Г.» будут, может быть, тоже не безынтересны для Вас, обе они были в свое время награждены Пушкинской Премией Российской Академии Наук. (Эту премию я получил 3 раза: вот за эти книги и за первую книгу моих стихотворений «Листопад»).

Прочих моих книг я еще не нашел в Париже и боюсь, что не найду, но, конечно, буду стараться найти, хотя думаю, что и того, что Вы будете иметь, будет достаточно для суждения обо мне.

Гораздо хуже обстоит дело с критическ. статьями, русскими и иностранными. Их (русских) целый сундук, но сундук этот в России, здесь же у моих знакомых есть только кое-что, немногое и случайное, да и то по большей части относящееся к давнему времени, когда моя литературная деятельность, обнаруживавшаяся более ярко и разносторонне лишь с 1908, 1909 года, еще носила несколько иной характер, что и заставляло некоторых критиков трактовать меня, напр., как меланхолического лирика или певца дворянских усадьб, певца идиллий.

Не лучше обстоит дело и со статьями во французск., английск. и итальянской печати. Появилось и их много, но я не собирал их систематически, а о многом лестном и интересном порою только слышал. Так что и тут я могу Вам послать только кое-что, утешая себя только тем, что и по этим отрывкам Вы сможете составить себе некоторое представление о том, как отнеслись ко мне иностранцы.

В Европе и вообще за границей я еще совсем почти новый писатель. По-французски вышли пока две моих книги; третья появится в марте. По-немецки — пока одна (у г. Фишера); по-английски — одна; в Америке выйдет две только летом 1923 г., в Японии — тоже.

Примите уверение в моем глубоком уважении.

Ив. Бунин.

2

16. VI. 1931

Глубокоуважаемый Сигурд Васильевич,

Вчера писал Вам относительно того, с какого текста следует переводить рассказы, которые будут изданы вместе с «Митиной любовью». Нынче вспомнил, что книги «Грамматика любви» и «Последнее свидание» посланы были мною 21 марта издательству г. Гебера.[4] Надеюсь поэтому, что издательство перешлет или уже переслало Вам эти книги.

Ваш Ив. Бунин.

P.S. Перечитал «Митину любовь» и посылаю Вам исправленный текст ее. С этого текста и будьте добры переводить.

[4] Издательство в Стокгольме.

3

Villa Belvédère, Grasse, Alpes Maritimes, France
2. III. 1932

Многоуважаемый Сигурд Васильевич,

Я получил из Стокгольма, от г. Гебера очень приятное для меня известие о том, что он имеет намерение издать на шведском языке еще одну мою книгу и что Вы были столь добры, что согласились не только сделать для этой книги выбор из моих повестей и рассказов, но и перевести их. Весьма благодарю Вас за всё это: помимо чести, которую Вы снова оказываете моим произведениям, Вы, способствуя изданию этой книги, помогаете мне и материально, что для меня в настоящее тяжелое время очень важно.

Надеюсь, что г. Гебер передал Вам все те мои книги, которые я послал ему. У Вас лично тоже имеется, кажется, почти всё, изданное мною за последние годы на русском языке. Но позвольте просить Вас пользоваться для составления сборника и для перевода теми изданиями, которые я послал г. Геберу: в них тексты окончательно просмотрены и исправлены и указано, из какого издания нужно брать тот или иной текст.

Буду очень признателен, если Вы, после того, как сделаете выбор для сборника, сообщите мне, что именно Вы выбрали.

Сердечно приветствую Вас и остаюсь

преданный Вам Ив. Бунин.

4

Villa Belvédère,
Grasse, a. M., France
10. V. 1932

Многоуважаемый Сигурд Васильевич,

Я был некоторое время в Париже и поэтому только вчера получил от М. Ф. Хандамирова то письмо, которое он написал мне по Вашему поручению. Он сообщает мне список тех моих рассказов, которые Вы наметили для перевода, и Вашу просьбу, чтобы я высказал свое мнение об этом списке. Но я затрудняюсь это сделать: я себе не судья, я плохо знаю вкусы шведской публики, так что прошу Вас переводить всё, что Вам угодно. Замечу только, что, по-моему, лучше бы выключить из Вашего списка рассказов «В саду», как вещь, трудно поддающуюся переводу на всякий иностранный язык, затем «Ночной разговор», — эту вещь мне особенно не хотелось бы видеть в моем новом шведском сборнике, — и наконец, воспоминания о Толстом, как произведение не чисто беллетристическое: я знаю, что эти воспоминания довольно живо и оригинально рисуют облик Толстого, но полагаю, что они все-таки будут нарушать общий тон книги. Сомневаюсь также, следует ли переводить «Лапти», »Старуху» и «Благосклонное участие».

Что хотел бы я с своей стороны прибавить к Вашему списку? Я по-

слал г. Геберу все мои книги, изданные за границей по-русски, и подчеркнул в них те рассказы, которые мне казались наиболее подходящими для перевода. Многое из этого подчеркнутого входит в Ваш список. Но кое-что отсутствует, — как, например: «Петлистые уши», «Метеор», «Звезда любви», «Неизвестный друг» (в сборнике «Роза Иерихона»); «Последнее свидание», «Иоанн Рыдалец» (в сборнике «Последнее свидание»); «Пингвины», «Убийство», «Ущелье», «Первая любовь», «Журавли», «Бернар» (в сборнике «Божье древо»).

Как видите, список выходит очень длинный. Но ведь, конечно, не всё входящее в него Вы будете переводить. Повторяю, выбирайте из него всё, что Вам угодно.

Посылаю Вам, по Вашей просьбе, «Чашу жизни». Все остальные мои книги в их новых изданиях (а для перевода нужно пользоваться только новыми изданиями) у Вас, мне кажется, имеются. Если чего нет, будьте добры сообщить мне или обратиться за недостающими к г. Геберу.

Позвольте обратить Ваше внимание на то, что новый текст рассказов: «Игнат», «При дороге» и «Неизвестный друг» находится в сборнике моих избранных рассказов, изданных в Белграде под общим заглавием «Грамматика любви», и что для перевода их нужно пользоваться именно этим текстом. Есть ли у Вас эта книга?

М. Ф. Хандамиров не сообщил мне своего теперешнего адреса. Поэтому решаюсь беспокоить Вас покорнейшей просьбой передать ему прилагаемое письмо.

Кланяюсь Вам и желаю всего доброго.

Ваш Ив. Бунин.

P.S. Если решите переводить рассказ «Чаша жизни», то, может быть, было бы хорошо поставить его в начале книги, чтобы и вся книга называлась «Чаша жизни»? Думаю, что в шведском языке есть слово, подобное русскому: «чаша», «сосуд» или французскому „Le calice", передающее понятие «чаши» не в обычном, не в будничном смысле, а несколько более возвышенном.

5

Villa Belvédère,
Grasse, a. m.,
18. VII. 32

Многоуважаемый Сигурд Васильевич,

Сегодня я получил от М. Ф. Хандамирова письмо, в котором он просит меня выслать Вам весь томик рассказов, озаглавленный по первому рассказу «Чаша жизни». К сожалению, у меня нет этого томика полностью и я не могу выписать его из Парижа: он теперь уж редкость, достать его можно только с трудом, а теперь особенно: лето, мой книготорговец где-то в Бретани. Кроме того, мне кажется, Вы можете обойтись без него. Вот содержание его:

Чаша жизни
Братья
При дороге
Святые
Весенний вечер
Архивное дело
Стихотворение

Как видите, он состоит из вещей, большинство которых Вам не нужно: «Чаша жизни» у Вас есть, «Братья» переведены уже Вами (для сборника „Mitjas Kärlek"), «Весенний вечер» и «Архивное дело» для шведской публики не интересны, по-моему мнению ... Остаются, значит, всего два рассказа, которые, может быть, будут Вами переведены: «При дороге» и «Святые». Эти два рассказа я Вам и посылаю: «Святые» (из «Чаши жизни») и «При дороге» в книге «Избранные рассказы» (общее заглавие которой — «Грамматика любви»): в этой книге находится исправленный текст этого последнего рассказа. Позволю себе, кроме того, еще раз напомнить Вам, что, если Вы будете переводить не только «При дороге», но какой-нибудь из следующих рассказов: «Игнат», «Метеор» и «Неизвестный друг», то для перевода надо пользоваться тоже только тем текстом, который находится в этом сборнике (под заглавием «Грамматика любви»).

Просит меня М. Ф. Хадамиров снова еще и о том, чтобы я послал Вам список тех рассказов, которые следовало бы перевести по моему мнению. Прилагаю этот список — и снова прошу Вас выбирать из него всё, что Вам угодно.

Сердечно приветствую Вас.

С искренним уважением

Ваш Ив. Бунин.

Из книги «Чаша жизни»:
- Чаша жизни
- Святые (?)

Из книги «Грамматика любви»:
- Игнат
- При дороге
- Метеор
- Неизвестный друг

Из книги «Роза Иерихона»:
- Сны Чанга
- Петлистые уши
- Соотечественник
- Темир-Аксак-Хан
- Звезда любви
- Огонь пожирающий

Из книги «Последнее свидание»:
- Последнее свидание
- Иоанн Рыдалец
- Оброк
- Хороших кровей

Из книги «Крик»:
- Крик
- Смерть

Из книги «Солнечный удар»:
- Дело корнета Елагина (?)
- Воды многие (?)
- Цикады (?)

Из книги «Божье древо»:
- Пингвины
- К роду отцов своих
- Убийство
- Ущелье
- Первая любовь
- Журавли
- Странствия
- Бернар
- Толстой (?)

6

20. XI. 33

Дорогой и уважаемый Сигурд Васильевич,

Очень прошу Вас простить, что только теперь пишу Вам — события сбили меня с ног и понесли, точно человека, внезапно упавшего в водопад Иматру! От всей души, горячо благодарю Вас за всё, что Вы для меня сделали за последние годы. Числа 5-го (декабря) выезжаю в Швецию и буду истинно счастлив встретить Вас — или в Стокгольме или в Лунде.

Преданный Вам
Ив. Бунин.

ГЛЕБ СТРУВЕ

ИЗ МОЕГО АРХИВА

1. ПИСЬМА И СТАТЬЯ В. ХОДАСЕВИЧА

В моем литературном архиве сохранились три письма Владислава Фелициановича Ходасевича и оригинал (машинопись) одной его статьи. Вероятно, эти три письма и те мои, на которые они являются ответом, исчерпывают всю нашу переписку. Как-то так вышло, что я с Ходасевичем лично никогда не был знаком, никогда у него — ни в Берлине, ни в Париже — не бывал, хотя и там и тут наша жизнь иногда совпадала во времени. Причиной этому был ряд чисто личных обстоятельств моей жизни именно в те годы, когда у меня была возможность познакомиться с ним. С его женой, Ниной Николаевной Берберовой, я был знаком еще с 1926 года, когда работал в редакции «Возрождения», а она была одним из редакторов недолго просуществовавшего журнала «Новый Дом». У меня также сохранилось несколько ее писем за 1931 год, и некоторые из них содержат настойчивые приглашения посетить ее и В. Ф., но, очевидно, что-то мешало мне последовать этим приглашениям (я жил тогда довольно далеко за городом, очень нуждался и имел много семейных забот). Оглядываясь назад, я потом всегда очень жалел, что мне не довелось лично знать Ходасевича. С первого же знакомства с его поэзией — периода «Тяжелой лиры» и «Европейской ночи» — я стал большим его поклонником. Его чтение стихотворения «Элегия» («Деревья Кронверкского сада . . .») на одном вечере в «Доме Искусств» в Берлине вдохновило меня на стихотворение о нем, которое я начал той же строкой (а за ней следовало: «Невнятен голос был и глух»). О его «Собрании стихов» 1927 года я написал большую статью под названием «Тихий ад». Она была напечатана в варшавской газете «За Свободу». В конце этой статьи я задавал вопрос, не зашел ли поэт в тупик, не является ли его «поэзия разложения» началом «разложения поэзии»? Я так никогда и не узнал,

как отнесся к этой статье В. Ф. Не знаю и по сю пору. Но, судя по тону его писем ко мне (уже пять лет спустя), она не восстановила его против меня. Сам я продолжал и продолжаю считать его одним из лучших и значительнейших поэтов своего времени. Высоко ценил я его и как критика и историка литературы, в частности пушкиниста, и в этом отношении постарался отдать ему должное — уже много лет спустя после его смерти — в моей книге «Русская литература в изгнании» (Нью-Йорк, 1956). С этой оценкой критической и литературной деятельности В. Ф. связана была и моя переписка с ним, относящаяся уже к послепарижскому периоду моей жизни: в 1932 году я был назначен лектором русской литературы в Школе Славяноведения при Лондонском университете.

46, av. Victor Hugo
Boulogne s/Seine

Многоуважаемый Глеб Петрович,

простите, что отвечаю с опозданием. Но я довольно редко бываю в редакции, а в последнее время еще и прихварываю. Поэтому Ваше письмо я получил только вчера.

Что касается предисловия к пушкинским письмам, то я напишу его с большим удовольствием. Если все это дело, весьма благое, Вам удастся устроить, то сообщите мне, пожалуйста, следующее: 1) какие именно письма войдут в состав книги, т. е. их №№ либо по академическому изданию, либо по морозовскому («Просвещение»), либо по ефремовскому (Суворина). Это нужно, чтобы в известной степени согласовать предисловие с содержанием книги; 2) каков должен быть приблизительно размер предисловия.

Статью для Slavonic Review также пришлю охотно, но и на сей счет мне необходимы кое-какие указания. Я не очень представляю себе, что́ именно интересно английскому читателю, в частности — читателю Slavonic Review. Самая степень его осведомленности о Пушкине мне неизвестна, а с этой осведомленностью нужно считаться в первую очередь. Дело отчасти затрудняется тем, что Вы даете мне очень короткий срок. Что бы Вы, однако, сказали, если бы я предложил Вам статью, для которой у меня подобран уже материал: о мечтах Пушкина уехать (или бежать) за границу, о том, чем именно эти мечты внешне и внутренно подсказывались; эта биографическая тема послужила бы канвой, на которой попытался бы я изобразить в основных чертах политические взгляды Пушкина в связи с его взглядами на поэзию и на назначение поэта. Сообщите Ваше мнение на сей счет, указав, опять-таки, что значит статья «не очень больших размеров». Впрочем, если Вы сами предложите мне несколько тем на выбор, то и это будет полезно: я либо выберу одну из них, либо они мне послужат для ориентации.

Кроме статьи, я хотел бы написать рецензию на вышедший с год тому назад польский перевод «Медного Всадника» с предисловием В. А. Ледницкого. Дело в том, что я даже пообещал Ледницкому написать такую рецензию именно для Slavonic Review, но уж очень трудно и сложно жил весь этот год, а главное — как-то стеснялся писать для

журнала, не имея на то предложения со стороны самой редакции. Ответьте, пожалуйста, не поздно ли уже (думаю — не поздно, ибо книга почтенная во всех отношениях), а главное — не было ли уже у Вас на нее рецензии.

Я по-английски даже читать не умею. Однако, журнал, пожалуйста, мне пришлите: Rossica будет из него извлечена для «Возрождения», а кроме того я дам его Вейдле для использования в Le Mois, где он пишет систематически.

Наконец — «дела семейные». Очень рад, что полемика моя с Гиппиус пришлась Вам по душе. Дело в том, что кулисы этого дела — противные и зловредные. И Милюков, и Гиппиус раздули и расславили роман Таманина по причинам самого нелитературного свойства. Несколько самых видных сотрудников «Посл. Новостей» просили меня написать «правду» об этой книге. Я написал — отсюда бешенство М. и Г., которым я помешал втирать очки почтеннейшей публике. Сюда прибавилась психологически досада и злоба, возбуждаемая в Гиппиус Сириным, ее «нобелевская» вражда к Бунину и т. д. Словом — дело прискорбное, и Ваше сочувствие мне дорого. — «Литературу в изгнании» писал я с тяжелым чувством. Хотел бы сам быть с ней несогласен, но, к несчастью, к самому настоящему несчастью, — все дела идут к тому, чтобы оправдать мои мрачные наблюдения и предсказания. Если я окажусь плохим пророком, то, Боже мой, как буду я рад сам первый объявить, что ошибся!

В заключение позвольте Вам пожелать всего хорошего. Пожелание такое — совсем не простая вежливость. Я был искренно рад не только за Вас, но за все русское дело, когда узнал, что Святополк-Мирский заменен Вами. Если Вы принесете в Лондоне столько пользы, сколько он принес вреда, это будет очень много.

Жму Вашу руку. Ответьте мне поскорее, на домашний мой адрес.

Владислав Ходасевич

18 авг. 933.

Письмо В. Ф. Ходасевича было ответом на мое. У меня тогда явилась мысль издать по-английски избранные письма Пушкина, которые до того ни в Англии, ни в Америке никогда не издавались, даже в выдержках. При этом я решил попросить Ходасевича написать предисловие к такому изданию. Из затеи этой ничего не вышло: издательство, к которому я обратился с этой мыслью (Routledge & Kegan Paul), вместо того предложило мне написать книгу о советской литературе (это, мол, будет интереснее), что я и сделал — книга эта вышла к концу лета 1935 г. Что же касается писем Пушкина, то мысль об издании их по-английски была приведена в исполнение лишь тридцать лет спустя, и не мной, а профессором J. Thomas Shaw, выпустившим трехтомное издание их в издательстве Висконсинского университета (1961-63).

Одновременно я, очевидно, предложил В. Ф. написать статью о Пушкине для журнала Slavonic and East European Review, издававшегося Школой Славяноведения. Этой статьи Ходасевич так никогда и не написал. Но его встречное предложение о рецензии на польский перевод «Медного Всадника» с предисловием В. А. Ледницкого было по моему совету принято редакцией журнала. Рецензия эта была вскоре написана и прислана Ходасевичем, переведена мною на английский язык и напечатана в журнале (№ 35, январь 1934).

Русский машинописный оригинал этой статьи с собственноручной подписью В. Ф., с написанным его рукой названием книги и другими данными о ней и с вставками от руки, сохранился в моем архиве. По этому подлиннику статья эта, едва ли дошедшая до сколько-нибудь значительного числа русских и польских читателей и представляющая для них несомненный интерес, печатается ниже.

Слова В. Ф. о том, что он «трудно и сложно жил весь этот год», относятся несомненно к разрыву его с тогдашней его женой, Н. Н. Берберовой: разрыв этот произошел в апреле 1932 г., но назревал уже раньше (см. недавно вышедшую по-английски «автобиографию» Н. Н. Берберовой "The Italics Are Mine", New York, 1969, стр. 347-49).

«Rossica в 'Возрождении'»: я, очевидно, предлагал В. Ф. помещать в «Возрождении» сведения о статьях на русские темы, печатавшиеся в Slavonic Review. Я принадлежал к тем, о ком В. Ф. говорит в последнем из печатаемых писем, т. е. считал, что он принимает самое близкое участие в редактировании литературного отдела «Возрождения». Я знал во всяком случае, что кроме собственных статей он печатает в «Возрождении» «Литературную летопись» за подписью «Гулливер». Я не знал тогда, что многое — а по ее собственным словам, почти все — в этой «Летописи» составлялось не самим В. Ф., а Н. Н. Берберовой (см. в той же ее автобиографии, стр. 318), хотя под своим именем она в газете не сотрудничала, а была сотрудницей «Последних Новостей».

«Таманин» — псевдоним Т. М. Манухиной, жены д-ра И. И. Манухина и автора романа «Отечество», о котором Ходасевич напечатал в «Возрождении» довольно резкий отрицательный отзыв.

«Литература в изгнании» — статья Ходасевича в «Возрождении». Она была также напечатана по-польски в журнале Przegląd Współczesny, а после войны перепечатана в посмертном сборнике статей Ходасевича («Литературные статьи и воспоминания», Нью-Йорк, 1954). Ходасевич не лелеял никаких иллюзий насчет состояния эмигрантской русской литературы и ее будущего, но вместе с тем считал довольно распространенное скептическое отношение к самой возможности бытия эмигрантской литературы теоретически несостоятельным. Трагедию эмигрантской литературы он видел не в «отрыве от родины», не в том, что она эмигрантская, а в забвении ею своего «эмигрантства». Во мне эта позиция будила ответные струны.

Святополк-Мирский — огульное суждение В. Ф. о деятельности Святополка-Мирского в бытность его лектором русской литературы в Лондонском университете несправедливо и пристрастно. О преподавательской деятельности Святополка-Мирского Ходасевич едва ли что-нибудь конкретное знал. Он судил о нем по его писаниям в евразийских сборниках и по журналу «Версты». Не думаю, чтобы Ходасевичу было известно, что именно в годы своего преподавания в Лондоне (он начал преподавать там с 1922 г.) Святополк-Мирский выпустил двухтомный труд о русской литературе, остающийся до сего дня лучшим иностранным обзором русской литературы от древнейших времен до начала XX века, а также напечатал ряд ценных статей в английских и французских журналах. Чисто советский уклон Мирского начался лишь к тридцатым годам, когда он стал членом британской коммунистической партии, вскоре после чего и лишился своего места в университете. Я был назначен на его место с осени 1932 г. Мирский тогда же уехал в Советский Союз, где вскоре встретил свою гибель.

46, av. Victor Hugo,
Boulogne s/Seine

Многоуважаемый Глеб Петрович,

очень благодарю Вас за стихи Парнок. Они доставили мне большую радость. Из них как раз «Письмо» я очень люблю. Не поблагодарил я Вас до сих пор потому, что собирался это сделать одновременно с посылкой статьи. Увы — тут произошла катастрофа. В процессе писания обнаружилось столько трудностей и неясностей, что мне пришлось на время прервать работу, чтобы дать ей отлежаться, а самому тем временем собраться с мыслями. Не гневайтесь на меня, пожалуйста: пришлю Вам статью к следующей книжке, а сейчас посылаю только рецензию на книгу Тувима и Ледницкого. Это очень почтенная книга, и ее следует отметить. С год тому назад Ледницкий как раз мне жаловался на то, что ее не отметили в Slavonic Review.

За сим — еще раз прошу прощения и дружески жму Вашу руку.

Не будете ли в Париже? Если да, то, пожалуйста, посетите меня.

Владислав Ходасевич

29 окт. 933.

Действительно, Вас в Возрождении превратили в Петра Бернгардовича. Это корректор старается показать свою образованность. Недавно в одной статье моей он ж ж е н к у переделал в ж е н щ и н у. Сами понимаете, что получилось!

Вторую заметку о Slavonic Review на днях напечатаю.

В. Х.

Посылка мною В. Ф. Ходасевичу стихов Софии Парнок была, вероятно, связана с ее недавней смертью (она умерла в августе 1933 г.) и со статьей о ней, которую В. Ф. напечатал в «Возрождении». Я всегда и сам очень высоко ставил поэзию С. Парнок, и мне статья В. Ф. доставила большое удовольствие.

«Рецензия на книгу Тувима и Ледницкого»: см. примечание к предыдущему письму и самое рецензию ниже.

О каком «превращении» меня в моего отца корректором «Возрождения» идет речь в приписке В. Ф., я не помню.

[Без даты. Почтовый штемпель: 14. VIII. 1935]
46, av. Victor Hugo,
Boulogne s/Seine

Многоуважаемый
Глеб Петрович,

я не был в редакции целую неделю и потому лишь сегодня получил Ваше письмо. Я передал все «документы» С. С. Ольденбургу, и он обещал изготовить заметку к ближайшему четвергу.

Что касается рецензии на книгу, то и об этом сказал я секретарю редакции, но что дальше будет — не знаю. От меня тут решительно ничего не зависит. К редакционным делам «Возрождения» я никогда не имел и теперь не имею никакого касательства. Фразу сию подчеркиваю потому, что какие-то люди без всякого основания, но с довольно грязными целями распустили легенду, будто я заведую литер[атурным] отделом

газеты. Верьте, пожалуйста, что это ложь — и при случае опровергайте ее — этим Вы чрезвычайно меня обяжете.

Адрес Вейдле: The Rectory. Wallsend. Northumberland. Как видите, он гостит у знакомых в Англии.

Пушкинский Комитет не доставляет мне никаких радостей. Я не сочувствую его главной затее — издавать Пушкина. Сижу в редакц[ионной] комиссии и на общих собраниях отстаиваю наименьшее зло — проэкт Гофмана.

Уважающий Вас
Владислав Ходасевич

P.S. По-моему, мне причитается со Slavonic Review какая-то скромная сумма за рецензию на «Медного Всадника». Или они не платят? Если да — не напомните ли им, но не сейчас, а в начале сентября, ибо я на 2 недели уезжаю.

В. Х.

«Документы»: очевидно, речь шла о каких-то сведениях о моей тогда только что вышедшей или долженствовавшей выйти книге о советской литературе. Та же книга имеется в виду и в следующем абзаце. Насколько я помню, рецензии на мою книгу в «Возрождении» не появилось. В другой парижской газете — «Последних Новостях» — была напечатана рецензия В. В. Вейдле, адрес которого я запрашивал у В. Ф. Ходасевича. Насколько помню, я не был тогда знаком с Вейдле, знакомство наше состоялось позже.

«Пушкинский Комитет»: русский эмигрантский комитет по организации чествования Пушкина в связи со столетием со дня его смерти в 1937 г. В Париже этот комитет возглавлялся С. М. Лифарем. Я принадлежал к такому же комитету в Лондоне, возглавлявшемуся А. В. Тырковой-Вильямс.

На постскриптум В. Ф. с «напоминанием» о причитающемся ему гонораре за рецензию я должен был, увы, ответить, что Slavonic Review, как и другие «академические» журналы в Англии (да и в большинстве других стран, насколько я знаю), гонораров не платит. Может быть, поэтому В. Ф. так и не написал для нашего журнала статьи о Пушкине.

[О «МЕДНОМ ВСАДНИКЕ»]

Jeździec Miedziany. Opowieść peterburgska Aleksandra Puszkina. Przekład Juljana Tuwima. Studjum Wacława Lednickiego. Warszawa, 1932.*

«Медный Всадник», поэма, занимающая едва ли не центральное место в творчестве Пушкина как по внутреннему своему значению, так и по художественным достоинствам, появилась в польском переводе, сделанном даровитым поэтом Юлианом Тувимом. Следует приветствовать появление этого перевода, прежде всего — очень близкого к подлиннику, в чем и заключается его непререкаемое достоинство.

* В первом слове заглавия польской книги Ходасевич сделал небольшую описку (едва ли ошибку), и она была воспроизведена в журнале — очевидно, по моей вине.

Сторона стихотворная вызывает более возражений. Ю. Тувим стремится в точности воспроизвести формальные особенности русского подлинника. Поэтому он перевел «Медного Всадника» тоническим стихом с женскими и мужскими рифмами. И то, и другое более или менее рискованно. В польском языке ударение прикреплено к предпоследнему слогу, и это обстоятельство естественно приводит польскую поэзию к стихосложению силлабическому. Тонический стих по-польски звучит почти так же натянуто и принужденно, как по-французски или по-итальянски. (Именно по этой причине не имели успеха попытки переводить русских поэтов тоническим стихом, сделанные в Италии г. Пьетро Сесса и во Франции г. И. Сидерским). Приблизительно то же самое надо сказать о рифмах. Вследствие прикрепленности ударения к предпоследнему слогу, польская поэзия держится на женских рифмах. Мужские в ней чрезвычайно редки, потому что могут составляться не иначе, как из односложных слов. В погоне за формальным тождеством переводчику приходится приблизительно половину стихов кончать односложными словами, что неизбежно придает переводу оттенок какого-то tour de force или стихотворного трюка, тогда как русский подлинник, разумеется, этого оттенка не имеет. Однако, несмотря на эти трудности, до конца непреодолимые, Ю. Тувиму удалось достигнуть отличных результатов: его мужские рифмы сравнительно непринужденны, а четырехстопный ямб, хотя и приобретает по-польски некоторую неизбежную жесткость, порою все же звучит совершенно пушкинским звуком: это заслуга очень большая, и мы ее всячески подчеркиваем. Есть лишь два пункта в переводе г. Тувима, с которыми согласиться нельзя: это, во-первых, рифмоиды, в пушкинскую эпоху совершенно не употреблявшиеся (таковы, в особенности, мужские рифмы, кончающиеся на гласную и не имеющие опорной согласной: в сущности, это даже не рифмоиды, а просто плохие рифмы, по-русски встречающиеся только у самых неопытных стихотворцев); во-вторых, это — неправильное чередование мужских и женских рифм: порою переводчик вводит новую женскую рифму там, где должна быть введена мужская. Это прием не только анахронистический по отношению к поэтике Пушкина, но и вообще неприятный. Вероятно, перед г. Тувимом, воспитавшимся на польской просодии, вопрос о чередовании мужских и женских рифм просто доныне не возникал. Поэтому он и решает его с такою неопытностью. Меж тем, если вводить в польскую поэзию мужские рифмы наряду с женскими, то они должны быть подчинены общему закону чередования. Нарушение этого правила в любом языке режет ухо. Пушкин никак не принял бы такого чередования рифм, какое допускает г. Тувим.

Если г. Тувиму и не удалось совершить некое поэтическое чудо, то он все-таки дал превосходный перевод и сделал большое культурное дело. Не надо забывать, что людей, способных прочитать Пушкина в подлиннике, с каждым годом становится в Польше все меньше.

Этот культурный подвиг разделил с г. Тувимом молодой профессор Вацлав Ледницкий, присоединивший к переводу обширную статью о «Медном Всаднике», — одно из самых обстоятельных исследований, когда-либо посвященных этой поэме. Не только польский, но и русский читатель нашел бы в труде г. Ледницкого ряд мыслей и наблюдений, если не всегда бесспорных, то всегда любопытных. Проф. Ледницкому очень

хорошо удалось наметить всю сложность философских, исторических и политических тем, переплетающихся в «Медном Всаднике», и связать ее с сетью не менее сложных литературных и биографических воздействий, испытанных Пушкиным при создании поэмы. Из основных тезисов г. Ледницкого наиболее ценны и интересны два. Первый касается двойственности, наблюдаемой автором в отношении Пушкина к Петру Великому, к завещанному Петром русскому империализму и этатизму. И сам император, и оставленное им историческое наследие, по мнению проф. Ледницкого, казались Пушкину великой исторической необходимостью, но одновременно вызывали в нем и восторг, и ужас. На этих смешанных чувствах, на столкновении правды Петра с правдою бунтующего против него Евгения, построена и вся поэма; отсюда — ее загадочный, двойственный, переливчатый колорит, вызывающий столько различнейших толкований в русской критике. Второй тезис касается роли, которую в создании поэмы сыграли отношения Пушкина с Мицкевичем и польское восстание 1831 года. Не отрицая того, что это восстание, как и полемика с Мицкевичем, было одним из многочисленных импульсов Пушкина при создании «Медного Всадника», исследователь убедительно возражает против тех преувеличений, которые на сей счет допускались не только в польском, но и в русском пушкиноведении.

В заключение — два слова по поводу несколько неожиданно звучащего термина: польское пушкиноведение. Он употреблен проф. Ледницким и, хоть это может показаться несколько неожиданным, выражает нечто реально существующее. Польская наука о Пушкине, великом русском поэте, действительно существует в трудах Спасовича, Третьяка, Брикнера и в особенности В. Ледницкого. Существование пушкиноведения в польской литературе не только реально, но и глубоко органично, ибо в некоторых частях (и вовсе не маловажных) наука о Пушкине тесно срастается с наукой о Мицкевиче. Необходимо приветствовать польский пушкинизм, пожелать ему процветания и с величайшим сочувствием отметить тот ценный вклад, который в него внесен Юлианом Тувимом и проф. Ледницким.

ВЛАДИСЛАВ ХОДАСЕВИЧ

2. ПИСЬМА М. Ф. ЛАРИОНОВА О Н. С. ГУМИЛЕВЕ

Письма Михаила Федоровича Ларионова (1881-1964), известного художника, мужа Наталии Сергеевны Гончаровой (1881-1962), были получены мною от него в 1952 и 1953 гг. Я обратился к Ларионову с просьбой поделиться со мной воспоминаниями о его встречах с Гумилевым в Париже в 1917 году. Не помню сейчас наверняка, но думаю, что мое первое письмо Ларионову было написано еще до выхода в свет книги «Неизданный Гумилев», которую в 1952 году выпустило под моей редакцией издательство имени Чехова и куда вошли полученные мною от Б. В. Анрепа в Лондоне неизданные гумилевские произведения, в том числе пьеса «Отравленная туника», неоконченная повесть «Веселые братья», несколько стихотво-

рений и кое-какие другие материалы. (Описание этих материалов см. в означенной книге, а также в первом томе «Собрания сочинений» Н. С. Гумилева под редакцией моей и Б. А. Филиппова, изд. В. П. Камкина, Вашингтон, 1962). Ларионов очень долго не отвечал на мое письмо, и я уже не мог использовать того, что он сообщил мне, в «Неизданном Гумилеве». Но так как я не оставлял мысли об издании полного собрания сочинений Гумилева, а до того, может быть, о напечатании некоторых материалов для его биографии, я задал Ларионову еще ряд вопросов о нем, и ответом на них было второе письмо Ларионова. Он прислал мне также два своих карандашных протрета Гумилева, один из которых был воспроизведен мною потом в начале третьего тома нашего Собрания. То, что сообщил мне Ларионов, было использовано мною лишь в небольшой доле во вступительной статье к первому тому «Собрания сочинений» и в приложениях к четвертому тому. Письма Ларионова печатаются ниже впервые, с исправлением некоторых явных описок или ошибок, объясняемых, вероятно, тем, что у М. Ф. была иммобилизована правая рука и что он не мог оправиться еще после долгой болезни.

22-X-952

16, rue Jacques Callot,
Paris 6e

Многоуважаемый Глеб Петрович!

Благодарю Вас за посланную Вами книгу о Н. С. Гумилеве.

Пожалуйста извините, что до сих пор ни Наталья Сергеевна ни я не ответили на Ваше письмо. Надо было просмотреть то, что имеется от Николая Степановича. Кроме того уже 2 года я болен — у меня не действует как следует быть правая рука и двигаюсь не особенно свободно. Сама Нат. Серг. не особенно разбирается в моих папках — тем более, что они в сильном беспорядке. Летом я должен был быть все время на воздухе. Теперь, хотя с задержкой, отвечу Вам на все Ваши вопросы. Относительно напечатания рисунков Нат. Серг. Гончаровой и моих имеющихся в Ваших архивах и альбомах Николая Степановича Гумилева, мы Вам вполне разрешаем их напечатать и воспроизводить в издаваемой Вами plaquette.

Относительно сведений, о которых Вы пишете — и после прочтения книги Вашей — следующее могу сообщить. В Петербурге мы не жили, а только временами туда наезжали. С весны 1915 года мы живем за границей. В 1916 г. были в Италии — так как я лечился после контузии (на первой 914-18 мировой войне) от хронического воспаления почек. В начале лета 1917 г. мы были в Париже. Альбом Николая Степановича, помеченный 1916 г., был начат им в Петербурге, но только начат — все что там переписанного и заново написанного относится к 1917 году. [1] Мы с Николаем Степановичем видались каждый день почти до его отъезда в

[1] Речь идет о гумилевском альбоме с его стихами, который был в числе полученных мною от Б. В. Анрепа материалов. В него входили стихи, составившие цикл «К синей звезде», и некоторые другие.

Лондон. Затем он приезжал в Париж на 1—2 дня перед отъездом в Петербург, куда отправлялся через Лондон же. Подобный альбом им был переписан и подарен Елене Карловне Дебуше]Дюбуше] [2] (дочь известного хирурга), в замужестве мадам Ловель (теперь американка). В начале многие стихи, написанные во Франции, входили в сборник, называемый «Под голубой звездой» — название создалось следующим образом. Мы с Николаем Степановичем прогуливались почти каждый вечер в Jardin des Tuileries. Вы Париж знаете, помните, недалеко от арки Carrousel, на дорожке, чуть-чуть вбок от большой аллеи стояла статуя голой женщины — с поднятыми и сплетенными над головой руками, образующими овал. Я, проходя мимо статуи, спросил у Н. С., нравится ли ему эта скульптура? Он меня отвел немного в сторону и сказал: «Вот отсюда». — Почему, — спросил я — ведь это не самая интересная сторона. — Он поднял руку и указал мне на звезду, которая, с этого места, как раз приходилась в центре овала переплетенных рук.

— Но это не имеет отношения к скульптуре. — Да! но ко всему, что я пишу сейчас в Париже «под голубой звездой». — Как образовалось «К голубой [М. Ф. хотел сказать «К синей...», имея в виду название сборника. — Г. С.] звезде», мне не ясно. Как мне кажется, это произошло под внезапным впечатлением одного момента... потом осталось так, но означает то же стремление — к голубой звезде — настоящей. Не думаю, чтобы кто бы то ни было мог бы быть для него такой звездой. Почти всегда, самое глубокое чувство, какое у Николая Степановича создавалось в любви к женщине, обыкновенно обращалось в ироническое отношение и к себе и к своему чувству.

Теперь, у меня нашлось много рисунков моих и Наталии Сергеевны — и самого Николая Степановича. Если Вы твердо решите и будете печатать Вашу вторую книжку о Николае Степановиче, то у меня имеется и я могу Вам дать:

1) Рассказ (не изданный кажется) «Черный генерал»,[3]

2) Николай Степанович и С. П. Дягилев, а также и с Гиёмом Аполлинером (рисунки) [4] и другие рисунки — в том числе и самого Н. С.

---

[2] Елена Карловна Дюбуше, дочь известного русско-французского хирурга. Вышла замуж за американца, уехала в Америку и жила впоследствии в Чикаго. Ей посвящены стихи сборника «К синей звезде», изданного в Париже посмертно (1923) заботами К. В. Мочульского. В одном из стихотворений сборника Гумилев писал шутливо о подаренном им Е. К. Дюбуше альбоме со своими стихами, который (говорил он) «Будет в библиотеке стоять / Вашего расчетливого внука / В год две тысячи и двадцать пять». Местонахождение этого альбома в настоящее время неизвестно; может быть, он и стоит среди книг внука Е. К. Дюбуше. Другой — видимо, не вполне идентичный — альбом с парижскими стихами, иллюстрированный Ларионовым, Гончаровой и Стеллецким, принадлежит Г. П. Струве (см. предыдущее примечание).

[3] Рассказ «Черный генерал» был в свое время напечатан дважды по рукописи, полученной именно от М. Ф. Ларионова и Н. С. Гончаровой, — в журналах «Сполохи» (Берлин, 1922) и «Воля России» (Прага, 1931). Об этом М. Ф. Ларионов явно запамятовал. Рассказ входит теперь в последний том четырехтомника.

[4] Рисунки, изображающие Гумилева с С. П. Дягилевым и Гийомом Аполлинером, не были присланы мне Ларионовым. Фотокопии трех рисунков са-

3) «Гондла» и «Феодора» [5] предполагались в начале как либретто для балетов. — Так как я и Наталия Сергеевна работали в балете русском С. П. Дягилева, то это было задумано совместно нами и Николаем Степановичем.

Есть идеалистические акварели — портреты Н. С. [6]

Н. С. был знаком близко с Честертоном и с группой английских писателей этого времени, а в Париже дружил с Вильдраком. Жил он, Н. С., на rue Galilée, в отеле того же имени. А последний раз в Hôtel Castille на rue Cambon, где в то время и я жил. Самой большой его страстью была восточная поэзия, и он собирал все, что этого касается. Одно время он поселился внизу в сквере, под станцией метро Passy, у некоего г. Цитрон. [7] Вообще он был непоседой — Париж знал хорошо — и отличался удивительным умением ориентироваться. — Половина наших разговоров проходила об Анненском и о Жерар де Нервале. Имел странность в Тюлери садиться на бронзового льва, который одиноко скрыт в зелени в конце сада почти у Лувра. Очень прошу извинить мой почерк — пишу левой рукой. Примите, пожалуйста, привет Наталии Сергеевны и мое глубокое уважение.

М. Ларионов

P.S. С удовольствием сообщу Вам все, что мне известно и что удержала память, и представлю какие имею документы.

мого Гумилева я получил уже в 1969 г. от А. К. Томилиной-Ларионовой, вдовы М. Ф.

[5] «Феодора» — первоначальный замысел (а может быть и название) пьесы «Отравленная туника». См. подробнее в следующем письме.

[6] Очевидно, имеются в виду акварели Н. С. Гончаровой, о которых говорится в следующем письме (см. примечание 4 к нему). Что подразумевал М. Ф. под словом «идеалистические» — неясно.

[7] В 4-м томе «Собрания сочинений» Гумилева под редакцией моей и Б. А. Филиппова напечатано письмо А. Цитрона в редакцию парижской газеты «Последние Новости» (№ от 27 сентября 1921 г.), в котором он писал, что живший у него Н. С. Гумилев оставил ему, уезжая из Парижа, ящик с книгами, а также «значительное количество картин, гравюр, рисунков и альбом, купленные в Париже». Г-н Цитрон прибавлял, что часть имущества он передал М. Ф. Ларионову, книги же сохранил у себя и готов передать их «наследникам или ближайшим друзьям». Уже после выхода последнего тома нашего четырехтомника А. К. Томилина-Ларионова прислала мне копию следующего письма А. Цитрона к М. Ф. Ларионову от 5 января 1927 г. (жил Цитрон в это время уже не под метро «Пасси», а в Нейи):

«Мой старый Ларионов,

Очень прошу позвонить мне, чтобы условиться о создании студии имени нашего покойного друга Н. С. Гумилева.

Я обращусь к ряду его друзей с просьбой помочь создать эту студию, для которой подходящее помещение имеется.

Хочу условиться заранее с тобою — и собрать воедино все его, священные для нас, вещи. Прошу позвонить мне в ближайший же день.

С искренним и лучшим приветом

А. Цитрон»

6 Апреля 953

Многоуважаемый Глеб Петрович!

Очень прошу извинить меня за долгое молчание. Была довольно скверная, гриппозная зима. Вашему брату, Алексею Петровичу, я, уже очень давно, звонил по телефону и мы с ним уговорились свидеться как только я смогу. Я Вам сам пошлю что смогу и что найду — мало-помалу — или кое что передам А. П. для посылки Вам. У меня очень большой завал — масса папок и в разных местах, надо чтоб я сам разбирался — но матерьяла не так много — важно найти и соединить вместе. Дать я не смогу все в оригиналах, так как мне кое-что самому надобно. Но кое-что в оригиналах, кое-что в копиях постепенно предоставлю в Ваше распоряжение, так как знаю, что Вы это опубликуете и это послужит для памяти Ник. Степан. Теперь постараюсь ответить на Ваши вопросы:

1) Дата на титульном листе альбома 1916 г. стояла до подписи Наталии Сергеевны (Ник. Степ. Гумилев, когда покупал новый альбом, прежде всего на нем ставил дату и затем его заполнял). Я думаю, посмотрите альбом, наверное российского происхождения. Во всяком случае рисунок Наталии Сергеевны сделан в Париже и в 1917 году, так как уехали мы из Москвы в июне 1915 года. Рисунки Стеллецкого сделаны, по-моему, также в Париже — потому что Ник. Степ. часто здесь с ним видался и, насколько я помню, Стеллецкий рисовал ему в альбом. Мне интересно видеть с орнамента Наталии Сергеевны фотографию, так же как и с других ее рисунков и с моих (Вы пишете, что можете прислать фотографии, чтобы мы установили авторство рисунков — пришлите). Те. что Вы послали фото, совершенно точно: это ее и мой рисунок.

2) В апреле, в конце, или в самом начале мая 1918 г. Николай Степанович был в Париже; даже, может быть, всего на 1 день. В Париже он жил в Hôtel Castille, на rue Cambon, там же, где и я жил, и дверь его комнаты выходила на балкон — я как сейчас это ясно помню. Б. Анреп это не помнит, потому что, может быть, Ник. Степ. уехал из Лондона (уже прямо ехал в Мурманск) и судно ехало с остановкой в Гавре на несколько дней, в это время Н. С. отлучился в Париж — перед окончательным отъездом в Россию. [1]

3) Стихотворения «К синей звезде» безусловно относятся к Елене

Как это ни странно, нет никаких следов того, чтобы этому делу был дан какой-то ход. Нет никаких указаний и на то, чтобы первое письмо Цитрона, которое мне долго оставалось неизвестно, вызвало какие-нибудь отклики. Может быть, какие-нибудь следы переписки с Цитроном отыщутся в бумагах К. В. Мочульского. Разыскать следы самого Цитрона мне не удалось, и судьба хранившихся у него книг Гумилева неизвестна, как неизвестно и что именно он передал (если передал) М. Ф. Ларионову.

[1] Вопрос о заезде Гумилева в Париж после отъезда из Лондона остается до конца невыясненным. По словам Б. В. Анрепа, который встречался с Гумилевым до самого его отъезда из Лондона (он устроил Гумилева на работу в шифровальном отделе Русского Правительственного Комитета, где сам служил в то время), Гумилев уехал из Англии прямо в Мурманск. Но вполне вероятно, что пароход, как говорит Ларионов, заходил в Гавр, чтобы забрать пассажиров и груз, и Гумилеву удалось побывать еще раз в Париже. Дальше в этом письме Ларионов снова возвращается к этому вопросу.

Карловне Дюбуше, за которой Николай Степанович ухаживал — и это было известно. Насколько он сильно ею увлекался? Не знаю, думаю, ему нужно было — он всегда склонен был увлекаться. Это его вдохновляло. Насколько мне кажется, у него еще, в это время, был другой предмет увлечения. Но Елена Карловна, чужая невеста, это осложняло его чувства... Это ему давало новые ощущения, переживания, положения для его творчества, открывало для его поэзии новые психологические моменты. «Синяя звезда» (Елена Карловна) была именно далекой и холодной (для него) звездой. «Под Голубой звездой» — это то, что он проэктировал и как хотел назвать (как говорил, неоднократно, мне и Наталье Сергеевне) сборник стихов, посвященных парижскому пребыванию и написанных в Париже. Возможно, позднее эти чувства были пересилены другими чувствами, которые остались и вылились «К Синей Звезде»? «Под голубой звездой» звучит как место, в котором, где совершались известные происшествия и вещи. «К Синей Звезде» — там главным образом относящееся к ней (к Елене Карловне). Есть вещи, написанные раньше и включенные туда же, т. е. все, что даже косвенно касалось ее. Я думаю, что, когда Николай Степанович приезжал на короткое время в Париж, перед самым окончательным отплытием в Россию и потом в Петербург, он приехал в Париж, чтобы увидаться с кем-то — с Еленой Карловной? Может быть и с нею; но еще с кем-то — это наверное. Знаю, что он приезжал устраивать оставшиеся здесь кое-какие вещи и дела (это официально).

4) Теперь относительно «Гондлы» и «Феодоры». «Гондла», как пьеса, был написан ранее,[2] и я и Нат. Серг. никакого участия в этом не принимали; но в том же 1917 году Гумилев, которому очень хотелось задержаться в Париже, желал так или иначе соединиться с Русским балетом (его командировка была на Балканы). Чтобы его оставить в Париже, я и Нат. Серг. познакомили его с полковником Соколовым, который был для русских войск комендантом в Париже. Потом с Альмой Эдуардовной Поляковой (вдовой банкира), которая была большой приятельницей генерала Занкевича, заведующего отправкой войск, — и временно задержали Ник. Степ. в Париже. А позднее познакомили его с Анной Марковной Сталь и с Раппом.[3] — Рапп предложил ему место адъютанта при нем самом (Раппе). Затем попросили Сергея Павловича Дягилева — заказать ему что-либо (как либретто) для балета. Дягилев сказал, чтобы тему мы сами нашли. Надо было скоро. Сергей Павлович уехал в скорости в Венецию. Все полтора месяца, пока балет был в Париже, мы брали Ник. Степ. каждый вечер с собой в театр Шатлэ, где давались балетные

[2] Ларионов, очевидно, не знал, что «Гондла» был напечатан еще до приезда Гумилева на Запад — в первой книге «Русской Мысли» за 1917 год — в одном номере с «Возмездием» А. Блока.

[3] Рапп, Евгений [?] — комиссар Временного Правительства при русских войсках во Франции. В моем гумилевском архиве имеется его визитная карточка, на которой напечатано: E. RAPP — Délégué du Ministre de la guerre russe и от руки приписано: et du Soviet d'ouvriers et soldats. Внизу сбоку, слева и справа — адрес и номер телефона, а на обороте написано рукой самого Раппа: Mr le S/Lt Goumileff est mon officier d'ordonnance, ce que je certifie. — E. Rapp. 3 Août 1917.

Кто такая Анна Марковна Сталь, выяснить не удалось.

русские спектакли. Тогда Ник. Степ. и предложил для моей постановки Гондлу, а для Наталии Сергеевны новую вещь — Феодору, из византийской жизни. Музыка предполагалась [для] первой вещи лорда Бернерса, а второй Респиги. Либретто балетное требует специальной обработки — благодаря этому нам нужно было часто встречаться и вместе работать. У Ник. Степ. не было никакого в этом отношении опыта. Гондла давал богатый матерьял, но перевести его в действенное только состояние — уравновесить отдельные, но разнообразные, моменты — найти этим моментам форму танцовальную — между различными моментами найти равновесие — и их развитие, только, движениями мужскими и женскими — где слова не было — а все давалось выражением (экспрессией) тела человеческого — для Н. С. было трудно сразу. Он всю свою жизнь до этого работал главным образом над словом. Время шло, Дягилев уехал в Венецию. У нас ничего еще не было готово. Решили, что с самого начала надо думать о главном назначении пьесы, т. е. о балетном ее назначении, и приступили к «Феодоре» для Гончаровой. Через несколько дней Н. С. позвал к себе. Он тогда жил недалеко от Etoile, на rue Galilée, в отеле того же имени, и прочел первый вариант «Отравленной туники». Гондлу мы на время оставили. Так прошло еще больше месяца. Многое изменилось. Дягилев уехал с труппой в Испанию — и там у него не пошло сразу, как он ожидал, с деньгами. Для меня и Наталии Сергеевны вышла задержка. У Ник. Степ. также прекратилось жалованье, так как прекратилась и должность. Он выхлопотал себе командировку в Лондон, где еще оставались временно некоторые учреждения, предназначенные для ликвидации русских военных заказов, сделанных в Англии. Через некоторое время Ник. Степ. должен был уехать в Лондон, где он, как и в первый приезд (когда ехал из России), прожил до самого своего обратного отъезда. Теперь вспоминаю более ясно, что он посетил Париж во время стоянки его судна в французском порту (думаю, Гавре). Из Франции брали пассажиров, которые направлялись в Россию (в Мурманск). Ник. Степ. в это время несколько раз ходил в картье Пантеона на улицы Ульм, Гайлюсак, Муфтар — место, с которым он был связан с самых первых своих поездок в Париж.

Теперь — какой материал я могу Вам дать — в копиях и фотографиях, а некоторые, может быть, в оригиналах: 1) «Черный генерал» и (возможно) миниатюру к нему начала 19 века (немного испорченную), которую он подарил Наталии Сергеевне Гончаровой (рассказ также ей посвящен; 2) Две акварели Н. С. Гончаровой, изображающие Гумилева на пушке и в Африке — третья, центральная, изображает Гумилева сидящим и пишущим стихи «Голубая беседка посредине реки / Как плетенная клетка, где живут мотыльки». Может быть, рисунок — акварель — утерян (но в поисках, может быть, найдется);[4] 3) Мои, Гончаровой, его самого и некоторые другие рисунки, касающиеся его пребывания в Париже.

Пока, Глеб Петрович, желаю Вам всего хорошего. Я и Наталия Сер-

[4] Две первые из этих акварелей Н. С. Гончаровой были в 1931 г., к десятилетию со дня смерти Гумилева, воспроизведены в парижской еженедельной газете «Россия и Славянство».

геевна поздравляем Вас с праздниками. Христос Воскресе, будьте здоровы.

М. Ларионов

P.S. Если Вам будет нетрудно, Вы меня очень обяжете, узнавши адрес двух артистов танцоров американских, Doris Nilsen и Serge Leslie, они или в St. Angeles [Los Angeles] или в Холливуде?

После 1953 года переписки с Ларионовым у меня больше не было. Обещанных гумилевских материалов он мне так и не прислал. По разным причинам мысль об издании собрания сочинений Гумилева пришлось отложить в долгий ящик. Когда появилась наконец такая возможность, я, зная, что М. Ф. очень болен (ему в 1961 году минуло 80 лет), не решался его беспокоить.

3. ИЗ ПИСЕМ Б. В. АНРЕПА

7 июня 1969 года в Лондоне в преклонном возрасте скончался известный русский художник-мозаист Борис Васильевич Анреп (1883-1969), покинувший Россию еще в 1908 г. и возвратившийся туда только на короткое время в 1914 г., когда, как офицер запаса, он был призван в армию. С 1917 г. он снова жил за рубежом — в Париже, где у него была мастерская, и в Лондоне. Меня с покойным связывали дружеские отношения с 1941 г., а после моего переезда в США в 1946 г. мы с ним много переписывались и встречались почти каждый раз, когда я ездил в Европу. Анреп, почти отошедший от всего русского после 1917 г. и не принимавший никакого участия в жизни русской эмиграции, до революции был хорошо знаком со многими русскими художниками и писателями. В 1912 г. он был организатором русского отдела на международной выставке постимпрессионизма в Лондоне. Среди писателей, которых он близко знал, были Н. С. Гумилев и А. А. Ахматова. С Гумилевым он особенно много общался в 1917-18 г., когда Гумилев жил в Лондоне по пути в Париж и потом снова, между службой в Париже и возвращением в Россию (в апреле 1918). Уезжая, Гумилев оставил Анрепу ряд своих не напечатанных произведений, записных книжек, документов, относившихся к его службе в Париже, свои офицерские погоны и т. д. Все это Анреп подарил мне еще до моего переезда в Америку, и этот материал был использован мною для моего издания под названием «Неизданный Гумилев» и позже для собрания сочинений Гумилева в четырех томах. Ниже я привожу выдержки из двух писем Б. В. Анрепа ко мне, в которых он отвечал на некоторые мои вопросы о Гумилеве уже после выхода последнего тома «Собрания сочинений», в связи с некоторыми критическими и читательскими реакциями на этот том.

Осенью 1968 г. я послал Б. В. Анрепу фотокопии некоторых посвященных Гумилеву страниц из книги И. В. Одоевцевой «На бере-

гах Невы». Мне было интересно, как он, хорошо знавший Гумилева, воспримет то, что она писала о нем. В письме от 23 октября 1968 г. Б. В. отозвался на этот посыл. Он писал:

... Благодарю за присылку страниц из книги Одоевцевой, которые прочел несколько раз и пошлю Знаменской [1] как бы от Вас. По-моему, она пишет очень занимательно; думаю, что длинные разговоры с Гумилевым несколько обработаны ею, но, насколько я помню собственные разговоры с ним, остаются в его характере. Краски иногда чересчур сгущены, как, например, его возмущение, что А. А. ищет смерти своего сына и его самого, это просто смехотворно, но возможно. (Отними и ребенка и друга). [2] Гумилев иногда любил представлять себя важным супругом. Вся тирада в разговоре по поводу «Муж хлестал меня узорчатым / Вдвое сложенным ремнем» и дальнейшее заявление, что «из-за этих строк он прослыл садистом», и его возмущение и упреки возможны, как и ни нелепы. Мне вспоминается день, когда он уезжал из Англии в Россию после революции. Я хотел послать маленький подарок Анне Андреевне. И, когда он уже укладывал свой чемодан, передал ему большую редкую серебряную монету Александра Македонского и несколько ярдов шелкового матерьяла для нее. Он театрально отшатнулся и сказал: «Борис Васильевич, как вы можете это просить, ведь она все-таки моя жена!» Я рассмеялся: «Не принимайте моей просьбы дурно, это просто дружеский жест». Он взял мой подарок, но я не знаю, передал ли он его по назначению, так как я больше ничего об этом не слыхал. С другой стороны, мы конечно много раз говорили о стихах А. А. Я запомнил одну фразу его: «Я высоко ценю ее стихи, но понять всю красоту их может только тот, кто понимает глубину ее прекрасной души». Мне, конечно, эти слова представились исповедью. Понимал ли он «всю красоту ее души» или нет, осталось для меня вопросом. [3] Он одновременно просил меня познакомить [его] с какой-нибудь девицей легкого поведения. Общее мое заключение о воспоминаниях Одоевцевой, что они, может быть, литературно использованы и сгущены, но близки к истине. Я говорю о ее характеристике Гумилева — только ...

В письме от 15 ноября 1968 г. Б. В. отвечал на мой вопрос о том, что он может сказать по поводу слов ротмистра Янишевского, знавшего Н. С. Гуми-

---

[1] Знаменская, Вера Алексеевна — хорошая знакомая до революции близкого друга Анрепа, известного критика Н. В. Недоброво и его жены, в последние годы жизни Ахматовой дружившая с ней. В 1968 г. она установила письменную связь с Б. В. Анрепом и прислала ему копии писем к ней Н. В. Недоброво и его жены, а также несколько фотографий — Н. В. Недоброво, его жены и себя. Все это было депонировано В. А. Знаменской в Государственной Публичной Библиотеке в Ленинграде, где она жила, и получено Анрепом от Библиотеки. Б. В. Анреп предоставил все эти материалы мне для давно мною готовимого тома писем и статей Н. В. Недоброво и воспоминаний о нем. В. А. Знаменская скончалась в конце декабря 1968 г.

[2] «Отними и ребенка и друга» — строка из стихотворения А. А. Ахматовой «Молитва» (1915.

[3] Воспоминания самого Б. В. Анрепа о его отношениях с А. А. Ахматовой см. в готовящемся дополнительном томе к двухтомнику Сочинений Ахматовой под редакцией Г. П. Струве и Б. А. Филиппова.

лева по военной службе и утверждавшего, что у последнего один глаз был стеклянный, и категорического отрицания этого утверждения И. В. Одоевцевой в статье в «Новом Русском Слове» по поводу 4-го тома «Собрания сочинений» Гумилева. Б. В. давал при этом описание наружности Гумилева — описание тем более интересное, что оно исходило от человека с острым глазом художника. Б. В. писал:

...Я виделся с Гумилевым каждый день в течение многих месяцев в 1917 году, когда он работал в шифровальном отделе Русского Правительственного Комитета в Лондоне. Я также видел его у себя дома, один на один или среди гостей. Ни мне, ни кому другому не приходило никогда в голову, что у него один глаз стеклянный и он никогда сам об этом не говорил. Конечно, нет причины думать, что ротмистр Янишевский придумал стеклянный глаз; может быть, что Гумилев сознался ему в этом, но если это является лишь догадкой ротмистра, ввиду того, что Гумилев стрелял с левого плеча, то это могло быть просто потому, что правый глаз косил и он доверял более нормальному глазу. Я интересовался лицом Гумилева и думаю, что заметил бы, что глаз — искусственный. Есть возможность, что Гумилев, который иногда рассказывал истории о своих путешествиях, придавая им «романтический» интерес, придумал ради такого же интереса свой стеклянный глаз, но больше не повторял этой истории в Лондоне. Лицо Гумилева в Лондоне было худое, косина внешняя, глаза — серые, бесцветные. Нос — совершенно обыкновенный, ни слива, ни огурец, не костистый, вполне приличный. Никаких отеков и морщин, ни подглазных мешков. Благодаря сильно выраженной наружной косине одного глаза (правого), общий вид лица не красивый. Что особенно поражало в его голове, это неестественная, слегка шарообразная выпуклость лба и некоторая его узость. Походка — совершенно нормальная, очень покойная, без всяких лишних движений рук или головы, держал себя очень прямо. Гумилев был среднего роста, не ниже и не выше. Легкая фигура типичного кавалериста. Держал себя несколько чопорно, с показным достоинством; редко улыбался, немного шепелявил, был всегда очень вежлив.

Вот все, что я могу Вам сказать о внешности Гумилева, как он мне представлялся в Лондоне...

В своем подробном описании наружности Гумилева Б. В. Анреп опровергал показания не только Янишевского, но и других сослуживцев Гумилева по полку в воспоминаниях, напечатанных в четвертом томе нашего Собрания, а отчасти и то, что писала И. В. Одоевцева, которая, говоря, что нос Гумилева нельзя было назвать «сливообразным», замечала, что, «если уже придерживаться фруктово-овощных сравнений, нос Гумилева скорее напоминал огурец». Но в основном Б. В. Анреп подтверждал описание Одоевцевой. Последние встречи Анрепа с Гумилевым были незадолго до того как с ним познакомилась И. В. Одоевцева. Ротмистр Янишевский не мог уже отозваться на сомнения Одоевцевой, так как незадолго до того погиб в автомобильной катастрофе.

К 50-летию окончания гражданской войны на Юге России

НЕИЗДАННЫЕ ДОКУМЕНТЫ ИЗ АРХИВОВ П. Б. СТРУВЕ

ПУБЛИКАЦИЯ Г. П. СТРУВЕ

В этом году исполняется пятьдесят лет с тех пор, как закончилась организованная вооруженная борьба с большевиками на Юге России. Конец ее наступил с крушением армии генерала П. Н. Врангеля, который, со званием Правителя и Главнокомандующего, возглавлял и последнее антибольшевицкое русское правительство (в Крыму). Прорыв Красной армией укреплений на Перекопском перешейке вынудил Врангеля отвести войска и эвакуировать Крым.

Печатаемые ниже документы бросают дополнительный свет на некоторые стороны этой последней стадии гражданской войны. Они почерпнуты из архивов П. Б. Струве и В. А. Маклакова, столетие со дня рождения которых исполнилось недавно: первого в текущем, 1970 году, а второго в 1969.

Документы сгруппированы нами по двум разделам. В первом даны письма П. Б. Струве к В. А. Маклакову, в которых он касается обстоятельств перехода всей гражданской и военной власти на Юге России от ген. А. И. Деникина к ген. П. Н. Врангелю и обрисовывает создавшееся в Крыму положение. П. Б. Струве, как известно, вошел в правительство ген. Врангеля, возглавлявшееся дореволюционным министром земледелия и землеустройства А. В. Кривошеиным, в качестве Начальника Управления Иностранных Сношений. [1]

[1] Крымское правительство первоначально именовалось «Советом при Главнокомандующем». Оно было переименовано в «Правительство Юга России» 6/19 августа 1920 г. в связи с фактическим признанием его Францией, а также вследствие соглашения, подписанного между Врангелем и казачьими атаманами. В «Красном Архиве» (т. 21, 1927) был напечатан журнал первого заседания Совета, состоявшегося 9 апреля 1920 г. П. Б. Струве уже принял в нем участие.

Четыре личных письма П. Б. Струве к В. А. Маклакову печатаются по копиям с подлинников, предоставленных мне, незадолго до его смерти, В. А. Маклаковым (подлинники должны сейчас находится в архиве Маклакова в Гуверовском институте при Станфордском университете в Калифорнии). Официальный «доклад» П. Б. печатается по копии, сохранившейся в находящемся у меня архиве моего отца. В. А. Маклаков был, как известно, назначен российским послом во Францию еще Временным Правительством. Он был официально аккредитован и признавался французским правительством, продолжая жить в здании русского посольства на рю де Гренель до самого признания большевиков Францией. В период существования правительства Врангеля на Юге России он представлял его в Париже. После признания большевиков он стал представителем на Францию так называемого Нансеновского офиса по делам беженцев.

Во втором разделе дается несколько документов, относящихся к заключительной фазе Врангелевского правительства и отставке П. Б. Струве. Эти документы дополняют более ранние публикации, в том числе мемуары самого П. Н. Врангеля, напечатанные по-русски в год его смерти в т. VI сборников «Белое Дело» (Берлин, 1928) и переведенные затем на иностранные языки. Свои мемуары ген. Врангель закончил рассказом о том, как он 1/14 ноября покинул Севастополь на крейсере «Генерал Корнилов» и после захода в Ялту и Феодосию, где еще производилась погрузка судов, 3/16 ноября окончательно покинул русскую землю. [2]

[2] Все документы печатаются впервые. Желающие получить более полную картину дипломатических отношений Врангелевского правительства и, в частности, истории признания его Францией de facto, могут обратиться к мемуарам ген. Врангеля, к подборке дипломатических депеш и т. п. в публикации проф. Р. Пайпса (Richard Pipes, „Les relations diplomatiques du Gouvernement Wrangel en Crimée (1920)", Cahiers du monde russe et soviétique, vol. IV, No. 4, 1963,, pp. 401-435), а также к публикации документов из архива парижского посольства в советском «Красном Архиве» (тт. 39 и 40, 1930). В архиве П. Б. Струве сохранилось в копиях большое количество депеш за 1920 год. Еще больше их, вероятно, в той части архива В. А. Маклакова, которая оставалась у него.

ПЯТЬ ПИСЕМ П. Б. СТРУВЕ К В. А. МАКЛАКОВУ

Севастополь
31. III
13. IV 920

Дорогой Василий Алексеевич!

Посылаю Вам официальное письмо, которое хотел бы сопроводить некоторой «личной» характеристикой положения. Я писал своим сыновьям и Б. Э. Нольде письма, которые просил сообщать Вам. Из них Вы могли усмотреть неизбежность того, что произошло и что, являясь крушением Добр[овольческой] Армии, в то же время было личным крушением Деникина.

Огромное счастье, что перемена, которая произошла в Главн[ом] Командовании, произошла легально-преемственно.

Я не буду давать оптимистической характеристики положения, но во всяком случае, если что могло спасти положение, то только та личная перемена, которая произошла. Сейчас люди осторожные говорят: «появилась надежда», тогда как они же еще недавно говорили о полной безнадежности.

Мне кажется, что сейчас Вы могли бы развить работу в направлении воздействия на французов в пользу нашего дела. Мне кажется, Вы могли бы с полной откровенностью и ясностью показать, что перемена в Главном командовании вытекла из в о е н н о й несостоятельности прежнего командования, точка зрения, которую я развивал в своей записке, надеюсь, дошедшей до Вас. Сейчас произошла в о е н н а я перемена. Политического характера она непосредственно не имеет никакого. Нельзя в этом отношении сказать, что произошел сдвиг направо, хотя и Главнокомандующий и большинство его сотрудников, и в том числе я, несомненно с банальной точки зрения правые. Но обстановка вообще устранила тот смысл этого различения, который оно имело раньше — и в особенности это верно в отношении самого Главнокомандующего. Он прежде всего исключительно одаренный военный. Человеческими же чертами, выделяющими его из остальной генеральской среды, являются чрезвычайная эластичность, высокая культурность и сильная личная восприимчивость. Он живет с людьми и на людях, тогда как Деникин был улиткой в скорлупе, я скажу — физиологически не видел людей и абсолютно ими не интересовался.

Возвращаюсь к политике. Сейчас мы приведены к такому положению, что многое, раньше неприемлемое, теперь в порядке expédients принимается без особых споров и даже, если можно так выразиться, преувеличенно легко. Фактически победила та «правая» линия, которую я отстаивал в беседах моих с Вами, но победила после крушения того, что ей противилось, после того, что противоположная линия пала по личной несостоятельности ее носителей в самой главной области, в военной.

Это изменяет общий характер всего происшедшего, и теперь «правые» гораздо ближе и к федерации и к радикальному разрешению аграрного вопроса, чем были прежде «левые». Вопрос о форме правления, как вопрос сейчас существенный для власти, не ставится даже самыми убежденными и пылкими монархистами, если они только сознают политическую и, главное, военную обстановку.

Я пишу все это для того, чтобы Вы (и именно лично Вы) правильно схватили атмосферу. Из нее, между прочим, вытекло и освобождение С. Д. Сазонова, происшедшее, как Вы поймете легко, по личной инициативе Главнокомандующего, но и объективно абсолютно назревшее психологически к моменту перемены в Глав[ном] Командовании. Фактически мы решили видеть в Париже только Вас, в отношении делегации не подымая пока questio juris и не желая ненужными постановками вопроса затруднять ни себя ни Вас. Если мы, с Божьей помощью, будем крепнуть, мы так или иначе придем к разрешению и этого вопроса, и я о нем хотел бы наперед иметь Ваше заключение. Сейчас ставится для нас, как самый важный, вопрос: помогут ли нам союзники и, в частности, Франция отстояться и удержаться в Крыму, хотя бы с перемирием с большевиками, т. е. помогут ли они нам конвертировать капитуляцию в перемирие, в выжидательно-оборонительное состояние? На официальную Англию в этом смысле трудно расчитывать, но Франция могла бы занять иную позицию, что для нас именно в переходный момент имело бы огромное значение. Постарайтесь разъяснить это, в связи с общим нашим положением, Мильерану. И кроме того поставьте ему вопрос: не могла ли бы помощь Франции в дальнейшем быть связана с вопросом об ее помощи нам в деле добычи угля в Донецком бассейне, с натуральным участием Франции в этой добыче. Это вопрос жизненный для Франции и в этой форме его можно отстаивать перед французским обществ[енным] мнением. Это будет не безвозмездная помощь, не помощь в кредит, а сделка на основе реального do ut des.

Трудности сообщения ужасно удручительны — они страшно затрудняют работу.

Военное положение сейчас определяется в общем так: Крым весь в наших руках, в наших же руках часть Черноморского побережья. На Кубани и в Малороссии восстания, и таким образом тыл у большевиков горит, в частности нелегко положение Одессы.

Вот некоторые разрозненные комментарии к моему официальному письму, которое написано не только по поручению Главнокомандующего, но фраза за фразой проредактировано вместе с ним.

Жду какого-нибудь от Вас отклика на события у нас и на сегодняшнюю посылку.

Кланяюсь Марии Алексеевне [сестра В. А. Маклакова. — Г. С.] и обнимаю Вас.

Ваш П. Струве.

P.S. Письма эти лично для Вас. Я бы придавал значение только тому, чтобы Вы ознакомили с ними Б. Э. Нольде.

С. Д. Сазонов, бывший министр иностранных дел, ведал иностранными делами в правительстве ген. Деникина, потом получил от адмирала Колчака,

как Верховного Правителя, назначение министром иностранных дел и одновременно вошел в Париже в т. н. Политическое совещание, задачей которого было представлять и защищать перед союзниками интересы России во время Версальской мирной конференции.

Упоминаемое в письме П. Б. «официальное» письмо было датировано следующим днем (1/14 апреля), написано на бланке Управления Иностранных Дел при Главнокомандующем Вооруженными Силами на Юге России и помечено № 248. Оно сохранилось в копии в архиве П. Б. Струве, но среди переданных мне В. А. Маклаковым писем его не было — оно, вероятно, осталось в архиве посольства (но, может быть, тоже у В. А. Маклакова). Вот его текст:

Милостивый Государь
Василий Алексеевич,

имею честь препроводить при сем текст сообщения, сделанного здесь от имени своего Правительства Великобританским Верховным Комиссаром в Константинополе, а равно ответ на это сообщение нового Главнокомандующего.

Передавая Вам эти документы, я, по поручению Главнокомандующего, сопровождаю их разъяснениями военного и политического положения и видов Главнокомандующего на будущее. Этими разъяснениями вы имеете воспользоваться надлежащим образом при переговорах с Правительством Французской Республики.

Отказ генерала Деникина от Главного Командования, неизбежный по ходу событий, совпал с критическим положением армии, находившейся в процессе полного разложения. В этот момент было сделано заявление Великобританского Правительства, носящее характер ультиматума. В ответе на него Главного Командования выразилась забота о судьбе армии и всех вообще элементов, связавших свою участь с вооруженною борьбою против большевиков. Генерал Врангель, ради спасения живых людей, почел своим долгом в своем ответе дойти до крайних пределов уступок, но он не думал и не думает отказываться от патриотической задачи воссоздания России и ее государственности. Все его помыслы направлены в эту сторону. Путем реальной работы по восстановлению армии и воскрешению ее духа, путем действительного привлечения общественности к государственной работе в союзе с властью, коей, по условиям борьбы, должны принадлежать широчайшие полномочия, путем осуществления назревших социальных реформ, путем внимательного удовлетворения основных духовных и материальных потребностей населения, — новая власть стремится прежде всего к созданию крепкой, хотя бы и автономно устроенной, единицы в пределах Крымского полуострова, могущей противостоять всем вооруженным посягательствам извне. Эта задача явится исходною точкою всех ближайших предначертаний и действий Главнокомандующего. Ею определяется и политика соглашений, которую будет преследовать Главное Командование в сношениях с другими политическими образованиями, ведущими борьбу с большевиками, в частности с казачьими областями, коих выборные атаманы действуют в полном согласии с Главным Командованием и подчиняются его власти.

Западные Державы соглашением с большевиками расчитывают достигнуть экономических выгод, восстановив снабжение Европы столь необходимым ей русским сырьем. Эта мысль основана на неосуществимом предположении, что прекращение организованной вооруженной борьбы с большевиками, в форме мира или перемирия, будет означать приостановку гражданской войны и упразднение анархии. Гражданская война и анархия не прекращаются и не прекратятся в области советского владычества. Казачьи области, недавно занятые большевиками, уже стали очагами восстаний. Таковым же хронически является значительная часть Украины. Все эти явления чисто стихийные, не зависят от воли Главного Командования, и оно не было бы в силах их остановить. Длящаяся гражданская война и анархия есть неизбежное следствие советского режима, насильственного по существу. Каковы бы ни были условия того перемирия с Советской Россией, на принятие которого Главное Командование изъявило свое принципиальное согласие в ответе, данном Великобританскому Правительству, такое перемирие порядка и гражданского мира в жизнь русского народа не внесет. Независимо от мирового значения соглашения с большевиками, этого обстоятельства Союзным Правительствам не следует никогда упускать из виду. Оно всегда может изменить всю обстановку в России.

Главнокомандующий всецело одушевлен намерением, блюдя русские интересы, не только поддерживать прежние отношения с Союзниками, но и развивать их во взаимных интересах. В частности, его интересует взгляд Французского Правительства и на происшедшую перемену в Главном Командовании и на обрисованную здесь обстановку.

Придавая огромное значение согласованию русских интересов с экономической заинтересованностью Союзных Держав и в особенности Франции в экономических рессурсах России, Главнокомандующий желал бы через Вас осведомиться о взглядах Французского Правительства на эти вопросы.

Примите, Милостивый Государь, уверение в отличном моем почтении и совершенной преданности.

П. Струве.

Первый абзац письма П. Б. относится к начавшимся еще до прихода ген. Врангеля к власти попыткам великобританского правительства добиться перемирия между большевиками и белой армией. Лорд Керзон предложил и Врангелю и Чичерину свое посредничество. Вместе с тем англичане заявили о прекращении оказывавшейся ими до того южнорусской армии помощи и настаивали на отводе Врангелем войск в Крым. Верховным комиссаром Великобритании в Константинополе был адмирал де Робек. В мемуарах Врангеля приведена часть документов, относящихся к этой безуспешной попытке посредничества. (См. также в публикации Пайпса №№ 3, 5, 6-10, 12 и 14 — депеши П. Б. Струве, кн. Г. Н. Трубецкого, А. А. Нератова и Н. А. Базили).

Ответа В. А. Маклакова на эти два письма в имеющемся у меня архиве П. Б. Струве не сохранилось. В мемуарах П. Н. Врангеля приводится более поздняя (от 17 апреля/1 мая) официальная телеграмма Маклакова, в которой он сообщал, что французское правительство относится отрицательно к соглашению с большевиками (это отрицательное отношение разделялось тогда и

правительством США) и «никакого давления для сдачи Крыма не окажет», равно как и не примет участия «ни в какой подобной медиации, если бы другие ее предприняли».

В письме к В. А. Маклакову от 12/25 апреля П. Б. возвращался к вопросу о смене власти на Юге России и ее последствиях в связи с обнаружившейся в некоторых русских кругах на Западе оппозицией Врангелю. Вот это письмо П. Б.:

Севастополь
12/25 IV 920

Дорогой Василий Алексеевич!

Я уже ответил телеграммой Вам на телеграмму Сазонова № 526 Нератову. Кроме того еще раньше Вы получили разъяснительную телеграмму Нератова № 165 из Константинополя, под которой я всецело подписываюсь. Непонятно, откуда Парижская делегация имела сведения, что власть генерала Врангеля поставила себе целью ликвидацию дела, за которое боролись больше двух лет!! Поставленная перед фактом растущего разложения армии, повлекшим за собой, силою вещей, падение престижа Главнокомандующего и отказ его от власти, новое Главное Командование приняло власть в момент получения британского «ультиматума», последствия которого грозили не только бытию армии, но жизни и чести ее чинов от высших до низших. В этот момент ген. Врангель думал прежде всего о спасении чести армии и множества человеческих жизней, доверившихся прежнему Главному Командованию и теперь обратившихся свои взоры на него, ген. Врангеля. Но, помышляя об этом, ген. Врангель ни на одну минуту не думал отказываться от патриотической задачи воссоздания России и ее государственности, опираясь в этом отношении на преемственно-легальный характер власти, полученной им от прежнего Главного Командования, при полном нравственном и формально в особом акте выраженном одобрении высших военных начальников, опрошенных самим ген. Деникиным. При этих условиях непонятно, как мог даже возникнуть самый вопрос о том, «можно ли подчиняться» — цитирую подлинные слова телеграммы С. Д. Сазонова, только сегодня 11/24 апреля полученной нами в Севастополе — власти ген. Врангеля. Правильнее был бы совсем другой вопрос: как можно ей не подчиниться?

Повторяю: вся смена Главного Командования произошла в абсолютно легальной форме. И по существу в ней не было ни малейших признаков переворота, самую мысль о котором ген. Врангель считал всегда совершенно недопустимой. Отказ ген. Деникина от власти произошел настолько неожиданно для ген. Врангеля, что в тот день, когда последовал его вызов в Севастополь, он предполагал выехать в Софию и Белград, а лично близкие и единомышленные с ним люди, к каким я причисляю себя, настолько не считались с возможностью того оборота, который приняли события, что я, например, уехал даже из Константинополя и попал в Севастополь на неделю позже, чем ген. Врангель. Мы все, конечно, считались с возможностью и даже неизбежностью катастрофы прежнего Главного Командования, но именно в случае такого революционного крушения власти ген. Деникина непосредственное принятие власти ген. Врангелем представлялось нам невозможным. Теле-

грамма, в которой формулированы заключения делегации, свидетельствует о том, что делегация не была осведомлена о действительном ходе событий и об истинном положении вещей. Надо надеяться, что теперь это непонимание совершенно устранено.

Я хотел бы напомнить Вам, что тотчас после оставления Армией Ростова в конце декабря я в своих частных сообщениях охарактеризовал создавшееся на Юге России положение как крушение военной организации и самого Главного Командования. Мой диагноз, из которого вытекал и соответствующий прогноз, к сожалению вполне оправдался. Следует помнить, что и прежде и теперь политика имеет здесь значение второстепенное, только в связи с военной организацией и ведением военных дел и действий. Даже теперь, когда мы вступаем, в силу начатия переговоров союзников с большевиками, в особый фазис наших внешних и внутренних отношений, — это общее положение остается в силе. Но удержать Крым и удержаться в нем мы можем, только сохранив военную силу и держа ее наготове.

Категорически опровергайте инсинуации печати насчет якобы германской ориентации ген. Врангеля. Отношения наши с здешними представителями союзников наилучшие, и они, я думаю, могли убедиться в полной лояльности по отношению к ним Главного Командования и его сотрудников.

Что касается программы ген. Врангеля и созданного им Управления по внутренним вопросам, то материал для суждения о ней Вы и делегация имеете и в моих телеграммах и письмах и в приказах и беседах самого Главнокомандующего, Вам посылаемых. Последний приказ по земельному вопросу имеет в виду местные условия Крыма, в котором никаких земельных захватов и иных правонарушений, никакого «черного передела» не было, и намечает совершенно практические мероприятия.

Я страшно занят, ибо кроме дел Управления Иностранных Сношений мне приходится участвовать в обсуждении и решении других дел, в обстановке, делающей всякую работу весьма трудной. Но, после кошмарных дней Новороссийска, здесь все-таки можно жить и дышать.

Передайте мой привет Марье Алексеевне, всем друзьям и знакомым. Жму руку. Жду писем и вообще осведомления.

Ваш П. Струве.

Значительную часть лета 1920 г. П. Б. провел в Париже, ведя переговоры о признании правительства Врангеля Францией. В связи с этим он ездил также в Аахен и в Спа, где происходили конференции союзников. Ближайшее содействие в этих переговорах оказывал П. Б. Николай Александрович Базили, б. начальник дипломатической канцелярии при ставке главнокомандующего во время войны, который был теперь назначен на пост советника русского посольства в Париже. Вместе с тем П. Б. использовал при ведении переговоров свое давнее знакомство с Евгением Юльевичем Пети (Eugéne Petit), который был начальником кабинета у тогдашнего французского премьера Александра Мильерана. Пети был женат на русской, Софии Григорьевне Балаховской, и был близко знаком со многими русскими общественными и политическими деятелями. Позднее, в 20-х и 30-х годах, он и его жена устраивали у себя русские встречи на которых сходились люди очень разных взгля-

дов (В. А. Маклаков, П. Б. Струве, А. Ф. Керенский, В. М. Зензинов, М. А. Алданов и др.).

20 июня (н. ст.) П. Б. вручил Мильерану пространный меморандум с изложением программы южнорусского правительства (русский текст его напечатан полностью в мемуарах ген. Врангеля). В меморандуме указывалось и на неприемлемость перемирия — на котором тогда настаивали англичане — иначе как на условии неприкосновенности занимаемой армией Врангеля территории, а также на необходимость соблюдения автономии, предоставленной Врангелем казачьим областям, и гарантий против советской агрессии в отношении «политических новообразований» на Кавказе. Переговоры П. Б. с Мильераном увенчались, как известно, успехом, и через месяц А. В. Кривошеин сообщил Врангелю, что от П. Б. получена телеграмма о выраженной Францией готовности признать правительство Юга России. Мильеран заявил об этом в личном доверительном разговоре с П. Б., а затем в Палате Депутатов. Вскоре после этого П. Б. телеграфировал, что возвращается в Севастополь. Из Константинополя П. Б. через Нератова послал Маклакову телеграмму, в которой на основании указаний, полученных от Врангеля, просил подтвердить, что правительство Юга России, «в качестве носителей русской государственной и национальной идеи», принимает на себя все обязательства предшествующих русских правительств. Через три дня после этого П. Б. на американском миноносце через Констанцу отбыл в Севастополь. Оттуда он писал В. А. Маклакову 27 июля (9 августа):

Я не успел Вам написать ни из Парижа, ни из Константинополя. Между тем события шли и идут необычайно быстро. Провал Польши, наши успехи, заявления Мильерана — все это изменило положение, в котором еще недавно были наши дела. Сейчас готовятся новые события, которые нужно будет энергично использовать для нашего укрепления. Употребите вместе с Базили и Гирсом все усилия для этого. Успехи наши на фронте и в смысле организации армии прямо блестящи. Популярность Врангеля в армии и в населении громадная.

Несвойственный П. Б. оптимизм, которым дышало это письмо, был несомненно внушен не только ожидавшимся признанием со стороны Франции, но и успехами армии (успехи эти оказались кратковременными и были скоро нейтрализованы выходом Польши из войны).

На следующий день (10 августа н. ст.) фактическое признание правительства Врангеля Францией было оформлено, о чем Мильеран уведомил заменявшего В. А. Маклакова Базили, а тот немедленно телеграфировал П. Б. 21 августа А. А. Нератов, по просьбе П. Б., передал из Константинополя телеграмму, в которой Врангель выражал Мильерану горячую благодарность за помощь русскому делу «в минуту тягчайшего испытания, когда мы прилагаем все наши усилия к тому, чтобы осуществить нашу задачу восстановления России на основе великих принципов свободы и прогресса».[3] В тот же день П. Б. писал Маклакову:

Пишу Вам спешно два слова. Я считаю Ваш приезд сюда чрезвычайно важным, прямо необходимым. Поэтому, если только Ваше здоровье

[3] См. «Красный Архив», т. 39 (1930), стр. 39-40.

позволит, сделайте это. Всего лучше, если Вы приедете с Эрлишем, а, может быть, и с частью тех лиц, которые вызываются на экономическое совещание, которому Кривошеин и я придаем большое значение. [4]

В. А. Маклаков внял настояниям П. Б. и в сентябре отправился в Крым. Пребывание его там было недолгим: в конце месяца он выехал назад вместе с П. Б., которого ген. Врангель снова командировал в Париж, и с ген. Я. Д. Юзефовичем, который направлялся в Варшаву для координации действий русской армии с польскими и украинскими войсками.

ЭВАКУАЦИЯ КРЫМА И ОТСТАВКА П. Б. СТРУВЕ

Окончательное поражение армии Врангеля, ускоренное перемирием между большевиками и поляками, и последовавшая затем эвакуация застали П. Б. в Париже. Вся операция этой массовой эвакуации [5] была в значительной мере облегчена тем, что Франция — правда, под самый занавес — признала Врангеля de facto, а затем предоставила ему (на довольно обременительных условиях) необходимый тоннаж.

В бумагах П. Б. Струве сохранились некоторые документы, бросающие свет на дипломатическую обстановку после эвакуации Крыма и на обстоятельства, при которых П. Б. подал в отставку. Первый намек на возможность отставки содержался в телеграмме, которую П. Б. еще до эвакуации Крыма послал начальнику своей политической канцелярии Б. А. Татищеву. В этой шифрованной телеграмме от 28 октября 1920 г., написанной рукой П. Б. и не внесенной, как гласит помета на ней, ни в один журнал, П. Б. просил Татищева передать Врангелю и Кривошеину, что не может отвечать за перемещения в дипломатическом ведомстве без его согласия и сможет «реагировать только отставкой». [6] О каких «перемещениях» (вероятно, только намечавшихся) шла речь, мне неизвестно. В отставку П. Б. не подал и сделал это только значительно позднее и вне всякой связи с тем, на что намекал здесь.

Продолжая жить в Париже, П. Б. оставался на своем посту. Уже из Константинополя, через три недели после оставления Крыма, Врангель обратился к П. Б. с длинным письмом, в начале которого благодарил за «сердечное письмо» и телеграмму. Письмо П. Б. Струве к Врангелю как будто напечатано не было, и местонахождение его мне неизвестно. Письмо же Врангеля, с рассказом о том, как была произведена эвакуация, вошло в публикацию Пайпса. (№ 23, стр. 430-433).

Отставке П. Б. Струве предшествовал следующий обмен телеграммами:

---

[4] Эрлиш — Jean Erlich, французский политический деятель, член Палаты депутатов, очень сочувствовавший русским антибольшевикам.

[5] В телеграмме А. А. Нератова, представителя Врангеля в Константинополе, В. А. Маклакову от 18 ноября 1920 г. число эвакуированных определялось в сто тысяч человек.

[6] Телеграмма эта напечатана проф. Пайпсом со ссылкой на мой архив и без всякого комментария (см. цит. соч., № 22, стр. 428).

Гирс — Нератову в Константинополь. Париж, 3 декабря [н. ст.] 1920. № 1783-бис.

Для Татищева. № 1.

Струве просит срочно передать Главнокомандующему:
[шифр В] Объединенные промышленники решили создать организацию помощи Вам. Они рассматривают сохранение ядра армии как первую по важности задачу, но при ее осуществлении и им и Вам придется формально считаться с бесповоротными решениями французов, указанными в телеграмме № 2. Организация, создаваемая промышленниками, должна выполнять функции неполитического объединения, рекомендуемого французами, и составить его ядро.

Отправленная одновременно телеграмма № 2 гласила:

Гирс—Нератову в Константинополь. Париж, 3 декабря 1920. № 1783-бис.

Для Татищева. № 2.

Струве, по соглашению с Бернацким и Кривошеиным, просит срочно передать Главнокомандующему:
[шифр В] В Министерстве Иностранных Дел нам сообщили бесповоротное решение Совета Министров, состоявшееся 30 ноября. Международная обстановка, тяжелое финансовое положение и соображения внутренней политики исключают возможность для французского правительства ставить себе задачу сохранения армии как таковой. Единственная возможность продолжать помощь это рассматривать всех эвакуированных одинаково как беженцев исключительно с гуманитарной точки зрения. Только при этом можно устранить препятствия со стороны других держав и расчитывать на получение средств. Ради этого необходимо самому делу помощи придать характер благотворительного почина самих русских, создав в Париже неполитическое объединение для приискания средств и оказания помощи всем беженцам. Этому объединению Французское Правительство окажет полную поддержку, и по мнению Французского Правительства такой организации будет легче добывать средства из международных источников. Французское Правительство боится ответственности перед Парламентом, так как производило расходы на эвакуацию, не имея кредита. Чтобы получить одобрение Парламента и возможность продолжать хотя бы кратковременную помощь, надо придать ей наиболее бесспорную форму и иметь право утверждать, что русские со своей стороны напрягли все усилия и средства. Обеспечение, которое представляет казенный флот, считается совершенно недостаточным при превращении его в деньги, и издержки французов едва ли в лучшем случае будут покрыты. Французы из признательности к России за ее участие в войне готовы нести известные жертвы, предел которых, однако, очень близок, но нам необходимо облегчить Французскому Правительству политическую сторону задачи. Открытая поддержка армии как таковой сейчас невозможна для Французского Правительства, но представитель Мининстерства Иностранных Дел дал понять, что с переменой обстановки сохранившиеся воинские элементы могут воскреснуть как военная сила. Однако, содержание столь многочисленных бе-

женцев до того непосильно, что всем желающим вернуться в Совдепию французы не станут мешать.

Отнюдь не расчитывая изменить состоявшееся решение Французского Правительства, мы сочли долгом в письменной форме заявить, что считаем отказ от поддержки армии губительным для интересов как Союзников, так и России. Ваша телеграмма № 1765, которую мы довели до сведения Французского Правительства, произвела на французов тягостное впечатление. В Ваших публичных заявлениях мы убедительно просим избегать всего того, что могло бы затруднить реальную задачу сохранения ядра армии при невозможности открытой постановки этой задачи. Ваш приезд сюда считается французскими сферами нецелесообразным и даже нежелательным.

На эту телеграмму от П. Н. Врангеля был 6 декабря получен следующий ответ:

Нератов—Послу. Константинополь, 6 декабря 1920. № 1210.

Срочная.

Для Струве. Татищев просит передать за № 51:

Получил Вашу телеграмму № 1783. Прошу расшифровать в первую очередь.

[шифр В] От Главнокомандующего: «Исключаю возможность сохранения армии при условии перевода на положение беженцев и зависимости ее от общественной организации. Это неизбежно вызовет отпадение командного состава и разложение в рядах войск. Прошу Вас, как только положение бесповоротно определится, прибыть сюда для личного доклада, выяснения всех подробностей и принятия окончательного решения. — Врангель».

После этого между П. Б. Струве и новым главой французского кабинета Жоржем Лэйгом,[7] который занял также пост министра иностранных дел, произошел обмен письмами на те же темы. Как и ожидалось, французское правительство осталось твердо стоять на своей точке зрения. В письме от 11 декабря на имя П. Б. Струве Лэйг просил верить, что его правительство приняло свое решение «лишь под давлением абсолютной необходимости и после того, как оно пришло к заключению о невозможности поступить иначе». Немалую роль в принятии этого решения сыграла позиция, занятая британским кабинетом.

В бумагах П. Б. Струве частично сохранилась переписка с представителями торгово-промышленных и финансовых кругов (с Н. Х. Денисовым, с А. И. Коноваловым) на тему финансирования эвакуированных частей русской армии. Сохранился также листок блокнота, без даты, на котором рукой П. Б. было набросано несколько «тезисов». Эти тезисы могли быть канвой для письма ген. Врангелю в ответ на его телеграмму. Могли они быть и более позднего происхождения — наметкой для личного разговора с Врангелем

[7] Смена французского кабинета произошла вследствие того, что президент республики Поль Дешанель по болезни вынужден был подать в отставку, и на его место был избран Мильеран, до того бывший премьером.

уже в Константинополе. Вот этот документ, резюмирующий взгляд П. Б. на дальнейшую судьбу армии:

I. Франц[узское] Правит[ельство] армии не признает — не признает поэтому Главнокоманд[ующего]. Reconnaissance de fait вместе с fait отпало.

II. Армия существует в формах беженства и будет существовать до тех пор, пока будут средства для этого.

III. Отсюда — первостепенная важность финансового вопроса. Французы содержать армию и беженцев не будут. Армия сможет просуществовать лишь постольку, поскольку хватит средств, имеющихся у нас, или будут добыты новые русские средства. Первых очень мало; последнее весьма проблематично.

На обороте того же листка были проставлены цифры: I, II, III, но только против первой цифры было написано: «Возможна ли авантюра?»

Должно быть, в середине или конце декабря П. Б. Струве отправился в Константинополь. Вскоре после этого он написал оттуда следующее короткое письмо В. А. Маклакову, датированное 1 января 1921 г. (должно быть, по новому стилю):

Дорогой Василий Алексеевич!

Сегодня уезжает Б. А. Татищев в качестве лица, которое должно помогать ген. Е. К. Миллеру, на которого возлагается главное представительство ген. Врангеля. Это решение вопроса, — возложение на Миллера такого поручения — вытекло, на мой взгляд, из понимания положения и задач ген. Врангеля, понимания, о котором можно спорить, но которое есть факт, сейчас определяющий отношения между массой эвакуированных из Крыма и Францией. Я полагаю, что поручение, данное ген. Врангелем Б. А. Татищеву, следует сочетать с привлечением его к работе в посольстве в роли советника, могущего, рядом с Н. А. Базили или вместо него, вести разговоры на Quai d'Orsay. Очень прошу Вас оказать содействие такой комбинации, которую я считаю во всех отношениях правильной и удобной как для Вас, так и для нас, и для самого Татищева.

Характеризовать общее положение не берусь, — оно очень сложно и запутанно с одной стороны, крайне просто и обнажено с другой. Но кроме этой общей формулы нужно было бы написать страницы, чтобы изобразить положение. Многое может рассказать Татищев.

Всего хорошего.

Ваш П. Струве.

В этом письме П. Б. не было еще никакого указания или даже намека на его собственное намерение подать в отставку. Таковая произошла позже, в январе, и к ней относятся два сохранившихся в архиве П. Б. документа: копии его письма об отставке и приложенного к нему «доклада». Вот текст этих документов:

Глубокоуважаемый и дорогой
Петр Николаевич!

Целый ряд фактов убедил меня, что во взглядах на способ действий в отношении как внешних сил, так и русской общественности, я сильно расхожусь в Вами. Это обстоятельство не позволяет мне больше нести исполнение обязанностей Заведующего Частью Иностранных Сношений,[8] существование которой, впрочем, при настоящей постановке дела не имеет никаких объективных оснований.

Прося меня освободить от обязанностей Заведующего Частью Иностранных Сношений, я не могу не повторить еще раз, что тот способ, каким ведутся штабом сношения с французскими властями в Константинополе внушает мне серьезную тревогу. Точно так же и отношения с русской общественностью в лице ее самых умеренных и лояльных представителей ставятся, на мой взгляд, неправильно, что, изолируя Главное Командование от общественности, угрожает ослабить и его международное положение. Будучи бессилен бороться с этими явными для меня ошибками политики, я считаю нравственно невозможным для себя нести за них хотя бы и косвенную ответственность. Но я рад, что для моего ухода с должности, кроме глубокого личного разногласия с Вами в некоторых взглядах, представляются совершенно непререкаемые объективные основания, изложенные мною в официальном докладе, при сем прилагаемом.

Мое решение далось мне нелегко именно и только потому, что мне не хотелось сейчас хоть как-нибудь обнаруживать существующее между нами разногласие. Но, зрело взвесив все положение и многократно ставя свое намерение на самый строгий суд совести, я пришел к убеждению, что я не могу уклониться от такого решения. Поверьте мне, что работа в качестве Вашего ближайшего помощника останется всегда драгоценным для меня воспоминанием: следуя за Вами в Вашем трудном служении России и армии, я повиновался не только чувству долга, но и сердечному влечению. Поверьте мне так же, что и впредь я, в меру своего разумения, вне служебных рамок буду посвящать все свои силы делу России и русской армии.

П. Струве

Константинополь, 19 января 1921 г.

Приложенный к этому письму документ, который П. Б. назвал «официальным докладом», был датирован тем же числом и гласил:

ЕГО ВЫСОКОПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВУ
ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕМУ РУССКОЙ АРМИЕЙ

Ввиду того, что сношения с иностранными представителями на месте нахождения Главного Командования ведутся штабом Главнокомандующего, а в некоторых случаях Начальником Дипломатической Миссии в Константинополе, я полагаю и позволяю себе с полной откровенностью высказать это мнение Вашему Высокопревосходительству, что при сло-

[8] После эвакуации Крыма название возглавлявшегося П. Б. Струве учреждения и титут возглавителя были изменены на более «скромные».

жившейся обстановке должность Заведующего Частью Иностранных Сношений при Главном Командовании за объективной ее ненадобностью подлежит упразднению. А посему покорнейше прошу Ваше Высокопревосходительство освободить меня от обязанностей по этой должности. Что же касается Б. А. Татищева, командированного Вами в Париж, то исполнение им обязанностей помощника и советника по дипломатической части ген. Миллера представляется не только желательным, но и прямо необходимым. Точно так же продолжение работы чиновников Политической Канцелярии бывшего Управления Иностранных Дел Н. К. Кесселя и М. Ф. Алешина уже в составе Вашего штаба я признавал бы чрезвычайно полезным.

Таким образом вся Часть Иностранных Сношений подлежала бы, на мой взгляд, расформированию, с тем, чтобы Б. А. Татищев почитался лично исполняющим особое возложенное на него Вами поручение, а Н. К. Кессель и М. Ф. Алешин, из коих первый обладает значительным опытом по дипломатической службе и зарекомендовал себя весьма усердным и умелым исполнением своих обязанностей, а второй получил специальную подготовку по востоковедению и знает турецкий язык, были прикомандированы к Вашему штабу.

П. Струве

На этом кончилось продолжавшееся около года официальное сотрудничество П. Б. Струве с ген. П. Н. Врангелем. Своего высокого мнения о нем он не менял и не раз, по разным случаям, высказывал его в дальнейшем в печати. Свою верность возглавлявшейся им армии он сохранил и свое служение ей продолжал, хотя и в других формах, и не случайно был в числе тех, кто были избраны почетными членами Общества Галлиполийцев. Что касается того глубокого расхождения во взглядах с П. Н. Врангелем, о котором П. Б. писал в своем письме об отставке, то оно почти наверное относилось к различному пониманию ими тех форм и методов, в которых и которыми должна будет, после бесповоротного крушения вооруженного сопротивления белых армий, продолжаться борьба с поработившей Россию большевицкой властью. В воскресение «белой армии» П. Б. не верил. Дальнейшая борьба предносилась ему, с одной стороны, в плоскости идейной, с другой — на путях революционных.

ИСПРАВЛЕНИЕ. Н. Белинкова, автор очерка «Чуковский и 'Чукокала'», просила внести исправление: Чуковский назвал свой альбомный сборник «Чукоккала», созвучно прежнему названию местечка Куоккала, где была его дача, а не «Чукокала», как значится в рукописи Н. Белинковой. (Ред).

ПЕЧАТАНИЕ АЛЬМАНАХА ЗАКАНЧИВАЛОСЬ, КОГДА ПРИШЛО СООБЩЕНИЕ, ЧТО НОБЕЛЕВСКАЯ ПРЕМИЯ ПО ЛИТЕРАТУРЕ В ЭТОМ ГОДУ ПРИСУЖДЕНА А. И. СОЛЖЕНИЦЫНУ. ПРИВЕТСТВУЯ РЕШЕНИЕ ШВЕДСКОЙ АКАДЕМИИ, С УДОВЛЕТВОРЕНИЕМ ОТМЕЧАЕМ ПОБЕДУ ПОДЛИННОЙ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ — ЛИЛИТЕРАТУРЫ ПРАВДЫ, СОВЕСТИ, ЧЕЛОВЕЧНОСТИ.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ПОЭЗИЯ — ПРОЗА

ИГОРЬ ЧИННОВ: Стихи 3
Л. РЖЕВСКИЙ: Спутница (роман) 7
Д. КЛЕНОВСКИЙ: Стихи 45
Ю. КРОТКОВ: Красный монарх (сатирическая сцена) . . . 48
ИВАН ЕЛАГИН: Стихи 67
БОРИС ФИЛИППОВ: Лимонарь псиный (рассказы и стихи) . 73
АЛЛА КТОРОВА: Таись (рассказ) 80
СОФИЯ ПРЕГЕЛЬ: Стихи 86
ИГОРЬ ЕЛЬЦОВ: Трансплантация (рассказ) 89
ВАЛЕРИЙ ПЕРЕЛЕШИН: Стихи 95
ИРИНА ОДОЕВЦЕВА: На берегах Сены (отрывок) . . 98
А. ВЕЛИЧКОВСКИЙ: Стихи 113
ВЛАДИМИР САМАРИН: Месяц в Европе (очерк) . . 116
НИКОЛАЙ ТАТИЩЕВ: Веселые гости (рассказ) . . 128

ЛИТЕРАТУРА — ИСКУССТВО — ПОЛИТИКА

В. ВЕЙДЛЕ: Два гуманизма 133
Г. АДАМОВИЧ: Из старых тетрадей 150
ЮРИЙ ИВАСК: Письмо о маньеризме 172
АНДРЕЙ КОДЖАК: О повести Пушкина «Выстрел» 190
А. РЖЕВСКАЯ: Письмо как компонент повествования 213
Г. КРУГОВОЙ: Норманская юридическая формула в древнерусской литературе 223
БОРИС ФИЛИППОВ: Разговоры обо всем понемногу 238
ВЯЧ. ЗАВАЛИШИН: К спору о «Слове» 247
ГЕРМАН ЕРМОЛАЕВ: Политическая правка «Тихого Дона» . . . 265
А. Л. ТОЛСТАЯ: Правда о Толстом 290
Д. ШУВАЛОВА-ШАЛЯПИНА: Сказки Шаляпина (с иллюстрациями) . 303
ОЛЬГА КОЛБАСИНА-ЧЕРНОВА: О Марине Цветаевой 311
Н. БЕЛИНКОВА: Чуковский и «Чукокала» 318

ИОГАННЕС ФОН ГЮНТЕР: Под восточным ветром . 329
Г. ПОМЕРАНЦ: Человек без прилагательного 349
Н. ОТРАДИН: О национальных задачах и общественном идеале . 375

ДОКУМЕНТЫ — ВОСПОМИНАНИЯ

ПИСЬМА И. А. БУНИНА к профессору С. Агреллу 390
ГЛЕБ СТРУВЕ: Из моего архива — 1. Письма и статья В. Ходасевича; 2. Письма М. Ф. Ларионова о Н. С. Гумилеве; 3. Из писем Б. П. Анрепа 396
К 50-ЛЕТИЮ ОКОНЧАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ НА ЮГЕ РОССИИ — публикация Г. П. СТРУВЕ 413

Всем лицам, приславшим денежные пожертвования на выпуск этой книги «Мостов», выражается глубокая благодарность.

Адрес редакции: G. Homjakow, 225 West 71 St., New York, N. Y. 10023, U.S.A

Редактор: Г. АНДРЕЕВ (Г. А. ХОМЯКОВ)